ИНОСТРАННАЯ

литература

12
1961

ИНОСТРАННАЯ *литература*

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

«Юность» — литография Пабло Пикассо.

Содержание

НАМ ДОРОГ МИР! (Стихи)

АНДРЕЙ ПЛАВКА — К коммунизму движется земля! ЯРМИЛА УРБАНКОВА — Для тебя! ВИЛЕМ ЗАВАДА — Облокотясь на выси гор... ИВАН СКАЛА — Неоконченное стихотворение. ИРЖИ ШОТОЛА — «Что бы ты сам себе пожелал?»... ШТЕФАН ЖАРЫЙ — Оружие. МИРОСЛАВ ФЛОРИАН — Недописанное. ИРЖИ ГАВЕЛ — Вам есть у кого спросить **3**

ГЕРБЕРТ НАХБАР — Свадьба на Леннекене (Роман. Окончание) **10**

ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ — Урок бесстрашия (Стихотворение) **97**

УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР — Особняк (Роман. Окончание) **98**

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Поэт-патриот (К 400-летию со дня рождения Пак Ин Но) **167**

ПАК ИН НО — Песня о пахоте. Два трехстишия **168**

КОММУНИЗМ — ЭТО НАДЕЖДА НАРОДОВ, ИХ ЛУЧЕЗАРНОЕ БУДУЩЕЕ!

БОГОМИЛ НОНЕВ — Во имя человека. ЗДЕНЕК ПЛУГАРЖ — Светлый путь. ПИТЕР ТЕМПЕСТ — Мечта — предвидение — план. ЭРВИН ШТРИТТМАТТЕР — Преобразуем мы планету нашу, Землю! **170**

КРИТИКА

К. ЗЕЛИНСКИЙ — Мир сегодня и проблемы национальных литератур (Несколько мыслей в связи с выступлениями журнала «Сервей») **180**

Ю. КОЖЕВНИКОВ — В борьбе за социалистические идеалы **190**

ДОКУМЕНТЫ

ТВОРИТЬ ДЛЯ НАРОДА (Конгресс деятелей культуры революционной Кубы). ОСВАЛЬДО ДОРТИКОС — Революция требует ваших усилий. ФИДЕЛЬ КАСТРО — Мы — семена грядущего. НИКОЛАС ГИЛЬЕН — Массам — лучшие плоды нашего творчества **194**

12

1961

ДЕКАБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ИЗВЕСТИЯ"
МОСКВА

К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. А. ФАДЕЕВА

ФРАНТИШЕК КУБКА — Воспоминания о друге 202

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обозрение зарубежной прессы 208

ПУБЛИЦИСТИКА

ГОРДОН ШАФФЕР — Вопрос жизни и смерти 217

ИШТВАН ПИНТЕР, ЛАСЛО САБО — Интервью с палачами (Окончание) 221

СРЕДИ КНИГ

Издано в СССР

В. Левик — Поэзия Яноша Араня. ◇ К. Алиева — Новая повесть индонезийского писателя. ◇ П. Клейнер — За революцию я отдал голос свой. ◇ И. Голик — Встреча со старым другом 232

Издано за рубежом

Джуда Уотен — Лучшие книги года. ◇ Г. Мотылева — Неблагожелательный нейтралитет. ◇ Ю. Добровольская — Горячее сердце поэта 239

ПАМЯТИ МИХАИЛА САДОВЯНУ

ЭУДЖЕН ЖЕБЕЛЯНУ — Сила человеческого слова 245

СОБЫТИЯ И ДАТЫ

СУАН ЗЬЕУ — Великий поэт Вьетнама . . 248

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ . . . 250

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

В. КЛЮЕВА — Серебряное дерево и десять тысяч лет счастья (Таланты народной Монголии) 252

ДЭВИД ДУГЛАС ДУНКАН — Пикассо у себя дома (Фрагменты из книги) 259

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(Хроника) 265

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ. . 281

Содержание журнала «Иностранная литература» за 1961 г. (№№ 1—12) 283

НАМ ДОРОГ МИР!

Андрей Плавка

К КОММУНИЗМУ ДВИЖЕТСЯ ЗЕМЛЯ!

Перевод со словацкого Александра Голембы

С незапамятных времен прикован
шар земной к орбите вековой —
миллионы зим его студили,
пробуждали миллионы весен,
и теперь могуч и плодоносен
ум людской.

Из глубин исторгнув цвет багрянца,
как предвестье золотых плодов,
вся земля напутствует посланца,
славит покорителя пространства
в миг осуществленья звездных снов.

На просторах сказочной вселенной
он летит — посланец новых дней,
человек,— и нам всего родней
космонавта голос вдохновенный
в замети нехоженых путей!

Так, творя свой подвиг небывалый
в замети космических дорог,
со звездой пятиконечной алой,
победитель, а не полубог,
мчится он над нашим небосводом,
всей планете, всем земным народам
гордой вестью сердце веселя:
к коммунизму движется
Земля!

Ярмила Урбанкова

ДЛЯ ТЕБЯ!

Перевод с чешского Виктора Виноградова

О, для тебя, потомок нерожденный,
глазами, много видевшими, смотрим,
стремимся мы, страдая и любя,
в простор,

в уже на карты нанесенный
край будущего...
Слышишь? Для тебя!
Ты начал жить, когда вернулся первый
из космоса, шлем снял и улыбнулся...
Под сердцем материнским встрепенулся,
своим сердечком начал ты стучать,
когда второй корабль
рванулся к звездам —
он был строкой в великом документе,
он — наших дней горящая печать.

Впиваешь с материнским ты дыханьем
просторы, ветер, солнце молодое,
ты жив уже, ты слышишь, как звенит
трамвай, плотина и точильный камень;
как Африка могучими руками
оковы рвет,
встает,
и головою
курчавой упирается в зенит.
Твой легкий сон уже сейчас тревожат
команды рев,
гром танков в тучах пыли,
шаг армий, уцелевших с давних лет...
Страшнее маскарада быть не может,
чем этот, где под маской простофили
скрывается действительный убийца,
а не из детских сказок людоед.
Но есть еще и песни урожая!
Березок над тобой склонились ветки,
вокруг тебя стеною встали горы,
баюкает тебя волна озер...
Ты знаешь: никому не угрожая,
с тобою
заключил народ советский
о будущем великий договор.

Тебе — веков наследие студеных,
все откровенья судеб и историй,
тебе — победы наших дней нелегких:
живи,
твори,
мужай и не старей!
Тебе — на олимпийских стадионах
и рост, и стать афинских дискоболов,
тебе — веселый гам аудиторий
под сводами былых монастырей.

О, для тебя, потомок нерожденный,
глазами, много видевшими, смотрим,
стремимся мы, страдая и любя,
в простор,
в уже на карты нанесенный
край будущего...
Слышишь?
Для тебя!

Вилем Завада

* * *

Перевод с чешского Мих. Зенкевича

Облокотясь на выси гор,
моя земля уже столетья
глядит за горизонт в простор
и бережет свое наследье.

Лазурью блещет небосвод,
улыбки озаряют лица,
здесь мирный трудится народ
и в даль грядущего стремится.

Он ниву победит свою
охотней, чем чужое войско,
за дело правое в бою
всегда он борется геройски.

В работе, как в игре, он скор,
пословица молвит — и за дело
и, словно в дерево топор,
вгрызается в свой труд умело.

Обточенный, в его руках
обломок серых скал сверкает,
металлы тают, мертвый прах,
преображаясь, оживает.

Оружия блестящий вид,
игру в солдаты он не любит,
но от врагов не побежит,
не отступал и не отступит.

Облокотясь на выси гор,
моя земля уже столетья
глядит за горизонт в простор,
ей дорог мир на всей планете.

Иван Скала

НЕОКОНЧЕННОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Перевод с чешского Вероники Тушновой

Кто в глазах беспечный блеск хранит поныне,
Кто ребячески-восторженно смеется
Ярко-синему ручью на луговине,
Где к воде теснятся блеющие овцы,

Ощущает в топорище трепет вяза,
Норовит в учениках остаться вечных,
В скучный том, что полон формул разных,
Прячет венчики фиалок вешних.

Кто весну в лаборатории приносит
На девичьем свитерочке светлом,
Кто, как феникс, в сотый раз возносит
Жизнь свою бессмертную над пеплом

И кого любовь без сожаленья
Гонит, гонит по каменьям острым,
Пусть допишет за меня стихотворенье,
Потому что я для них его и создал.

Иржи Шотола

* * *

Перевод с чешского Якова Белинского

«Что бы ты сам себе пожелал?» — « А что бы ты себе пожелала?»
Мы долго молчали. Река, словно арфа, под солнцем звучала...

Чтоб наша жизнь простой была, как трава в поле,
простой, как хлеб, посыпанный солью».

«А любовь — как бушующий лес, взвихренный к звездам,
где полночная птица крылом рассекает мерцающий воздух,
а людские сердца вдохновенно
измеряют сияющие глубины вселенной».

«И когда-нибудь над рекой, следя за спокойным теченьем,
вдруг, в сверкающем озаренье, хотя б на мгновенье
все понять — смысл жизни, ее сокровенные тайны,
все, что прежде казалось загадочным, странным, случайным».

«И пережить свою смерть».— «Но не пережить любовь».—
«И найти хоть былинку, что лечит любую боль».

Штефан Жарый

ОРУЖИЕ

Перевод со словацкого Анисима Кронгауза

Орлы имеют когти, волки — зубы,
А чем поэт вооружен?
Оружьем песни,
Нежной или грубой,
Сражается с врагами он.

В ней — ритмы сердца,
Трепет постоянный.
Поэту песня — меч и щит.
На бой с несправедливостью,
обманом
Небезоружный он спешит.

Отточенное песенное слово
Неуязвимо для свинца.
Оно собьет решетки и оковы,
Оно раскрепостит сердца.

И зубы обломаются и когти,
А песня — непритуплена.
В жестоких стычках,
В непрестанном грохоте
Оттачивается она.

У пчел есть жало, у коней — копыта,
Есть иглы у ежа,
А у быка — рога.
И у поэта есть своя защита —
Строка.

Она несет награду или кару,
Одаривает правдой вас.
Она в глаза всему земному шару
Глядит, не опуская глаз.

Имеют зубы, когти, иглы
Сегодняшняя песня, стих.
Они к боям, к сражениям привыкли.
Возьмите на вооруженье их!

Мирослав Флориан

НЕДОПИСАННОЕ

Перевод с чешского Бориса Слуцкого

На лугах отцветают шары одуванчиков.
Вот они —
Словно палочки барабанщиков
Первой мировой войны.

Ветер унесет их.
Они не сумеют ударить
В барабан, возглашающий смотр мертвецов,
Чью зеленую форму
Натянули деревья,
Застегнув золоченые пуговки пчел.
Дно морское и недра земли сохранили в глубинах своих
Две войны.
Нефть, пролитая наземь, уже просочилась
К источникам. Девушки
С номерами концлагеря на руках
Вышли замуж, родили детей,
И на белых ручонках
Нет следов материнской татуировки.
Клод Марти, двадцатилетний француз,
Сын француза, замученного оккупантами,
Арестован за то, что не хочет служить
Под командою Шпейделя.
Вечер. Смеркается. Женщины
поспешно мажут губы —
Они опаздывают в кино.
Луна над парком распалась
На множество птичьих песен.
Влюбленные собирают их и снова лепят луну.
Шуберт сидит на концерте
И слушает музыку Шуберта,
Но ее прерывает
Доносящийся с улицы грохот солдатских сапог
И военная краткость команды —
Как тогда, как тогда.
Дно Ла-Манша. Потопленные подлодки
Напрягают все силы, чтобы снова
Рвануться в поход.
В Будапеште в американском посольстве
Тихо молится кардинал,
Но слова его тихой молитвы
Повторяют фабриканты оружия.
Целый мир слышит эти слова,
Потому что нынешний мир
Словно нынешний дом,
Где стены тонки
И сосед знает все про соседа.
Мир, мой дом, чтобы окна не затемнялись твои,
Чтобы мы не сшибались
Друг с другом во тьме,
Под пылающей крышей.
Мир, мой дом, чтоб жильцы
Не вносили квартирную плату
То слезами, то кровью
Инквизиторам и генералам,—
Этот стих недописанный пусть допишут живые
На заводах и пастбищах, в ресторанах и доках,
На вокзалах, в казармах, и в цехах, и на кухне,
Пусть допишут его те, кому я поверил,—
Это будет мой лучший стих.

Иржи Гавел

ВАМ ЕСТЬ У КОГО СПРОСИТЬ

Перевод с чешского Анисима Кронгауза

Мостовая — твердые камни,
Но с черепами
им не сравниться;
Били прикладами, каблуками —
Каблукам и прикладам пришлось обломиться.
Мостовые б мостить черепами!
Это не внове,
Nicht wahr, панове?
Не это ль видите вы, хмельные,
По вечерам набившись в пивные,
Когда в предвкушенье походов новых
Ноги сами шагать готовы?
Русский мороз забыт.
По приказу
Хоть к черту в ад зашагали б сразу
СС генерал, лейтенант, herr Oberst...
Гитлер мертв!
Фюрер встает из гроба.
Снятся вам годы налетов «храбрых»:
В чужих садах урожаи яблок,
Бомбы летят на купола храмов,
Святые плачут, как в гробах, в рамах,
В концлагерях — это тоже снится —
Крыльями машут мертвые птицы.
Выбитые золотые зубы,
Строясь в полки, сверкают на зависть,
Чтоб в офицерских блестящих клубах
Украсить пальцы ваших красавиц...

Потом получите отпуск краткий.
Дома камин запылает жаркий,
Тьма отойдет...
Будет все в порядке.
Детям понавезете подарки.
Только тени детей,
мертвых,
разных,
Будут молча глядеть на ваш праздник.

Даже и сны ваши жаждут крови,
А мир так наивен, nicht wahr, панове?
Весь в шрамах,
Забыв о налетах вражьих,
Он слушает вой эскадрилий ваших.
Он с полигоном ракетным ладит,
Вдовам убийц он пенсию платит.
И компаньоны за океаном
Довольны его поведеньем странным.

Было четырнадцать мне, не больше,
У меня родину отобрали.

Падал на школу крестатый коршун,
Прятались мы от него в подвале.
Было четырнадцать мне, не больше...
Разве такое может забыться:
Дипломат продал,
Купил убийца.

Ночами слышу я смех ваш пьяный
В дымных пивных у столов деревянных.
Благословляет крест ваши пьянки.
Доллары, марки, фунты и франки
На золото для креста вносили,
А оказался он из осины.
Куплен, чтоб не разлучаться с вами,
Смертью с оскаленными зубами.
Ей безразличны ваши награды,
Сборища,
Зычные марши,
Парады —
Все безразлично матушке-смерти...
Если не так — у мертвых проверьте.
Лежат они под тяжестью глины —
Завоеватели, властелины.
Мир не наивен!
Пройдена веха:
Встал человек
против сверхчеловека!

Герберт Нахбар

Свадьба на Лённекене

РОМАН

Перевод с немецкого А. Авербаха и Л. Лежневой

X

Хеннинг Грабе сообщает сугубо секретные вещи Тиммше-телеграф. Ходит молва, что он займется перевозкой рыбы. Тиммша прозевала драку.

Вечером Хеннинг Грабе сидит с Луизой Тимм за столом и без аппетита ест обед, приготовленный для него этой женщиной с желтыми глазами. Они сидят в просторной кухне, где пахнет капустой и мясом. Хеннинг то и дело тянется к солонке, обильно солит суп с капустой, картофелем и тмином. С тех пор как он столуется у Тиммши, она тоже стала обедать по вечерам. Хорошо, если есть с кем посидеть одинокой женщине. Легко ли таить в себе все, чем полна голова, а так можешь поделиться с человеком своими мыслями. И поскольку Луиза Тимм давно уже привыкла есть с необычайной быстротой, она всегда успевает поболтать за обедом. «Кто быстро ест, тот быстро работает»,— любит повторять Луиза. И потому она всегда вмиг управляется со своими нехитрыми домашними делами: уборкой, стряпней, стиркой. В душе она даже презирает тех женщин, которые жалуются, что большая стирка их очень утомляет. Луизе Тимм это непонятно. Она со своим бельем не канителится. Рассказывают, что стирает она раз в три месяца и на всю стирку у нее уходит два часа — есть ли о чем говорить!

Но Хеннингу нелегко из вечера в вечер наблюдать, как она чмокает, глотает, запихивает куски в рот. Вот он сидит, слегка подавшись вперед, смотрит в свою тарелку, ест с толком, с расстановкой все, что ему подают, рассеянно слушает Луизину болтовню и... не может не взглянуть на нее, как только она умолкает: Луиза держит ложку поперек рта и жадно чавкает. Потом снова скребет в тарелке, снова глотает — и опять у него в ушах звучит ее торопливый голос. Она рассказывает, как четвертый отпрыск Вернера Лассана из Поггендорфа опрокинул люльку своего младшего брата; рассказывает о фрау Вендлун из Нетельмина: вчера вечером к ней — то-то она, наверно, удивилась, Хеннинг, ведь три года не виделись! — приехал в гости брат из Любека. Она рассказывает, что в лавку завезли шведские сардины. Она рассказывает о пасторе Унструте — он отказался окрестить новорожденного, потому что отец ребенка заявил, что готов уплатить церковный налог, но в церковь его волоком не затащишь.

Окончание. Начало см. в № 11.

— Все-таки нехорошо это со стороны Керлинга, подумай сам, Хеннинг, ведь Унструт, право же, не дурной человек... А уж жена Керлинга — та вовсе его обидела. У нее болит грудь, она кормит, а ребенок, говорят, такой здоровенный — я его, правда, не видела, ведь она никого к нему не подпускает,— ну вот она и сказала пастору, что у нее болит грудь. А пастор — он не такой, это всякий знает,— пастор и говорит ей: фрау Керлинг, говорит он, не беспокойтесь, у меня есть средство в моей аптечке. И дал ей маленькую баночку с надписью: «Цинковая мазь»...

Луиза Тимм делает передышку, одну за другой вливает в себя четыре ложки капустного супа, давится, глотает и продолжает:

— И надо же, Хеннинг, как все-таки неблагодарны люди: Керлингша этой мази у него не взяла. Нет, говорит, не взяла я этой мази, а вдруг, говорит, он ее заколдовал, кто знает? Ты только послушай: священник заколдовал мазь! Такая неблагодарность!

Почти каждый вечер на Хеннинга изливается этот словесный поток, он слушает рассеянно, и болтливость Тиммши-телеграф кажется ему не худшим из всех зол.

— Ну, что ты на это скажешь? — спрашивает Луиза Тимм, быстро набив хлебом рот и подливая себе супу из кастрюли, которая стоит между ними на столе. И, так как Хеннинг медлит с ответом, повторяет вопрос.

— Я? — говорит наконец Хеннинг.— Я?.. Зачем же тогда она позволяет крестить ребенка, если думает, что Унструт колдун?

— А как же по-твоему? — с возмущением говорит Луиза.— Ведь так полагается!

Хеннинг не отвечает. Мысли его витают далеко. Тиммша-телеграф помешивает ложкой в тарелке и тоже молчит. Да, она действительно умолкла, хотя на этот раз рот у нее не набит. Что-то мучает ее, требует ясности, но разве угадаешь заранее, как поведет себя парень? Ведь эти Грабе все немного тронутые. И все-таки она спросит!

— Скажи-ка, Хеннинг,— осторожно подъезжает Луиза.— Вот в лавке рассказывали, будто принцесса Бербель должна родить... Ты тоже об этом слышал... Я-то не верю, но ты с ней частенько встречался, не так ли?..

Слово сказано, теперь будь что будет. Она задала один только вопрос, уж на это она, во всяком случае, имеет право, в конце концов она действительно слышала такие разговоры. Дело в том, что слушок, пущенный Луизой, ее туманный намек относительно причин драки между Адмиралом и Королем был по-своему истолкован обитателями Леннекена. Не злословие, нет, просто дружеские разговоры, самые безобидные, вполне доброжелательные. Хеннинг, разумеется, слышит это впервые. На секунду его охватывает возмущение, но он быстро овладевает собой. Ну их, этих кумушек, пусть развлекаются, он не станет портить им удовольствие.

— Все-то людям известно... просто удивительно, фрау Тимм. Но я отвечу тебе только в том случае, если ты пообещаешь, что никому слова об этом не скажешь... Обещаешь?

— Помилуй, Хеннинг, ведь ты же меня знаешь!.. Я живу совсем одна, мне и рассказывать-то некому,— говорит Луиза.

Хеннинг энергично кивает, еще ниже склоняется над тарелкой.

— Да, фрау Тимм, это так... у Бербель будет ребенок. Нам не остается ничего другого, на рождество мы поженимся... Ничего не поделаешь. Но только никому об этом ни слова, фрау Тимм! И если до меня дойдет... смотри у меня!

Мысли фрау Тимм принимают иное направление.

— Значит, к рождеству Бербель будет уже на четвертом месяце. Значит, венчаться ей без миртового венца. Но ей это и не нужно. Помнится, Берта Немцова тоже была на... постой-ка... ну да, на шестом месяце, а все-таки надела венец. Люди тогда чесали языки, а Берте все было нипочем...

А раз она могла, то и Бербель сможет, уж это так.

Да, примеров хоть отбавляй. Хеннинг с интересом слушает, затем отодвигает тарелку, зажигает трубку и задумывается. Тиммша-телеграф ест и болтает, изумленная услышанной новостью, и немного погодя как бы невзначай замечает, что уж теперь-то конечно он покончит с рыболовством и займется перевозкой рыбы.

— Что такое? — спрашивает Хеннинг и, лишь когда Тиммша повторяет, что говорят люди, начинает понимать, о чем речь.

— Да, ходит слух, что поэтому ты хочешь купить грузовик и стать рыботорговцем... Так говорят...

Хеннинг только головой трясет и удивляется, какие нелепости распространяет эта телеграфная станция. Откуда-то по беспроволочному телеграфу приходят телеграммы, их подхватывают, перевирают, лишают всякого смысла — но их принимают, разносят и снова перевирают. Где-то, в каком-то доме на Леннекене, после собрания упомянули о грузовике — и вот уже грузовик принадлежит Хеннингу Грабе, а сам Хеннинг Грабе заделался рыботорговцем. Ему стоит немалых усилий сдержать себя, не нагрубить, и все-таки его вопрос звучит резко:

— Кто рассказывает такие небылицы, фрау Тимм? Я хотел бы точно знать, кто рассказывает все это?

Луиза Тимм удивлена. Вот сумасшедший! Что с ним? Взбеленился ни с того ни с сего — разве она его ругала, или обидела, или оговорила? Ведь она передает только то, что слышала!

— Кто? — спрашивает она.— Милый Хеннинг, да разве я могу вспомнить, кто мне сказал... Погоди, быть может... Нет, не она. Да ведь это и неважно, все говорят... Ну скажи, что это неправда!

Хеннинг поднимается, берет с сундука, стоящего справа от двери, свою фуражку и говорит:

— Так вот, фрау Тимм... Кланяйтесь всем от меня и скажите, как обстоит дело в действительности. Грузовик покупаю не я, грузовик, возможно, купят сообща все наши рыбаки. Люди много болтают. Не всему следует верить.

— Господи, Хеннинг, ну чего ты взбеленился? — спрашивает Луиза.— Мало ли что говорят, не обращай внимания. Я так сразу и подумала: быть того не может... Ведь он хорошо зарабатывает рыбной ловлей, а в наше время быть рыботорговцем — тоже мало радости, подумала я...

— До свидания, фрау Тимм... мне пора идти,— говорит Хеннинг. Хватит с него. Он больше не в силах слушать эту болтовню. А про себя думает: «Лучше б ты повкуснее готовила, Луиза Тимм. Кажется, долго я у тебя не выдержу».

Он идет в дом Преппинга, а Луиза стоит за занавеской и смотрит ему вслед. «Ну и парень,— думает она.— Наградил Бербель ребенком, чтоб заполучить ее, ведь, не случись такого, она б за него ни за что не пошла. И он же еще обижается на то, что люди беспокоятся, как он прокормит семью. Много ли такой рыбак зарабатывает? Не бог весть сколько, но не об этом речь. Все они малость с придурью, эти рыбаки, все как один — и Преппинг, и Грабе, и Калла, и Брюммер. Все словно спятили с ума: сообща захотели купить грузовик! То-то передерутся между собой, уж это точно!»

Так размышляет Луиза Тимм, стоя за занавеской. На улице темно, луна взойдет лишь через несколько часов. Луиза погружена в свои мысли и догадки, она стоит у окна, словно окаменела. Глядит в одну точку и давно уже ничего не видит. Ее глаза слегка закатились. Так вот оно что. Парень сделал ребенка девушке, чтобы заполучить ее... Все останется между своими. А может быть, нет? Разве в свое время не рассказывали, что Анна Грабе была влюблена в Преппинга? Конечно, в точности ничего не известно, они это скрывали, из них ничего нельзя было вытянуть... Но нет дыма без огня. И Луиза Тимм задумчиво произносит:

— Уж раз говорят, то не зря, в этом будьте уверены.

Звук собственного голоса заставил ее очнуться, она вспомнила, что стоит за занавеской. Хочет уже уйти — что особенного может случиться ночью перед этим окном? — как вдруг напротив, в доме Адмирала Грабе, загорается свет. Луиза настораживается. Долгое время все было тихо, но потом — не обманывают ли ее глаза? — из-за идиотского дощатого забора появляется Адмирал, вот он переходит лужайку — невероятно! — переходит лужайку и направляется к Королю Преппингу. Он не смотрит ни направо, ни налево, а идет так, как ходит обычно, слегка подавшись вперед. Нисколько не колеблясь, он открывает входную дверь в доме Преппинга, переступает через порог, который, собственно, должен бы гореть у него под ногами. «Я это всегда говорила,— думает Луиза Тимм, не спуская глаз с дома Преппинга.— Я всегда говорила, что и Преппинги и Грабе — тронутые... Сейчас начнется... Ждать недолго — сейчас Король вместе с Вернером выгонят Адмирала из дома...»

И Луиза Тимм ждет, с нетерпением ждет большого скандала. Ей необходимы время от времени большие скандалы, иначе жизнь будет слишком уж скучна...

Однако в столовой у Преппинга при появлении Адмирала опрокинулся один только стакан. У фрау Фридерике вырывается громкий, пронзительный крик, как если бы перед нею стоял не Адмирал в своем лучшем синем костюме, который он надевает даже не по воскресеньям, а лишь в особо торжественных случаях. Фрау Фридерике кричит так, словно перед ней привидение.

Но привидение это гладко выбрито, оно не спеша снимает фуражку, говорит «Добрый вечер» и вешает фуражку на крючок, вбитый у двери. Теперь рядом висят две фуражки: по одну сторону фуражка Короля, по другую — фуражка Адмирала. Король тоже смотрит на эти фуражки. Должно быть, он о многом думает при этом, но хранит молчание. Адмирал тоже молчит. Он сказал «Добрый вечер», повесил фуражку и вообще ведет себя так, будто в его приходе нет ничего необычного.

Что особенного произошло? Настоящий рыбак, не какой-нибудь голодранец, посетил другого рыбака, пожалуй, еще более зажиточного. Пусть эта комната не во вкусе Адмирала — он и виду не подает. И уж конечно ни словом не обмолвился о прощении или перемирии. Ведь для этого он и пришел сюда. И все-таки появление Адмирала — событие исключительное. Без лишнего шума и всяких там штучек, но у каждого своя повадка. В конце концов, не зря он надел свой лучший костюм.

Первая нарушает молчание фрау Фридерике.

— Благослови господь твой приход и уход,— говорит она. И хоть это весьма странное приветствие для Леннекена, Адмирал понимающе кивает, словно соглашаясь с тем, что ему одновременно говорят «Добро пожаловать» и «Убирайся вон». Раз уж он сказал «Добрый вечер», говорить больше нечего. Присесть ему еще не предложили. Забыли конечно. Король, этот придурок, не глядит на гостя; наморщив лоб, он не сводит глаз с двух фуражек. И если он еще долго будет их разглядывать, то,

быть может, лучше всего снять с крючка свою и уйти. Строго говоря, одним этим посещением желание Анны Грабе уже удовлетворено. Если теперь уйти, это, так сказать, будет ловкий трюк, делающий честь любому барышнику. Да, это было бы замечательно.

И Адмирал раздумывает, не уйти ли ему. Но что-то удерживает его от такого шага. И тут Король спасает положение. Он говорит:

— Этой минуты, дорогой мой Иоганнес, я ждал двадцать — да что я говорю — тридцать лет.— И, сияя улыбкой, обращается к Королеве: — Ступай в кухню, Фридхен, приготовь нам пуншу. И побольше! — И снова Адмиралу: — Ну, присаживайся, Иоганнес, чего стоишь? Ведь ты у своего старого друга Генриха Преппинга!

Адмирал снова кивает, и снова не поймешь, как он относится к этим словам, верит ли в их искренность, теплоту и сердечность. Но он садится. И, прежде чем сесть, высоко подтягивает брюки — ведь это его лучшие брюки, а частая утюжка портит даже самый хороший костюм.

Королева, выходя из комнаты, думает: «Он сказал Фридхен! Как давно он не говорил мне Фридхен!»

Стало быть, Король очень обрадовался гостю. Если разобраться толком, у него есть для этого достаточно оснований. Всю жизнь они избегали друг друга, ссорились, подставляли друг другу ножку. Словно боролись на ринге, как два боксера, пуская в ход все запрещенные приемы. А ведь их дворы разделяла только лужайка.

Было бы, конечно, слишком — требовать, чтобы они сразу же разговорились, бросились друг другу на шею от радости и умиления. Достаточно и того, что они сидят за одним столом. Король говорит:

— Да, Иоганнес, нам сейчас самое время помириться... Похоже на то, что скоро мы с тобой будем сватами...— И так как Адмирал морщится, словно все это ему ни к чему, Преппинг добавляет: — Ну да не в названии дело, черт побери... Во всяком случае, твой Хеннинг хочет жениться на моей дочери.

Адмирал по-прежнему непроницаем. На его лице ничего не прочтешь. Король долго глядит на него, и наконец тот говорит:

— Уж так повелось спокон века. Молодые идут своим путем, старые — своим. Может, кому это и не по душе, но так уж повелось. И лучше не вмешиваться. Каждый знает, что его больше устраивает... Я достаточно прожил на свете и уже не беспокоюсь о том, что делает мой сын. Он с нами не живет, из дому ушел — пускай сам ищет свое место в жизни.

Король, подумав, отвечает:

— Ну, знаешь ли, Иоганнес, ведь твой сын ушел из дому не совсем по своей воле, на мой взгляд, немного помог ему и ты.

Наступает пауза. Адмирал не отвечает, и тогда Король продолжает:

— Собственно, это я был виноват в том, что Хеннинг ушел от вас. Не прогони ты его тогда с катера...

— Что старое поминать! — говорит Адмирал.— У каждого свои причины, и эти причины не всегда понятны другому. Я не желаю Хеннингу зла, но пусть он идет своим путем.

Король испытующе смотрит на собеседника, спрашивает:

— Тебе, конечно, не очень нравится, что твой сын связался с большевиками?

Звучный, с хрипотцой, голос Короля выдает, насколько все это серьезно для него.

Адмирал поднимает глаза, впервые с той минуты, как вошел в комнату, глядит Преппингу прямо в лицо и говорит:

— Настоящему, старой закваски человеку это вообще не может нравиться, Генрих. Ты сам все прекрасно понимаешь.

Фрау Фридерике приносит пунш. Король потирает руки, причмокивает.

— Так и быть, Фридхен, выпей с нами стаканчик,— говорит он, сияя улыбкой.— А потом иди спать.

Хорошо, что Вернер пошел сегодня в кино в Неттельмин, а то пришлось бы выпроваживать и его. Фридерике невдомек хитрость Короля, и она простодушно соглашается. Привыкнув рано ложиться, Фридерике в глубине души даже побаивалась, что придется провести с ними весь вечер. Прежде чем выпить, она молитвенно складывает руки, потом чокается с мужчинами.

— За твое здоровье, Иоганнес!

— За ваше здоровье, Генрих, Фридерике!

И Королева отвечает:

— За здоровье и вечную жизнь!

Но, хоть это и сказано от чистого сердца, Король искоса глядит на нее.

Они долго сидят. Уже далеко за полночь, их головы разгорячены алкоголем и разговором, глаза слегка остекленели. Генрих Преппинг несколько раз вставал и выходил из комнаты, ведь пунш ускоряет кровообращение. Вот он вернулся, останавливается, пошатываясь, в дверях, смотрит на фуражки и кричит Адмиралу:

— Послушай, Иоганнес, что я тебе скажу. Мы должны жить одной головой... да, одной... должны жить головой...

Его язык заплетается, Король по нескольку раз повторяет одно и то же. Он снимает с крючка фуражку Адмирала и, помедлив немного, вешает на гвоздь, на котором висит его фуражка, попросту напяливает одну фуражку на другую.

— Мы должны крепче держаться друг за дружку, Иоганнес! Вот волшебное слово, которое... это самое... нас...

Но Адмирал и слышать об этом не хочет.

— Чего там держаться, будем приходить друг к другу по вечерам — и достаточно. Некоторые думали, что меня легко провести, да не тут-то было!

Король снова садится, перегибается через стол, каркает:

— Ты дурак, Иоганнес. Неужели ты не видишь, куда они хотят нас загнать?.. Неужели не видишь? Ведь нам ясна цель этих людей... Их цель — кооператив второй ступени. Но если они рассчитывают, то мы тоже рассчитываем... Мы тоже...

— Ты, Генрих, всегда умел рассчитывать. Но и с тобой бывало, что ты просчитывался. Очень даже просчитывался! — говорит Адмирал и в упор смотрит на собеседника, выдерживая его взгляд.

— Думаешь, я хочу тебя облапошить, Иоганнес? Ведь мы с тобой снова друзья, настоящие друзья... Да не смотри ты на меня так... Я говорю, давай сольем наши бригады, не то уже на следующий год у нас будет вторая ступень. Мы еще можем держаться. Это наша цель...

Они сидят за столом и пьют пунш, вот уже десятки лет они так не сидели. Сегодня особенный вечер. Но пунш не может изменить Адмирала. Он пришел сюда не для того, чтобы дать обвести себя вокруг пальца. Пусть Генрих Преппинг не воображает, что он, Иоганнес Грабе, не понимает, что к чему. Ладно, пусть кончится вражда между Преппингами и Грабе, но... в разумных пределах! И Адмирал говорит:

— Уничтожить... Это единственно правильный путь... Уничтожить весь кооператив!

Король трясет головой почти соболезнующе.

— Уничтожить, уничтожить... Это не под силу ни тебе, ни мне, никому... Все, что мы можем сделать,— это держаться... Вот уже десять лет,

как они зажали нас в тиски... Дело не только в Леннекене... Их становится не меньше, а больше, Иоганнес! И если мы вдвоем сколотим одну бригаду — выиграем год, а то и два... Поверь мне!.. Ведь ты на этом ничего не теряешь, я каждый раз сдаю рыбы больше твоего. Подумай хорошенько!

Адмирал не может скрыть своего недоверия. Он обдумывает предложение Короля. Всю свою жизнь Иоганнес Грабе работал самостоятельно, а теперь он, кроме того, и руководитель бригады. Зачем же ему поступаться своим положением, да еще в пользу Генриха Преппинга?

— Это вопрос, сдаешь ли ты больше...— говорит Адмирал. В голове у него шумит. Он выходит, снова возвращается, и Король сразу же начинает:

— Ведь ты будешь зарабатывать не меньше, а больше... Эх, Иоганнес, Иоганнес! Ты пойми, когда наши бригады объединятся, они будут получать не меньше, чем теперь...

Адмирал отрицательно качает головой.

— Это еще вопрос, зарабатываешь ли ты больше, Генрих Преппинг. Это еще очень большой вопрос.

— Но это же легко доказать, у меня все квитанции на руках... Я могу легко тебе это доказать... Или думаешь, я не знал, по сколько ты всегда ловил? Думаешь, не следил за этим? Что ты, Иоганнес Грабе!

Король поднимается, явно намереваясь привести документы в подтверждение своих слов.

— Садись, Генрих,— останавливает его Адмирал.— Я все знаю. Думаешь, я не следил за тем, сколько рыбы ты ловил? Да ты, должно быть, меня за дурака принимаешь!

Король снова садится. Они смотрят друг на друга, их лица серьезны, но постепенно появляются улыбки, сперва на лице Короля, а потом и у Адмирала. Не говоря ни слова, они поднимают стаканы, чокаются. Как бы они ни захмелели, но в эту минуту понимают друг друга. В эту минуту оба знают, что действительно связаны друг с другом, насколько это для них возможно.

Они пьют и отставляют стаканы. Адмирал твердит свое:

— Уничтожить, Генрих! Только это еще может помочь!

Король тихо качает головой, подливает пуншу и каркает на всю комнату:

— Я и слышать об этом не хочу, Иоганнес. Ты глупец... Ну и оставайся им в свое удовольствие.

Подвыпивший, в блаженном состоянии духа Адмирал бредет по лужайке, которая больше не разделяет их дома.

Тиммша-телеграф так и не узнала, чем кончилось дело. Она спит, а Адмирал проходит совсем бесшумно. Анна Грабе ждет его и помогает лечь в постель.

Она тихо и благозвучно напевает какую-то церковную песню. Адмирал храпит во сне... Он сильно захмелел.

XI

Не сахарная ли ты, Ротрауд! Каждый день что-нибудь новое

Фриц Вуссов уже сидит в сарае, когда Ротрауд, жена Клауса, приносит просоленных, затвердевших угрей. Она молча ставит ведро на землю, пододвигает к себе табуретку, садится и начинает очищать угрей от слизи и соли. В огромном сарае, который Вуссовы своими руками построили несколько лет назад, стоит тишина. Ее нарушает только скре-

жет, производимый Фрицем — он работает на наждачном кругу,— и стук, когда очищенные угри падают в кадку. Да еще ветер посвистывает в камышовой крыше.

Фриц задумался, он заново переживает все то, о чем вчера вечером говорили между собой Вуссовы. Вернее сказать, Клаус, он и Ротрауд.

Тут что-то надо сделать, нельзя оставлять все так, как было вчера. Во все надо внести ясность, размышляет Фриц за работой. Для него нет ничего неприятнее подобной половинчатости и непродуманности.

Они поужинали, и Клаус хотел уйти в свою комнату, как Фриц вдруг сказал:

— На следующем собрании надо поговорить о причале. Мы разгружаемся сейчас в городе, но так дальше дело не пойдет.

— О причале?.. А как вы будете перевозить рыбу?..

Собственно говоря, тут-то и начался разлад. Уже в эту минуту Фриц разозлился на Клауса. Клаус сказал «вы», словно его это не касается.

Возможно, Клаус сказал это не подумав, просто так, сболтнул. Во всяком случае, сразу же образовались два фронта. И тут Фриц бросил некстати:

— Кооператив собирается приобрести грузовик.

Клаус сидел за столом, откинувшись на спинку стула, засунув руки в карманы, и даже не взглянул на Фрица.

— Вот как...— произнес он немного погодя.— А мы еще ничего об этом не знаем...

— Ну так знайте,— сказал Фриц.

— Любопытно, кто додумался до такой глупости... Каждый день что-нибудь новое!

— А я слышала, что Хеннинг Грабе хочет купить грузовик и построить причал... Во всяком случае, так рассказывали в лавке,— сказала Ротрауд.

— Кто рассказывает такой вздор? — спросил Фриц.

— Вздор или не вздор — во всяком случае, рассказывают! — Голос Ротрауд звучал почти зло, как если бы Фриц обидел ее лично. Ну да всем известно, что Ротрауд очень обидчива. Немного надо, чтобы ее обидеть.

Макс Вуссов сидел тут же и читал газету. Его лица не было видно, поэтому трудно сказать, прислушивался он к их разговору или действительно читал. Матушка Вуссов хлопотала в кухне, перетапливала сало; в комнату проникал запах лука и яблок, которые тушились в жиру, пряный аромат чебреца.

— Вздор! — повторил Фриц.

— Вот именно вздор — все то, что вы выдумали... Шутка ли сказать — купить грузовик! Рыбаки — владельцы «элькаве»! Нет, вы и вправду сошли с ума! — Клаус самодовольно рассмеялся. И тут Фриц перехватил взгляд, который Ротрауд бросила на мужа.

— Боже мой, как она его обожает!.. А он просто дурень, твой Клаус! — сказал Фриц.— Надо же! Восторгается своим Клаусом, словно тот Америку открыл.

— Оставь Ротрауд в покое! Если люди и болтают вздор, моя жена тут совершенно ни при чем.

Да, сколько раз так бывало: стоит косо поглядеть на Ротрауд, как миролюбивый, избегающий всяких споров Клаус превращается в ежа. И тогда уж с ним просто невозможно разговаривать. Фриц это давно заметил, но не в его характере сдерживать себя, когда он чем-либо раздражен. Вот если бы в комнате была матушка Вуссов, она бы уж непременно вмешалась, рассказала бы какую-нибудь длинную историю

или завела с Ротрауд разговор о набивке перины, о свойствах лебяжьего пуха, о тыкве, которую надо будет скоро законсервировать, и что теперь, видимо, придется положить в тыкву больше гвоздики, чем в прошлом году. Ротрауд наверняка увлеклась бы всем этим, и мужчины могли бы разговаривать одни. Но мудрая матушка Вуссов, улаживающая все споры, перетапливала в кухне сало. А Макс Вуссов, удобно устроившись в углу дивана, читал; виднелись лишь его руки, которыми он держал газету,— большие, крепкие руки рабочего человека. Давно прошло то время, когда этими руками он спускал со своих мальчишек штаны.

— На мой взгляд, уж если говоришь вздор, то хоть жена-то не должна умиляться,— сказал Фриц.— А то, может статься, муженек целыми днями только и будет болтать вздор.

В самом деле, почему он должен молчать, если совершенно ясно, что он прав, а брат и его жена не правы?

— В последний раз тебе говорю, оставь Ротрауд в покое! — выпрямился Клаус.

Но Фриц только отмахнулся, сделал рукой жест, который ясно означал: Ротрауд тут ни при чем, речь идет не о Ротрауд, а о грузовике, который мы уже собирались приобрести. И я хочу с тобой поговорить, чтобы ты снова не молол ерунды на собрании. Я хочу с тобой поговорить, так же как Хеннинг говорит с бригадой Короля, а Бернгард Калла — с Брюммером и другими. Вот что означал жест Фрица, к тому же это было написано у него на лице. Но Клаус видел лишь, что его Ротрауд в опасности, и знал, что она может защищать себя только молчанием.

— Нечего махать тут руками... И заруби себе на носу то, что я уже сказал тебе... Оставь Ротрауд в покое, не то будешь иметь дело со мной!

И когда Фриц сказал: — Ничего мне не нужно от твоей Ротрауд, да пусть она хоть на трон тебя посадит или в вату завернет — мне-то не все ли равно? — было уже поздно.

Ротрауд встала и направилась к выходу. Клаус — за ней. И хотя Фриц прокричал им вслед: — Ведь дело совсем не в этом! — все было напрасно.

Клаус с шумом захлопнул дверь. Макс Вуссов, не отрываясь от газеты, сказал:

— Тебе нужно поскорее жениться, мой мальчик... А так у тебя все в порядке.

Замечание Макса Вуссова особенно злит Фрица, который сидит теперь в сарае и пробует, хорошо ли наточены ножи. «С отцом тоже надо поговорить, кто знает, что они начнут плести на собрании»,— думает он. Ножи наточены хорошо, можно приступать к разделке угрей. Дело это для него не новое, он может потрошить угрей чуть ли не с закрытыми глазами. Он сидит на табуретке напротив Ротрауд и потрошит угрей. Кожа у рыбы затвердела от соли и даже у серебристых угрей приобрела коричневый оттенок.

Стоит ли заговаривать с этой женщиной, которая молча сидит напротив, очищая каждую рыбину? Да, стоит. Недомолвки — это всегда нехорошо. Нет людей столь неразумных, чтобы им не помогло доброе слово, нет людей столь замкнутых в себе, чтобы искреннее, дружеское слово, сказанное с добрым намерением, не могло устранить все неясности, не открыло их душу. Надо лишь быть готовым услышать голос дружбы и доброй воли. Надо прежде всего понимать, чего от тебя хотят.

Фриц говорит:

— Мы хотим совместно приобрести грузовик, весь доход от машины будет общим, как и расходы, разумеется.

Может быть, не очень умно сразу же говорить о расходах? Жена Клауса не отвечает. Надо попытаться еще раз...

— Машина будет принадлежать всем рыбакам, а не кому-нибудь одному, не Хеннингу Грабе и никому другому, как болтают...

Нет, она даже не считает нужным отвечать. Возможно, она думает, что все, о чем ей здесь толкуют,— мужское дело... Ага, вот и Клаус пришел, это хорошо. Он берет нож, садится рядом и тоже начинает чистить угрей. Это вполне естественно: ведь они потом будут вместе их есть. В штормовую погоду, когда о рыбной ловле и думать нечего, в сарае хорошо работается. Над крышей завывает ветер, пробиваясь с легким свистом сквозь дверные щели. В большое окно, если поднять глаза, виден залив. Потемневшая поверхность моря сплошь покрыта белыми барашками, словно на воду опустились тысячи чаек. Белые чайки на темной воде.

Однако Фриц стоит на своем. Ему хочется выяснить все до конца.

— Я вот о чем толковал сейчас с Ротрауд, Клаус... Машина принесет нам немалый доход, а будет свободна — займемся другими перевозками... Я хочу сказать — летом.

Клаус вспарывает брюхо угря и выскребает внутренности. Немного спустя он говорит:

— Каждый день что-нибудь новое... Грузовик и перевозки — нет, настоящим рыбакам это не к лицу.

— Какие перевозки? Об этом и речи нет, парень... Но не простаивать же машине, если она у нас свободна?

Клаус только пожимает плечами.

— Мне все равно, простаивает она или нет... Мне она вообще не нужна.

— Но почему? Ну скажи, почему?

Клаус молчит. Ротрауд не поднимает глаз. Зачем давать повод для упрека, будто она боготворит Клауса? Очень надо! Уж лучше она будет глядеть себе под ноги. Не станет она вмешиваться во все это, хватит с нее вчерашнего. А Клаус, ее Клаус, и один справится с Фрицем. Он совершенно прав: каждый день что-нибудь новое, ни на минуту не оставят в покое!

— Я раз и навсегда хочу тебе сказать, Фриц, что́ мне не нравится во всей этой затее, раз и навсегда! Вот вы опять носитесь с чем-то новым — и при этом совсем забываете, как слаб еще кооператив... Вспомнить хотя бы о местах для вершей... Словом, пока не будет наведен порядок, не суйтесь ко мне с вашим грузовиком. Понятно?

— Ну и дурак же ты,— говорит Фриц и снова начинает злиться на Ротрауд, которая не могла сдержаться и улыбнулась мужу во время его блестящей речи.— Пойми же ты, наконец: ведь грузовик — это будет что-то общее! Это поможет нам в дальнейшем!

Но Клауса не так-то легко убедить, похоже на то, что слова брата вообще не доходят до него. Так или иначе, он повторяет еще раз:

— Каждый день вы выдумываете что-нибудь новое, отвяжись от меня.

Клаус произносит это с таким безразличием — с таким невероятным решительным безразличием, что Фрицу стоит больших усилий сдержать себя. Он глубоко вздыхает и ожесточенно принимается потрошить угрей. Он больше ничего не говорит, только ругается про себя — и неожиданно возвращается мыслями к Ротрауд. Что только не приходит ему в голову. Клаус совсем под каблуком у жены — это каждому видно. Стоит

ей сейчас сказать: «Конечно, Фриц прав»,— и Клаус сразу изменит свое отношение к делу. «Надо же,— думает Фриц,— чтобы к такому парню подобралась такая дурочка, и это всегда так... У самых лучших мужчин почему-то всегда самые глупые жены».

Но всему свое время. Фриц хотел бы изменить весь Леннекен в один день, он полагает, что хорошо разбирается в отношениях Клауса и Ротрауд. А что сказал Макс Вуссов вчера вечером, когда читал газету? Он хоть и неправильно объяснил настойчивое желание Фрица поговорить с Клаусом, но доля истины в его словах есть. Женатый человек обычно менее горяч на слова, чем холостой. Клаус давно уже обдумывает это дело с грузовиком, но он такой же, как большинство рыбаков на Леннекене: ко всяким новшествам они привыкают не сразу. Они любят старое, любят думать и поступать по старинке. И прежде чем полюбят новое, оно должно чуть-чуть запылиться, должно быть тысячу раз обдумано и передумано. Новое от этого не стареет, а тем временем, глядишь, к нему уже и привыкли.

Наконец угри разделаны. Теперь их нужно промыть, а потом можно приступить и к копчению. А ты, Фриц, будь хоть немножко похитрее и не говори больше о планах кооператива. Ты заставил Клауса задуматься над этими вопросами, пусть он сам найдет ответ, не мешай ему. Уж он наверняка во всем разберется. Не мешай ему сейчас, ему нельзя сейчас мешать, не мешай ему и завтра. Потом он сам придет, спросит, захочет узнать подробнее. И уж наверняка тогда скажет: «Если мы приобретем грузовик...» Он уже больше не скажет: «Если вы приобретете грузовик...»

Клаус встает и относит рыбу во двор, чтобы вымыть ее под насосом.

И тут Фриц говорит:

— Ротрауд, хоть бы ты уговорила Клауса! — Голос Фрица звучит проникновенно. Со двора доносится скрип рычага насоса.

Ротрауд смотрит на Фрица и растерянно говорит:

— Но я ведь ничего не понимаю, Фриц!..

— Не понимаю, не понимаю...— повторяет Фриц.— Неужели ты ничего не поняла? Ну, чего ты не поняла?..

В голосе Фрица звучит раздражение, и Ротрауд считает, что разговор лучше прекратить. Недолго думая она берет ведро и выходит из сарая, оставив Фрица одного. Очень нужно, чтобы тебя выставляли дурочкой! Клаус стоит у насоса и смотрит вслед жене; наклонив голову, она уходит в дом. Клаус бросает быстрый взгляд на дверь сарая, видимо, догадываясь, почему ушла оттуда его жена.

Братья принимаются насаживать угрей на вертела — по шесть-семь штук на каждый; рыбы при этом не должны соприкасаться, чтоб жар и дым со всех сторон охватывали их. Оба стоят над коптильной бочкой и развешивают готовые вертела. Довольно долго они хранят молчание, но вот Фрицу кажется, что оно слишком уж затянулось, и он говорит:

— Как я погляжу, ты и в самом деле думаешь, что грузовик, который мы...

— Заткнись ты, наконец, со своим грузовиком!

— Почему моим? Он такой же мой, как и твой, я же тебе сразу сказал... ты должен это понять...

— Замолчи, говорят тебе... Мне это порядком надоело.

— Ты слишком много слушаешь свою Ротрауд, как будто она что-нибудь понимает!

Между братьями — коптильная бочка. Каждый держит в руке вертел с угрями — прямо и чуть-чуть в сторону, чтобы ни одна рыба не упала. Они глядят друг на друга, на их лицах отражается волнение.

— При чем здесь Ротрауд?

— При чем здесь Ротрауд? Это я тебе точно скажу: она здесь при том, что ты только ее одну и слушаешь. Стоит ей ласково взглянуть на тебя — и все хорошо... Как будто она вообще что-нибудь понимает...

— Я тебе уже раз сказал — оставь Ротрауд в покое!

— Оставлю, конечно оставлю, так или иначе — все глупо...

— А ну-ка, повтори!

— Ну да, глупо, и больше...

И тут Клаус, спокойный, благоразумный Клаус, всегда избегающий споров, размахивается вертелом с нанизанными угрями и в безрассудном гневе ударяет брата по лицу. Едва это произошло, гнев тотчас проходит и остается лишь раскаяние. Но Фрицу очень больно, он стискивает зубы, на глаза навертываются слезы; вертел выпадает из его рук, и он не глядя наносит кулаком ответный удар. Они бросаются друг на друга, не жалеют кулаков, откидывают головы, удары сыпятся один за другим. Они вцепляются друг в друга, клубком катаются по двору — оба сильные, оба молодые,— и, надо прямо сказать, эта драка, от начала до конца, для них одно удовольствие. В ней — разрядка напряжения, возникшего не только из-за грузовика, не только из-за расхождения во взглядах на Ротрауд... Быть может, Вуссовы живут уж слишком мирно, быть может, уж слишком часто Клаус избегает споров. Фриц давно заслуживает хорошей взбучки, этот молокосос с его вечным подковыриванием, с его кооперативом, с его партией. Никогда-то он не держит язык за зубами, вечно ему больше всех надо... А этот Клаус считает себя страшно умным, потому что на несколько лет старше. Сам же трус, каких мало. Никогда не скажет прямо «да» или «нет», все ходит вокруг да около, лишь бы не откровенно, лишь бы избежать спора. Уж он всегда был таким! И все время держится за юбку Ротрауд... Они пыхтят и не скупятся на удары, они катаются по двору. Сверху оказывается то Фриц, то Клаус. Их лица уже разбиты в кровь, одежда перепачкана.

Тут из дому выходит Элена Вуссов, видит эту картину и бежит за Максом. Он подскакивает к дерущимся, разнимает их, одной рукой берет за руку Клауса, другой — Фрица, разводит их руки далеко в стороны, смотрит, резко двигая головой, то на одного, то на другого, а затем сводит их руки вместе, сталкивает драчунов друг с другом, словно картонные куклы, и тут же убеждается, что ничего этим не достиг.

— Что случилось? Вы что, спятили? — кричит он на них. Они стоят рядом — отец между ними,— растерянно отирают с лица кровь, отряхиваются. А Элена Вуссов, старая женщина, умеющая хранить мир в семье, приникла к стене, на ней лица нет, уголки ее рта вздрагивают. Она поспешно уходит в дом. Но Ротрауд остается, ее глаза широко раскрыты от волнения.

Братья стоят на месте и не знают, что сказать в ответ. Да, может, они и впрямь спятили — так измордовать друг друга!

На ужин они едят копченых угрей. Фриц не принимал участия в копчении. Сразу же после обеда, прошедшего в полном молчании, он сел на велосипед и поехал к Хеннингу Грабе, а затем вместе с ним отправился в бригаду Шустера.

Оказалось, даже Шустер — а он рыбачил на хороших местах — вовсе не возражает против покупки грузовика. Правда, он не сказал ничего определенного, но его бригаду, бригаду номер один, убедить было нетрудно. А Эбелинг, тот даже сказал: «Очень разумно... В конце концов, это принесет нам неплохой доход...»

Ужин проходит не особенно весело. Пожалуй, лучше пореже встречаться взглядами. Что хорошего — подрались как мальчишки! И еще вопрос, поверил ли Хеннинг Грабе, что он упал с велосипеда, налетев на корневище.

Пока что никто словом не обмолвился о случившемся. Очень плохо, что мальчики не ладят друг с другом. Надо будет обязательно поговорить с ними, но, конечно, не сразу. После обеда Макс Вуссов долго размышлял и кое-что надумал.

Они едят жирных копченых угрей со свежим белым хлебом. Закончив ужин, Фриц говорит:

— Бригада Шустера одобряет покупку грузовика... и Карл Дассов из бригады Адмирала тоже...

Может быть, не следовало так говорить? Но ведь теперь для этого есть полное основание. Макс Вуссов одобрительно кивает:

— Очень разумно... Это принесет нам пользу.

Все сидят за столом, никто не собирается вставать. Тут же молча сидит маленький Петер. Он смотрит то на отца, то на Фрица — у него такое исцарапанное лицо! Совершенно ясно: дядя Фриц и отец подрались. Как жалко, что он в то время был в школе. Это стоило бы посмотреть! Отцу, видно, тоже досталось, один глаз у него здорово распух.

Но вот Ротрауд говорит:

— Иди, Петинг, тебе пора спать.

Наверняка взрослые сейчас начнут рассказывать, как все было, как папа и дядя Фриц подрались. Петеру это очень интересно, и он спрашивает:

— А завтра вы подеретесь еще раз?

Клаус вспыхивает до корней волос, а Петер говорит:

— Только, чур, после обеда! Ладно?

Первым разражается смехом Фриц:

— Я тебе обещаю, Петинг... В следующий раз мы обязательно тебя пригласим.

А Клаус, криво усмехаясь, поясняет:

— Мы просто пошутили, мой мальчик... Не думай, что мы дрались всерьез.

Петер стоит с задумчивым видом и почесывает нос кончиком пальца. Надо бы еще кое о чем спросить, но мать спешит уложить мальчика в постель.

Макс Вуссов заговаривает о ссоре лишь после того, как Элена уходит. Для Элены Вуссов этот день — самый черный день ее жизни. Уходя, она говорит:

— Иным и невдомек, как хорошо им живется... Вот, думаешь, дети уже взрослые... и вдруг на тебе, пожалуйста... Нет, вы совсем не понимаете, как хорошо вам живется...

Старик Вуссов не торопится. Не такое это дело, чтобы так, сразу, о нем говорить. Некоторое время он молчит, затем начинает:

— Мать и я — мы всю жизнь никому не могли доверять, и мы действительно никому не доверяли... Но зачем вам брать пример с нас? Чтобы и вы никому не доверяли? Чтобы не доверяли друг другу? Помилуй бог, вы же молодые парни... Надо держаться друг за друга... А ты, Клаус, можешь спокойно положиться на Хеннинга Грабе, ведь он же твой друг... Поди найди еще такого рыбака, как Хеннинг Грабе! Уж если он говорит, что стоит купить грузовик, значит, стоит... А если ты считаешь, что незачем каждый день придумывать что-то новое, тогда тебе вообще место среди стариков, вот что я тебе скажу... Конечно, не надо

так горячиться, как твой брат Фриц, но быть чуточку посмелее тебе бы не помешало...

— Это все из-за Ротрауд,— оправдывается Клаус.— Он ее без конца подковыривает...

Клаус говорит это очень неуверенно. А Макс Вуссов отвечает:

— Так ведь Ротрауд тоже не из сахара... Или, думаешь, она растает, если попадет под дождь?

Этот образ вызывает у всех троих смех. И это первый вопрос, который они задают Ротрауд, когда та приходит. Вуссовы спрашивают, не сахарная ли она? И спрашивают до тех пор, пока и она не начинает смеяться.

XII

Если у Бербель будет ребенок, теряет значение все, что еще вчера было существенным

В доме Адмирала снова мир и покой. Жизнь опять пошла размеренно, как до ссоры с Хеннингом. Для Анны Грабе дни тянутся, как звенья бесконечной цепи. День приходит за днем и заполняется одними и теми же будничными делами... Ну ладно, сына нет, не с кем поговорить по душам, зато забрезжила новая надежда. О многом нужно подумать: прежде чем маленький человек, младенец, появится на свет, все должно быть рассчитано и подготовлено. Ах, если б он только родился! Если б только он родился не слишком поздно, как случилось в ее собственном замужестве: у нее мальчики родились поздно.

Но Анну беспокоит не одна только мысль, как бы не пришлось слишком долго ждать, пока появится новый Грабе. Ее беспокоит и этот странный дед, Иоганнес Грабе, у которого появится внук: ведь и взрослым с ним нелегко, а каково-то будет ребенку?.. Один дед здесь, в этом доме, другой — в соседнем. Станет ли вообще Иоганнес Грабе дедушкой своему внуку, если Хеннинг и Иоганнес не разговаривают друг с другом? Может ли Хеннинг допустить, чтобы его мальчик разговаривал с дедом, если он сам с ним не разговаривает?

Ах, эти одинокие часы, которые проводишь в подобных размышлениях! И, так как знаешь, что со временем многое может измениться, иной раз на какую-то секунду — страшно долгую секунду — приходит мысль: лучше бы ребенка не было подольше. Пусть еще пройдет некоторое время, пока все не утрясется как следует. Но из всех мыслей эта — самая горькая. И поскольку причину горечи долго искать не нужно, ибо она здесь же, в доме, то иной раз случается, что в Анне подымается жгучая ненависть к этому человеку, который пытается прошибить головой стену и хочет, чтобы все плясали под его дудку...

В доме Адмирала все мирно и спокойно, как бывало прежде. Анна Грабе, тихо напевая, хлопочет в кухне, шьет на досуге детское белье, вяжет, что-то тихонько мурлычет себе под нос, потом умолкает и надолго погружается в раздумье. В ее глазах — странный затаенный блеск. А Адмирал? Он без конца ворчит себе под нос; вернувшись же с работы, садится за стол, молча ест, затем устраивается у окна и мечтает.

Случается, он по старой привычке все еще теребит мочки ушей, когда в доме у Короля зажигается свет. Однако после их примирения это случается редко. Как ссора, так и примирение имеют свои положительные стороны: ныне Адмирал живет с женой в мире, она стряпает, стирает, кормит овец и коз. Не надо бояться своего врага — он больше не враг, а друг. Во всяком случае, так он уверяет. Теперь они встречаются, приветливо здороваются и вместе ругают кооператив. Но стоит

Анне Грабе завести речь о примирении с Хеннингом, Адмирал становится непреклонен. Какую радость, какую необыкновенную радость она испытывает, когда сын — тайком, украдкой — навещает мать. А ведь это его дом.

Странный, удивительный мир царит в доме Адмирала! Сколько несбывшихся желаний, сколько невысказанных слов сопутствуют этому миру! Порою даже становится страшно.

Ежедневно в полдень к приходу почтальона Анна Грабе садится у окна в столовой и ждет. Темной тенью пролетает он мимо окна на своем велосипеде. Тогда Анна выходит, берет у него газету, а иногда и письмо. В последнее время чаще приходят открытки. Бербель шлет привет из Ростока — обычно всего несколько слов, зато какая это радость! Ведь кто-то думает о тебе в этом большом городе Ростоке!

Вот и почтальон промелькнул мимо окна. Анна Грабе выходит из дому.

— Я очень рад,— говорит Карл Эмзес, почтальон,— что Хеннинг снова живет у тебя!

Не понимая, что он имеет в виду, Анна Грабе улыбается. Она смотрит на письмо: оно адресовано Хеннингу Грабе, проживающему у Анны Грабе. Слова «у Анны Грабе» жирно подчеркнуты. Она переворачивает письмо — да, это письмо от Бербель. Но почему она пишет: «у Анны Грабе»? Она ведь хорошо знает, что Хеннинг у нее не живет. Как же это понять? Карл Эмзес пристально смотрит на Анну. На его морщинистом лице застыло любопытство.

Тут что-то не ладно, это сразу видно. Она перечитывает адрес получателя и адрес отправителя, качает головой.

— Что-нибудь не так? — спрашивает Карл.

— Нет-нет...— говорит Анна Грабе,— здесь черным по белому стоит мое имя, значит, мне и получать.

Карл Эмзес надвигает фуражку на лоб и с задумчивым видом почесывает за ухом.

— Право, не знаю,— говорит он, снова сдвигая фуражку на затылок.— Если Хеннинг здесь не живет, значит, адресат указан неверно. А в таком случае я не имею права вручать письмо. Такое у нас правило.

— Осла знать по ушам, медведя — по когтям, а дурака Эмзеса — по речам,— говорит Анна Грабе.— Ты что, читать не умеешь, здесь же написано: проживающему у Анны Грабе... Или ты хочешь доказать мне, что я — это не я?

— Да-а-а, если Хеннинг снова тут живет, тогда конечно... Дело лишь в том, живет ли он здесь на самом деле?

— Ты безнадежно глуп, Карлинг, как я погляжу. Ведь тут же стоит мое имя!..— Фрау Грабе больше не желает разговаривать на эту тему. Она кладет письмо в карман передника, кивает Эмзесу и говорит:

— Если ты с каждым будешь столько болтать, то не разнесешь почту и до завтрашнего вечера.

— Я очень рад, что Хеннинг снова живет с вами,— отвечает Карл, садится на велосипед и направляется к дому Преппинга.

Письмо лежит в комнате на столике для шитья. Анна Грабе сидит за столиком, вяжет маленькую голубую шапочку и то и дело поглядывает на письмо, на первой странице которого, думает она, рассказывается о том, чего пока нет. Анну Грабе разбирает любопытство. Как жаль, что мальчика нет, что он в море. Вот муж, Иоганнес Грабе, тот целыми днями дома, даже в хорошую погоду. Возится с чем-то во дворе. Ночи нынче светлые, верши проверяют каждый третий день, не чаще — в светлые ночи осенний угорь не идет в сети. Да, Адмирал, тот дома, а Хен-

нинг Грабе в море, ловит камбалу. Надо дождаться вечера и встретиться с Хеннингом у Тиммши, когда он придет к ней обедать.

Но вот Хеннинг возвращается, а Анна не может отлучиться из дому. Адмирал требует ужин. Она быстро подает на стол хлеб, масло, колбасу, заваривает чай. Потом повязывается платком и хочет уйти, чтобы передать письмо.

— Неладные дела творятся на свете,— говорит Адмирал,— если жены убегают по вечерам из дому, не сказав мужу куда.

— Я скоро вернусь... Успокойся,— отвечает фрау Грабе и оставляет Адмирала одного. Тот лишь качает головой.

Нет, это письмо просто заколдовано. Хеннинг берет его и продолжает невозмутимо есть уху из угрей, которой Тиммша-телеграф потчует его уже второй день. Он откладывает письмо и даже не глядит на него.

У Тиммши, конечно, хватает нахальства взять письмо и прочесть адрес.

— Смотри-ка, тут написано «проживающему у Анны Грабе»... Но ведь это ж не так! — восклицает она.

Хеннинг говорит:

— Положи письмо на стол, фрау Тимм. Ты же видишь, это письмо мне, а не тебе.— Затем отодвигает тарелку и, не обращая внимания на болтовню Тиммши, вскрывает конверт. Он садится так, чтобы Луиза Тимм не могла подглядеть, и читает письмо. Но что это — в одном конверте целых два письма?..

Хеннинг Грабе читает. А потом — потом вкладывает письма в конверт, сует конверт в карман и закуривает трубку.

— Что же она пишет? — спрашивает Тиммша.

А Анна Грабе говорит:

— Прилетела птичка — от любимой весть.— И улыбается при этом.

Хеннинг улыбается в ответ и говорит:

— Она велит тебе кланяться, мама.

— Значит, ничего плохого? А я уж думала, что нибудь случилось,— говорит Анна Грабе и облегченно вздыхает.

— Что же может случиться?.. Бабс много работает, чувствует себя хорошо.

— Хорошая у тебя будет невестка, ничего не скажешь,— говорит Тиммша.— И красивая, и богатая, это так редко бывает.— И так как Анна Грабе встает и хочет уйти, быстро добавляет: — Вот только, говорят, заносчива, ну да мало ли что болтают.

— То и счастье, что одному вёдро, другому — ненастье,— отвечает на это Анна Грабе, и ни слова больше. Она возвращается к Адмиралу, который жует своими крепкими зубами бутерброды и по мере насыщения все меньше сердится на жену за то, что она, ничего не объяснив, исчезает из дому неизвестно куда.

Хеннинг не торопится уходить. Нет, об этом лучше не разговаривать. Он выжидает, держит себя очень спокойно. Тиммша ничего не должна заметить.

В своей комнате, на чердаке в доме короля Преппинга Хеннинг перечитывает письма еще раз. Бербель пишет: «...Не думай, Хеннинг, будто это обстоятельство что-либо меняет в наших отношениях. Нет и еще раз нет. Но и ты должен понять, что он — мой отец. Каков он ни есть — он все же мой отец. Не то чтобы я не видела его слабости и недостатки. Но когда находишься вдали от дома — не знаю, знакомо ли тебе

это чувство,— всегда склонен видеть родительский дом в лучшем свете. Видишь много хорошего, быть может, ничего такого в действительности и нет, но все-таки видишь. И в данный момент мне нисколько не помогает, что я сама понимаю и без конца твержу себе: ты видишь дом Преппинга в слишком розовом свете, такими розовыми не бывают даже поросята...

Не сердись на меня, мой Хеннинг. Может быть, у меня все перемешалось в голове, может быть, я немного тоскую по дому, но я успокоюсь сколько-нибудь лишь тогда, когда буду знать, как все у вас обстоит. Какой он ни есть — но зачем же так сразу в тюрьму?.. Зачем ты говоришь ему подобные вещи? По-моему, он прав. По-моему, это уж слишком...

Ах, если б я могла денька на два приехать к вам на Леннекен!.. Мне не впервой надолго расставаться с домом — но на этот раз все гораздо труднее. Работа в больнице очень утомляет. По вечерам я чувствую себя совсем разбитой. Иные пациенты так себя ведут, что впору заболеть. По большей части это женщины, мужчины, как мне кажется, намного разумнее. Есть у нас несколько женщин — они хоть кого с ума сведут своими капризами. Но я, наверно, уже писала тебе об этом?.. Нет, Хеннинг, мне не делается веселее при мысли, что вы так не ладите друг с другом. Напиши мне, как только прочтешь это письмо. Напиши, что вы уже помирились...»

В постскриптуме: «Посылаю тебе также письмо отца. На этот раз пишу на адрес твоей матери. У нас в кухне всегда есть горячая вода, и мне бы не хотелось, чтобы мое письмо вскрыли на пару».

«Да, Бабс, у тебя действительно все перемешалось в голове,— думает Хеннинг.— Словно мы часами бросали слова на ветер. Перемена обстановки, немного забот, ветерок с моря — так, небольшой шквальчик, поднятый Королем,— и вот уже ты вне себя, теряешь голову. Странные все-таки существа женщины. Попробуй пойми их! Но если посмотреть письмо Короля, прочесть его — и прочесть глазами Бабс,— господи боже, какой же он лицемер!» И Хеннинг Грабе перечитывает письмо еще раз — письмо, которое Король послал своей дочери.

«...нелегко старому человеку писать о таком, не зная даже, желает ли собственная дочь вообще что-либо слышать обо всем этом, желает ли она знать правду об этом человеке. Да, нелегко. И тяжело сознавать, что твоя собственная дочь, быть может, держит сторону человека, который грозит мне тюрьмой и презирает меня. Всю свою жизнь я честно и усердно трудился, воспитывал детей, был справедлив к людям, а теперь, когда состарился, меня ждет тюрьма. Так утверждает человек, который хочет жениться на моей дочери. А она, может быть, даже поддерживает его. Должен тебе сказать, он заявил мне не то чтобы сгоряча, а совершенно спокойно: «Твое место в тюрьме, Генрих Преппинг». При этом между нами не было никакой ссоры, мы спокойно обсуждали его сумасшедший план построить свой причал и даже купить грузовик. Он стал объяснять моим людям, зачем нам нужен грузовик — а он нам совсем не нужен, это чистейший вздор,— и когда ему возразили, когда я сказал, что, сколько я себя помню, мы обходились без грузовика и отец и дед мой тоже, тогда этот человек заявил, что мое место в тюрьме. Нет, Бербель, я не могу об этом молчать. И я был бы очень рад, если бы ты как-нибудь, в один прекрасный день, сказала мне, что порвала с этим человеком. Это бы меня очень обрадовало. Хеннинг Грабе — я не собираюсь тебя обманывать — думает только о себе. Он не уважает собственного отца, он бы и его засадил в тюрьму, если б только это помогло ему осуществить свои планы...»

И приписка: «Когда прочтешь письмо, сразу же сожги его. Оно не должно попасть в чужие руки. Твой отец в отчаянии, но об этом никто не должен знать».

Неужто Король и в самом деле такой лицемер? Хеннинг Грабе перечитывает письмо снова и снова, и у него возникает второй вопрос: действительно ли Преппинг только лицемер? Конечно, Хеннинг никогда не произносил слов, которые приписывает ему Король, это ясно. Но второй вопрос все же остается, и Хеннинг погружается в размышления. Было время, размышляет Хеннинг, Король имел в банке счет с шестью нулями. Король был раньше миллионером. Ему везло, он был трудолюбив и настолько неразборчив в средствах, настолько изворотлив и хитер, что сумел скопить целый миллион. Но, с другой стороны, он изо дня в день выходил на катере в море, трудился не меньше других. Конечно, он зарабатывал при этом больше, чем те, кого он и поныне называет «своими людьми», но в то же время не пускал своих денег в оборот, продолжал работать сам. Так он действовал всегда. Наверно, и теперь у него немалый счет в банке. В свое время он был коршуном, а если и не коршуном, то, по крайней мере, ястребом. Теперь ему подрезали крылья, он уже не может так легко бросаться на добычу. И теперь он опасается за свои крылья, опасается за свою добычу. Вот и все. Это и заставило его написать подобное письмо... Он написал его не только из лицемерия, думает Хеннинг Грабе. Он сам верит в то, что написал. Он не мог написать иначе. И вполне естественно, что он хочет предостеречь и защитить свою дочь. Вполне естественно, но при всем том не менее бессмысленно, ибо его дочь вовсе не стремится к такой свободе, свободе хищника. В этом и состоит его ошибка.

Хеннинг Грабе ходит по комнате из угла в угол, останавливается перед зеркалом, взглядывает в него, но ничего не видит. Мысли вихрем проносятся в его голове.

О чем тогда рассказывал Бернгард Калла, когда вернулся из поездки в Румынию по дельте Дуная? Для тамошних рыбаков уже пятнадцать лет назад было ясно, объединяться им или не объединяться. Им предоставили самим решать, делить ли между собой лодки, сети и рыболовные снасти, принадлежавшие ранее одному человеку, у которого они батрачили, или использовать их сообща.

Как они раньше жили? Дети умирали как мухи — врачи были недоступной роскошью. Читать и писать умели очень немногие. Владелец лодок и снастей был в этом не заинтересован. Заработка хватало лишь на то, чтобы не умереть с голоду. Труд был рабством, богатые творили с бедными что хотели. Радость, свет и красота жизни существовали только для богатых, им же служили их законы. Нет, рыбаки в дельте Дуная никогда не были мелкими хищниками, они не колебались, когда лодки и снасти стали наконец их собственностью. Как они были вместе, так вместе и остались, разделив между собой труд и заработок. И тогда они пошли в гору. Старики выучились грамоте, сыновья стали врачами и офицерами, и каждый занимает достойное его место.

Да... А вот Король Преппинг не был ни крупным собственником, ни тем более наемным рабом. Он никогда не принадлежал ни к тем, ни к другим. Он всегда занимал промежуточное положение, ни то ни се.

Остается решить, можно ли еще привлечь на свою сторону человека, которого называют Королем. Можно ли надеяться, что он будет честно трудиться ради общего блага, что он будет стараться ради кооператива так же, как старался ради себя? Это будет зависеть от него самого.

Итак, Король — лицемер? Да, несомненно. О лицемерии или, во всяком случае, о хитрости свидегельствуют некоторые места письма. Таков

уж он есть. А мы идем по правильному пути. И нужно, чтобы за создание кооператива было большинство рыбаков Леннекена. Каждый сможет помочь нам, если только захочет.

И Хеннинг Грабе, который еще час назад намеревался как следует отчитать Короля, Хеннинг Грабе садится за стол и пишет Бербель успокоительный ответ. Многое из того, о чем он только что думал, находит отражение в этом письме. Он подробно описывает, что произошло между ним и Королем.

«...и как только Рихардинг сказал: «А ведь в этом что-то есть, ей-богу»,— сразу после этого Король сказал: «Все это ерунда... Мы раньше ни о чем таком и не помышляли, обходились без этих затей... А вот вы, молокососы, уж и не знаете, что вам еще выкинуть». Твой брат Вернер ничего не сказал на это и отвернулся. Тогда твой отец закричал на него: «Ну, что скажешь о той чепухе, которую нес здесь Хеннинг?» И Вернер, у которого никогда нет своего мнения, возьми да и брякни: «А что на это скажешь? Ведь тогда нам не придется ездить в город сдавать рыбу. Все имеет свои положительные стороны».

Тут Король как заорет: «Ах ты размазня этакая! Что ты вообще понимаешь! Всю жизнь мы рыбачили без всякого грузовика! Не нужно нам никакого грузовика! Не хотим иметь ничего общего с голодранцами!»

Да, Бабс, вот как было дело. И тут я ему сказал: «Если ты, Генрих Преппинг, без конца думаешь лишь о том, как было раньше, если ты хочешь все делать по старинке, то твое место не здесь... а в доме для престарелых».

Вот как было дело, ничуть не иначе. Он страшно волновался при этом разговоре, ведь на этот раз даже Рихардинг и Вернер взялись за ум.

Нет, Бабс, твой отец услышал более, чем было сказано. Очень хорошо, что ты прислала его письмо, ничто не должно разделять нас...»

Хеннинг Грабе закончил письмо и походил немного по комнате. Теперь он снова спокоен. Эти письма, если правильно во всем разобраться, еще не повод для волнения. Сегодня вечером снова можно заняться тем, чем обычно занимаешься по вечерам. И он достает с полки книгу — одну из тех книг, в которых говорится о действительности.

•

Утром Хеннинг Грабе направляется к Вуссовам. Как всегда, он идет по плотине. Еще темно. На небе мерцают звезды. Слабый ветер колышет траву. Тихо шелестят кусты. И путь, которым шагаешь,— это всего-навсего извивающаяся, уходящая в бесконечность тень, она все время бежит на несколько шагов впереди тебя и никак не исчезает. Дорога могла бы показаться бесконечной, если подумать, какой путь еще придется проделать тени, прежде чем ты дойдешь. Но человек, который по ней шагает, не испытывает усталости. Хеннинг Грабе думает о Бербель, которая находится в Ростоке. Он знает, что и она вскоре проснется, встанет и затеряется в дышащем утренней свежестью оживленном городе... Прежде чем идти, Хеннинг еще раз прочел письмо — письмо к Бербель. Он вдруг почувствовал к ней глубокую нежность. Подумать только, ведь она решилась послать ему письмо отца. Разве сделала бы она что-нибудь подобное, если ее чувство к Хеннингу Грабе было б несерьезно? Да, все это для нее серьезно. А серьезное отношение одного всегда вызывает серьезное отношение другого — и искренность, и нежность, и затаенное желание, чтобы поскорее пролетели месяцы разлуки.

Дорогу к Вуссовам Хеннинг знает хорошо, он может пройти по ней с закрытыми глазами. Он не думает о дороге и поэтому не на шутку пугается, услышав за спиной покашливание, как если бы кто-то хотел обратить на себя внимание. Хеннинг оборачивается: из кустов выходит человек и направляется к нему.

— Доброе утро,— говорит Генрих Преппинг.

— Доброе утро,— говорит Хеннинг.

Странная встреча. Король здесь, на этом месте, в такой час?

— Я тебя ждал, Хеннинг Грабе,— говорит Король. Он подошел почти вплотную.

Хеннинг не отвечает, он ждет. Король Преппинг стоит здесь в такой ранний час и ждет Хеннинга Грабе. И это несмотря на то, что он знать не хочет такого зятя. Что привело его сюда? Хеннинг ждет, но не чувствует ни малейшего напряжения. Он не допускает и мысли, что Король мог задумать недоброе.. Не такой человек Король, на убийство он не способен. Но так или иначе, странная встреча...

— Ты, верно, удивлен... я мог бы поговорить с тобой и дома, но не хотел... Фридерике немного не в себе... Мне кажется, так будет лучше...

Король говорит тихим голосом, и это удивляет Хеннинга: никто еще не слышал, чтобы Король говорил тихим голосом. Король всегда высказывается громогласно. Ему нет надобности говорить тихим голосом. Но вот сегодня утром, здесь, на дороге, он говорит тихим голосом.

— Все это, конечно, вздор,— говорит Генрих Преппинг и умолкает. Он глядит прямо перед собой, водит палкой по траве. — Все это вздор, — еще раз повторяет он, поднимает глаза и всматривается в лицо Хеннинга.— Не удивляйся... На все есть свои причины... Она донимала меня полночи...

— Кто? — спрашивает Хеннинг.

— Фридерике... Полночи она донимала меня... И в конце концов заснула — уж таковы они, женщины... А я так и не смог... Лежал с открытыми глазами и все думал о своих заботах...

Хеннинг качает головой.

— О заботах?.. Каких заботах?.. Хоть убей, ничего не понимаю...

— Все это не так просто,— отвечает Король и секунду спустя продолжает: — Я всегда считал тебя порядочным человеком, Хеннинг Грабе... Всегда считал... Я видел, что ты немного помешан на своем кооперативе, но не думал, что настолько, нет, не думал... Если бы мне сказали, что ты веришь в то, что говоришь, в свои партийные установки и тому подобное, я бы не поверил, ей-богу, нет...

И так как он снова надолго умолкает, Хеннинг спрашивает:

— Ну и что же теперь?

— А теперь... теперь, я должен тебе сказать, совсем другое дело... Ведь я был даже рад, когда заметил, что вы с Бербель... Я не имел ничего против, ей-богу, не имел.

— А теперь ты против, потому что я не такой, каким ты себе меня представлял? — спрашивает Хеннинг.

Король вздыхает. Сопит и глубоко вздыхает.

— Не так все просто...

— А просто вообще ничего не бывает,— говорит Хеннинг.— И потом... Я думаю, это вовсе не твое дело, можешь не беспокоиться. Это наше дело, Генрих Преппинг, мое и Бербель. Можешь мне поверить.

Король стоит неподвижно и, наконец, произносит:

— Отцу и матери всегда есть дело, опозорит себя их дитя или нет... Бербель не какая-нибудь... Я дал бы дюжину парней, вроде Вернера, за одну такую девушку.

— Я тоже,— говорит Хеннинг и улыбается про себя. — Но я не понимаю, почему она себя опозорит, если выйдет за меня замуж. Не вижу в этом никакого позора. — Он снова становится серьезным.

Король поднимает глаза.

— Нечего прикидываться,— говорит он.

— И не думаю прикидываться. Ну где же тут позор, если я женюсь на Бербель? Нет, должен тебе сказать, это уж слишком...

— Так,— произносит Король уже более громким голосом, почти таким, каким разговаривает обычно.— По-твоему, не позор, если девушка выходит замуж лишь потому, что ждет ребенка? По-твоему, это не позор?..

— Ах, вот что! — говорит Хеннинг и улыбается во весь рот.— Ах, вот что!

— И ты еще смеешься? — говорит Король.— Еще смеешься! — В его голосе звучит негодование. Кажется, еще мгновение, и он набросится на этого молокососа.

— Успокойся, Генрих Преппинг. Я смеюсь не над тобой,— говорит Хеннинг. И перед ним возникает картина: он сидит с Тиммшей-телеграф за столом и рассказывает ей по секрету, что Бербель ждет ребенка. «Только никто не должен знать об этом».— Да,— говорит Хеннинг.— Вот ведь какое дело... Мне думается, ребенок этот не от меня, а...

— Что ты сказал, негодяй! — кричит Король.— Ты еще смеешь отказываться от ребенка, отказываться, как последний подлец...

Нет, в таком состоянии Хеннинг его еще не видел. Угрожающе размахивая палкой, Король вплотную подступает к Хеннингу.

— Опомнись! — говорит Хеннинг. — Опомнись же! Я ни от чего не отказываюсь... вообще ни от чего... Если у Бербель будет ребенок, он будет от меня...

— Твое счастье, Хеннинг Грабе,— перебивает его Король.— В моих глазах и в глазах всего Леннекена ты был бы величайшим подлецом, если бы отказался от ребенка, так и знай.

— Так ведь в том-то и дело,— говорит Хеннинг, — в том-то и дело...

— Ну что там еще? Ждет Бербель ребенка или нет? Вот что я хочу знать!..

Ну как тут остаться серьезным? Хеннинг смеется. Кладет руку на плечо Короля и громко смеется, как давно уже не смеялся. «Ох уж эти мне старики, что у них только за заботы! Они же... Объяснить им, что ли, сказать им, как все обстоит на самом деле?» Хеннинг смеется, трясет головой и умолкает только тогда, когда Король говорит:

— Ты грубиян, Хеннинг Грабе... Как ты смеешь надо мной смеяться!

Король произносит эти слова тихим голосом, который так ему не свойствен. И до Хеннинга сразу же доходит, как долго он ломал себе голову, как обеспокоен всем этим.

— Я смеюсь не над тобой, Генрих,— спокойно говорит он.— Поверь, я смеюсь не над тобой... видишь ли, это, в общем, довольно смешная история...

— Не вижу в этом ничего смешного... Об этом говорит весь Леннекен, какой уж тут смех!

Хеннинг смотрит на него. На востоке уже затеплилась заря. Вуссовы, должно быть, ждут его.

Он хочет все объяснить, но Король говорит:

— Я требую, чтобы ты женился на Бербель. Это мое второе требование.

— Ах, вот что! — говорит Хеннинг. — Несколько дней назад ты ее отговаривал... Даже наврал ей с три короба, лишь бы поссорить нас.

— Ничего я не врал, вот что... Да все это теперь не имеет значения... Коль скоро ты Бербель опозорил, то должен на ней жениться. Вот что я хотел сказать, затем и пришел сюда.

— И больше ничего? — спрашивает Хеннинг.

Король старается сгладить острые углы. Он сейчас думает лишь о своей дочери, которая покрыла себя позором.

— Не о том речь... Ты признал, что Бербель ждет ребенка, до остального нам дела нет.

Хеннинг Грабе и Король стоят друг против друга, вокруг становится все светлее. Розовый свет зари стер с их лиц приметы возраста. Хеннинг смотрит Королю в глаза и говорит:

— Ничего я не признавал, Генрих Преппинг... Собственно говоря, мне не в чем и признаваться. Мы поженимся на рождество... независимо от того, хочешь ты этого или нет. И никакого ребенка до тех пор у Бербель не будет, я уверен.

— Но ты же сам сказал об этом Луизе Тимм... Ты же сам... — На лице Короля написано изумление.

— Да, сказал, должна же и Тиммша-телеграф иметь радость в жизни... Ведь она страсть как любит посплетничать. А ты попал впросак. Вот и все.

Король внимательно глядит на Хеннинга, всматривается в его лицо, и видит: Хеннинг Грабе говорит правду. Король растерян, он медленно поворачивается и, ни слова не говоря, уходит.

Хеннинг смотрит ему вслед. Король идет слегка ссутулившись, и Хеннингу становится ясно: это идет старый человек.

XIII

Двое старых людей неожиданно встречаются ночью. Король уходит домой в неведении

Адмирал сидит у окна и ждет. Время от времени он поднимает настольную лампу, освещает циферблат стенных часов и с нетерпением постукивает носком сапога по полу. Время идет. Сегодня некогда предаваться мечтаниям. Настало время действовать. Человек должен действовать, чтобы мечты не остались бесплодными. Мечты должны претворяться в действительность. У человека есть руки, у него есть голова не только для того, чтобы мечтать, но и для того, чтобы размышлять над нынешними временами, когда все выворачивается наизнанку, когда голодранцы приобрели решающее слово, а способный человек не ставится ни во что. Так хотят голодранцы. Но им надо доказать, что способный человек еще что-то значит — только, конечно, не в том смысле, в каком это разумеют голодранцы и непутевые сыновья. Каждый думает по-своему, и он, Иоганнес Грабе, тоже. Пора, наконец, положить начало. За один день, за одну ночь ничего, конечно, не сделаешь. У него есть план, рассчитанный до следующего года — до зимы следующего года. Раз у голодранцев есть планы, нужно противопоставить им свои. Что же, придется несколько ночей хорошенько потрудиться, пустить в ход всю свою хитрость, и чтоб все было шито-крыто. Ничего не поделаешь, иногда человеку приходится прибегать к хитрости лисы, ибо голодранцы и непутевые сыновья хотят помешать той жизни, тому образу жизни, которым он хочет жить.

Адмирал сидит в своей комнате и ждет. Он готов к действию, и это будет разрушительное действие. Нужно начать борьбу. Пусть он один противостоит кооперативу и всей той мощи, под защитой которой нахо-

дится этот кооператив. Пусть он противостоит всему государству. Но он — мужественный человек, а государство это — государство голодранцев и всех тех, кто был ими раньше. Он хочет жить так, как ему нравится, а не так, как нравится другим. Значит, нужно осуществить свой замысел. Часы на стене тикают. Адмирал прислушивается, и ему вдруг кажется, что часы укорачивают его жизнь — секунда за секундой. Жизнь иссякает, проходит под тиканье часов. Адмирал прислушивается: тик-так, тик-так, секунда идет за секундой, час проходит за часом — и так вся жизнь. Из песочных часов смерти течет по песчинке твоя жизнь. Настанет час — и смерть возьмет тебя. Последний тяжкий вздох, последнее сожаление о всех непрожитых часах, о твоей бездеятельной жизни — и конец. Этим вздохом разрешится все.

Адмирал сидит у окна, уставившись в одну точку, и прислушивается к бегу времени. Его охватывает усталость, но он отгоняет ее — никаких колебаний, должен же быть наведен порядок в жизни, которая когда-то была сильной и полнокровной. Он снова всматривается в темноту. Ах, если б там можно было найти ответ! Тогда бы усталость мигом прошла, поглощенная забвеньем. Но тьма не подает знака, и только часы тикают в комнате.

Ну а есть ли смысл это делать, вытаскивать на свет божий старый порядок? Чем одно лучше другого? Время идет, из часов смерти течет песок, и этот песок — твоя жизнь. Может, и он, Адмирал, наконец заслужил покой после стольких прожитых, потраченных впустую лет? Он растратил их в ожидании и трудах, но в сущности не жил по-настоящему... Неужели не жил? Нет, жил сильной и полнокровной жизнью! Только ему всегда чего-то не хватало, он всегда к чему-то стремился, всегда слышал какой-то зов, какое-то слово, непонятное слово, забытое слово. Он чего-то добивался, мечтал... И не только мечтал... У него что-то было... путь... цель.

Но вот тьма подала знак — знак, по которому должно начаться задуманное дело. Нет, он не бесплодный мечтатель. Довольно размышлять!

Во дворе у Короля зажегся свет. Немного спустя из дома выходят Король и Вернер, они направляются на собрание. Им невдомек, что в доме напротив за гардиной у темного окна сидит человек. Они идут на собрание, ибо сегодня вечером голосованием будет решен вопрос, покупать грузовик или нет. Раз такое дело — надо там быть.

Король поворачивается и смотрит на дом Адмирала — сегодня нельзя терять ни одного голоса, особенно голоса человека старой закалки. Но затем Король продолжает свой путь. У Иоганнеса Грабе темно, должно быть, он уже ушел.

И вот отправляется в путь и Адмирал. В кухне жена говорит ему что-то об ужине, и он на минуту останавливается. Он стоит у двери, положив ладонь на дверную ручку, и, наклонив голову, говорит:

— Я ждал ужина, и ждал достаточно долго. Сколько ни жди, такая хозяйка, как ты, все равно вовремя не управится. А сейчас мне пора идти. Сегодня собрание.

И Адмирал уходит. Некоторое время он идет вслед за Преппингами — ведь за ним могут наблюдать. Он доходит до леса, в тишине до него доносятся голоса Преппингов, идущих далеко впереди. Адмирал останавливается и долго выжидает, затем поворачивается и бегом возвращается обратно к сходням. Почти бесшумно садится он в маленькую лодку Хеннинга. Лишь на несколько секунд включив фонарь, поднимает в темноте паруса. Ветер надувает грот и фок, лодка медленно отходит от берега. Звучно плещется о борт вода. В такую ночь угорь хорошо идет в сеть, ведь луна появится далеко за полночь. Таких ночей они давно

ждут в кооперативе. Но ждут напрасно. Еще есть человек, сильный человек, который не разменивается на мелочи, не ограничивается полумерами, вроде Короля. Нет, я, Иоганнес Грабе с Леннекена, думаю иначе, чем этот Генрих Преппинг, которого называют Королем только потому, что он унаследовал от отца деньги и вообще большой мошенник.

Отойдя достаточно далеко от берега, Адмирал заводит маленький бортовой мотор. Он всегда презрительно морщил нос, когда Хеннинг в воскресные или свободные дни отправлялся на моторке в море. Но теперь надо спешить, ведь предстоит обработать немало вершей.

Сегодня первый заход, завтра второй, послезавтра третий — и больше не будет вершей, в которые ловилась бы рыба. То-то эти голодранцы зачешутся, когда их кооператив не будет больше ничего приносить, кроме долгов. Уж он излечит голодранцев от любви к кооперативу, отобьет у них охоту к таким делам. За несколько темных ночей он уничтожит кооператив. Так он решил, еще когда они пили с Королем в ознаменование их примирения. Нет человека, который не нуждался бы в друге. Если генерал хочет выиграть битву, он должен прикрыть тыл и обеспечить подкрепление.

Вот и первая верша — собственная. Собственные верши нельзя обходить. Конечно, он понесет убыток — большой убыток. Но зато никто не скажет, что только у Адмирала рыба продолжает ловиться. Никто не должен догадаться, что кооператив превратился в осажденную крепость, судьба которой зависит от одного человека, что эта крепость будет вынуждена под угрозой голода поднять белый флаг.

Иоганнес Грабе ведет лодку вдоль заграждения из сетей и привязывает ее к одному из столбов. Затем достает заранее приготовленный крюк из толстой проволоки и опускает его в воду. Перегнувшись через борт, он подхватывает крюком цепь, поднимает ее со дна и верхним концом подвешивает крюк на сеть. Его руки по плечи погружены в воду, одежда насквозь промокла, грудь холодит. Но что из того? Незримо будет висеть крюк на сетях, поддерживая цепь на весу, не давая ей опуститься на дно. В этом месте угри будут проходить под заграждением и не попадут в вершу. Пусть думают, что все угри подохли. Пусть думают, что угри перевелись и кооперативу пора прекратить свое существование.

Адмирал переходит от верши к верше. Он рассчитывает на темноту. Ветер относит лодку, мотор вступает в борьбу с ветром. Три ночи, полные коварства, предстоят тебе, Адмирал. Всего три ночи — и кооператив не досчитается многих центнеров рыбы. А ведь ты собираешься повторить то же самое и весной, и осенью будущего года. Вовремя подвесить крюк, вовремя убрать — и кооператив будет взят измором, как осажденная крепость, с помощью нескольких метров проволоки. Ты действуешь умело и осторожно. Не щадишь себя. Обратно ты идешь под парусами, выключив мотор. Если б кто-либо проследил за твоей прогулкой, оказалось бы, что ты описал большой круг. Ты побывал у многих вершей, Иоганнес Грабе, ты побывал у многих вершей, и не только у своих. Ты побывал и у чужих вершей, Иоганнес Грабе. Правда, ты их не обчистил, не опустошил под покровом ночи, ты сможешь сказать, что ты не вор. Ты сможешь сказать, что такого не сделает ни один рыбак: ни один рыбак не тронет чужие верши. Но все же на миг ты заколебался. Тебя бросило в жар, когда ты подплыл к первой чужой верше. То была верша Короля Преппинга. И когда ты прицепил крюк к этой чужой верше, ты обернулся, словно за твоей спиной кто-то стоял, заглядывая тебе через плечо. На какой-то миг ты рассердился — рассердился на самого себя. Генерал, осаждающий крепость, не должен раздумывать, имеет ли он

право ее брать. Он должен выполнять свой долг. Да, и все же тебе стоило некоторых усилий побыстрее довести работу до конца. Не то чтобы ты делал все наспех, небрежно. Нет, вопрос стоит для тебя слишком серьезно. Крюки укреплены всюду таким образом, что большинство угрей, проплывая над самым дном, найдут себе лазейку. Нет, о небрежности не может быть и речи. Но один раз ты все же подумал о том, какая грязная эта работа. И даже покачал головой при этой мысли. Но нет. угрызения совести в таком деле ни к чему; разрушая, не знают угрызений совести, решил ты. А теперь ты возвращаешься домой. Ночь по-прежнему темна, только звезды мерцают в небе. Ты идешь против ветра, лавируешь, мотор не включаешь. Начало положено. Ты можешь быть доволен, собственно говоря, тебе бы следовало радоваться. Но странное дело — Иоганнес Грабе, которого на Леннекене зовут Адмиралом, почему-то не радуется, возвращаясь домой. Он зябнет в сырой одежде. От охватившего его вначале воодушевления не осталось и следа. Одно дело, когда тебе предстоит грязная работа, другое — когда все уже позади. Нет, Адмирал не радуется.

Он причаливает к берегу в глубокой задумчивости. Подходя к дому, смотрит, есть ли свет во дворе у Короля. Фонарь еще горит, значит, собрание не кончилось. Если бы он не горел, это указывало бы на то, что Король уже вернулся, а тогда плохо дело: опасность провала была бы налицо. Но свет напротив горит. Значит, там на собрании все еще спорят, а скоро уже полночь. Но спорят они впустую. Одни говорят, а другие тем временем действуют.

Лишь когда Адмирал входит в темные сени, его охватывает страх. Ему делается страшно в собственном доме, ибо из кухни доносится мужской голос. Мужчина спрашивает, женщина отвечает. На миг в кухне становится тихо, словно там к чему-то прислушиваются. Затем дверь раскрывается, и Адмирал видит Анну Грабе. Она выглядывает в сени.

Вспыхивает свет, Адмирал щурится, он ослеплен. Он даже не успел снять мокрую куртку.

— Иоганнес! — говорит Анна.— Где ты пропадал? Мы только что говорили о тебе. Мышь прошмыгнет в свою нору, а человек не может.

И Анна Грабе улыбается своей тихой улыбкой. Адмиралу не остается ничего другого, как войти в кухню, войти, затаив в сердце страх. Ах, вот что, здесь один только Генрих Преппинг. Он смотрит на Адмирала, его глаза на секунду сужаются. Несомненно, он заметил, что куртка у Адмирала мокрая.

— Эти маленькие швертботы никуда не годятся,— торопливо произносит Адмирал.— Если шверт заедает, все пропало, его не сдвинешь ни изнутри, ни снаружи. Я весь промок.

— Я-то думала, ты был на собрании,— говорит Анна Грабе, ничего не замечая.

Король сидит, задумчиво глядя перед собой, и, лишь после того как Адмирал снял куртку, произносит:

— Да уж эти швертботы... Ты, значит, был в городе?..

На этот вопрос трудно ответить сразу. Надо еще подумать, где он был. Если сказать, что был в городе, то как он успел так быстро вернуться? А вот если сказать, что забыл плотно закрыть одну из вершей — ведь с каждым такое может случиться,— это действительно правдоподобная отговорка. Но и она, пожалуй, слишком правдоподобна. Поэтому, очевидно, лучше всего промолчать, тем более что Король как будто и не ждет ответа. Быть может, он слишком занят своими мыслями. Во всяком случае, он ничего не спрашивает.

А ведь сейчас ему было бы так легко пристать к Адмиралу с вопросами! Любой школьник знает, что заедание шверта случается не так уж часто. Подобным наспех придуманным отговоркам просто никто не поверит. Где можно так вымокнуть, что не только руки, но и грудь мокрая, и рубашка, и куртка? Кто поверит, что он пытался подобраться к шверту под водой, словно новичок, впервые севший в лодку? Ведь его умение управлять парусными лодками вошло на Леннекене в поговорку. В свое время, причем не так уж давно, лет двадцать назад, он участвовал в регатах и не раз завоевывал призы. Однажды получил даже первый приз на большой регате в Варнемюнде. А теперь, видите ли, пытался высвободить заевший шверт с наружной стороны лодки!

— Ах, Иоганнес, ты весь вымок,— говорит Анна Грабе.— Ну-ка быстрее переодевайся, не то, чего доброго, воспаление легких схватишь. Кому слишком везет, тот голову теряет.

Она поспешно достает из шкафа сухое белье, затем приносит бутылку рома и наливает мужчинам.

Адмирал и Король поднимают рюмки, смотрят друг другу в глаза, и Адмирал отводит взгляд. Затем он торопливо опрокидывает рюмку. Фрау Анна стоит рядом, скрестив руки на груди, весь ее вид выражает довольство. Ведь это она снова свела их вместе, тут есть чему радоваться. Разве скажешь, что эти два человека многие годы были врагами? Нет, ни за что не скажешь. Один пришел в гости к другому, они сидят в кухне и благодушно молчат. Между ними не напряженное, злое молчание, а молчание друзей, симпатизирующих друг другу.

Так кажется Анне Грабе.

Наконец Король говорит:

— Они все же добились своего. Решение о покупке грузовика принято... А мы должны будем платить по долгам, которые он нам принесет... Об этом я и зашел тебе сказать...

— Грузовик можно купить, но его можно и продать.

— Ты опять что-то воображаешь, Иоганнес! — тотчас возражает Король.

Адмирал молчит.

— Эта штука, может быть, даже принесет доход... Вся прибыль пойдет в общий котел... В народном имении недавно решили построить мост в ближайшие семь лет. Если будет мост, грузовик сможет подъезжать к самым причалам... Теперь мы у них в руках,— говорит Король.

Адмирал укоризненно качает головой.

— Одни легко приходят в отчаяние, другие ничего не боятся,— заявляет он тоном оракула. Не всякий знает, с чем это едят, и надо обладать очень чутким слухом, чтобы понять, о чем он говорит. Но уж Король-то обладает чутким слухом, иначе какой бы он был Король.

Генрих Преппинг тяжело вздыхает и вдруг кладет руку на колено Адмирала. У него крепкая, грубая рука с очень коротким большим пальцем — пальцем-коротышкой.

— Иоганнес,— говорит Король,— выбрось все это из головы. Мы должны объединиться, прежде чем тебя заставят объединиться с голодранцами. Другого выхода нет... Все остальное — глупости.

— Не понимаю, о чем ты говоришь, Генрих Преппинг,— отвечает Адмирал.— Вообще не понимаю, что ты имеешь в виду.

Это его первые слова за весь вечер. Между ними лежит пропасть, и пусть она остается. Подозревать — еще не значит знать. Отнюдь не значит. Лучше, когда о некоторых делах знает только один человек. Гораздо лучше, чем когда знают двое. И в дружбе надо знать границы. Безграничная дружба, да еще с Королем, с этим Генрихом Преппингом,

была бы равносильна самоубийству. Он давно бы уже связал себя по рукам и ногам.

— Не знаю, поймешь ли ты, о чем я говорю... Еще раз предлагаю тебе войти в одну бригаду со мною и Шустером... От этого ничего не изменится, зато мы выиграем время. Массу времени. Быть может, нас уже не будет в живых, когда кончится это время... Ведь мы уже немолоды... Об этом тоже нужно помнить, Иоганнес.

Что такое? Король высказывает то, о чем он и сам думал только что, несколько часов назад, перед тем как приступить к делу. Но так как это говорит Король, а не он, Иоганнес Грабе отвечает:

— Не понимаю, о чем ты, собственно, толкуешь, Генрих Преппинг... Я полагаю, у каждого из нас неплохая бригада.

— Да,— соглашается Король. И больше ничего, только одно коротенькое слово. Но он говорит это не так просто, в этом слове звучат целые фразы, все его отчаяние, насмешка и уверенность в своей правоте. Затем Король резким движением выбрасывает руки вперед и продолжает:— Мы стали бы большой силой, если б ты понял, что лучшего выхода нет. Уверяю тебя, все остальное — глупости, можешь мне поверить... Этим дела не поправишь...

— Вот как? — замечает Адмирал и глядит Королю прямо в глаза.— Не понимаю, о чем ты толкуешь... Мы неплохо рыбачим, хотя и стареем понемногу. Человеку не дано с годами молодеть, уж это так... И если порою забываешь плотно прикрыть вершу, как случилось со мною, и вынужден ночью, в тумане, выйти в море, то все же рыбачить от этого мы стали не хуже. Плохим рыбаком из-за этого я себя не считаю.

— Господи, Иоганнес, да ведь не о том речь! — нетерпеливо перебивает Король.

— Ну, тогда... право, не понимаю, чего ты, собственно, хочешь, Генрих. Не понимаю, о чем ты, собственно, говоришь... Пускай молодежь делает что хочет. Нам ведь и вправду недолго осталось жить...

Анна Грабе, все это время внимательно следившая за разговором, вставляет свое слово:

— Летела синица море зажигать, море не зажгла, а шуму наделала. так и Иоганнес.

Король смотрит на нее, наморщив лоб. Нет, с этими Грабе каши не сваришь. Адмирал плетет невесть что, у Анны тоже не все дома. Стоит ли терять время попусту? Уж лучше выспаться. Он поднимается и говорит:

— Ну, ладно, пойду домой. А ты, Иоганнес, все же подумай над этим

— Он непременно подумает,— подтверждает Анна Грабе.— Иоганнес всегда медленно соображал. Но ведь не последний день мы живем

Адмирал провожает гостя до дверей. Он стоит и смотрит, как Генрих Преппинг идет через лужайку. Вот идет старый враг — новый друг. Сегодня удачный вечер. Король, конечно, не понял, что он предпринял. Как приходится изворачиваться христианину, чтобы никто не разгадал его замыслы, думает Адмирал. Эта мысль приносит успокоение. О мокрой куртке Король, конечно, забыл, иначе он не преминул бы бросить намек. Хорошо же он придумал: проглотить бригады Грабе и Шустера Он прожорлив, как щука, этот Король. Щуки пожирают собственных детенышей, лишь бы набить себе брюхо. Королю все мало. Ну да теперь он не скоро что-либо получит. Этой осенью ему придется подвести черту под своим счетом в банке. Ловить он будет не больше, чем другие. Жаль только, что и самому приходится отказываться от кругленькой суммы. Очень жаль... Но ведь всегда надо чем-то жертвовать, коли хочешь чего-нибудь добиться...

На Леннекен спустилась ночь. Небо и звезды затянулись пеленой тумана и облаков. Темно в комнатах и каморках, черной, как смоль, стала мебель. Люди спят и вдыхают в себя ночь, потому что лишь тот, кто вдыхает в себя ночь, может встретить новый день.

Но вот разгорается день. Яркий день. Белый свет без тени, такой ослепительный, что становится больно глазам. От него приходится прятать лицо. И в этом жестком свете появляются фигуры. Что это за фигуры? Кто там стоит и молчит и не хочет откликаться на его крик? Они молчат, они не слушают его, и нет возможности оправдаться. Что это за фигуры?.. Ах, да это его непутевый сын. Сын-кооперативщик, это он стоит там и молчит. Мы никогда не сказали друг другу доброго слова, да и не могли сказать, потому что вон он стоит там с другими. Все они там: Брюммер-миллионщик, Калла, Вуссовы, Шустер, Преппинг... Да, конечно, и Генрих Преппинг с ними, он враг, я всегда это знал... Я ведь подаю ему теперь руку — так ударим по рукам, ты же мне больше не враг. Я же сделал это не только для одного себя, я же не хотел делать это один. Но все напрасно, они не слышат, они не могут слышать, у меня язык прилип к гортани, я не могу произнести ни слова.

А ведь Преппинг что-то там говорит, но я не слышу, свет слишком ярок, из-за этого проклятого света ничего не слышно. Чтобы снова было слышно, должна наступить темнота. Должна, должна, должна...

А вот уже совсем другая картина. Сарай для сетей. Его непутевый сын, Хеннинг Грабе, говорит:

— Глупости, отец... Нас уже никто не уничтожит... Леннекен вовсе не остров, это тебе только кажется, отец.

Если сыновья начинают лгать, значит, плохо обстоят дела на свете.

А этот шалопай смеется. Вдруг рядом с ним появляется Карл Дассов, и оба они хохочут во все горло, хохочут взахлеб. Его непутевый сын хохочет таким же громким, сумасшедшим смехом, как и Карл Дассов.

— Смех без причины — признак дурачины,— замечает Адмирал.

И вот они перестают смеяться.

— Тебе нечего больше сказать, Адмирал,— говорит Карл Дассов.— Тебе остается лишь повеситься... Вот тебе веревка, негодяй!

Смотри, раскачивается веревка, раскачивается в руке Карла Дассова, который всегда так громко смеется и никого не признает. Тик-так, качается веревка, тик-так. Рыбак никогда не тронет чужой верши, даже если будет умирать с голоду...

— Ты вор, отец. Самый обыкновенный вор, вот что я должен тебе сказать.

— Адмирал Грабе всех нас грабит,— говорит жена. Она стоит за спиной сына, скрестив руки на груди.— Адмиралу Грабе уж недолго грабить.

А вот и музыка, откуда-то слышится музыка. Сидишь совсем один в комнате, лишь светится шкала приемника, звучит музыка. Музыка, красивая музыка, старый рейнлендер, а она танцует со мной, красивая молодая женщина, о боже, как ты красива, нам надо скорее пожениться, мы сыграем пышную свадьбу, пусть жители Леннекена четырнадцать лет и еще полстолько говорят о том, какая у нас с тобой была свадьба... Свадьба, оркестр играет рейнлендер. Мы танцуем, плавно покачиваясь, медленно кружим по комнате... А вот и туш. На помосте рядом с оркестром его непутевый сын, он кричит на всю комнату:

— Стойте! Среди нас есть вор и подлец, он обчистил наши верши!

Нет, я не вор, нет... Я не виноват! Но меня опять никто не слушает, они не слушают, они смотрят на меня так, будто я уже умер. Вот они поворачивают головы в ту сторону, где находится радиоприемник, и из

него раздается голос, такой голос, словно у человека в горле ком стоит и он не может говорить, как все нормальные люди. Голос что-то говорит, но нельзя разобрать ни слова. И вдруг это уже голос его непутевого сына, Хеннинга Грабе. Он произносит: «Решением Верховного суда Иоганнес Грабе, по прозвищу Адмирал Леннекена, приговорен к тюремному заключению».

С криком просыпается Адмирал, гонит от себя ночной кошмар. Он поднимается, вскакивает с кровати. Анне с трудом удается его удержать, она трясет мужа, он кричит, стонет.

Старой женщине становится страшно, она громко окликает его, зовет. Наконец он приходит в себя и невидящими глазами глядит на жену. Его лицо освещено неверным светом ночника... Он вдруг припадает головой к ее плечу, обнимает, как будто они еще молоды и только вчера встретились. Что такое? Адмирал кладет голову на плечо жены? Проснувшись среди ночи, они стоят обнявшись, а ведь сколько тысяч других ночей было до этой. Анна гладит его по голове, укладывает в постель, заботливо укрывает теплой периной до самого подбородка.

— Вскипятить тебе чаю, Иоганнес? — спрашивает она.

Но Адмирал только смотрит ей в лицо, отрицательно качает головой и закрывает глаза. Анна Грабе стоит перед ним еще с минуту, затем гладит седые волосы мужа, как когда-то гладила по голове Хеннинга, и снова ложится. Так и не поняв, что же, собственно, произошло, она гасит свет.

Адмирал глубоко вздыхает и поворачивается на бок. Засыпая, он слышит тихий голос жены, она, как всегда, что-то напевает себе под нос. Кажется, детскую песенку.

При свете дня забывается многое из того, что было ночью. Но многое проступает яснее. И вот при свете нового дня Адмирал сидит за столом напротив жены и улыбается ей. О ночном кошмаре ни слова — стоит ли говорить о таких вещах? Адмирал улыбается своей жене, как не улыбался уже много лет. Анна Грабе смущена. Хорошо ли, когда два старых человека ведут себя как влюбленные, словно они еще молоды и вся жизнь впереди? Может быть, ничего плохого в этом и нет, но все же как-то необычно. Иоганнес говорит:

— Не надрывайся особенно на работе, Анна. Иной человек всю жизнь работает и не успеет оглянуться, а жизнь уже прожита.

И это говорит ей муж! Она только что принялась чистить картошку к обеду, как делает всегда после завтрака. Что ей ответить на это? Она кладет нож, придвигает свой стул к столу и не знает, чем заняться. Анна вытирает руки о фартук, не смотрит на мужа, молчит.

Адмирал встает, снимает с крючка непромокаемый плащ, надевает и уже в дверях говорит:

— Наверно, мы вернемся еще до обеда... Тебе незачем идти в магазин... Я и сам смогу купить все необходимое.

Этого вполне достаточно, больше —уже чересчур, и хорошо еще, что он быстро добавляет:

— У меня все равно дела в Неттельмине.

Это, конечно, неправда, но не следует так сразу выворачиваться наизнанку. Пусть ему очень хочется быть добрым, пусть хочется услышать человеческое слово, пусть он испытывает потребность сказать человеку, с которым прожил много лет: «Хорошо, что ты со мною, хорошо, что ты у меня есть, Анна Грабе»,— он не смеет этого сказать. Разве сильный человек становится сильнее от того, что проявляет слабость и ищет поддержки в трудную минуту?

Адмирал уходит и не видит, как его жена проводит рукой по глазам, ибо ей кажется, что и стол, и стул, и кофейник потеряли вдруг устойчивость и словно поплыли куда-то. И Анне Грабе сейчас совсем не хочется петь.

XIV

Об удобрении моря и планах путешествия Брюммера-миллионщика. Во вторую ночь Адмирала разыгрывается буря

С моря дует ветер. Не очень сильный, но довольно прохладный, свежий бриз. Адмирал смотрит на небо: оно еще темное, без звезд и луны. Такой ветер продержится недолго, думает Адмирал. Можно выходить в море проверять верши, во всяком случае, делать вид, будто есть, что проверять. Ну что ж, угорь — странная рыба. Он ведет себя так, как ему вздумается, никто точно не знает, где он размножается, какими путями ходит в море. Считают, что угри приплывают из Мексиканского залива, оттуда, где начинается Гольфстрим. Говорят также, в наших водах они задерживаются лишь на известный период и угрей можно ловить лишь во время их хода. Ну а что, если в этом году угрям вздумалось пойти другим путем, изменить свой ход? Мы вот считаем, угорь должен бы теперь ловиться, а он, оказывается, передумал. Если угорь не ловится, он и виноват. Мало ли какие мысли могут появиться в маленьких глупых рыбьих головках — мы тут ни при чем.

Правда, прошла одна только ночь с начала путины, с того момента, когда, по нашим расчетам, угорь должен пойти в верши. Да и эта ночь была недостаточно темна. Светила луна, вот и сейчас она еще стоит в небе, окруженная ореолом. Надо думать, погода все же ухудшится.

«Журавль» выходит в открытое море. Аугуст Бекман, поджав губы, слушает рассказ Карла Дассова. Он уже слышал нечто подобное, но то, что рассказывает этот молокосос, звучит совершенно неправдоподобно. Впору подумать, что Карл Дассов просто шутит.

— Эта штука называется удобрением моря, они наловили таким образом значительно больше рыбы...

— Чудеса в решете,— говорит Аугуст Бекман.— Каким только россказням ты не веришь... Надо же выдумать такое — удобрение моря! Словно рыбам нужно удобрение, как пшенице. Удобрение нужно пшенице, овсу, ну, пожалуй, картошке, но рыбам? Этак, быть может, и птицам удобрение понадобится... А называться это будет удобрением неба.

Довольный своей остротой, Аугуст Бекман весело смеется. Карл Дассов присоединяется к нему.

— Вот умора! — говорит он.

У них хорошее настроение, и только Адмирал молчит.

— Русские получают при этом большой улов, — немного погодя говорит Карл Дассов. — Если уж об этом пишут, значит, дело стоящее. Русские за что ни брались — все у них выходило. И если они удобряют море, то знают, что делают.

— Все это ерунда! — возражает Аугуст Бекман.— Сплошная пропаганда... Чтобы позлить американцев, только и всего.

Они действуют, как обычно: подплывают вплотную к вершам, пересаживаются в ялик. Нет, сегодня об улове и говорить не приходится. В вершах рыбы кот наплакал, вполне можно обойтись и сачком. Улов такой ничтожный, что Адмирал и смотреть на него не хочет. Да и что тут смотреть? Аугуст Бекман удивленно качает головой.

Они переходят от верши к верше — всюду одно и то же. Даже в самой крупной верше, которая всегда дает хороший улов, рыбы не больше,

чем в других. Вот и пойми, в чем тут дело. Они недолго мешкают и скоро уже снова сидят в рубке, коротая время за разговорами. Они не сортируют рыбу, не направляются в город сдавать улов, как обычно. Сегодня, при таком скудном улове, в этом нет необходимости. Они возвращаются домой. Нельзя сказать, чтоб они были очень уж удивлены, однако это им совсем не нравится.

— Наверно, было недостаточно темно,— говорит Аугуст Бекман.— Видно, и нам придется начать удобрять море, тогда можно было бы ловить угрей даже в лунные ночи. Тогда вообще незачем будет ставить верши... Знай опускай сачок в воду да вали рыбу прямо в лодку, столько угрей тогда разведется...

Но Карл Дассов больше не заговаривает об этом и лишь весело смеется. Они сидят в рубке и беседуют о том, о сем. Под легким ветром катер, слегка ныряя носом, приближается к берегу. Никто из них не замечает, что за весь рейс Адмирал не произнес ни слова, что он все время молчал. Они этого не замечают, ведь Адмирал никогда не отличался разговорчивостью.

Возвратившись домой, Адмирал выкатывает из сарая велосипед, привязывает к багажнику сумку, надевает рюкзак и отправляется в Неттельмин, в кооперативный магазин. Конечно, женское это дело — закупки, Анна не один раз в неделю ездит в магазин, но нет ничего зазорного в том, если он хоть раз возьмет это на себя. Рыбачить-то сегодня немного пришлось. Угри ловятся все хуже и хуже. Если и дальше так пойдет, то производственный кооператив может спокойно отказаться от названия «производственный». Они не смогут выполнять план, если угорь, эта странная, надменная и коварная рыба, не захочет идти в верши.

Путь Адмирала лежит через луга и перелески. На их яркий зеленый убор опустился легкий туман, словно явившийся из своего царства волшебник покрыл землю серой непрозрачной пеленой. Солнце стоит над самыми верхушками деревьев, просвечивая сквозь эту серую мглу, как огонек свечи сквозь запотевшее стекло. И все же земля насыщена яркими красками осени. Разъезженная, в колдобинах, дорога, испещренная гнилыми корневищами деревьев, темно-бурой полосой тянется через лес. Адмирал медленно едет по ней. Пахнет прелыми листьями, мокрым мхом и влажной землей. Медленно-медленно едет Адмирал по острову Леннекен. Где-то стучит дятел. Тихо поскрипывает велосипедная цепь, шуршат по земле шины. И в лесу звучат голоса, звучат в самом Адмирале. Он спорит с этими голосами, медленно проезжая по острову Леннекен.

Если человек совершает убийство, это еще вовсе не значит, что он виноват. Бывали случаи, когда люди становились убийцами лишь потому, что жертвы доводили их до исступления. Но убийство есть убийство. Никто не имеет права убивать. Убийство допустимо как крайнее средство самообороны, чтобы спасти свою жизнь, когда на тебя нападают. В таком случае это вынужденное убийство. Но кто же говорит об убийстве?.. Ты никого не убивал и не собираешься убивать, ты хочешь лишь спасти себя, свою жалкую, ничтожную жизнь. Ты так дорожишь оставшимися годами жизни, что не даешь жить другим... Это неправда. замолчи! Но что можно сказать о человеке, который идет в мой курятник и выпускает на волю кур лишь потому, что он их терпеть не может. потому что они, скажем, пачкают его порог? Что бы ты сказал, если бы Король так поступил? Что бы я сказал? Да я бы его... Он должен был бы

вернуть мне кур. А если бы он их не вернул? Что тогда? Тогда... Тогда ему пришлось бы заплатить за них. За каждую курицу...

А сколько угрей могло уйти из вершей за ночь? Хорошо еще, ночь была лунная. Сколько тебе пришлось бы платить, если бы от тебя потребовали?

Адмирал слезает с велосипеда, перетаскивает его через ров и ставит у дерева, а сам прислоняется к стволу. Вопрос о цене содеянного очень взволновал его. Он стоит неподвижно в лесу и думает. Все имеет свою цену, всякое деяние и всякое злодеяние. И цена эта может быть столь же высока, как цена человеческой жизни. Да, самой жизни. Адмирал в смятении.

У его ног шмыгает орешниковая соня. Ясно видна темная полоска на светло-коричневой шерсти. Убегая, она еще долго шуршит под сухими листьями. С ветки на ветку перепархивают птицы. Кричит чибис. Адмирал хватается рукой за сердце. Во сколько б ни обошлось то, что он делает, все равно это нелегко. А он только начал, впереди еще много ночей, которые потребуют от него немалых усилий над собой... Усилий над собой? Да. Теперь в этом нет никаких сомнений.

Стоит ли обкрадывать себя, стоит ли рушить все, что создано трудом его жизни? А для кого, собственно, беречь нажитое? Для кого, если сын пошел своим путем, путем других? Для кого он и жил, если не для сына? Стоило бы иначе вообще жить? Нет, сын вернется, он образумится. И все они вернутся. Право и закон восторжествуют, порядок будет восстановлен. В своих поступках человек должен руководствоваться велениями разума. У каждого есть долг. Долг этот может быть тягостным, его можно понимать и так, и этак, но для честного человека долг все равно остается долгом. А потому и не над чем ломать себе голову. Еще две ночи — и можно будет отдохнуть. Там посмотрим, как все обернется. Тогда и подумаем о дальнейших планах. Быть может, окажется достаточным и одного удара.

Иоганнес Грабе снова садится на велосипед и совершенно не понимает, что его, собственно, беспокоило.

В неттельминском магазине иной раз приходится ждать в очереди. Но это никому не в тягость, когда люди живут далеко друг от друга и встречаются не каждый день. Женщины стоят и вполголоса беседуют между собой, мужчины могут присесть и распить бутылку пива — для них есть стулья. Жители Леннекена называют эти стулья «пивными» — на них так хорошо сидеть за пивом. Женщины редко присаживаются на «пивные» стулья, разве что после долгой езды на велосипеде, чтобы отдышаться. Собственно говоря, эти стулья с самого начала были предназначены для женщин, но их уже давно стали называть «пивными».

Войдя в магазин, Адмирал слышит голос Кнута Брюммера: похоже, он отвечает на какой-то вопрос. Кровь бросается в голову Адмиралу — так бывает всегда, стоит ему заслышать этот ненавистный голос; независимо от того, что бы ни говорил Брюммер, вокруг рта Адмирала появляется презрительная, брезгливая складка. Что еще, кроме раздражения, могут вызывать у порядочных христиан такие люди, как Брюммер-миллионщик? Его нужно просто не замечать, уж если встретился с ним, этим авантюристом, который не первый десяток лет плетет басни о своих несуществующих миллионах.

Жаль, что нельзя заткнуть уши. Что он там болтает? Хочет ехать в Росток? Он уже надел свой выходной костюм, потому что завтра утром собирается ехать в Росток? Это на него похоже. Какой нормальный че-

ловек додумался бы до того, чтобы за день до отъезда надеть выходной костюм? Только Брюммер-миллионщик способен на это.

— Вот так-то,— говорит Кнут Брюммер, и Адмирал слышит, как он отпивает из бутылки. А собеседник Брюммера, тот, что говорит в нос, как видно, потешается над ним. Это, должно быть, Клаус Гропп, на Леннекене никто так не гнусавит. Его зовут инспектор Гропп, потому что раньше так разговаривали инспектора.

— Значит, ехать завтра, а ты уже сегодня надел новый костюм? — спрашивает инспектор Гропп и уж, наверно, ухмыляется во весь рот.

Но у Брюммера-миллионщика на все есть отговорка.

— Нет, не потому... Я отдал свою будничную одежду в стирку, чтобы надеть ее сразу после приезда.

— Ты едешь один? — спрашивает Гропп.

— Нет, что мне делать одному в Ростоке... Меня посылает кооператив. Мы едем де-ле-га-та-ми, Хеннинг Грабе и я.

— А, и Хеннинг Грабе едет! — говорит Гропп.

Вот уж действительно: надо приехать в магазин, чтобы узнать такое. Да, сын идет своим путем. Он оторвался от родительского дома, не разговаривает с отцом, он едет в Росток, его посылает кооператив. Должно быть, так решили вчера вечером. Вчера вечером на собрании решили послать Хеннинга Грабе, его сына, в Росток. Ну да, вчера вечером. Я не был на собрании. Не все же могут присутствовать на этих бессмысленных собраниях. Но так или иначе, очень неприятно узнать об этом лишь в магазине.

Инспектор Гропп, которому здесь, собственно говоря, нечего делать в это время — он работает слесарем в народном имении, и рабочий день для него только начался,— инспектор Гропп отхлебывает пиво из бутылки и спрашивает:

— Вы что же, хотите обратиться в Ростоке к бургомистру или на рыбокомбинат?

— В самую высшую инстанцию округа Остзее,— с важным видом произносит Кнут Брюммер. — Мы хотим навести справки насчет грузовика, который решили купить всем кооперативом, чтобы не ездить каждый раз в город для сдачи улова. За это голосовали почти все, только несколько человек были против. Те, что всегда выступают против всего нового.

Нет, Адмирал и не думает обращать внимание на эту болтовню, Брюммер-миллионщик вообще не заслуживает ответа. И все же он чуть-чуть втягивает голову в плечи.

Наконец продавщица упаковала покупки женщине, стоящей перед ним. У этой девушки за прилавком очень ясные зеленоватые глаза и приветливое лицо — да, у нее очень ясные и добрые глаза. Она говорит:

— Что вам угодно, господин Грабе?

Иоганнес Грабе никак не может найти записку, которую написала ему Анна, чтобы он ничего не забыл. Он никак не может найти записку, роется то в карманах куртки, то в карманах брюк. Продавщица приветливо улыбается, а покупательница, стоящая за Адмиралом, говорит:

— Лиза, мне нужен только хлеб, отпусти-ка побыстрее.

Теперь можно не торопиться и спокойно искать записку. Нет, не мужское это дело — покупки. А что это там болтает Брюммер?

— Если бы на собрании присутствовал Адмирал, то против покупки грузовика одним голосом было бы больше. Он ведь всегда выступает против всего мало-мальски разумного.

В магазине стоит мертвая тишина. Все слышали, что сказал Брюммер, и замолчали. С улицы доносится урчанье трактора. В такой ситуа-

ции можно поступить по-разному. Лучше всего продолжать искать эту проклятую записку. Он ничего не слышал. Он не прислушивается к разговорам всяких проходимцев.

— Ну как, господин Грабе, все еще не нашли записку?

Ишь ты, эта девушка хорошо воспитана. Говорит ему «господин Грабе», не то что иные прочие, у которых хватает нахальства при людях называть старого человека его прозвищем. Но он не отнимает последней радости у Брюммера-миллионщика и всех этих голодранцев. Впрочем, вообще-то он ничего не имеет против этого прозвища. А вот и записка. Спокойным голосом Адмирал перечисляет все, что ему надо купить. Там, за спиной, снова идет оживленный разговор между Брюммером и инспектором Гроппом, но человека почтенного возраста он не должен смущать.

— А почему именно ты едешь с Хеннингом в Росток? Неужели не могли подобрать кого-нибудь получше?

Кнут Брюммер смеется.

— Бернгард Калла сказал, что я больше других похож на моряка.

Нет, Кнут Брюммер не усматривает в этом вопросе издевки, да он и задан без всякой задней мысли.

— Я-то думал, вы едете ради грузовика, а не потому, что похожи на моряков.

— Ну, конечно, ради грузовика... Только Бернгард Калла сказал, что лучше ехать вдвоем. Один должен уметь говорить — это Хеннинг Грабе... а другой — для представительства, это я.

— Что-то не понимаю,— гнусавит Гропп.

Кнут Брюммер снова смеется, а в голове Адмирала мелькает мысль, что, собственно говоря, все они — проходимцы. Подумать только, посылают второго человека лишь потому, что он похож на моряка! Все они одного поля ягода, все составляют сообщество голодранцев, которое укоренилось здесь, на Леннекене, и уж конечно в Ростоке, в Окружном совете...

— Пойми,— говорит Брюммер,— они там, в городе, с удовольствием поглядят на старого морского волка... Бернгард Калла считает, что так будет солидней, они там, в городе, это любят и, может быть, быстрей дадут машину.

Похоже, этот Гропп тоже так считает, потому что оба собутыльника смеются.

Адмирал достает бумажник и расплачивается. Затем вскидывает рюкзак на плечи, и тут женщина, которая стоит за ним, говорит:

— Поосторожнее, господин Грабе, дайте мне еще пожить на белом свете... Чуть было не убили меня своим рюкзаком!

Иоганнес Грабе извиняется. Нет, что ни говори, покупки — женское дело. А тут еще Брюммер-миллионщик замечает:

— Смотрите, Адмирал не забыл купить и драконову поживу!

Этого только не хватало. Есть люди, которые смеются по любому поводу. Почти весь магазин хохочет: «драконовой поживой» на Леннекене называют сладости, которые мужья приносят женам, возвращаясь из магазина или из пивной.

Адмирал не отвечает. Неужели на «пивном» стуле сидит некто по прозвищу Брюммер-миллионщик? Адмирал его не видит, а если человека не видишь, нельзя ему и ответить.

Анна Грабе шьет. Рядом на табурете сидит Хеннинг. Анна рассказывает сыну, какая удивительная перемена произошла с Адмиралом.

— А потом знаешь, что он мне сказал? Он сам поедет за покуп-

ками... Я думала, что ослышалась. Иоганнес Грабе отправится за покупками!

Она качает головой, так как до сих пор не может взять в толк, что же, собственно, произошло. Не менее удивлен и Хеннинг. Он наблюдает, как ловко его мать пришивает подкладку к рукавам нового костюма. Хеннинг смотрит на ее узловатые пальцы, морщинистую кожу и задумчиво говорит:

— Скоро он снимет с тебя часть забот. Вы уже оба немолоды.

— Капля по капле и камень точит,— говорит Анна Грабе.

Немного погодя Хеннинг говорит:

— Я уверен, что в конце концов вы поладите и будете жить лучше, чем до сих пор.

Мать продолжает шить и отвечает не сразу. В комнате тихо, только часы тикают на стене. Анна Грабе поднимает глаза — в них снова горит странный огонек — и спрашивает:

— Ты уверен?

Надо перевести разговор на другое, думает Хеннинг. Не следует с ней об этом говорить.

— Значит, он сильно вымок?

— Да, представь себе! — говорит она и тотчас успокаивается.— Вообразил, что плохо закрыл вершу... Испугался, что угри все уйдут!

— Он все больше становится чудаком,— говорит Хеннинг.

Мать подробно рассказывает сыну, что произошло этой ночью с отцом; как всегда, она пересыпает свою речь пословицами, часто совсем не к месту. Хеннинг слушает ее с участием. Неожиданно она говорит:

— Завтра утром ты увидишь Бербель. Ведь она ничего не знает о твоем приезде.

Хеннинг задумчиво поглаживает рукой подбородок. Да, завтра он увидит ее, а ведь не прошло и трех месяцев, как они расстались.

— Кто мог подумать, что так получится,— отвечает он.

Мать смотрит на сына, он все еще кажется ей мальчиком; трудно поверить, что он скоро женится и у него будет ребенок, а она станет бабушкой. Как летит время!

Они видят, как к дому подъезжает Адмирал. Хеннинг встает, но мать удерживает его.

— Не уходи, Хеннинг, сиди... Ворон ворону глаз не выклюет. Быть может, он даже обрадуется, когда увидит тебя, ему ведь известно, что ты меня навещаешь.

Они слышат, как Адмирал снимает в кухне рюкзак и кладет его на стол, затем его шаги приближаются, он открывает дверь. Адмирал видит сына, и его глаза на секунду сужаются. Хеннниг встает.

— Добрый день, отец,— говорит он.

Адмирал смотрит на сына. Давненько они не встречались с Хеннингом здесь, дома. Редко удается ему видеть этого непутевого сына. И вот теперь они стоят лицом к лицу. Да, что ни говори, он все же выродок, этот парень со скуластым лицом. А сам выше меня ростом, потолок головой подпирает.

— Редкий гость,— произносит, наконец, Адмирал.

Хеннинг снова садится.

— Я еду завтра в Росток, мать зашивает мне куртку.

— Так... значит, едешь в Росток... Многие уже ездили туда за подачками.

Хеннинг качает головой.

— Брось, отец. Дело идет вовсе не о подачке, это ты выдумал.

— Ваш грузовик — совершенно нелепая затея! — говорит Адмирал

и начинает ходить взад и вперед по комнате. Хороша жизнь, нечего сказать, в магазине тебя выставляет дураком Брюммер-миллионщик, этот проходимец, дома тебя встречает сын — непутевый сын, который едет с проходимцем в Росток клянчить никому не нужный грузовик.— Всякий, кто сохранил хоть каплю рассудка, назовет это подачкой.

Адмирал медленно прохаживается из угла в угол. Хеннинг наблюдает за ним.

— Мы заплатим за грузовик, отец, а когда платят — и речи не может быть о подачке. По-моему, так.

Адмирал продолжает ходить взад и вперед. Анна Грабе чинит куртку и не поднимает головы. Видно, они никогда не поладят друг с другом, думает она.

— Но кто заплатит? Платить-то приходится нам. У нас еще есть здравомыслящие люди, они-то знают, что рыбаки всегда обходились без грузовика... им не нужен никакой грузовик... А платить приходится вместе со всеми, хотя им ничего не нужно...

В голосе Хеннинга начинает звучать раздражение:

— Но ведь мы же в кооперативе, отец! Если ты платишь за грузовик, то получишь свою долю дохода, который он нам принесет!

— Мне достаточно того, что я зарабатываю,— тотчас отвечает Адмирал.

Хеннинг пожимает плечами. К чему спорить? К чему вообще весь этот разговор? Бессмысленно толковать с отцом о таких вещах.

— Ты всегда против, отец. Ты всему противишься, если даже это выгодно всем.

Адмирал останавливается, меряет сына взглядом с головы до ног и говорит:

— Я слышу это слишком часто от тебя и тебе подобных...— Он внимательно смотрит на сына и добавляет: — Но это неправда, это неправда...

— Только не затевайте опять споров,— говорит Анна Грабе.— Легко добыто — легко и прожито, нечего вам спорить.

— Я, видите ли, всегда против! Могу ли я, старый человек, допустить, чтобы мне постоянно кололи этим глаза?

Хеннинг предпочитает не отвечать. Он встает.

— Подайте друг другу руки и помиритесь! — говорит фрау Анна.

Они стоят друг против друга, смотрят друг другу в глаза. Их лица серьезны. Если внимательно приглядеться, лицо Адмирала может показаться даже немного печальным. Но, очевидно, так только кажется. На лице Адмирала написана вовсе не печаль. Он говорит:

— Я не желаю слышать в своем доме, что я всегда против. Мне это ни к чему.

Хеннинг Грабе берет куртку и перекидывает ее через руку. На мгновение он задумывается, опускает голову, затем говорит:

— Ладно, отец, бессмысленно спорить из-за этого.— Он поворачивается к матери: — Большое спасибо, мама...— И уходит.

Адмирал смотрит ему вслед, вдруг делает несколько шагов за этим непутевым сыном и произносит:

— Непорядок и злонравие, когда сыновья...

Хеннинг закрывает за собой дверь. И тут Анна Грабе снова начинает петь. Она напевает себе под нос старую церковную песню, старую печальную песню...

Если вчера вечером Адмирал ждал, пока появится свет в доме Короля Преппинга, то сегодня он ждет, пока он погаснет. Леннекен должен спать.

На стене мерно тикают часы. А ветер крепчает. В эту ночь, во вторую ночь Адмирала Грабе, ветер крепчает. Вечерний бриз непрерывно набирает силу, как обычно бывает перед бурей.

XV

Интермедия в Ростоке. Государственный деятель узнает Кнута Брюммера. Бербель угрожает разводом

— Красивая девушка, что правда, то правда,— говорит Кнут Брюммер.

Оба, Хеннинг и Брюммер-миллионщик, предпочли пойти с вокзала пешком. На трамвай решили не садиться. Если идешь пешком, больше увидишь. Они останавливаются перед бронзовой статуей у Розенгартен и рассматривают это скульптурное воплощение женской красоты. Кнут Брюммер одобрительно кивает и повторяет:

— Красивая девушка, что правда, то правда!

Хеннинг Грабе чуть было не прошел мимо красивой девушки из бронзы, но Кнут Брюммер, Брюммер-миллионщик, остановил его. Он знает толк в красоте. И вот они стоят здесь.

— Да, просто сказочно красива, Хеннинг, но как, должно быть, мерзнет зимой бедняжка... Сейчас-то еще ничего, терпимо...

И Брюммер ухмыляется во весь рот, словно желая сказать: «Смотри, мы тоже не так просты, как кажется».

Брюммер улыбаясь смотрит на бронзовую девушку, беззаботную, красивую девушку. Хеннинг рассматривает статую и тоже находит ее красивой, а про себя думает, что, если бы его спросили, подлинное ли это искусство, он не смог бы ответить. Да, он плохо разбирается в искусстве. Но вот Хеннинг еще раз окидывает взглядом статую и мгновенье ему кажется, будто девушка ожила. Его словно охватывает страх, он быстро отворачивается. Осень дает себя знать и в городе. Побуревший газон, потемневшая мостовая улицы, старые обомшелые деревья. Мимо проезжает на велосипеде молодая женщина: на ней светло-голубое платье, серая шерстяная кофта, через плечо — сумка. С тихим шумом проносится машина.

И опять перед ним девушка из бронзы, опять его взгляд скользит по всей ее фигуре. Опять легкий испуг: девушка словно живая...

— Да, она совсем как живая,— говорит Хеннинг.

Кнут Брюммер смотрит искоса на своего молодого товарища и усмехается.

— Что, нравится, Хеннинг Грабе? — И так как Хеннинг отвечает не сразу, добавляет: — Таких красивых в действительности не бывает. Можешь мне поверить.

— Нет, бывают,— возражает Хеннинг.— Бывают.

Брюммер-миллионщик качает головой. Не этому желторотому юнцу учить старого морского волка, перевидавшего множество девушек во всех портах мира.

— Была у меня девушка из Рио-де-Жанейро,— говорит Кнут Брюммер,— такой ты за всю свою жизнь не видел...

Но Хеннинг Грабе не слушает, он смотрит на эту девушку из бронзы и испытывает какую-то странную, тайную радость, сам не зная отчего.

Вот незадача, только начал рассказывать о своей красотке, с которой познакомился еще в те времена, когда плавал по морям,— Хен-

нинг Грабе, этот глупый парень, перестал его слушать. Уставился на эту девчонку, которая без конца пьет воду из чаши, и не слушает. Подумаешь, голая! Так ведь из бронзы же!

И Кнут Брюммер продолжает беседовать сам с собой. Хорошо рассказывать что-нибудь из своей жизни. Но вдруг Хеннинг говорит:

— Пойдем, уже пора... У нас много других дел.— И приходится оборвать на полуслове. Такой уж нынче народ пошел. Если вобьет себе что в голову — пропало дело. Тут не поможет даже пикантная история, происшедшая в далекой Бразилии.

Не дожидаясь Брюммера, Хеннинг переходит через улицу и направляется к новому величественному зданию, что стоит на другой стороне улицы. Здесь находится Окружной совет. Хеннинг идет вразвалку, как ходят все рыбаки. За ним плывет старый Кнут Брюммер. Широкие брючины полощутся у него вокруг ног.

За последние годы Кнут пополнел и выглядит теперь весьма солидно. Седые виски и лицо свидетельствуют о почтенном возрасте.

Выходит вахтер и спрашивает, к кому они. При этом он окидывает обоих быстрым взглядом. Бернгард Калла говорил на собрании, что увидеть старого морского волка — для городских одно удовольствие. А этот вахтер вообще недоброжелателен. Он лишь спрашивает, к кому они. И Кнут Брюммер говорит:

— Во всяком случае, не к тебе.

— Это я и без тебя знаю,— отвечает вахтер.

Хеннинг улыбается и говорит, что им нужно поскорее попасть к председателю Совета.

Похоже, что колкая реплика Кнута Брюммера немного рассердила вахтера. Он энергично трясет головой и спрашивает:

— А вы записаны на прием?

— Мы — де-ле-га-ты,— говорит Кнут Брюммер.

Но вахтер не обращает больше внимания на Брюммера-миллионщика. Он поворачивается к Хеннингу и говорит:

— Председателя сейчас нет, но вы можете пойти к заместителю... Вы по какому вопросу?

— Это не твое дело! — говорит Кнут Брюммер, проникшийся к вахтеру величайшей антипатией. Но Хеннинг быстро спрашивает:

— А где его можно найти?

Вахтер ведет себя так, словно Кнута Брюммера тут вообще нет, и разговаривает с одним только Хеннингом. Он называет номер комнаты, а когда они почти прошли проходную, кричит:

— Стойте!

Они оборачиваются, Хеннинг — быстро, Кнут Брюммер — неторопливо.

— Ваши документы! — требует вахтер.

Они предъявляют документы, затем прячут их, и Кнут Брюммер замечает:

— Все равно что к прокурору попали.

Конечно, он обращается только к Хеннингу, потому что для него, Кнута Брюммера с острова Леннекен, этот человек тоже больше не существует.

Они поднимаются по лестнице — необычной лестнице, ведущей с двух сторон к одному входу, медленно проходят по коридору и читают таблички на дверях, так как после той встречи, которую устроил им вахтер, забыли номер комнаты. Запомнилась им только фамилия заместителя, да и то неточно: то ли Бенг, то ли Бенш. Во всяком случае, это короткая односложная фамилия. Переходя от двери к двери, они, нако-

нец, находят табличку, на которой значится: «Курт Бенш, заместитель председателя».

Перед тем как войти, Хеннинг говорит:

— Давай условимся, Кнут, что говорить буду только я... Не то мы, ей-богу, не получим грузовика.

Кнут Брюммер кивает и подмигивает, что должно означать: не беспокойся, Хеннинг Грабе, я знаю свою роль. Будем действовать так, как задумал Бернгард Калла. Ты говоришь, я представительствую.

Они входят и спрашивают у секретарши, можно ли видеть заместителя председателя. На ее вопрос, записаны ли они на прием, Хеннинг отвечает отрицательно и поясняет, что они приехали с острова Ленненкен по очень важному делу.

Секретарша уходит в соседнюю комнату, возвращается и говорит:

— Пожалуйста, входите. Фуражки можете повесить здесь.

Она оставила дверь приоткрытой и показала на вешалку. Кнут Брюммер в нерешительности смотрит на свою фуражку, потом переводит взгляд на девушку и наконец спрашивает:

— А фуражку здесь никто не возьмет?

— Что вы,— улыбается она.— Конечно нет.

Они вешают фуражки на вешалку и проходят в соседнюю комнату.

Курт Бенш выходит из-за письменного стола, делает несколько шагов им навстречу. Хеннинг и Бенш протягивают друг другу руки и оба невнятно произносят свои фамилии. Брюммер стоит на полшага позади Хеннинга, с важной миной на лице, как воплощение достоинства и здравого смысла. Брюммер знает: большего от него здесь не требуется, он должен изображать собою бравого моряка: так было задумано с самого начала, ведь они решили схитрить. Человек, что стоит сейчас перед ним, представляет высшую власть всего округа Остзее, и многое зависит от того, что он скажет и сделает. Он — государственная власть. Мы должны расположить его к себе — так задумал Бернгард Калла, и в кооперативе не нашлось никого, кто бы с ним не согласился.

Но вот Курт Бенш подает руку и Брюммеру. Он пониже ростом, чем Брюммер, и лет на десять-пятнадцать моложе. Бенш смотрит Брюммеру прямо в лицо, Кнут слегка кланяется, затем громко и внятно произносит:

— Брюммер.

Но что это с ним, с заместителем председателя, почему он на меня так уставился и руку не отпускает? Брюммер-миллионщик откидывает голову назад, как бы желая присмотреться к Беншу издали. А на лице Курта Бенша появляется улыбка. Она рождается в карих глазах и постепенно освещает все его худощавое лицо. Он продолжает крепко держать руку Кнута Брюммера, трясет ее и наконец говорит:

— Подумать только, дядюшка Брюммер! Ты еще жив!

Но больше всех изумлен, по-видимому, Хеннинг Грабе. Вот так Брюммер-миллионщик, ну и артист! Знает Курта Бенша и не сказал ни слова! Да полно, действительно ли он знает его? Кнут Брюммер слегка наклоняется вперед, пристально всматривается в лицо Бенша и отрицательно качает головой.

— Хоть убей, не могу вспомнить, кто ты такой.

Бенш смеется.

— Ну как же, дядюшка Брюммер,— Бенш из Фрееста!

Тут Кнут Брюммер, старый морской волк, всплескивает руками, хлопает Бенша по плечу и говорит:

— Ну конечно же, Курт Бенш из Фрееста! — И поскольку этим, собственно, еще ничего не сказано, добавляет: — А отец твой еще жив?

Их трое в этой просторной комнате. К большому письменному столу приставлен под прямым углом еще один стол, окруженный стульями. На окне — какое-то растение. За обитой войлоком дверью слышится стук пишущей машинки, с улицы доносится приглушенный шум города.

Курт Бенш отрицательно качает головой, хочет ответить, но в этот момент раздается телефонный звонок, Бенш усаживает гостей, берет трубку и начинает что-то записывать. Кнут Брюммер прищуривает глаз, многозначительно подмигивает Хеннингу. Мол, грузовик у нас уже в кармане. Хорошо, что я поехал с тобой, я, старый Кнут Брюммер.

Бенш говорит в трубку:

— Нет, по-моему, это плохое решение. Такое дело входит в компетенцию Совета министров. Да, конечно... Нет... Я сразу об этом сказал, как только все заварилось. Хорошо. Этот вопрос мы еще обсудим... Хорошо.

У Бенша низкий, тихий голос. Он говорит медленно, сдержанно, взвешивая каждое слово. Хеннинг и Кнут наблюдают за ним. Он кладет трубку, открывает маленький деревянный ящичек, предлагает им сигареты. И лишь когда они закуривают, продолжает:

— Нет, отца давно нет в живых, его убили нацисты... В тридцать восьмом, на болотах.

— Господи! — вздыхает Кнут Брюммер.— Вот уж кого мне жалко, так жалко! Хороший был человек...

Некоторое время они хранят молчание. Затем Курт Бенш спрашивает:

— Когда ты последний раз был у нас дома?

— О-о! — восклицает Кнут Брюммер.— Это было... постой... лет двадцать пять тому назад, а то и все тридцать.— В нем разгорается любопытство, и он добавляет:— А ты за это время стал оберландратом!

В голосе старика звучит восхищение. Вот каким человеком стал сын рыбака! Просто не верится.

Курт Бенш говорит:

— Ты уж скажешь, оберландратом... У нас таких нет, да и заместителем председателя я стал не сразу.

— Понимаю, понимаю,— поддакивает Кнут Брюммер.— Ясное дело, сначала ты был учеником, сначала надо было всему учиться.

Хеннинг не может удержаться от улыбки. Курт Бенш тоже смеется.

— Ну ладно,— говорит он.— Пусть будет так, если угодно. Сначала я был моряком, потом некоторое время работал учителем. Это и были ученические годы.

— Да,— отзывается Брюммер.— Подумать только, что вышло из маленького парнишки. Был моряком. А теперь — здесь!

Восхищение Брюммера неподдельно. Он осматривает кабинет, видит шкаф с книгами, обращает внимание на массивный стол, светлые стены, всю ясную и строгую простоту этой большой комнаты. И, быть может, ему вспоминается рыбацкая хижина во Фреесте — теснота, бедность...

— А вы... что вас привело сюда? — спрашивает Курт Бенш, впервые с начала разговора обращаясь и к Хеннингу Грабе.

— Пусть об этом расскажет Хеннинг. У нас очень важное дело,— отвечает Кнут Брюммер, вспомнив о той роли, которую должен здесь играть. Сейчас, конечно, обстоятельства некоторым образом изменились, но Хеннинг лучше сможет рассказать, для чего они сюда приехали.

Хеннинг хочет уже начать, но тут Бенш спрашивает:

— Как у вас с уловом в этом году?

— Неплохо,— отвечает Хеннинг.— Весной мы перевыполнили план на тридцать три процента, осенний план уже почти выполнен, а лов еще впереди.— Он выдерживает короткую паузу и добавляет:— Поэтому нам нужен грузовик.

По выражению лица Курта Бенша нельзя догадаться, что он думает. Он даже не сморщил лоб. Бенш смотрит на Хеннинга, потом переводит взгляд на Брюммера.

— Вот мы и хотим вас спросить, можно ли получить грузовик еще в этом году.

— Вы хотите сами построить причал?

— Да,— подтверждает Хеннинг.— Тогда у нас получится большая экономия во времени. Ведь сейчас каждая бригада сама доставляет улов в город...

— Понятно,— произносит Бенш.

Он курит с задумчивым видом. Из приемной доносится стук пишущей машинки.

— А почему бы вам не отвозить весь улов на одной лодке? Это возможно?

— Нет,— отвечает Хеннинг.— Это невозможно, во-первых, потому, что мы живем далеко друг от друга, во-вторых, потому, что у нас очень большой улов. У нас нет такой большой лодки, чтоб можно было погрузить всю пойманную рыбу...

— Какой же у вас наибольший улов? — спрашивает Бенш.

Хеннинг называет цифру. Конечно, все эти вопросы следовало ожидать, но так ли уж они необходимы? Разве нельзя просто сказать «да», и дело с концом?

— Мы сами заплатим за грузовик, товарищ Бенш. Нам нужно лишь разрешение на продажу.

Курт Бенш встает. У него такой вид, словно он и не слышал слов Хеннинга. Он начинает ходить по комнате, засунув руки в карманы.

— А какой у вас наименьший улов?— спрашивает он, сделав несколько шагов. Хеннинг снова называет цифру и тут же добавляет:

— Даже это слишком много для одной лодки, да, пожалуй, и для двух и для трех.

Курт Бенш садится за письменный стол, проводит рукой по волосам и говорит:

— Неплохая мысль, но, кажется, придется вас разочаровать, товарищи...

На протяжении всего разговора Кнут Брюммер молчал. Сначала он обрадовался, видя, с каким интересом Бенш расспрашивает об их делах. Вот перед тобой толковый человек, который до всего хочет дойти сам. Но мало-помалу стариком овладело нетерпение. Нет, тут что-то не так, раз Бенш долго раздумывает. Можно бы и покороче. Ведь не первый день они знают друг друга. А теперь он еще говорит, что придется нас разочаровать. Уж не ослышался ли я?

— Скажи, просто не хочешь дать нам грузовик? — вырывается у Брюммера.

Бенш качает головой.

— Не в том дело, хочу или нет. У нас нет никакой возможности. План на шестидесятый год рассчитан до мелочей, автомашины, которые выпускает наша промышленность, уже распределены.

Попробуй тут разберись. Бенш говорит о каком-то распределении. У Кнута огорченное лицо. Он хочет что-то сказать, но передумывает. Ясное дело, отец этого Курта Бенша был совсем другим человеком. Уж он бы наверняка помог.

Хеннинг Грабе смотрит на Бенша. Так вот оно что. Мы-то старались, добиваясь согласия большинства на покупку грузовика. Бегали, уговаривали. Против нас был Король — ведь многие еще прислушиваются к его мнению, не говоря уж об Адмирале. И вот, оказывается, все было напрасно. Грузовики уже распределены на год вперед.

Курт Бенш чувствует их разочарование. Но одни планы приходится откладывать ради других, более важных планов. Он говорит:

— Вам следовало бы обратиться в автотранспортный отдел. Он должен обеспечить ваши перевозки.

— Мы уже думали об этом,— говорит Хеннинг.— Автотранспортный отдел не может поручиться, что машина будет подаваться как раз в тот момент, когда улов доставят на берег. А опоздаешь хоть раз подать машину — загубишь несколько центнеров рыбы. Не говоря уже о том, что в таком случае мы не можем взять на себя обязательство обеспечить свежей рыбой весь наш район.

Конечно, у этого человека, сидящего за столом, есть свои соображения, которые следует принять во внимание. Конечно, он разбирается в наших делах, об этом свидетельствуют его вопросы. Но что толку от всего этого, если мы уедем ни с чем?

В строгом кабинете Бенша царит молчание, и даже пишущая машинка перестала стучать в соседней комнате.

— Я охотно верю, что с грузовиком ваши дела пошли бы лучше,— говорит Бенш.— Это действительно неплохая мысль. Но только ни в этом, ни в будущем году мы ничем не сможем вам помочь.

— Да, но мы могли бы предоставлять машину для других перевозок, когда она будет свободна...

— Все это так, не спорю,— говорит Бенш.— Но я действительно не вижу никакого выхода.

На мгновение кажется, что разговор закончен. Курт Бенш пожимает плечами.

Нет, не так все просто. Мы хорошо все продумали. А как трудно было добиться одобрения. И вот пожалуйста. Все напрасно. Нет, легко мы не сдадимся.

— Не так-то было просто,— говорит Хеннинг,— убедить рыбаков в том, что машина нам нужна. Груз прожитых лет нелегок, ведь у нас еще...

И Хеннинг хочет рассказать, что означает для кооператива покупка грузовика, но тут Брюммер возьми да и брякни:

— Будь у меня мои миллионы, мы бы купили целый автопарк... Либо так, либо на черном рынке.

Слово сказано. Не может старый человек молчать, раз в этом нет больше необходимости. Пусть этот заместитель председателя важная персона, но и он, как видно, тоже чего-то не понимает.

Хеннинг резко оборачивается, но Кнут Брюммер не из пугливых. С серьезным видом он смотрит на Хеннинга и Бенша. И не успевает Хеннинг слово вымолвить, как Бенш спрашивает:

— Какие такие миллионы?

— Ах,— быстро вставляет Хеннинг,— это у него просто заскок. Он утверждает, что у него есть в Швеции миллионы.

— Никакой это не заскок, Хеннинг Грабе, сейчас я все расскажу,— говорит Кнут Брюммер. И не успевает Хеннинг рта раскрыть, старик уже рассказывает о своих миллионах. Хеннинг пытается изменить тему разговора, сгладить неловкость, но Кнута не сдержать.

Известие о наследстве, оставленном ему в Швеции, застало его в Рио-де-Жанейро. Ему написал об этом один приятель, такой же морской

волк, как и он сам. В письме, в частности, сообщалось, что его миллионы — в то время их было тридцать шесть — находятся на хранении у шведского короля.

— А кто принес тебе это письмо? — перебивает его Курт Бенш.

Но Кнут Брюммер только отмахивается:

— Ты его не можешь знать, он потом повесился. Это случилось в Санта Крус, что ли.

— И уж конечно у него по всему лицу был длинный шрам — от уха через левый глаз до самого рта,— говорит Курт Бенш, и в его глазах сверкают насмешливые искорки.

— Нет-нет,— говорит Кнут Брюммер.— Лицо у него было совсем гладкое. Я и сейчас еще помню, как обрадовался письму! Тогда в Рио дела у меня шли чертовски плохо. Можешь мне поверить. Да и до того мне было не легко.

— А где же теперь эти миллионы? — спрашивает Бенш.

Хеннинг не мог бы сказать, всерьез интересует Бенша этот вопрос или он просто подшучивает над Брюммером. Во всяком случае, слушал он с интересом.

— Где, где... в Швеции конечно! — отвечает Кнут Брюммер.

Бенш понимающе кивает головой и затем обращается к Хеннингу:

— У вас на Леннекене много старых рыбаков?

Но Кнут Брюммер разошелся и сам отвечает Беншу:

— Много, и все заядлые скептики, доложу я тебе. Они всему противятся.

Бенш переводит взгляд с одного на другого. Потом снова обращается к Хеннингу.

— Ты что-то хотел мне рассказать... Многие были против покупки грузовика?

— Да, прежде всего те, у кого мошна туго набита еще со старых времен.

— Какие же у них доводы? — спрашивает Бенш.

— Мало-мальски разумных — никаких. Они прекрасно понимают, что покупка грузовика — верный шаг к кооперативу второй ступени. Этого достаточно.

Бенш морщит лоб, задумывается и, наконец, говорит:

— Стало быть, все дело в классовой борьбе.

И тут Хеннинг Грабе словно прозрел. Действительно, они все время говорили только о цифрах, о том, какой доход принесет им грузовик, но в суть дела они не вникали, и только Курт Бенш добрался до нее.

— Именно так,— подтверждает Хеннинг.

Бенш выходит из кабинета, а когда возвращается, Кнут Брюммер говорит:

— Если б твой отец был жив, он наверняка дал бы нам грузовик.

Бенш ничуть не сердится на эти слова. Он лишь посмеивается, кивает Брюммеру, подмигивает и говорит:

— Возможно, что так.

— Уж наверняка так... А почему ты нам отказываешь?

Бенш снова посмеивается. Вместе с ним, не зная почему, смеется и Хеннинг Грабе. Бенш как-то вдруг развеселился.

— Да ведь еще неизвестно, дам я вам грузовик или нет... Я бы с удовольствием, но вот... смогу ли я это сделать!

Секретарша подает ему папку. Бенш некоторое время внимательно просматривает ее. Снова звонит телефон. Продолжая читать, Бенш снимает трубку, делает пометки, кладет трубку и говорит:

— Так вот какое дело... Тут действительно ничего не выкроишь,

как я и думал.— И в ответ на резкое движение Брюммера продолжает: — Успокойся, дядюшка Брюммер! Я еще не все сказал. Тут действительно ничего не выкроишь, но я поставлю этот вопрос перед Государственной плановой комиссией. А Окружной совет вас поддержит.

Кнут Брюммер с сомнением качает головой.

— А будет ли толк? — спрашивает он.

Курт Бенш выдерживает паузу и говорит:

— Быть может, рабочие автозавода выпустят одну машину сверх плана, если им станет известно, для чего вам нужен грузовик... Это вполне возможно. Либо плановая комиссия перебросит одну машину из другого округа. Какой-то выход найдется.

Некоторое время они сидят молча, каждый думает о своем.

— Ты непременно должен к нам приехать,— говорит Хеннинг.

— Если будет время,— отвечает Бенш.

— А если времени не будет, тебе придется взять его взаймы,— шутит Кнут Брюммер.

Они прощаются, Бенш провожает их. Уже у выхода на лестницу Брюммер говорит:

— Мне думается, Хеннинг, он сумеет найти применение моим миллионам.

Хеннинг Грабе дружески хлопает старика по плечу. Однако мимо вахтера они проходят молча, лишь приложив палец к козырьку фуражки.

Лаборатория находится между перевязочной и комнатой старшей сестры. Сегодня утром в лаборатории произошло чрезвычайное происшествие: девушка по имени Бербель ни с того ни с сего уронила пробирку. Только что держала ее в руке и была всецело поглощена работой и вдруг ни с того ни с сего уронила. Она стоит с изумленным лицом посредине комнаты и ничего не слышит, кроме голоса только что вошедшего мужчины, который говорит:

— Могу ли я повидать Бербель Преппинг?

Старшая сестра взглядывает на этого человека, который так, запросто, ввалился в лабораторию в служебное время и изъявил желание повидать молодую девушку, ее подчиненную. Она еще не успела ответить — ведь в лаборатории разбили пробирку. Да, старшая сестра не успела сказать ни слова, а девушка с Ленненкена уже стоит перед этим парнем.

Хеннинг и Бербель не подают друг другу руки, они лишь стоят посреди этой чистой, сверкающей белизной комнаты, пропитанной запахом эфира и лизола, смотрят друг другу в глаза, и их лица озарены радостью.

Маргарета Хагедорн, старшая сестра, многие годы работавшая в больницах, сидит за столом у окна и хорошо видит их лица. Девушка улыбается, но стоит неподвижно, как статуя. У парня строгое загорелое скуластое лицо с очень высоким лбом. Оба нисколько не смущены. Маргарета Хагедорн наблюдает за этой немой сценой, по ее лицу нельзя понять, что она думает. Но вот Хеннинг Грабе произносит:

— Бабс...

А девушка говорит:

— Хеннинг.

Они неотрывно смотрят в глаза друг другу. Наконец Бербель осторожно берет его за руку.

Прямо как в кино, думает старшая сестра. Если не вмешаться, они

простоят так до вечера. Маргарета Хагедорн покашливает, опускает глаза в лежащие на столе бумаги и говорит:

— Ты на работе, Бербель.

Голос у старшей сестры хриплый, как у мужчины.

— Да,— говорит Бербель,— я на работе... Что нового на Леннекене, Хеннинг?

Хеннинг качает головой.

— Ничего нового, Бабс... Все живы-здоровы.

— Я-то подумала, ты приехал по какому-нибудь очень важному делу... Поговорить насчет свадьбы, или что-нибудь с бабушкой... Быть может, она плохо себя чувствует?..

— Бабушка? Какая бабушка? — с удивлением спрашивает Хеннинг.

— Ты как был глупышом, так им и остался, Хеннинг Грабе, должна я тебе сказать.— И она задумчиво качает головой.— Я на работе, понятно?

— Да,— отвечает Хеннинг.— Я только хотел...

Бербель поворачивается к старшей сестре, которая просматривает истории болезни.

— У него нет оправданий, но он — мой муж, почти муж, и, наверно, приехал всего на несколько часов.

Маргарета Хагедорн поднимает глаза. Ее лицо строго и неприступно. В больнице существует порядок, его нельзя нарушать. И молодая девушка, которая хочет стать врачом, должна это понимать.

— Конечно, если он приехал всего на несколько часов, для вас это печально. Но в больницу нельзя приходить, когда вздумается. Вы должны понимать, Бербель, вам нельзя сейчас уйти.

Молодые люди смотрят друг на друга. Хеннинг пожимает плечами, на его лице глубокое разочарование.

— А нельзя сделать исключение? — спрашивает он.

Старшая сестра смотрит на этого парня, который просит сделать для него исключение, и отвечает не сразу.

— Я действительно пробуду в Ростоке только до семи вечера... честное слово.

— Ах,— говорит Бербель,— я-то думала, ты останешься на несколько... — и испуганно прикладывает руку ко рту.

Должно быть, Маргарета Хагедорн не хочет, чтобы в этот момент видели ее лицо, она пристально смотрит в окно, на больничный сад, в который уже вошла осень с ее пестрыми красками, осень с печальным золотым листопадом.

— Ну что ж,— говорит Бербель.— Придется тебе уйти, Хеннинг... Только подожди меня минутку в коридоре.

Она поворачивается к старшей сестре спиной, чтобы та не видела, как они прощаются. Нет, еще не все потеряно.

Хеннинг говорит:

— Ну ладно... До свидания.

— До свидания,— отвечает старшая сестра и даже чуть-чуть улыбается.

Едва Хеннинг успел выйти, как Бербель спрашивает:

— Нравится он вам, фрау Хагедорн?

Маргарета Хагедорн глубоко вздыхает.

— Девочка, девочка, о чем ты только думаешь!

— А что? — говорит Бербель.— Сегодня мы хотели купить кольца... И сегодня вечером у меня дежурство — несколько часов ночного дежурства...

Ну что тут можно сказать? Эта девушка умеет располагать к себе людей. Маргарета Хагедорн снова вздыхает. Что тут можно сказать? Она хорошо понимает Бербель, не может оставаться к ней равнодушной. Бербель понравилась ей с первого дня их знакомства. И, разумеется, отлично понимает это. Но в больнице существует порядок... Нет, нужно быть потверже, иначе нельзя...

Но вот Бербель говорит:

— Я так соскучилась по дому, а Хеннинг сейчас в Ростоке.

Они смотрят друг другу в глаза, эти две женщины, фрау Хагедорн, умудренная долголетним опытом работы в больнице, и Бербель Препинг, молодая девушка, которой еще предстоит узнать много такого, о чем она и не подозревает.

— Видишь ли, Бербель, тебе же хорошо известно... Ну ладно, иди, сделаешь свою работу после семи. Но уж это обязательно. Ровно в семь ты должна быть на месте.

— Обязательно! — говорит Бербель и улыбается женщине, сидящей за письменным столом. — Я все равно не люблю никого провожать на вокзал, от этого всегда реветь хочется.

— Ладно, иди уж... Он ждет.— А когда Бербель выходит из комнаты, Маргарета Хагедорн добавляет: — Держи его крепче. Таких парней днем с огнем поискать.

— Знаю. Только такого мне и надо.

Рассмеявшись, Бербель уходит. А Маргарета Хагедорн, прежде чем приняться за работу, некоторое время задумчиво смотрит в окно.

В коридоре Бербель говорит Хеннингу:

— Подожди минутку, я только возьму пальто!

Улыбаясь, Бербель бежит по коридору, по длинному коридору с навощенным до блеска полом, в котором человек отражается совсем как в зеркале. Бербель бежит, а Хеннинг Грабе смотрит ей вслед и думает: «Как ей идет одежда медсестры». В это мгновение в конце коридора открывается дверь и выходит мужчина в белом халате. Он видит Бербель и широко раскидывает руки. Бербель едва успевает остановиться, почти сталкивается с ним. И тут он заключает ее в объятия. Лицо Хеннинга мрачнеет и становится замкнутым. Он делает шаг в их сторону, но тут же останавливается. Особых причин для беспокойства нет: девушка быстро высвобождается. Хеннинг не слышит, что она говорит, но мужчина смеется в ответ. И вот уже Бербель идет дальше.

У мужчины, идущего по коридору, медлительная походка, в ней чувствуется какая-то инертность и безразличие. Из кармана свисает резиновая трубка стетоскопа.

Он медленно приближается к Хеннингу, как будто не замечая его, вот он уже почти прошел, как вдруг поворачивает голову и спрашивает:

— Кого вы ждете?

Хеннинг смотрит ему в лицо, что-то обдумывает, отвечает:

— Жену.

— В какой она палате? — спрашивает мужчина, но Хеннинг молчит. У мужчины узкое лицо с очень длинным мягким подбородком. Глаза неопределенного цвета.

— Я спрашиваю, в какой палате лежит ваша супруга?

— Она вообще нигде не лежит,— отвечает Хеннинг,— она надевает пальто.

Хеннинг говорит слишком громко, в его голосе слышится раздражение. Это не ускользает от мужчины, он с удивлением смотрит на молодого человека в голубом костюме. Похоже, моряк или что-то в этом роде.

— Насколько мне известно, сегодня никого не выписывают. Разрешите узнать имя вашей супруги?

— Нет,— отвечает Хеннинг.

— Если я вас правильно понял, вы не хотите назвать мне ее имя...

— Нет, не хочу,— говорит Хеннинг,— вас это совершенно не касается. Я зашел за женой, чтобы пойти с ней погулять. Она не больна.

— Ничего не понимаю,— говорит мужчина.

Хеннинг пожимает плечами. Очевидно, мужчина уже не мог этого снести. Он говорит:

— Вы, видимо, не знаете, с кем разговариваете. Больница вам не...

— Не знаю и знать не хочу,— тотчас отвечает Хеннинг.— Одно могу вам сказать: я не желаю, чтобы вы обнимали мою жену. Только это я и хотел вам сказать. Попросил бы вас больше не позволять себе этого.

В этот момент Бербель снова появляется в коридоре. Увидев ее, Хеннинг пристально смотрит мужчине в глаза и, не приложив руки к фуражке, идет ей навстречу. Мужчина в белом халате медленно оборачивается, смотрит Хеннингу вслед и тоже замечает Бербель; некоторое время он стоит неподвижно. Но вот оба исчезают за поворотом коридора. Слышно, как они сбегают вниз по лестнице.

Мужчина в халате качает головой, заглядывает в лабораторию и спрашивает:

— Вы отпустили фрейлейн Преппинг?

Маргарета Хагедорн не считает нужным отвечать на этот вопрос. Она лишь на мгновение поднимает глаза, кивает и продолжает заниматься своим делом.

— Что же такого важного случилось? — спрашивает он.

Старшая сестра отвечает не сразу:

— Она сделает свою работу позже. К ней приехали.

Но мужчине в белом халате это уже известно. Он задумчиво поглаживает свой длинный подбородок, потом уходит.

Хеннинг и Бербель быстро идут по улице, как будто хотят подальше уйти от больницы, опасаясь, что их могут вернуть. Бербель идет рядом с Хеннингом, оба молчат. Наконец, она говорит:

— Ты несешься так, будто тебе платят за километраж, Хеннинг.

И он отвечает:

— А я думал, это ты бежишь, и старался от тебя не отставать.

Бербель берет Хеннинга под руку, и они замедляют шаг. Улица залита холодным светом осеннего дня. С шумом проносятся автомобили, с грохотом выезжает из ворот упряжка лошадей. На козлах сидит краснощекий кучер; колеса повозки прыгают на булыжной мостовой, и его щеки трясутся, да и сам он весь трясется, словно в ознобе.

Они останавливаются и пропускают упряжку. Затем идут дальше, и Хеннинг говорит:

— Кто этот мужчина, который тебя так приласкал?

— Меня? — спрашивает Бербель.

— Только не притворяйся, будто не понимаешь, о чем я говорю.

Бербель останавливается, и Хеннинг тоже вынужден остановиться.

— На тебя что, умопомрачение нашло? — спрашивает Бербель.

Хеннинг смущается под ее взглядом и говорит:

— Во всяком случае, я так и сказал ему, что не испытываю желания видеть это еще раз.

Они стоят на улице, мимо проходят мужчины и женщины, смотрят на них; Хеннинг хочет идти дальше, но Бербель говорит:

— Скажи, наконец, что ты имеешь в виду?

И Хеннинг поясняет:

— Думаешь, мне приятно, когда тебя обнимают другие?

Бербель смотрит на него непонимающим взглядом и вдруг начинает смеяться. Она гладит его руку, тихо смеется и говорит:

— Боже мой, какой же ты дурачок!

И увлекает его дальше. На мгновение Хеннингу кажется, что он больше не в силах вынести этот город, этот шум, всю эту суматоху. А вот Бербель — как странно! — весела и беззаботна, ее нисколько не тяготит толпа и уличный шум. Она тихо напевает себе под нос какую-то простую мелодию, повторяет ее снова и снова, словно хочет что-то сказать и не сказать.

Они медленно приближаются к большой площади. С лязгом проносятся трамваи, продавец газет выкрикивает какую-то новость, но слов невозможно разобрать. Сквозь шум автомобилей, мотоциклов и трамваев временами прорывается громкая музыка. Нет, в этот момент Хеннингу решительно не по себе среди суматохи городской жизни, хотя обычно, попадая в город, он испытывает подъем сил и не чувствует себя одиноким. Воздух над площадью кажется ему пыльным и отвратительным. Он не замечает ни солнца, которое тысячью бликов дробится на полированной поверхности автомобилей, ни стоящих в блеске солнца домов. Он ничего не видит: ни ребенка в коляске, очень живого и жизнерадостного, ни мужчин и женщин, которые размеренными шагами прохаживаются на остановке, ни студента, вежливо приветствующего девушку, ни круглого добродушного лица женщины, сидящей у корзины с яркими астрами и продающей букет за букетом. Он не видит этого светлого, оживленного города, похожего на человека, который потягивается и расправляет плечи, чувствуя избыток сил.

Лицо Хеннинга замкнуто. Странная она девушка. Позволяет обнимать себя чужому мужчине и только смеется. Не обращать на это внимания? Может, еще сказать: «Большое спасибо, господин доктор, мне очень приятно, что вы обнимаете мою жену». «Супруга»,— назвал ее тот мужчина. Лишь благодаря случайности он увидел, как Бербель позволяет с собой обращаться. Если бы он не зашел в больницу, то ничего бы и не увидел. Но что это меняет? Как она ведет себя, когда его здесь нет? Кто поручится за то, что она высвободилась бы так же быстро и в том случае, если бы его не оказалось поблизости?

Шаг Хеннинга не отстает от его мыслей. Вот уже несколько минут он почти бежит, как и вначале, когда они спешили уйти из больницы.

Бербель молчит. Ее лицо безмятежно спокойно. Они поднимаются вверх по асфальтированному склону. Хеннинг не замечает ни церкви справа, ни светлых новых домов слева, поражающих своей грандиозностью. Не видит он и старинных городских ворот, составляющих с домами единый ансамбль.

Время от времени Бербель бросает взгляд на Хеннинга, но он не смотрит на нее. Лишь когда они минуют ворота и выходят на старую узкую улицу, где трамваи идут чуть ли не по тротуару, лишь когда они попадают в толчею перед универмагом и грамвай, громко звеня, едва не задевает плеча Хеннинга,— лишь тогда она отпускает его руку. Бербель идет впереди, и Хеннинг протискивается сквозь толпу, чтобы не потерять ее из виду.

Но вот они снова идут рядом, и Бербель говорит:

— Хочешь, я расскажу тебе, как наш петух подрался с петухом Адмирала Граве? Я видела все от начала до конца. Они так налетели друг на друга — просто ужас...— И, поскольку Хеннинг продолжает со-

хранять каменное выражение лица, спрашивает: — Да ты слышишь ли меня?

Хеннинг молчит, и она понимает, что он слушает ее очень внимательно.

— Так вот,— продолжает Бербель.— Ваш петух ничем не задел нашего, буквально ничем, только посмотрел разок на курицу, которая принадлежала нашему петуху. Я еще подумала: «До чего же глупы эти петухи. Ведь курицу ваш петух нисколько не интересовал».— Она выдерживает небольшую паузу и добавляет: — Пришлось разнять их, не то они заклевали бы друг друга до смерти. Правда-правда.

Они молча проходят несколько шагов, потом Хеннинг спрашивает:

— Он часто это проделывает?

— Петух? Не знаю. Но дай ему волю...

Хеннинг останавливается и сжимает руку девушки так сильно, что ее лицо перекашивается от боли.

— Я не петух, Бабс. И не позволю смеяться над собой!

Да, он не петух, Хеннинг Грабе с острова Леннекен. И он действительно не позволит смеяться над собой.

Бербель берет его за руку.

— Хеннинг,— говорит она,— ну перестань, честное слово, это тебе не идет. Лучше поцелуй меня.

Они стоят перед кафе, у самой лестницы. Шум города отхлынул, Хеннинг пристально смотрит в глаза девушки. Ее глаза — как море в жаркие летние дни, порою они загораются изнутри. Он смотрит в эти глаза и видит, что знает о девушке все, видит, как бессмысленно бунтовать против этого знания. И все же: он собственными глазами видел...

Бербель говорит:

— Ну хоть улыбнись, что ли, я так рада, что ты приехал, дурачок.

Они глядят друг на друга. В сущности, ничего не произошло, но как трудно это сразу признать. Всему свой черед, не может же он так просто сказать: «Я люблю тебя, Бабс, забудем обо всем, что я говорил». Этот мужчина в белом халате — он так самодовольно рассмеялся, когда Бербель высвободилась. Его смех до сих пор звучит в ушах Хеннинга... Стервец этакий, так сразу взять и облапить девушку!

— Кто он такой, собственно? — спрашивает Хеннинг.

Бербель смеется:

— Он ученый. В делах житейских наш доктор Дрейер ничего не смыслит. Только он всегда какой-то печальный...

— А что ты сказала ему, когда он тебя так сразу и...

— Ме-е-е!

— Что такое?

— Господи, Хеннинг! Я сказала: ме-е-е! А если ты, дурачок, еще не знаешь, что это такое, так знай: это — язык баранов. Доктор Дрейер на нем разговаривает.

Хеннинг смотрит на ее губы и вдруг, позабыв о городе и о людях, которые их окружают, поднимает свои большие грубые руки и гладит ее лицо.

— Я тоже, Бабс! — говорит он.

Бербель улыбается и замечает:

— К счастью, не всегда!

В магазине, на столе из темного дерева, лежат застекленные ящики, в них поблескивают украшения. Одни из них — драгоценные, другие — имитация. Человек несведущий не смог бы отличить настоящие от под-

дельных, если б не цены, проставленные тут же. Хеннинг и Бербель уже довольно долго находятся в магазине, рассматривают содержимое стеклянных ящиков, на стенах тикают часы. Когда они вошли, зазвенел колокольчик у двери, но к ним никто не вышел. Только из комнаты в глубине магазина кто-то крикнул:

— Минуточку, я сейчас!..

И вот они стоят совсем одни среди часов. Некоторые часы тикают торопливо, нетерпеливо, в их быстрое тиканье вплетается солидное размеренное тиканье больших стоячих часов, которым некуда торопиться, ибо они привыкли выполнять свое предназначение спокойно, без всякой суеты. Среди солидных, спокойных и быстрых, торопливых, беспокойных слышатся звонкие голоса часов, которые придерживаются золотой середины: не медленно, но и не быстро. Они не мудрецы, но и не какие-нибудь ветрогоны. Зато стенные часы тикают кто во что горазд, и ухо не сразу различает, какие часы как ходят: Хеннинг и Бербель стоят у застекленных ящиков и чувствуют себя, словно в кунсткамере. Они не осмеливаются громко говорить и терпеливо ждут. С улицы доносится шум большого города, но Хеннинг и Бербель слушают лишь тиканье многочисленных часов. Наконец Бербель не выдерживает и шепчет:

— Вот бы купить те большие часы,— и показывает на стоячие часы в скромном простом футляре с незатейливым циферблатом.

Хеннинг отвечает приглушенным голосом:

— Не надо нам никаких часов. Хватит с нас и колец!

И они снова умолкают. Хор часов действует усыпляюще. Наконец Бербель надоело ждать. Она поднимает голову, напряженно прислушивается к тому, что делается в соседней комнате, но тиканье часов перекрывает все звуки.

— Наверно, про нас забыли,— говорит она довольно громко. В соседней комнате по-прежнему все тихо. Хеннинг морщит лоб, смотрит на дверь, пожимает плечами.

Он заглядывает в глаза девушке, они улыбаются, Хеннинг тянется губами к ее лицу, и в этот момент за их спиной раздается голос:

— Добрый день, прошу прощения. Сложный ремонт, никак не мог оторваться. А помощницы сейчас нет, пошла кое-что купить. Прошу вас, я к вашим услугам, прошу вас.

Старик в белом халате произносит эти слова с невероятной быстротой. С трудом верится, что он может корпеть над починкой часов, такой живой и подвижной. У него приветливые серые глаза, грива густых седых волос, на носу очки в темной оправе. Он переводит взгляд с Хеннинга на Бербель, с Бербель на Хеннинга и, прежде чем они успевают что-нибудь сказать, продолжает:

— Конечно, вам нужны кольца. Понимаю. Нынче у нас большой выбор. Прежде у нас не было золота, и мы продавали тоненькие обручальные кольца из серебра, сходили и такие. Теперь золото есть, и кольца делаются самые разнообразные. Не знаю даже, что вам и посоветовать. Есть кольца с маленькой бороздкой с обеих сторон, есть с выгравированными цветочками, есть массивные и тонкие, изящные и простые, как говорится, на всякий вкус.

Бербель не может удержаться от смеха, она смеется над этим чудаковатым стариком, смеется беззлобно, от души. Старик прислушивается, слегка склонив голову набок и глядя в ее смеющееся лицо:

— Вы, конечно, возьмете массивные, добротные кольца, фрейлейн! — Не дожидаясь ответа, он поворачивается, берет с витрины ящик и ставит перед ними.— Здесь хранятся символы будущего супружеского счастья половины Ростока! — И многозначительно поднимает палец. Бер-

бель хочет что-то спросить, но он опережает ее.— Это лучшее, что у меня есть. И вы возьмете именно эти кольца. Они идут по трем различным ценам, в зависимости от содержания золота в сплаве.— Своими худыми длинными пальцами часовщика он достает из ящика широкие, слегка выпуклые кольца красноватого цвета и показывает молодым людям.

Бербель осматривает кольца и говорит:

— Покажите, пожалуйста, и другие.

— Все остальное — хлам, дорогая фрейлейн. Можно даже не смотреть.

Хеннинг стоит с безучастным видом и почесывает за ухом. Значит, они все-таки покупают кольца. А зачем? Как будто рыбак станет по собственной воле носить кольцо! Но разве Бабс переубедить!

— Нам хотелось бы взглянуть и на хлам,— говорит Бербель.— А то с чем же сравнивать?

Старик делает обиженное лицо и становится неразговорчивым.

— Пожалуйста! — бросает он и достает из ящика десять различных обручальных колец. Они рассматривают кольца. И Бербель все время сравнивает их с теми широкими, красноватыми, которые были им предложены с самого начала. Хеннинг внимательно рассматривает узкое кольцо с красивыми бороздками по краям, откладывает его, берет другое и ловит себя на мысли, что начинает склоняться в пользу первых колец. Он говорит:

— Чем так перебирать, уж лучше вовсе не покупать.

И радуется про себя, когда Бербель возмущенно фыркает.

— Я ж вам говорил! — восклицает старик.— Могу вас... Одну минутку!

Он поднимает голову, прислушивается, затем поворачивается налево, приставляет к стене маленькую лестницу, взбирается по ней, открывает футляр часов и начинает их заводить.

— Если за этим не следить,— говорит он, не прерывая своего скрипучего занятия,— все часы могут остановиться. Моя помощница просто не слышит, когда они останавливаются. Работает в магазине почти десять лет и все еще не научилась определять на слух, когда нужно заводить часы. Некоторые так никогда и не могут научиться.

Он спускается вниз, останавливается перед ними и хочет что-то сказать, но Хеннинг опережает его:

— Мы возьмем эти! — И показывает на широкие кольца, которые старик предлагал им с самого начала.

— А может, вот эти? — говорит Бербель.

Да, она, безусловно, возьмет узкие кольца, самые узкие, какие есть.

— Эти или никакие! — отстаивает Хеннинг свой выбор.

— Ну хорошо, я согласна,— говорит Бербель, приподнимается на цыпочках и, не обращая на старика ни малейшего внимания, целует Хеннинга в губы.

Хеннинг бросает взгляд на старого мастера. С довольным видом тот поправляет очки, кивает им и говорит:

— Ваш брак будет счастливым, даю гарантию на сто лет!

Бербель качает головой:

— Мы в этом не нуждаемся. Когда нам исполнится по девяносто, мы разведемся.

Стемнело, начал накрапывать дождь. Мокро блестит асфальт улиц, сверкают крыши автомобилей и трамваев. Все рады дождю. Слава богу, сухое лето миновало. От земли, от уставших носить свою листву де-

ревьев исходит терпкий запах осеннего дождливого вечера. Наверху, на насыпи, вода стекает по стволам и корням деревьев, которые блестят при свете неподвижно висящих фонарей. С фонарей и веток мерно падают капли воды.

— Почем знать,— говорит Бербель.— Ты и в этот раз не думал приехать, а приехал. Быть может, и еще раз приедешь до рождества.

— Едва ли, Бабс... Мы и так получим грузовик,— отвечает Хеннинг.

Они стоят под деревом на насыпи, времени у них совсем мало, всего несколько минут. Хеннингу пора отправляться на вокзал, а Бербель — в больницу, доделывать свою работу. Собственно говоря, они давно уже должны были расстаться. Они уже дважды прощались — и каждый раз оказывалось, что у них еще остается несколько минут.

Хеннинг молчит, затем говорит:

— Не все ли равно, здесь я или нет. У тебя есть дядюшка Дрейер, он тебя утешит.

— Утешит, как утешал все это время.

Полно, да разве была у них совсем недавно размолвка? Что-то не припоминается... Хеннинг Грабе смеется:

— Пиши мне, о чем он с тобой будет говорить.

Бербель молчит. С деревьев падают капли дождя. Немного спустя Хеннинг добавляет:

— Если это повторится, ты только скажи «ме-е-е», и я наверняка сразу опомнюсь.

Бербель молчит и только прижимается к нему, трется головой о его мокрую куртку.

Хеннинг спохватывается:

— Ну, мне пора, Бабс.

— Мне тоже,— отвечает она.— А если ты еще раз вздумаешь дурить, как сегодня, я с тобой разведусь.

— Это твое право. Но сначала мы поженимся. Сыграем на рождество такую свадьбу, какой еще никогда не было на Леннекене, это точно.

— Пригласим тысячу гостей,— говорит Бербель.— И когда они соберутся, усадим их за стол.

— Конечно, ведь так всегда бывает на свадьбах.

Прощание в городе. Беспокойство, слова. Но можно ли прощаться спокойно? Где-то гудит автомобиль. С деревьев капает вода.

Они спускаются с насыпи, доходят до Розенгартена, до бронзовой статуи девушки. Бербель смотрит на часы и вдруг говорит:

— Господи, Хеннинг. Твой поезд отходит, а ты еще здесь.

— Ну что ж, тогда мне придется здесь остаться... И переночевать у тебя... Это будет замечательно.

Бербель смотрит на него, смеется и говорит:

— Знаю, ты этого только и хотел! Но у тебя еще есть целых полчаса, ты можешь дойти до вокзала пешком.

И, не успел Хеннинг опомниться, как она уже сказала:

— До свиданья! — и быстро зашагала по улице. Но вот она еще раз оборачивается, машет рукой, останавливается.

Хеннинг делает несколько шагов в ее сторону. Но она кричит:

— Не надо, Хеннинг! У меня сегодня ночью дежурство!

И Хеннинг тоже машет рукой на прощанье. Она идет под дождем во весь рост, даже не сгибаясь.

Когда Хеннинг, наконец, поворачивается, чтобы идти на вокзал, он видит перед собой бронзовую статую девушки и прикладывает палец к фуражке, словно приветствуя старую знакомую.

XVI

Что знает Шустер об океанских судах? Старая женщина будит ночью своего сына

В ночь после возвращения домой Хеннинг Грабе долго не может заснуть. В темноте комнатушки вновь оживает истекший день. Хеннингу не впервые лежать так с открытыми глазами, мечтать, вновь переживать события дня. Хеннинг и не пытается уговаривать себя ни о чем не думать, уснуть поскорее. За последние годы он понял, как хорошо еще раз осмыслить все, что видел и пережил. Многое представляется более значительным, чем казалось вначале, многое потонувшее в наплыве впечатлений начинает казаться важным и ценным. Беспорядочно блуждают мысли в его голове, образы всплывают и исчезают, все получает новое освещение.

Какого же ты свалял дурака, думает Хеннинг, и в его ушах звучат сказанные им слова: «Я не желаю, чтобы вы обнимали мою жену». И снова встает перед ним доктор Дрейер — человек с длинным безвольным подбородком. Он удивляется, и Хеннинг удивляется вместе с ним.

Был еще там старик в белом халате, часовых дел мастер, продавший им красивые кольца. Хеннинг слышит его голос, а живость и подвижность этого человека и по сей час кажутся Хеннингу совершенно невероятными. Кольца очень красивые. И Хеннинг Грабе, ранее полагавший, что рыбакам не пристало их носить, проводит большим пальцем по гладкой поверхности металла. Недолго думая, он даже включает свет и с радостью рассматривает кольцо на руке. Затем гасит свет, и тут перед ним возникает Кнут Брюммер. Он стоит на вокзале в Ростоке и курит трубку, принимая бросаемые на него взгляды как дань восхищения, а между тем взгляды эти могут означать и нечто иное, ибо Кнут стоит у самого контроля и всякий, кто хочет попасть на перрон, вынужден обходить его. «Нам пора, сынок,— говорит Кнут,— эти бабы будут идти бесконечно...»

И уже по дороге к перрону, в тоннеле, Кнут начинает рассказывать. Без всякого вступления он говорит:

— Гамбургский порт хорош, ничего не скажешь, Хеннинг Грабе, но когда будет готов ростокский... Это что-то невообразимое, что они там понастроили,— просто диву даешься!

Хеннинг Грабе лежит у себя в каморке и тихо посмеивается. Кнут Брюммер говорил таким тоном, словно Хеннинг собирался ему противоречить.

— Нет, сынок,— говорил Кнут Брюммер,— пусть теперь никто не рассказывает мне о чудесах. Я повидал немало портов, но этот — самый современный, скажу я тебе... Это что-то невероятное, чего они там понаделали. Когда видишь готовый порт — и думать не думаешь о том, сколько в него вложено труда! Эх, вот бы теперь походить по морям!

Хеннинг Грабе вновь слышит грохот колес, когда их поезд проносится через стрелки, и вспоминает слова Брюммера-миллионщика, сказанные им в купе. Они лежали, вытянувшись на скамейках. Старик непрерывно говорил о своих впечатлениях от осмотра порта. Он, оказывается, беседовал с английским матросом, который плавал на финском судне.

— Что нового? — спрашиваю я его по-английски. — Только сдается мне, он был вовсе не англичанин. Он меня не понял, когда я снова сказал по-английски: тут будет крупнейший порт в мире. Но потом мы с ним

прекрасно объяснились по-немецки. Он тоже сказал, что здесь будет большой, красивый порт. Уж можешь мне поверить, Хеннинг Грабе.

И в автобусе, который они едва успели захватить на станции, старик продолжал рассказывать о ростокском порте, а Шустеру из третьей бригады даже прочитал нотацию по этому поводу. Шустер побывал в театре, и жене его не терпелось услышать рассказ об интересном спектакле, но Кнута Брюммера не так-то легко было перебить — ведь он видел строительство порта. И когда Шустер как бы вскользь заметил: «Для настоящих океанских судов ростокский порт, конечно, недостаточно велик»,— Кнут Брюммер вправил ему мозги: «А ты знаешь, что такое океанское судно? Только твоя непомерная глупость под стать такому судну-гиганту. Таких дурней, как ты, на нем можно разместить целую сотню. Что ты знаешь об океанских судах!»

Нет, с Кнутом Брюммером шутки плохи. Как-никак, в свое время он объехал весь свет, а сегодня после обеда побывал в Варнемюнде, чтобы ознакомиться с проектом порта в целом. Во всяком случае, не Шустеру, который за всю жизнь видел только залив, да, может быть, кусочек Балтийского моря, поучать его, Кнута Брюммера.

Хеннинг тихо посмеивается в темноте, и ему вспоминается разговор с заместителем председателя Окружного совета. Кнут Брюммер быстро освоился в новой обстановке. Они-то хотели схитрить, увиливали, а оказалось, Брюммер не хуже их разбирается в положении на острове. Брюммера не перехитришь. «Следовало бы поговорить об этом с Бернгардом»,— думает Хеннинг.

У нас теперь есть люди, которые научились управлять государством. И таких немало. Наша небольшая республика строит большой порт, строит для себя ворота в мир.

Мысли Хеннинга блуждают, незаметно переходят с одного на другое. Вновь и вновь возникает перед ним образ Бербель.

Как тиха эта ночь, леннекенская ночь. Наверно, скоро рассвет. Глаза Хеннинга смыкаются, голова тяжелеет, образы становятся туманнее, неправдоподобнее. Вдруг снизу доносится шум. Хеннинг думает, что ему просто послышалось, что он задремал, но затем явственно слышит, как внизу открыли дверь. А вот и чей-то низкий голос звучит в сенях. Дремоты как не бывало. Хеннинг слышит скрип ступенек, и голос Короля:

— Да, да, Анна, вот эта дверь... Постучи ему!

В Хеннинге просыпается беспокойство. Он зажигает свет и видит перед собой мать. Она в платке, лицо очень бледно. Хеннинг жмурится от света, в голове мелькает мысль: что-то случилось. А мать, которая обычно долго выжидает, прежде чем начать разговор, быстро произносит:

— Хеннинг, сынок, поторопись, твой отец тяжело болен. Не знаю, что и делать. Плетет что-то несусветное и без конца зовет тебя. Идем скорее, мой мальчик!

Хеннинг вскакивает с постели и, одеваясь, спрашивает:

— Ты уже вызвала врача?

— Нет. Все началось вчера днем, я и не думала, что ему станет так плохо...

Анна Грабе идет впереди, внизу у лестницы их ждет Король, фонарем освещает им путь. Он стоит в дверях, поверх ночной рубахи накинул куртку. Когда они почти доходят до своего дома, Король кричит:

— Держите меня в курсе дела!

Они входят в дом и уже в кухне слышат хриплый кашель Адмирала. Он часто и тяжело дышит, громко стонет, и Хеннингу становится ясно, насколько серьезно состояние больного. Он входит в спальню. Тускло

светит прикрытая газетой лампа. Адмирал лежит в полутьме. Хеннинг тихо подходит к кровати, останавливается и беспомощно глядит на осунувшееся морщинистое лицо Адмирала. Закрыв глаза, Иоганнес Грабе время от времени стонет. Хеннинг присаживается на край кровати. От Анны Грабе на Адмирала падает тень. Вдруг руки Адмирала беспокойно задвигались, он словно что-то ищет, шарит по одеялу, отбрасывает найденное и ищет вновь. Хеннинг прикладывает руку ко лбу старика и, повернувшись к матери, говорит:

— Беги к Королю и позвони доктору Клюге, пусть немедленно...

И вдруг Адмирал кричит:

— Крюк! Мальчик... Этого не должно быть...

Но когда Хеннинг спрашивает его: «Что с тобой, отец, доктор сейчас придет»,— Адмирал начинает метаться, и Анна Грабе шепчет Хеннингу:

— Он все время бредит этим крюком, ума не приложу, о чем это он.

Хеннинг только отмахивается:

— Это от сильного жара.

— Я уже сварила сиреневого чаю, но он не хочет пить, а кто не слушается советов...— Она обрывает, и оба смотрят на Адмирала. А тот бессвязно бормочет:

— Если... да, найти нетрудно, но в такую погоду... Держи паруса, парень... Смотри, чтоб не перевернуло! — и пытается сесть на постели.

Хеннинг успокаивает его:

— Ложись, отец, все в порядке!

Адмирал подчиняется.

— И вчера с ним было так же? — тихо спрашивает Хеннинг.

— Нет, вчера его лишь немного знобило, ведь он ночью сильно промок.

— Промок? Каким же образом? — спрашивает Хеннинг. Он все еще ни о чем не подозревает, спрашивает просто так. Ему действительно непонятно, зачем понадобилось отцу выходить прошлой ночью в море. Был шторм, да и вообще они не рыбачат по ночам.

— Не знаю, что он делал... чуть не утонул в бурю... Вернулся домой, поспал несколько часов, тут уж и рассвело... А пополудни его начало трясти. Прямо как в лихорадке... Ума не приложу, чем он там занимался.

— Как так? Разве он уже не первый раз выходит в море ночью?

— Конечно не первый,— отвечает Анна Грабе.— Я же тебе рассказывала... Позапрошлой ночью у него промокла только куртка, а ведь на море было тихо...

Хеннинг что-то припоминает, внимательно всматривается в беспокойное, покрасневшее лицо Адмирала. В его взгляде мелькает что-то испытующее. Он быстро оборачивается к матери.

— Говорил он тебе, что делал ночью на воде?

— Да, конечно,— отвечает Анна.— Ему показалось, что он позабыл прикрыть большую вершу.

— Это было позавчера,— говорит Хеннинг.— Ну а еще две ночи?

— Не знаю, мой мальчик. Во всяком случае, позавчера он вымок до нитки... А вчера в шторм вышел на твоей маленькой лодке в море... И теперь вот заболел, а я ходи за ним. Как аукнется, так и откликнется.

— Смотри, утонем! — кричит Адмирал, садится в постели и хочет куда-то бежать. Хеннинг хватает его, он пытается вырваться.

— К черту все, брось, тебе говорят,— кричит Адмирал. Хеннингу приходится крепко его держать.

— Скорее за доктором!

Анна Грабе отправляется к Королю. Она идет очень быстро, почти бежит.

Хеннинг укладывает Адмирала в постель, и тот говорит более спокойным голосом:

— Мой мальчик, из-за этих крюков с кооперативом ничего не станется.— Он шарит руками по одеялу, хватает уголок и судорожно сжимает его.— Боже милосердный... Нельзя этого делать...— И снова кричит: — Этого не должно быть, рыбак на такое не пойдет! Верши поставлены, чтобы ловить рыбу, они должны ловить рыбу! Я убью тебя, если ты еще раз приблизишься к вершам!

«Нет, это невозможно,— думает Хеннинг Грабе.— Неужели он что-нибудь сделал с вершами? Нет, это невозможно».

Но еще мгновение — и ему становится ясно: это так. Адмирал что-то сделал с вершами. Случилось что-то такое, что не так легко поправить. Адмирал что-то сделал с вершами ночью, как взломщик, тайно, коварно, подло. Ходил по вершам, которые принадлежат им всем.

Адмирал мотает головой, начинает кашлять, мучительно, напрягаясь всем телом. Его лицо искажается гримасой боли. Хеннинг осматривается и видит на ночном столике чайник с сиреневым отваром. Он наливает питье в чашку и, поддерживая Адмирала, хочет напоить его. Но Адмирал отворачивает голову и так резко откидывает ее назад, что чай расплескивается по постели.

«Бесполезно,— думает Хеннинг.— Без врача не обойтись». Он снова подсаживается к старику, в голове у него много мыслей, но он подавляет беспокойство: прежде всего нужна ясность.

Доктор Клюге прибыл на рассвете. Должно быть, он сразу вскочил на свой мопед, как только ему позвонили. Так он работает уже пять лет. И леннекенцы очень любят своего доктора. Несколько месяцев назад они здорово отделали одного парня, который вздумал похвалиться тем, что без всякой надобности послал его, якобы к больному, за десять километров от дома.

Доктор Клюге еще совсем молод. Он крепкого сложения и носит бороду, придающую мужественность и даже строгость его несколько мягким чертам лица.

Соскочив с мопеда, он ставит его у стены и входит в дом. Анна Грабе наливает в таз горячую воду и, пока доктор моет руки, рассказывает ему о болезни Адмирала, повторяя то, что уже сообщила по телефону.

— Его мучит страшный кашель, господин доктор. Такого кашля я никогда у него не слышала. Когда он хочет вздохнуть, в груди у него клокочет, как будто все там разошлось и никак не станет на место.

— И давно это с ним? — спрашивает доктор.

Анна Грабе рассказывает, что произошло с Адмиралом. В кухню входит Хеннинг, здоровается с врачом и еще раз внимательно слушает все, что говорит мать.

Затем врач проходит в спальню, захватив с собой сумку. Он осматривает больного, а мать и сын сидят у стола, думая каждый о своем. У Анны Грабе круги под глазами, лицо бледно от бессонной ночи. Она подпирает руками голову и неподвижно смотрит перед собой.

Хеннинг глядит в окно на залив — его всегда было видно отсюда. Наступило ясное утро. Вода у сходней серая, застывшая, рядом с «Журавлем» пришвартована и его маленькая лодка, на которой Адмирал выходил в море последние две ночи и привел в негодность верши... Нет, это немыслимо. Это совершенно немыслимо. И все-таки последние две ночи

он выходил в море, он заболел, он бредит. Да, но это, может быть, всего-навсего горячечный бред, он ничего общего не имеет с действительностью... Не должен иметь... И все же...

— Можешь ты представить себе, чтобы наш отец обворовывал чужие верши? — спрашивает Хеннинг.

Мать поднимает голову, резко трясет ею и говорит:

— Я скорее поверю, мой мальчик, что он может убить, но такими делами он не занимается.— И, выждав секунду, добавляет:— Чего сама не сделаю, того и о другом не подумаю.

Хеннинг молчит. Они сидят и ждут, что скажет врач. И когда доктор Клюге входит, Анна Грабе встает, скрестив руки на животе.

— Его надо положить в больницу,— говорит врач с озабоченным лицом.— У него воспаление легких...

— Нет, я его не отпущу! — с горячностью отзывается Анна Грабе.— Нет, нет, он останется здесь, я его не отпущу!

В этой женщине, должно быть, еще живы воспоминания о том времени, когда людей, попавших в больницу, считали обреченными. В прежнее время больница для леннекенцев означала последний привал перед моргом. И Анна Грабе думает так и поныне.

— Там ему будет лучше, чем дома, фрау Грабе. В наши дни воспаление легких вовсе не означает неминуемую смерть. Но болезнь у каждого протекает по-разному. Только в больнице он получит надлежащий уход.

— Нет, нет, господин доктор... Если ему суждено умереть, пусть лучше умирает дома.

Доктор мгновение раздумывает, затем обращается к Хеннингу, который молча стоит рядом.

— Уговорите вашу мать, господин Грабе... Возможно, все пройдет благополучно, но лучше положить его в больницу.

Хеннинг смотрит на мать, она поднимает голову, их глаза встречаются. Он читает в глазах матери страх, хочет что-то сказать, но врач опережает его.

— Фрау Грабе, могу вам обещать, что из больницы он выйдет совершенно здоровый. А если вы оставите его дома, действительно может создаться угроза для его жизни, и я ни за что не ручаюсь. Должен вам это честно сказать.

— Когда старое дерево пересаживают, оно погибает,— говорит Анна Грабе.

— Речь идет вовсе не о пересаживании, фрау Грабе. Через месяц он вернется домой совершенно здоровым, обещаю вам это.

Они стоят в кухне, в плите тихо потрескивают дрова.

«Иной раз,— думает доктор,— благоразумия ради приходится давать такие обещания. Если старик Грабе умрет, мне больше никто не будет верить, но что поделаешь. Дома его уморят...»

Хеннинг говорит:

— По-моему, мама, на доктора Клюге можно спокойно положиться. Представь себе, если отец умрет у тебя на руках. Ты до конца своих дней будешь упрекать себя.

— Да,— говорит Анна Грабе.— Вот только, сынок... Не рой другому яму, сам в нее попадешь... Я ведь не раз желала ему смерти, когда он выводил меня из себя.

В ее глазах опять загорается мрачный огонек, но Хеннинг чувствует, что она готова уступить. Врач улыбается.

— Значит, кладем его в больницу, фрау Грабе? Лучшего ухода и не придумаешь.— И он ободряюще кивает ей.

Она еще секунду раздумывает, переводит взгляд с врача на сына.

— Ну что ж, если вы действительно в этом уверены, господин доктор,— соглашается она и выходит из кухни.

Доктор Клюге садится за стол, достает из сумки больничные карточки и начинает что-то писать. Хеннинг говорит:

— Мне надо побеседовать с отцом об одном очень важном деле, господин доктор. Температура у него долго продержится?

Доктор поднимает глаза.

— Нет, температура должна пойти на спад. Через час вы сможете с ним поговорить.— Он снова принимается писать, затем отрывается и добавляет: — Я оставлю вам несколько таблеток. Давать через каждые три часа. Это на тот случай, если санитарная машина запоздает... До парома понесем его на руках. Только прошу вас проследить за тем, чтобы он обязательно принял таблетки.

— Хорошо,— говорит Хеннинг.— Моя мать это сделает.

Доктор улыбается:

— Хочу надеяться. Ваша матушка замечательная женщина.

Хеннинг смущенно отворачивается. Потом снова садится у постели Адмирала, глядит в усталое, осунувшееся лицо отца. Лихорадка сильно потрепала старика. Щеки ввалились, глаза запали. Но у Хеннинга есть вопросы, много вопросов, которые требуют разъяснения. И он ждет ответа, сидя у постели Адмирала. Когда тот открывает глаза и мутным взглядом смотрит на сына, Хеннинг спрашивает:

— Ты действительно трогал верши?

По лицу Адмирала не понять, слышал ли он вопрос. Он медленно закрывает глаза.

— В таком случае я должен тебе сказать, что ты негодяй, отец,— говорит Хеннинг и сам почти пугается своих слов. Ведь Адмирал еще не ответил, возможно, он просто бредил в жару. В таком случае Хеннинг поторопился, в таком случае этих слов не следовало говорить.

— Старому человеку приходит конец, тут даже ты ничего не можешь поделать,— говорит Адмирал, не открывая глаз.

— Нет,— громко отвечает Хеннинг.— Не ной. Доктор сказал, что ты выздоровеешь и проживешь еще долго. Этим меня не возьмешь... Я хочу знать, что ты сделал с вершами.

И так как старик снова погрузился в молчание, Хеннинг сурово продолжает:

— Мне было бы стыдно за своего отца, если только это правда. Прокрасться, как вор, к вершам...

— Сыну Иоганнеса Грабе нечего стыдиться своего отца,— говорит Адмирал. В его голосе не слышно ни боли, ни страданий.— Всякий может оступиться и сделать то, чего не следует делать. Но сыну стыдиться нечего, сына это не касается. Никто не сможет дать показаний против твоего отца.

При первых словах Адмирала у Хеннинга появилась слабая надежда, но тут же исчезла. Значит, его подозрения подтвердились. Адмирал что-то сделал с вершами.

— Если рыба не будет больше ловиться, я... я не знаю, что тогда сделаю, но можешь мне поверить, я...— говорит Хеннинг, едва владея собою.

— Рыба снова ловится,— говорит Адмирал и поворачивается на бок, словно этим все сказано.

— Что значит снова?— спрашивает Хеннинг и ждет ответа, но Адмирал молчит и, как кажется, не собирается больше говорить.

Хеннинг протягивает руку и хватает Адмирала за плечо.

— Объясни, что значит снова? — кричит Хеннинг и трясет его с такой силой, что у Адмирала вырывается тихий стон.

— Лучше б ты подох, лучше б ты не был моим сыном...— говорит Адмирал.— Поднять руку на родного отца!

— Поднять руку на чужие верши! — говорит Хеннинг.

— Трясти родного отца, тяжело больного, словно он бревно какое...— скулит Адмирал.

— Говори, что с вершами? — спокойно спрашивает Хеннинг.

Старик снова поворачивается на бок и, немного помолчав, говорит:

— Я очень хотел довести все до конца, но, видно, преступником надо родиться... Вчера ночью я убрал крюки...

Он закрывает глаза, и Хеннингу становится ясно, что произошло. Теперь все понятно, все сомнения подтвердились. Что тут можно сказать? Этот сумасшедший старик способен на любое безумство. Никто не может понять его поступков, да и сам он, наверно, их не понимает.

Хеннинг Грабе встает, не говоря больше ни слова. Тут и говорить не о чем. Он медленно делает несколько шагов по комнате, потолок старого дома низко навис над головой. Адмирал шепчет:

— Хеннинг, я чуть не утонул... За всю мою жизнь у меня не было такой ночи.

Хеннинг идет к двери и ничего не отвечает. Теперь все равно, была или не была в жизни Адмирала такая ночь, решительно все равно. В столовой он в последний раз слышит, как старик кричит:

— Хеннинг, но ведь теперь все снова в порядке!

— Ничего не в порядке. Твое место в тюрьме или в сумасшедшем доме...

Степенно, с достоинством махнув рукой — почти как прежде,— старик говорит:

— Вытащи крюк из большой верши. Иначе мы ничего не наловим.

— Что? — переспрашивает Хеннинг и тут же вспоминает, о чем говорил отец в бреду.— Один остался?

Адмирал кивает:

— Да, в одной только моей верше... Я не мог его отыскать в такой шторм.

Уголки рта Хеннинга дрогнули, и он кричит:

— К чертям! К чертям собачьим! Твои верши! Твои верши! Верши принадлежат нам всем!

Он смотрит на старика, сжимает кулаки, хочет крикнуть что-то еще, но поворачивается и быстро выходит. Адмирал не закрывает глаз. Он лежит в постели, укрытый до подбородка одеялом. Его взгляд устремлен в потолок, лицо совершенно неподвижно.

В кухне Анна Грабе укладывает в коробку белье для Адмирала. Ведь его отвозят в больницу, и она не может себе представить, что в больнице он будет всем обеспечен. Кроме белья Анна Грабе кладет в коробку фунт масла и длинную копченую колбасу.

Хеннинг уходит, не попрощавшись, но Анна Грабе нисколько не удивлена. Немного спустя она говорит сама себе: «Теперь почти все равно, умрет он или останется жив. Он совсем выжил из ума, дальше идти некуда». Она даже не заключает сказанное поговоркой. Несомненно, она слышала разговор отца и сына.

Она перевязывает коробку, затем садится у кухонного стола и начинает тихо напевать. Мелодично звучит печальная песня. Анна Грабе ждет санитаров из больницы.

XVII

Трудные минуты Хеннинга Грабе. Ничто на свете не просто, но из всякого положения есть выход

Хеннинг идет через луг к дому Короля. Мысли его перепутались, словно клубок шерсти. Как же так?.. Среди рыбаков Ленне кена есть человек, который ночью, как вор, пробирается к вершам и что-то делает с ними. Он выжидает день-другой, пока мы отправимся в Росток хлопотать о грузовике. Мы поехали, и, если б Адмирал не передумал, наша поездка оказалась бы совершенно напрасной. Грузовик нам дали бы, но чем мы смогли бы заплатить за него? Из-за одного безумца такой ущерб. А теперь он делает вид, будто ничего не произошло, раз он сам передумал... Ночь была нужна ему уже не для того, чтобы разрушать, а для того, чтобы исправить содеянное. И этот человек — его отец, этот человек — Адмирал... Раньше отец не разрешал сыну читать книги, ему это не нравилось, и он задавал сыну взбучку, если заставал за книгой. Теперь он еще более враждебно настроен к сыну. Теперь уже не только сын его враг, потому что читает книги, теперь его враги и все те, кто стоит за справедливость.

Но вот и дом Преппинга. Хеннинг собирается войти в ворота, но в этот момент оттуда кто-то выходит и говорит:

— Хеннинг, я хотел только узнать, куда ты пропал, мы уж думали...

Хеннинг останавливается, смотрит Клаусу Вуссову прямо в лицо, но не произносит ни слова.

— Фридерике сказала мне, что ты не можешь прийти, у тебя заболел отец...

Хеннинг стоит перед Клаусом Вуссовом, слышит, что он говорит, но ему кажется, будто во всем этом нет никакого смысла, будто Клаус очень далеко. Его голос звучит совсем тихо, слова какие-то пустые. Отец, Адмирал, болен — да, это верно. Он болен. У него не ладно с головой. Он всегда был болен, всю жизнь.

— Фриц и отец в море, ловят камбалу, за них можно не беспокоиться. Я хотел лишь узнать... мне показалось, что ты нездоров,— говорит Клаус и в недоумении смотрит на Хеннинга. Тот продолжает молчать.— С твоим отцом что-нибудь серьезное? —спрашивает Клаус.

Хеннинг словно задумывается на секунду, потом вынимает руки из карманов и потирает подбородок. Голова его чуть опущена.

— Ничего, поправится,— говорит Клаус. И немного погодя добавляет: — Верши можно проверить и завтра, ведь все равно ничего не ловится.

Подняв брови, Хеннинг пристально смотрит на друга и произносит:

— Ничего, теперь будет ловиться! Не так уж все плохо.

Не прощаясь, он входит в дом и исчезает в темных сенях. Клаус слышит, как он поднимается на чердак, смотрит ему вслед, хочет о чем-то спросить — он ничего не понял из того, что говорил Хеннинг,— но передумывает и с удрученным видом уходит.

Хеннинг Грабе не садится на кровать, как обычно, когда ему нужно о чем-нибудь поразмыслить. Он стоит посреди комнаты, глядя в пол, и долго не поднимает головы. Когда же он опускается на кровать, его вдруг охватывает такая усталость, какой он еще никогда не испытывал. Никогда? Нет, в тот день, когда он переехал в эту комнату, в тот день, когда он ушел из дома отца, им овладело полное безразличие, жизнь как-то сразу стала бесцветной и пустой. Но это длилось лишь короткое время, хотя, собственно говоря, ничего такого вообще не должно было произойти, настолько ничтожна была причина. Ведь

одиночество, на которое, как ему казалось, он обрек себя, было только воображаемым. А то, что его мучает теперь, очень серьезно. «Как мне поступить?» — вот вопрос, который встает перед ним после того, что произошло.

Хеннинг подпирает голову руками и наклоняется вперед. Он не слышит звуков и шорохов дома, он прислушивается к тому, что происходит в нем самом. Его мозг сверлит вопрос, один и тот же вопрос: «Как мне теперь поступить?» И ответ содержится уже в самом вопросе, ибо в эту минуту Хеннингу Грабе кажется: что бы он ни делал, выход найти невозможно.

Мы создали кооператив, и это было начало. Мы не обманывали себя, мы знали, что начало это далеко не блестяще. Мы были обременены множеством предрассудков, приверженностью к старине и ограниченностью. Прошлое учило нас жить только для себя. Но все-таки это было начало. Мы преодолели сомнения и боролись с наследием прошлого, как могли. Ничто не давалось легко, ничто не приходило само собой. Но мы всегда решительно отстаивали наше сегодня, нашу новую действительность, и уже прошли немалую часть своего пути. И вот теперь еще это. Родной отец пытается ночью, как вор, разрушить то, что мы создавали. У нас не раз бывали с ним столкновения, мы всегда знали, что он не успокоится и постарается достойно завершить свою жизнь. «Достойно» в его понимании. Мы хорошо знали, но не имели ни малейшего представления о том, каким образом он собирается осуществить свои намерения. Да, в этом наша вина — мы совсем забыли, что за ним нужно присматривать. Мы виноваты, и ничто не смоет с нас этого пятна.

Сознание вины порождает усталость. Позже, когда Хеннинг Грабе будет вспоминать эту минуту, он не раз спросит себя, было ли у него тогда ясно в голове, при ясном ли сознании он решал вопросы, поставленные перед ним Адмиралом... Прошла как будто целая вечность, и вот Хеннинг поднимает голову, словно прислушивается к чему-то.

А что было бы, если бы Адмирал осуществил свой грязный план?

Хеннинг сидит на постели и размышляет. Усталость как рукой сняло. В нем пробудилась жизнь— его вдруг осенило: если бы даже Адмиралу удалось осуществить свой замысел — они все, все до одного сплотились бы еще теснее, они сразу увидели бы, кто свой, кто чужой, потому что каждый был бы вынужден выразить свое отношение к кооперативу. Мы нашли бы какие-нибудь другие способы ловить рыбу. Люди были бы сплочены, и это облегчило бы новый почин. Вне всякого сомнения, Адмирал не разъединил бы их, а только сплотил.

Хеннинг Грабе встает и начинает ходить по комнате. «Нужно все обсудить с товарищами,— размышляет он.— Надо хорошенько подумать, как поступить в этом случае...»

С улицы доносятся голоса. Хеннинг прислушивается. Разговаривают мужчины. Он выглядывает в окно и видит санитаров с носилками, они пришли за Адмиралом; его понесут до парома, а потом на машине отправят в больницу. «Хорошо, что несколько недель Адмирала не будет»,— думает Хеннинг.

Он ждет, пока санитары унесут Адмирала, ходит из угла в угол. Ни за что на свете не хотел бы он сейчас встретиться с отцом.

Потом он надевает непромокаемый плащ и спускается к сходням. Идет пружинистым шагом, переваливаясь с ноги на ногу, как ходят рыбаки. Его мысли ясны. От усталости и досады не осталось и следа. Нужно еще многое обдумать.

Только он начал доставать из сарая паруса, приходит матушка Грабе. Скрестив руки на животе, она тихо говорит:

— Отец велел тебе передать, мой мальчик, что он решил больше не рыбачить... Повадился кувшин по воду ходить, тут ему и голову сложить... Мне думается, это к лучшему, ведь он теперь совсем дряхлым стал.

— Если бы он не додумался до этого сам, мы бы его надоумили, можешь мне поверить...— говорит Хеннинг и после паузы добавляет:— Ему давно пора уйти из кооператива.

Он выходит в море, чтобы вынуть из большой верши крюк — последний крюк, который в ту штормовую ночь не мог отыскать Адмирал.

Над серой водой залива нависает серое осеннее небо. Ветер разводит легкую рябь. В большую вершу будет снова ловиться рыба.

Жена Фите Шульта еще сидит за своим маленьким ткацким станком. Бернгард Калла говорит:

— Добрый вечер, Фрида. Нам нужно кое о чем поговорить с Фите. Он дома?

Мельком взглянув на гостя, Фрида Шульт отвечает:

— Проходите в ту комнату. Он только что пришел.— И продолжает ткать стенной ковер. Ковры Фриды пользуются известностью и большим спросом далеко за пределами Леннекена.

Сквозь шум станка Фрида слышит, как мужчины усаживаются в соседней комнате. Она различает голоса Бернгарда Калла и Фите, порою до нее доносится голос Фрица Вуссова:

— Что это, по-твоему, Фите, а?.. Видишь — это крюк из проволоки, только и всего.

Она слышит, что Хеннинг Грабе смеется. Недобрым кажется ей этот смех, в нем чувствуется затаенная горечь. Хеннинг что-то рассказывает, но слов разобрать нельзя, говорит он тихо. До Фриды доходят лишь обрывки фраз:

— Ничего не докажешь... Он в этом уверен...

А Фите спрашивает:

— Какой вы понесли убыток?

Молчание. Затем голос Бернгарда Калла:

— Когда он их подвесил, ночи были еще не совсем темные. Но несколько центнеров угрей ушло наверняка. Если хочешь знать, что я думаю, то его место в тюрьме. Таково мое мнение.

Снова голос Хеннинга Грабе. Теперь слышно каждое его слово.

— Люди скажут, что я засадил родного отца в тюрьму... А нам это только повредит. Можно уменьшить его долю в улове на десять-пятнадцать центнеров и этим ограничиться. Его бригада тут ни при чем, она не виновата в его сумасбродстве. И больше об этом вообще не стоит говорить... Он бросает рыбачить.

— Что-то уж больно просто... Надо выгнать его с треском, чтобы он до конца жизни помнил,— говорит Фриц Вуссов.

Некоторое время все молчат. Фрида у станка слышит скрип стула, видимо, кто-то встал. По походке она узнает своего мужа. Он меряет комнату шагами, ковер их приглушает, но это несомненно его шаги. Ваза на полке тихонько позвякивает. Никто не ступает так тяжело, как Фите.

Молчание затягивается. Она перестает ткать, замирает, прислушивается. Ждать приходится долго. Наконец Фите говорит:

— Если вы его выгоните, огласки не избежать. Предотвратить ее можно лишь в одном случае — оставить его в кооперативе. Но, пожалуй, молчать об этом нехорошо... Что же касается тюрьмы — то в этом действительно нет необходимости.

Тихо поскрипывает станок — стоило Фите заговорить, фрау Шульт снова принялась за работу. Нет, Фрида вовсе не любопытна. Суть в том,

что Фите должен дать совет в каком-то неизвестном ей деле, и ей кажется, что ему нелегко. Вот он опять говорит:

— Я думаю, эту историю не следует предавать огласке без особой нужды — пока лучше о ней не говорить. И вот еще о чем надо как следует подумать... Правильно ли мы поступим, если отпустим его из кооператива?

— Попробуй его удержи, он слишком упрям, и уж если чего захочет... А уйти из кооператива он хочет,— говорит Хеннинг.— Для нас это только хорошо, в этом можно не сомневаться. Если бы он не ушел по своей воле, нам действительно пришлось бы выгнать его.

— Я считаю,— слышится голос Бернгарда Калла,— что его нужно наказать строже, а это все пустяки какие-то. Он покушался на наши верши, за это всегда полагалась тюрьма. Таково мое мнение.

И опять говорит Фите:

— Допустим, что ты прав, и мы засадим его в тюрьму. Но ведь это будет на руку Королю, он использует эту историю в своих интересах. Представьте себе, как будут разоряться Король и его компания, если мы потребуем суда. Этим никому не поможешь, да к тому же Адмирал сможет все отрицать. Крюк, который показал нам Хеннинг, дескать, повесил не он.

— Он так мне и сказал. Никто, мол, ничего не сможет доказать. Изворотливости у него хватит... Мне тоже думается, что наказывать его следует лишь в том случае, если мы решим предать эту историю огласке. Совет Фите нам следует хорошенько запомнить... Я говорю так вовсе не потому, что он мой отец.

Тут Бернгард Калла замечает:

— Тебе незачем нас в этом уверять. Если б ты захотел покрыть его дела, то мог бы ничего нам не говорить.

— Во всяком случае, это грязная история! — говорит Фриц Вуссов.— Пусть даже вы и правы.

Фрау Шульт у станка слышит, что со словами Фрица Вуссова согласны все.

— Да, это так,— произносит Фите.— По справедливости говоря, он заслужил хорошую взбучку. Только на Леннекене этим ничего не добьешься.

Когда все разошлись, Фите заглядывает в комнату к жене. Сначала он наблюдает, как она работает, затем кладет руку ей на плечо.

— Что бы ты сделала, если бы кто-нибудь порвал ночью все нити в станке, а на следующую ночь снова привел все в порядок?

Фрида отвечает не сразу.

— Все зависит от того, как велик убыток... Но могу тебе твердо сказать, что такое может натворить только полоумный.

— Вот и я так говорю. И если б я застал его за таким делом, я задал бы ему хорошую трепку.

— Я тоже,— говорит фрау Шульт. И они улыбаются друг другу.

XVIII

Королева Фридерике поет не ту песню. Король дважды не попадает в цель и проигрывает последнюю битву

Прежде чем в этот погожий осенний день выйти из дому, Король поднимается к Хеннингу Грабе в его мансарду.

Хеннинг пишет письмо Бербель и едва может скрыть свое удивление: Король собственной персоной пожаловал сюда на чердак — это

что-то неслыханное. За все то время, что Хеннинг живет здесь, Король еще ни разу не побывал у него. Да, с того достопамятного утра у дамбы они почти не разговаривали друг с другом. А сейчас Король ведет себя так, словно давно забыл о той встрече.

— Если пророк не идет к горе, то гора идет к пророку,— говорит Король и, не ожидая приглашения, присаживается к столу против Хеннинга.

— Хм... значит, ты гора? — говорит Хеннинг.

Король самодовольно усмехается.

— А ты кто, пророк? — спрашивает он.

Хеннинг пожимает плечами и перечитывает последнюю фразу письма к Бербель: «Старики совершают безумства, просто жуть берет. Но, к счастью, самое ужасное не произошло, хотя...» .

«Что я хотел еще написать?» — думает Хеннинг. Но тут Король говорит:

— Вчера я был в больнице у твоего отца. Ему лучше, да ты и сам, вероятно, знаешь...

— Хм...

— Я вот что пришел тебе сказать: отец твой хочет покончить с рыбной ловлей. Все унаследуешь ты, между прочим, и его пай в кооперативе, его сети.

— А больше я ничего не унаследую? — спрашивает Хеннинг. Король морщит лоб, смотрит ему в лицо.

— Может быть, времена еще изменятся, Хеннинг Грабе. А сети твоего отца очень много стоят. Я бы на твоем месте получил от него письменное подтверждение, никто не знает, что будет завтра.

— Неужели?— говорит Хеннинг.— А вот я, например, твердо знаю, что будет завтра. И даже могу себе представить, что будет через семь лет. Очень хорошо себе представляю.

— Значит, ты все-таки пророк,— смеется Король.— Я бы на твоем месте не стал рисковать, мой мальчик.

Хеннинг не отвечает, и, так как молчание затягивается, Король продолжает:

— Мне-то это безразлично. Ты с голоду не помрешь. Не могу же я допустить, чтобы Бербель голодала, а ведь вы хотите пожениться.

— На рождество, Генрих Преппинг,— подтверждает Хеннинг.

Король замечает кольцо на руке Хеннинга и говорит:

— Раньше полагалось праздновать помолвку под елкой, а вы, значит, сами все устроили.

— Да,— смеется Хеннинг,— в магазине с помощью совершенно сумасшедшего часовщика, и ничего — сошло... А на рождество можно свадьбу сыграть и без помолвки, как, по-твоему?

— Разумеется, разумеется,— торопливо отвечает Король.— Поэтому, собственно, я и пришел к тебе. Хотел лишь сказать, что больше не возражаю против вашей женитьбы... Ты для меня желанный зять, можешь мне поверить. Даже если Бербель и не собирается родить.— При последних словах Король усмехается.

— А ты здорово влип! — говорит Хеннинг и тоже усмехается не без ехидства.— Поверить сплетням!

— Век живи — век учись,— говорит Король.— Иной раз сам не разберешь, что правда, что неправда... Теперь вот толкуют, будто мы должны работать укрупненными бригадами.— Говоря это, Король смотрит в окно на лес, горящий пламенем осеннего увядания, но ничего не замечает.

Хеннинг слушает, слегка отодвигая от себя недописанное письмо.

— Должен тебе сказать,— говорит Король, по-прежнему глядя в окно,— я, пожалуй, за это. Нам действительно надо работать дружнее. Я так и сказал вчера твоему отцу. Предлагал ему слить бригады, но он, чудак, вообще больше не хочет рыбачить... Вопрос теперь в том, согласен ли ты...

— Ты что же, хочешь объединиться с бригадой Вуссова? — говорит Хеннинг.— Ведь я работаю в вуссовской бригаде.

Король делает пренебрежительный жест, попросту отметает это предположение. На подобные вопросы он не может отвечать иначе.

— Не хочешь же ты сказать, что останешься в бригаде Вуссова, если сети отца и его верши перейдут к тебе.

Король смеется. Ну и Хеннинг, он за дурака его принимает!

— Не удивляйся, Генрих Преппинг, но я остаюсь в шестой бригаде. Тут ничего не меняется. А вступительный пай останется за Адмиралом, если даже он перестанет рыбачить. Осенняя путина подходит к концу, оставим пока все как есть, а весной посмотрим... Быть может, действительно начнем работать вместе, я так даже считаю — наверняка...

Король прищуривается.

— Ты не глуп, мой мальчик, совсем не глуп... Это-то мне и хотелось услышать от тебя. Было бы неразумно с твоей стороны отвергнуть мое предложение.

Снова пауза. Затем Хеннинг продолжает:

— Я хочу сказать, весной будущего года мы начнем рыбачить все вместе. Или в крайнем случае осенью... Но до этого еще далеко.

Лицо Генриха Преппинга становится серьезным. Значит, вот как представляет себе это Хеннинг Грабе. Надо спешно что-то предпринять. Этот Хеннинг глупее, чем он думал. Не успеешь оглянуться, он и впрямь отдаст кооперативу места для вершей и рыболовные снасти и рыбаки в два счета создадут свою вторую ступень.

— Знаешь что,— хрипит Король,— беру свои слова обратно. Ты не просто глуп — ты ужасающе глуп! — Он говорит это шутя, и Хеннинг смеется в ответ.

— Верно,— говорит он.— Верно. Бербель тоже так считает.

— Да, она в меня, зятек. Тебе будет нелегко... Но то и счастье, что одному вёдро, другому ненастье.

Король встает. Как видно, эти сумасшедшие даже не хотят сперва поработать укрупненными бригадами. По крайней мере, так явствует из слов Хеннинга. Они хотят сразу перейти на вторую ступень. Хорошо хоть это удалось выяснить.

— Ну, я пойду прогуляюсь,— говорит Король.— Надо немножко поразмяться.

В хорошем настроении он спускается по лестнице. В сенях снимает с крючка фуражку, надевает ее и вдруг прислушивается. Из спальни доносятся звуки радио — музыка и пение. Фридерике Преппинг громким голосом подпевает.

Король покачивает головой и направляется в спальню посмотреть, что там происходит. Он открывает дверь.

Королева расстелила на своем ночном столике черный платок, зажгла свечку. По радио идет передача богослужения, Фридерике стоит на коленях перед ночным столиком и поет, не обращая внимания на человека, с которым связана уже много-много лет.

Король смотрит на худую спину жены, на ее сутулые плечи, слушает пение, несущееся из приемника. Похоже, жена поет что-то не то. Как

будто бы совсем другую песню... По радио поют низко — когда он слушает церковное пение, ему всегда представляется лодка, плывущая по бурному морю. Фридерике же тянет высоко — как видно, это совсем не та песня.

Король добродушно качает головой и, указывая на радиоприемник, говорит:

— Наверно, они не ту страницу открыли.

Фридерике не обращает на него внимания и продолжает петь по-своему. Наконец пение кончается, из репродуктора слышится покашливание, вот наступила напряженная тишина, как перед началом проповеди, и тут только Фридерике говорит:

— Я эту страницу найти не могла... А господу богу ничего.

— Что же ты молишься в спальне, — удивляется Король.

— Безбожники могут запретить мне ходить в церковь, но не могут отнять у меня веру.

Из приемника доносится голос священника. Этот голос проникает в дом из общины, находящейся отсюда за несколько сот километров.

Король говорит:

— Ладно уж, ходи в церковь, а не то еще надорвешься, таская сюда приемник. Отправляйся в первое же воскресенье. Приемник для тебя слишком тяжел... ну и вообще... в спальне, Фридерике...

Но проповедь началась, и Королева уже не слышит, что говорит ей муж. Она даже не оборачивается и ничем не выказывает своей благодарности.

Тряхнув головой, Король уходит.

Даль застлана дымкой, но здесь, на дороге в Неттельмин, светло и свежо, и глаза тоже делаются ясными и светлыми. От черной и влажной дороги подымается запах сырой земли. С деревьев каплет; поют, опадая, листья. Их песня тиха, как вздох. А над деревьями, над багряными листьями летит в небе клин журавлей, и тела их напряжены, как тетива лука.

Человек в этом мире не чувствует одиночества. Но Король не обращает внимания на красоту осени, прелую листву под ногами. Все это ему давно знакомо. Старый человек не думает ни об осени, ни о старости, пока у него есть своя цель.

В Неттельмине булыжники мостовой поблескивают красным и синим, на заборном столбе сидит кошка. Палка Короля глухо стучит по мостовой. Дым из труб столбом поднимается в небо, редеет и постепенно растворяется. Генрих Преппинг тихо насвистывает сквозь зубы какой-то мотив. Но вот за поворотом показывается дом Ганнеса Люссинга, второго председателя кооператива.

Король насвистывает песенку «Охотник из Курпфальца» и прикладывает палку к фуражке, приветствуя знакомых. За проволочной изгородью кудахчут куры. Переваливаясь с боку на бок, через дорогу идут утки. Он окидывает их взглядом знатока. Еще немного — и можно будет класть в горшок. «Охотник из Курпфальца скачет по лесу и стреляет дичь...» Палка Короля стучит по мостовой. Хороший охотник должен попадать в самое сердце. В народном имении взревел мотор, кошка кувырком летит со столба.

Вот и дом Ганнеса Люссинга. Король открывает калитку. Проходя палисадником, ко всему присматривается. Ничего не скажешь, Ганнес Люссинг содержит хозяйство в порядке. Отлично выбеленные стены,

тяжелые черные балки в каменной кладке, рамы выкрашены синькой. Под окнами цветут астры. А дорожка к входным дверям выложена камнем. Все как полагается.

Но затем начинаются разочарования.

Король стучится в дверь, и ему отвечает не Ганнес Люссинг, а Герта Люссинг. Эта женщина «не от мира сего». Ганнес Люссинг привез ее с собой из какой-то поездки. Родом она из Восточной Пруссии, несколько лет назад на рыбацком балу Король сказал, что она навсегда останется им чужой, эта пруссачка.

Нет, говорит Герта Люссинг, Ганнеса здесь нет, ведь это и так видно. Здесь в комнате только она и гость.

— Вижу,— говорит Король.— Я только думал, может быть, он в хлеву или еще где-нибудь в доме.

— Возможно,— соглашается Герта Люссинг.

Король стоит в дверях и не может скрыть своей растерянности. Его охватывает раздражение.

— Но. может быть, ты его позовешь? — спрашивает он. Герта Люссинг спокойно смотрит в глаза Королю и отрицательно качает головой.

— Нет,— отвечает она,— незачем, он сейчас придет.— Она слегка растягивает слова.

«Не от мира сего»,— думает Король, переступая с ноги на ногу.

— Садитесь, пожалуйста,— говорит женщина, и Король наконец присаживается.

Герта Люссинг полагает, что сказано вполне достаточно. Желтой тряпкой она протирает мебель и спинки стульев. Высокая, статная женщина со спокойными уверенными движениями.

— Сегодня опять выдался хороший денек,— через некоторое время говорит Король, считая, что следует что-то сказать.

Женщина не отвечает. Находиться с человеком в одной комнате и не разговаривать с ним — тут и в самом деле почувствуешь себя непрошеным гостем. Просто чудо, как этот Люссинг уживается с такой неприветливой женщиной. Впрочем, люди говорят, что они живут хорошо. Поди разберись. Ну да все равно, мне-то что, думает Король.

— Да где же он пропал? — спрашивает Король через несколько минут. За все это время женщина не проронила ни слова.

— Наверно, он не слышал, как вы пришли,— отвечает Герта; она идет к двери, открывает ее и кричит:

— Ганнес, к тебе пришли!

Появляется Ганнес Люссинг в синем выходном костюме. Король забывает о своем раздражении, приветливо смеется и говорит:

— Вот, Ганнес, зашел тебя повидать... Погода такая чудесная, дай, думаю, зайду к Ганнесу.

— Очень любезно с твоей стороны,— отвечает Ганнес Люссинг тихим мягким голосом и присаживается к столу рядом с Королем. Его жена не прерывает своего занятия. Она смахивает пыль, оправляет скатерть, расставляет на буфете чашки и тарелки. Генриху Преппингу очень мешает вся эта возня, но не может же он в самом деле сказать: «Послушай, перестань, ступай в кухню и займись там чем-нибудь». И уж тем более он не может сказать: «Поднесла бы нам рюмку, что ли, дала бы закусить». Да, командует в этом доме не Ганнес Люссинг.

Так они и сидят, говорят о погоде, о лове в последние дни.

— Что ж,— замечает Ганнес,— жаловаться не приходится.

Нет, Преппинг не намерен отступать от намеченной цели, пусть даже женщина и останется в комнате. Зря, что ли, он совершил такую прогулку.

— Так вот, Ганнес... Я тоже не жалуюсь. Только, на мой взгляд, дела бы у нас пошли еще лучше, если б наши бригады работали дружнее. Я уже говорил с Шустером. Он согласен. Весной, должно быть, мы будем рыбачить вместе. И вот мы с Шустером надумали организовать одну большую бригаду. По-моему, хорошо бы и твоей бригаде к нам присоединиться... Это было бы неплохо...

Ганнес Люссинг сидит выпрямившись за столом, положив руки на колени. Он долго не отвечает. Затем, бросив быстрый взгляд на жену, поднимается, достает из буфета рюмки и бутылку.

— Мне тоже налей,— говорит Герта Люссинг, подсаживается к мужчинам и опрокидывает рюмку водки.

Будь я тут хозяином, думает Король, я бы в два счета выставил ее за дверь. Но она пьет водку, словно воду, даже не поморщится. Морщится Ганнес Люссинг. Наверно, думает Король, с ней и надо было начинать разговор.

— Да, Герта,— говорит он,— что правда, то правда, хорошая водочка...

Женщина улыбается и наливает еще. Ганнес как будто тоже оживился.

— Да, моя Герта всегда поддержит мужа... Не правда ли, милая? — И он, смеясь, заглядывает ей в глаза.

— Так и полагается,— замечает Король.

Они опрокидывают еще по одной и возвращаются к начатому разговору.

— Что же ты думаешь о моем предложении, Ганнес?

С минуту Ганнес Люссинг раздумывает, потом тихим голосом произносит:

— Что ж, это неплохое предложение, Генрих, очень даже неплохое...

Он осекается, смотрит на жену. Нелегко ему приходится, но жена одобрительно кивает, и Люссинг продолжает:

— Только, по-моему, нужно помнить и о том, о чем мы договорились на прошлой неделе с Бернгардом Калла...

— Кто это — мы? — прерывает Король.

— Мы? Ну, наша бригада... Мы собрались у меня, и Бернгард Калла... Да, Генрих, как ни странно, но Бернгард Калла заранее знал, что ты мне это предложишь...

— Как так?

Люссинг мнется. Ему неприятен весь этот разговор. Чувствуется, что Король раздосадован, а Люссинг этого вовсе не хочет, он против Короля ничего не имеет. И снова Ганнес смотрит на жену, но та как бы не замечает его взгляда. Нелегко, очень нелегко самому принять решение.

— Я бы охотно сколотил бригаду с тобой и Шустером, поверь мне, Генрих. Но тогда почти все сильные бригады оказались бы вместе. И я не думаю, чтобы Бернгард...

— А я думаю, ты не понимаешь, к чему дело идет, Ганнес Люссинг... Твой Бернгард Калла тоже за вторую ступень. А что это означает...

Ганнес смущенно пожимает плечами.

— Не знаю,— неуверенно говорит он.

Жена бросает на него выразительный взгляд.

— Я думаю,— говорит Ганнес,— думаю, вторая ступень лучше, чем укрупненные бригады.

Король опускает голову и молчит. О чем тут еще говорить? Надо придумать что-либо другое.

Женщина нарушает молчание:

— Ганнес обещал Бернгарду Калла не составлять с тобой и Шустером укрупненную бригаду... ведь тогда те, кто и так рыбачил на плохих местах, будут вовсе обделены.

У женщины глухой голос, некоторые слова она произносит протяжно.

Король поднимает голову и говорит ей:

— Наверно, мне следовало с самого начала договариваться с тобой, Герта!

Он смеется, чокается с ней, женщина смеется в ответ. Но битва проиграна, это ясно. Он не засиживается в гостях. В раздумье возвращается домой. Надо придумать что-то другое. Но что? Этот вопрос не дает ему покоя. Что делать, как теперь быть?..

Хеннинг Грабе, сын больного Адмирала, этот дурной, плохой сын, идет после обеда по той же дороге, по которой утром шел Король.

Тени теперь ложатся рано, путина скоро закончится. Верши перекочуют в сараи. Скоро их вытащат из воды, очистят от ила и водорослей, просушат и спрячут. Теперь уже скоро...

Сын Адмирала Грабе и председатель производственного кооператива Бернгард Калла встречаются для разговора, и разговор этот очень короткий — собственно, подсчет, простой подсчет на пальцах. Они подсчитывают, кто сегодня стал бы голосовать против кооператива второй ступени, если бы речь зашла о голосовании.

И Бернгард Калла говорит в заключение:

— По-моему, Хеннинг, мы можем рассчитывать на то, что весной все будут рыбачить вместе.

— Похоже, что так,— говорит Хеннинг и улыбается.— Ведь было десять голосов против двенадцати... А теперь положение изменилось.

— Таково и мое мнение,— говорит Бернгард Калла.

Они чокаются, и рюмки отвечают радостным звоном.

Остров лежит посреди залива.

На берегах залива стоят города и села. И остров не одинок, остров не затерян, как это может показаться. В старых красивых домах на Леннекене люди думают так же, как те, кто живет в городе, дым которого виден с Леннекена.

Хеннинг Грабе любит красивую девушку, и глаза у девушки — как море в солнечные летние дни.

Адмирал и Король живут, как в тумане, в мечтах о прошлом.

Новые планы возвещают: на земле должна господствовать справедливость. И обитатели Леннекена не одиноки. Они глядят на города, лежащие на другом берегу их маленького моря, прислушиваются к тому, что делается в домах, на фабриках и верфях. Никто в наше время не живет только для себя. Никто не может жить только для себя.

Над маленьким островом Леннекен — щедрая осень. В золоте и багрянце кусты и деревья. Шумно машут крыльями журавли, чайки и молодые лебеди. Их крик повис над водой. Безлунным ночам, чьи хозяева ветер да рыбаки Леннекена, скоро придет конец.

XIX

Свадьба на Леннекене. Бербель дважды говорит «да» и придумывает танец, в результате чего происходят изменения в обществе защиты животных

Из музыкантов лучше всех Аугусту Бекману. Он играет на флейте, а ее легко носить. Она висит на ремне через плечо, и он может спокойно ехать на велосипеде по размытой осенней дороге.

До назначенного часа еще далеко, но Август жмет на педали, словно на гонках. А когда приходится слезать с велосипеда, тихо ругается про себя. Разве можно мешкать, когда предстоит играть на такой свадьбе? И надо же, чтобы как раз сейчас, перед рождеством, зарядили дожди! Ведь обычно дороги в это время подсыхают и промерзают. Ведь сейчас... Ну вот, опять лужа, изволь ее обходить. Слезай с велосипеда, снова садись. Ну как тут не злиться!

В последние дни ноября у них было немало хлопот: колодезные насосы замерзли, крыши нахлобучили белые рождественские шапки, а часть вершей еще оставалась в воде. Когда их вытащили на берег, они тотчас смерзлись, и все же их надо было убирать. Как ни старались рыбаки согреться, хлопая себя руками, это почти не помогало. Руки покраснели от холода, потом посинели. Ничего не помогало, залив затягивался пленкой льда. На открытой воде беспокойно плавали молодые лебеди.

А у берегов, там, где образовался толстый лед, уже катались на коньках дети. Пророчили, что зима будет настолько же суровой, насколько сухим было лето. Тиммша-телеграф рассказывала в магазине, что слышала об этом по радио. Во всяком случае, утверждала, что слышала. И она как будто была права — пока не пошла вторая неделя декабря. Тут пророчество увяло. Снег сошел, и многие стали говорить, что они-де с самого начала считали, что верши следовало преспокойно оставить на месте. В их числе был и Август Бекман.

Наступили пасмурные, туманные дни. И вот, как назло, сегодня то и дело припускает дождь. Бекман уверен, что дождь испортит свадьбу и не надо смотреть на небо, чтобы в этом убедиться. В воздухе просто пахнет дождем.

В условленном месте никого из музыкантов, конечно, не оказалось. Никого, даже Карла Дассова, заявившего вчера в трактире: «Завтра я приду первым, Август, можешь мне поверить».

Ну и болтун этот Карл Дассов! У теперешних парней длинные языки. Хвастался быть первым, а самого все нет. А ведь, пожалуй, они подойдут не раньше, чем через полчаса. Собственно говоря, следовало бы радоваться, что он еще раз доказал этому хвастуну, кто из всех рыбаков Леннекена самый аккуратный. Но как тут радоваться, если все остальные такие неаккуратные и невозможно добиться никакого порядка. Радуйся тут! А дождь все льет и льет с этого дрянного неба, которое никак не хочет проясняться.

Стой тут под дождем на перекрестке и жди их! Укрываться под деревом нет смысла. Зимой от такого дерева польза только в печке. Листьев на нем нет, а голые ветки могут сослужить службу разве что воронам и прочим тварям.

Август Бекман очень сердится. Он толчется в дорожной грязи, ноги все больше и больше стынут в резиновых сапогах. Сапоги эти никуда не годятся. В прежние времена, полагает Август Бекман, резиновые сапоги держали тепло. А эти, хоть и не пропускают воды, но в них так

холодно, что не помогают даже носки из конского волоса. Топчись на месте сколько угодно — промокнуть не промокнешь, зато мерзнешь. А они и не думают показываться. Стой здесь один под дождем и жди этих чертей. Жди, когда у тебя у самого есть дела. Нет, на этом свете больше нельзя ни на кого положиться. Взять к примеру хотя бы Адмирала. Он даже не счел нужным заранее предупредить старого друга, что решил покончить с рыболовством. Вдруг взял и ушел. А кто остался один? Он, Аугуст Бекман. Не сказать ни слова о том, почему он, Иоганнес Грабе, бросил рыбную ловлю! И вот в последние дни путины пришлось цапаться с этим задавакой Фрицем Вуссовом. Как раз на руку Карлу Дассову! Как одиноко Аугуст себя чувствовал! С каким трудом ему удавалось отвечать этим молокососам, потому что единственный друг, на которого можно было всегда положиться, так и не вернулся после болезни на катер.

Нет, Иоганнес Грабе поступил с ним некрасиво. Аугуст Бекман не заслужил этого. А когда он однажды встретил Иоганнеса и начал, как всегда, ругать этих молокососов за их затеи, Адмирал ответил ему: «Оставь меня в покое! Мне теперь все равно, пусть создают кооператив второй ступени. Каждому свое место».

Аугуст стоял перед ним как глупый мальчишка. Подумать только, Иоганнесу Грабе вдруг стало все безразлично. Нет, тут что-то не то!

Чертовски мерзнут ноги. Дождь, кажется, усилился. Стоишь здесь, студишь ноги и не можешь даже закурить трубку, потому что нет спичек. Ну и жизнь! Дождь хлещет так, словно небо копило воду и вдруг его прорвало. За все лето не выпало ни капли дождя, а теперь, когда ни человеку, ни зверю вода не нужна, дождь льет как из ведра. Похоже, на землю пришел новый потоп. Только что-то не видать нового Ноя, который возьмет на свой катер каждой твари по паре. На катер? В ковчег, конечно, у него просто мозга за мозгу цепляет — ведь ноги так стынут в этих проклятых резиновых сапогах!

Но тут, почти одновременно, появляются трое остальных музыкантов. Первыми приходят Клаус Вуссов и Ганнес Люссинг. При виде их Аугуст Бекман лишь вздыхает печально, но в его вздохе слышится и облегчение. Зато когда приходит Карл Дассов, Бекман напускается на него.

— У тебя самый длинный язык на Леннекене, зато пустая голова, совершенно пустая... Стыдно заставлять своего товарища так долго ждать. Сначала ты хвастаешь, что явишься первым, а потом приходится целый час тебя ждать. Всыпать бы тебе как следует, пустомеля!

Карл Дассов закатывается смехом, да так громко, что сидевшие на голых сучьях вороны взмывают в воздух и, испуганно каркая, улетают.

— Я тебя снова разыграл! — ревет Карл.— А ты и попался, ха-ха-ха!

Лицо Аугуста Бекмана омрачается. Ладно, пусть смеется, стервец, и он когда-нибудь состарится, и над ним еще посмеются. Жаль только, он, Аугуст, этого не увидит. И Аугуст Бекман говорит:

— Погоди, доживешь еще до моих лет, пусть тогда над тобой измывается какой-нибудь болван, как ты измываешься надо мной. Погоди, доживешь до моих лет, расплатишься за все сполна. Пусть так и будет!

— Ну и ладно! Вот умора! — говорит Карл Дассов, вскакивает на велосипед и едет впереди всех. Его смех эхом прокатывается по лесу.

Они направляются к дому молодых, чтобы встретить жениха и невесту. Хеннинг Грабе и Бербель Преппинг справляют свадьбу. И вот музыканты в непромокаемых плащах едут через лес на велосипедах. За спиной Клауса Вуссова и Ганнеса Люссинга — тщательно заверну-

тые аккордеоны. Блестит под дождем труба Карла Дассова. Один за другим они двигаются по размытой дождем дороге. Последним едет Аугуст Бекман, он не переставая что-то бубнит себе под нос. Флейту он спрятал под плащ. Она болтается у бедра, словно дубинка.

Неподалеку от дома Короля они слезают с велосипедов и гуськом подходят к дому. Поскольку аккордеоны Вуссова и Люссинга могут испортиться под дождем, музыканты договариваются, что приветствие будут исполнять только Карл и Аугуст. Они уже приготовились играть, но тут Аугуст Бекман спрашивает:

— А что мы, собственно, будем играть?.. «Совьем тебе брачный венок»?

— Ты что, тронулся? — говорит Карл Дассов и постукивает мундштуком трубы по своему лбу.— Смотри, как бы тебе не свили брачного венка!

— Ну, а все-таки, что играть? — спрашивает Клаус Вуссов.

— Договаривайтесь скорее,— говорит Ганнес Люссинг,— иначе не получится никакого сюрприза. Стоит кому-нибудь выглянуть в окно...

— Вот умора! — смеется Карл Дассов.— По-моему, надо играть «Голубку», она звучит так красиво... Да и сама Бербель как белая голубка.

Карл Дассов любит «Голубку», и это хорошо известно Аугусту Бекману.

— Ха-ха! «Голубку» — на свадьбе? — говорит он.

— Во всяком случае, это лучше, чем твой «Брачный венок», Аугуст.

Они опять раздумывают. Клаус уже хочет сказать, что тянуть действительно больше нельзя, но в этот момент дверь дома открывается и появляются Король Преппинг и Вернер. Они идут прямо к музыкантам. Неужели сюрприз сорвался?

Карл Дассов поднимает трубу, из нее вырывается всхлип, но потом над домом проносится «О голубка моя...» Позволить ему играть одному? Нет. Уже при первом звуке трубы Аугуст приставил флейту к губам. Если мелодия флейты хотя бы частично будет прорываться сквозь рев трубы — ведь должен же Карл набирать воздуху,— этого уже достаточно. И вот время от времени до ушей слушателей доходит: «Мы совьем тебе брачный венок...»

Карл, конечно, слышит это и насколько возможно убыстряет темп. Он думает, что Аугуст Бекман сошел с ума, и хочет поскорее все закончить.

А Бекман играет благоговейно. Уж кто-кто, а он-то знает, что музыка воспринимается не только ушами, но и душой. Карл Дассов должен выдохнуться раньше его, нужно только проявить выдержку! К тому же его песня намного длиннее, чем та, которую выводит на трубе Карл Дассов. Наконец Карл кончает и тяжело переводит дух. Улыбаясь, все смотрят на Аугуста, который доводит строфу песни до конца. Полный триумф!

Пока Хеннинг и Бербель, также одетые в плащи, выкатывают из сарая свои велосипеды, Король пускает по кругу бутылку. Жениха и невесту весело поздравляют. Сделав последний глоток, Бербель разбивает бутылку о камень. Из дому выходит Фридерике Преппинг с бутербродами. Все стоят в плащах под дождем и жуют, никому в голову не приходит, что можно войти в дом. Правда, им некогда особенно прохлаждаться — Бернгард Калла и Макс Вуссов, наверно, уже ждут их у парома.

Они садятся на велосипеды и уезжают.

Фридерике, ее муж и Вернер смотрят им вслед. Серая пелена дождя вскоре скроет молодую пару и музыкантов от провожающих. Щеки Фридерике начинают дрожать, она тихонько всхлипывает, прижимая к груди пустой поднос, по которому скачут крупные капли дождя.

— Из-за чего расстраиваться, Фридхен?.. Ведь и мы в свое время поженились...— добродушно говорит Король. Вернер уходит в дом, но старики продолжают стоять под дождем и не глядят друг на друга.

— Но ведь мы же,— говорит Королева, вытирая ладонью слезы,— мы же с тобою венчались, Генрих... А что делает Бербель? Нет ей господнего благословения.

— Боже мой,— говорит Король, возвращаясь вслед за Вернером в дом,— только не рассказывай мне, будто у нас оно было! Лучше помолчи!

Он прибавляет шагу, Фридерике плетется за ним, слезливо шмыгая носом.

— Не греши, Генрих, не греши!

Хватит и того, что дочь совершает грех, в который нынче впадает так много девушек. Подумать только, ее дочь всходит на супружеское ложе без господнего благословения, без освящения в храме божьем. Что же теперь будет? Скажешь об этом молодым, они лишь смеются. А муж, проявляющий благоразумие во многом, что касается этого брака, прикидывается глухим, стоит ей заикнуться о венчании. Не проходит дня, чтобы она не молилась господу, не проходит дня, чтобы она не подняла своего голоса против антихриста в образе Хеннинга Грабе. Но все напрасно, перед ней словно стена. И вот они отправились в загс за свидетельством о браке и, получив его, будут считать себя мужем и женой. Но грех перед богом остается, и виноват в этом лишь отец девушки, она вся в него. Так всегда говорили. Она живет с человеком, который ежедневно поносит бога, а теперь еще придется видеть, как собственная плоть и кровь предается тяжкому греху. Но она совершенно бессильна, так было всегда, так будет.

Фридерике Преппинг сидит на кровати и тупо глядит в одну точку. Ее губы дрожат, она думает о будущем, и ей рисуются мрачные картины.

Но вот раздается громкий голос Короля, он зовет ее. Она со вздохом поднимается. Мужу что-то понадобилось. Жена должна быть покорна мужу. Так уж повелось на свете!

Анна Грабе хозяйничает в большом зале трактира. Она целыми грудами носит тарелки и столовые приборы в зал, который от ее хлопот до неузнаваемости преобразился. Старые потрескавшиеся стены приоделись в наряд из сетей, в которых висят сотни серебристых рыбок. Сначала Анна велела просто прибить рыбок гвоздями, но потом это ей не понравилось. Хеннингу пришлось позолотить столбики для вершей, а Адмиралу — повесить на них сети. Анна Грабе не знала покоя, потому что Хеннинг все время твердил ей:

— Мама, мы должны сыграть такую свадьбу, чтобы на Леннекене ее сто лет вспоминали.

Старые гирлянды убрали и повесили на потолке новые. Хеннинг потратил целый день на то, чтобы украсить балки на потолке электрическими лампочками. Если смотреть на них в темноте, то огоньки над гирляндами мерцают, словно звезды.

Анна Грабе покрывает столы белыми скатертями. Накрыть стол на шестьдесят гостей — дело нешуточное. В дверях появляется Тиммша, она вызвалась помочь. После некоторого колебания Анна согласилась.

В конце концов, им нечего скрывать, пусть Тиммша-телеграф всем рассказывает, чем угощали на свадьбе, сколько было гостей, о чем говорили, как веселились. Анне Грабе никогда еще не приходилось накрывать такие большие столы, и помощь необходима, а Фридерике Преппинг соглашалась помочь лишь в том случае, если дети будут венчаться в церкви. Но ведь Хеннинг с давних пор не платил церковного налога, как же он будет венчаться в церкви? У Анны в этом не было никаких сомнений.

Тиммша спрашивает:

— А куда же мы будем ставить блюда с жарким?.. Из-за этих тарелок у нас почти не осталось места.

— Ничего,— отвечает Анна Грабе,— место найдем, уж коли есть будем — и жаркое не забудем...

Из кухни раздается голос фрау Мур:

— Анна, поди попробуй соус!

Анна все бросает и бежит в кухню. Опробовать суп и жаркое на шестьдесят персон не так-то просто. Но никто из гостей не должен сказать, что на свадьбе кормили несытно или невкусно.

Вдова Тимм как неживая расставляет тарелки и думает про себя: «Они просто рехнулись, эти Грабе... То, что здесь будет сегодня съедено и выпито, хватит одинокому человеку на полгода».

Такая уж она, Тиммша-телеграф, и ее уже не изменить.

Часы на башне в Каммине бьют двенадцать, Вальтер Клоок, служащий загса, говорит:

— ...я спрашиваю вас, Хеннинг Иоганнес Пауль Грабе, согласны ли вы сочетаться браком с Бербель Фридерике Генриеттой Преппинг, обещаете ли вы быть всегда хорошим мужем, хорошим и верным товарищем вашей супруге? Если вы можете это обещать, скажите «да».

Вальтер Клоок поднимает гладко выбритое строгое лицо и смотрит на Хеннинга Грабе. Хеннинг на секунду испытывает некоторое смущение, ведь нужно публично заявить о своей любви к Бабс. Глядя прямо перед собой, он поднимает голову и говорит:

— Да!

Вальтер Клоок поворачивается к девушке:

— Итак, я спрашиваю вас, Бербель Фридерике Генриетта Преппинг, согласны ли вы сочетаться браком с Хеннингом Иоганнесом Паулем Грабе. Если вы согласны...

— Да,— быстро говорит Бербель.

Возникает короткая пауза, затем Вальтер Клоок заканчивает:

— ...скажите «да».

— Да! — повторяет Бербель.

Еще строже стало лицо Вальтера Клоока, даже улыбка не смягчает его. Бербель поворачивается к Хеннингу и подмигивает ему, словно хочет сказать: «Вот как это делается. Без всякой напыщенности». И Хеннинг не может надивиться на эту девушку, которая несколько секунд назад стала его женой.

Они должны расписаться, и Вальтер Клоок говорит:

— Только, пожалуйста, пишите теперь «Бербель Грабе», а не «Бербель Преппинг»,— на что Бабс отвечает:

— Это я еще дома заучила!

Большими и четкими буквами она пишет свою новую фамилию. Рядом с серьезным, торжественным видом стоят Бернгард Калла и Макс

Вуссов. Затем следуют поздравления. Бернгард Калла радостно говорит Хеннингу:

— Желаю тебе счастья, Хеннинг... Теперь ты у нее в руках.

Потом все четверо, как полагается, заходят в «Северное подворье» в Каммине. Из окна виден кусочек жизни этого небольшого провинциального городка. Пока возчики ходят по своим делам, накрытые попонами лошади дремлют перед громоздкими повозками. Дождь прекратился. Над темными лужами плывут белые облака. Мостовая и старый колодец светлеют, когда выглядывает холодное солнце.

— А ты обратил внимание, муженек, что он даже не спросил меня, обещаю ли я быть верной женой,— замечает Бербель.— Вот что значит толковый работник, видит людей насквозь!

Хеннинг улыбается и отвечает:

— Обещать-то многие обещали...

— Да! — говорит Бербель.— А не обещали немногие, можешь мне поверить, мой маленький дурачок!

Все смеются, а Бернгард Калла говорит:

— Она у тебя за словом в карман не полезет!

— Уж будьте уверены! — говорит Бербель.

Хеннинг довольно улыбается, и она шепчет ему на ухо:

— Ну, назови меня Бербель Грабе!

Хеннинг берет рюмку и говорит:

— За здоровье Бербель Грабе!

Они обмениваются взглядами, чокаются с Бернгардом и Максом. Когда все выпили, старый Макс Вуссов мечтательно произносит:

— Мне и не снилось, что я буду присутствовать на свадьбе Бербель Преппинг!

— Теперь она уже не принцесса, Макс,— говорит Бернгард.

— Так-то так,— подтверждает Макс.— Но все-таки мне кажется, что ее отец недоволен, я в этом даже уверен после встречи с ним несколько дней назад...

Хеннинг настораживается.

— Ну что вы! — говорит Бербель.— Что он может иметь против? Ведь это наше дело... И он вовсе не такой.

— Что ж, может быть, я и ошибаюсь,— произносит Макс нерешительно.— Он хотел рыбачить вместе со мной и с шестой бригадой, и даже Шустер должен был присоединиться, но я отказался.— Старик лукаво посмеивается.— Его так всего и перекосило, иначе не скажешь.

На мгновение за столом воцаряется тишина. Слышно, как Ганс Донат, трактирщик, позвякивает за стойкой стаканами. От других столов доносится приглушенный говор.

Бернгард Калла, не поднимая глаз и двигая рюмкой по столу, говорит:

— Да, Король хочет сколотить одну бригаду с вами и Шустером.

— Я два дня думал над этим, но все же отказался.

— А почему? — спрашивает Бернгард.

Макс Вуссов колеблется, потом осторожно объясняет:

— В эту бригаду, наверно, не вошел бы Хеннинг Грабе, и было бы подло бросить его после того, как он перешел к нам.

Хеннинг смеется и поднимает рюмку:

— За твое здоровье, Макс!

На этот раз Бербель не пьет, она задумалась. Хеннинг уже хочет обратиться к ней с вопросом, но она опережает его:

— А почему он хотел образовать с вами одну бригаду?.. Интересно, чего он этим хотел добиться?

— Все очень просто,— говорит Бернгард Калла.— Твой отец страшно боится, как бы мы не создали кооператив второй ступени, и согласен даже работать укрупненными бригадами, лишь бы не допустить этого. Вот он и хочет объединиться с Шустером и с какой-нибудь слабой бригадой. Таково мое мнение.

Бабс вопросительно смотрит на Хеннинга.

— Да, фрау Грабе... по-видимому, это так,— говорит он.

Мгновение Бабс остается серьезной, потом отвечает:

— Ну да мне-то какое дело, ведь я теперь фрау Грабе.

— С чем тебя и поздравляю,— говорит Макс Вуссов.

По площади катится тяжело нагруженная повозка, ее громыхание врывается в трактир. Рюмки на столах дрожат. Луч солнца падает на стол, за которым сидят молодожены и их друзья, ярко освещает лица Хеннинга и Бербель. Быть может, как раз в этот момент Ганс Донат бросил взгляд на молодых — во всяком случае, немного спустя он подходит к ним с подносом, на котором стоят пять рюмок.

— Это от меня,— говорит он.— Желаю вам всяческого благополучия на всю жизнь!

— Спасибо, Ганс,— говорит Хеннинг.

Маленький паром, связывающий Леннекен с материком, музыканты украсили свежими еловыми ветками. Уже целый час они ждут, прохаживаясь по берегу, чтобы хоть немного согреться. Не раз высказывалось предположение, что молодые наверняка решили отметить торжественное событие в «Северном подворье» в Каммине. Клаус Вуссов даже предложил:

— Давайте отправимся туда и с музыкой заберем их.

К счастью, дождь прекратился, в половине первого выглянуло солнце.

Аугуст Бекман с угрюмым видом сидит на перилах мостков. Он раздумывает, стоит ли доставать из кармана маленькую флягу с водкой. Если распить ее вчетвером — каждому достанется лишь по глотку, а этого маловато, не согреешься. С другой стороны, пить одному не годится. Что ж, тогда вовсе не пить? Но ведь в кармане-то водка ни чуточку не греет!

Карл Дассов ходит по мосткам взад и вперед, притоптывая ногами. Клаус и Ганнес сидят напротив Аугуста, глядя в сторону Леннекена. Вода в заливе темна и лишь изредка освещается солнцем, выходящим из облаков.

Без четверти час все решили, что, по-видимому, все дело в этом Клооке, служащем загса.

— Когда я расписывался, он тоже так канителил. Этот Вальтер Клоок тем и известен, что никак не может закруглиться, когда у него кто-нибудь расписывается,— говорит Клаус Вуссов. А Карл Дассов добавляет:

— Вот умора!

— Он там болтает, а мы мерзни,— говорит Аугуст Бекман.

— Ничего, ведь женятся один только раз в жизни,— замечает с присущим ему спокойствием Ганнес Люссинг.

— Или ни разу! — добавляет Карл Дассов.

— Или разводятся и снова женятся,— вставляет Аугуст Бекман.

Все умолкают, видимо, задумавшись над тем, какие тут еще могут быть возможности.

Но вот их внимание привлекает автомашина, показавшаяся на

шоссе. Они замечают ее издали, так как дорога идет через открытое поле, и начинают думать да гадать, кто бы это мог быть. Сходятся на том, что это, наверно, молодожены, что по какой-то причине им пришлось взять такси. Они достают инструменты, выстраиваются на мостках и начинают играть. На этот раз решили исполнить старую народную песню. Правда, Карлу Дассову здесь негде развернуться, но ему все же пришлось отказаться от своей любимой «Голубки», так как в противном случае забастовали бы Ганнес Люссинг и Клаус Вуссов.

«Ты знаешь хорошо, как ты мне люб...» — выводят Клаус и Ганнес. Забыт томительный час ожидания, тем более что на Леннекене голодных музыкантов и новобрачных ждет славное жаркое.

Но вдруг они как по команде обрывают на середине такта: из машины выходят не новобрачные, а один только человек, совершенно им незнакомый, наверно, агроном, направляющийся в народное имение. Они в замешательстве убирают инструменты и безмолвно глядят на человека, который идет к ним по мосткам.

— Добрый день,— говорит незнакомец, подходит к музыкантам, протягивает руку и называет себя: — Бенш.

Музыканты тоже представляются, и незнакомец спрашивает:

— Они, наверно, еще в загсе?

— Да,— отвечает Аугуст Бекман.— Мы уже давно ждем их, а они как сквозь землю провалились.— Наступает небольшая пауза, и он с любопытством добавляет: — А вы, значит, тоже на свадьбу?

Незнакомец подтверждает это. Некоторое время все молчат, украдкой присматриваются к незнакомцу. Кто он такой? Откуда знает Хеннинга Грабе?

И вдруг незнакомец, назвавший себя Беншем, спрашивает:

— Где же вы хотите поставить гараж для грузовика?

— Гараж? — переспрашивает Аугуст Бекман. До него не сразу доходит, о чем речь. Но Карл Дассов уже все понял и громко смеется.

— А! — говорит он.— Уж вы не тот ли человек из Окружного совета, который оказался родственником нашего Брюммера-миллионщика?

Улыбнувшись, Бенш отвечает:

— Родственник не родственник, но разрешение на покупку грузовика я вам привез.

— Теперь понятно,— говорит Аугуст Бекман.— Это совсем другое дело... Гараж они хотят поставить вон там.— И показывает в ту сторону, где должен быть построен причал.

Все смотрят туда же, объясняют, где будут сходни, где весы. Этот Бенш, как видно, парень с головой, он так всем интересуется. Они идут вслед за ним к предполагаемому месту строительства. Представляется случай еще раз подробно поговорить об их планах. Они все в курсе дела. Даже Аугуст Бекман дает точные справки. Здесь вот склад, здесь — весы, здесь — мостки, здесь — гараж. Да, так они все задумали.

За этими разговорами они совсем забыли о новобрачных и вспоминают о них, лишь когда с мостков доносятся пронзительные звуки трубы. Бербель Грабе стоит на мостках и терзает видавший виды инструмент Карла Дассова.

— Господи! — говорит Ганнес Люссинг.— Мы все прозевали!

Пусть ломятся от яств столы! Несите дымящиеся, источающие аромат миски с чудесным, знатно заправленным супом. Тащите на стол жаркое, жирную, румяную жареную баранину, тушеные свиные окорока, нежное говяжье филе! И поменьше картошки, ведь мясо такое сыт-

ное. Наливайте бокалы дополна вином, вином из Венгрии, из Румынии, вином из Крыма.

Празднуется свадьба!

Музыканты тоже должны поесть, поэтому включается радио. Но его никто не слушает. За двумя длинными столами тесно сидят рыбаки со своими женами, за третьим столом разместились дети. Все едят и говорят, смеются и пьют. Матери присматривают за своими отпрысками, сыплются советы и запреты. А сорванцы делают, что хотят, ведь свадьба!

Тарелки дымятся, лица раскраснелись от доброй еды. Острый запах маринадов, нежный аромат жаркого. «Динь-динь»,— переговариваются бокалы. Празднуется свадьба!

Бербель Преппинг, прекрасная дочь Короля, выходит замуж за Хеннинга Грабе, сына Адмирала! Пусть они живут счастливо, долго и мирно.

Никто из нас не думал, что этот праздник когда-либо состоится. Но сейчас это действительность, и, по-нашему, так оно и должно быть. Очаровательная пара, они так подходят друг к другу. Смотри, как они заглядывают в глаза, улыбаются друг другу! Словно и не было вражды между Грабе и Преппингами. А ведь еще совсем недавно по острову ходила поговорка: «Они дружны, как Король с Адмиралом». Все забыто. Молодые положили конец всему, что когда-то разделяло стариков. Чудесная пара. Хеннингу Грабе можно позавидовать, такая красивая и, говорят, умная у него жена. Ей-богу, позавидуешь, если подумаешь хорошенько. Они знали, чего хотят.

Гул голосов, перезвон бокалов. И чем дальше идет пиршество, тем громче звучат голоса. К рыбе уже никто не притрагивается, желудки переполнены мясом и добрым, густым соусом.

Ну а теперь закурим сигары. Господи боже, Хеннинг Грабе и на это не поскупился. Или это придумал Король? Так или иначе, вот они, сигары, торчат в стеклянных стаканчиках.

— За твое здоровье, Кнут!

— За твое здоровье, Ганнес!

— За ваше здоровье! За ваше здоровье!

Вот женщины убирают со стола тарелки, теперь Король должен произнести речь. Вообще наступает время для ораторов, а потом придет время для танцоров. Цыц, ребятишки, убирайтесь отсюда!

Топот детских ног, секундный всплеск голосов, и вот уже Король стучит по бокалу.

Наступает тишина.

— Дорогие дети, дорогие родители жениха, дорогие гости! — говорит Король.— Сегодня мы празднуем свадьбу. Поженились моя дочь Бербель и Хеннинг Грабе. Каждый скажет, что они — хорошая пара. Прошу принять это во внимание. У моей Бербель неплохие родители. И мы ее хорошо воспитали!

— Оставь, папа! — шепчет Бербель отцу.

Но тот уже разошелся, его теперь не остановить. Он попросту отметает возражение Бабс.

— Только без ложной скромности, дочка! Бербель — скромная и милая молодая девушка, она много лет провела в интернате и теперь хочет стать врачом... Если через пять-шесть лет кто-нибудь из вас заболеет, он сможет отлично полечиться у нашей Бербель.

— Я первый записываюсь на прием,— вставляет Кнут Брюммер,— я непременно заболею еще в этом году! — И поскольку это всем нра-

вится, гремят долгие и щедрые аплодисменты. Король тем временем может вытереть пот со лба. Здесь на самом деле жарко.

Потом он продолжает — рассказывает, как Бербель росла, весело замечает, что она вся в него, находит слова и для Хеннинга:

— И вот что я хочу тебе сказать, дорогой мой зятек, помни об этом всегда. Если когда-нибудь моя дочка придет ко мне, то вместе с ней не должно доходить до моих ушей ничего плохого!

Король садится под аплодисменты. Да, такую речь и вправду может произнести только Король.

У Адмирала совсем другая манера.

— Кое-кто подумал,— начинает он свою речь,— что только он и мог произвести на свет ребенка, который всем вышел, так что другие не могут оторвать от него глаз... Но вслух это не было сказано. А ведь такой ребенок необязательно должен быть девушкой, он может быть парнем, пусть даже и не таким красивым, как девушка, но который тоже многого стоит... Кое-кто, может быть, полагает, что всякий отец слишком уж носится со своим ребенком, но что правда, то должно оставаться правдой... Мы, старики, приближаемся к тому возрасту, когда уж не слишком-то много остается впереди, скоро мы, как поется в песне, скажем миру «прощай»... И нам следовало бы почаще думать об этом. Молодые идут своим путем, старые — своим... Но в конце концов все сводится к одному. Всех нас заберет старуха с косой, рано или поздно... Но не будем сегодня думать об этом, ибо сегодняшний день должен быть радостным.

Пусть Адмирал остается самим собой. Отчего бы ему и не произнести речь? По залу прокатываются аплодисменты, так что сети на золотых колышках начинают покачиваться.

Когда вновь становится тихо, встает Хеннинг.

— Дорогие товарищи, дорогие женщины и мужчины,— говорит он. Я думаю с моей речью пока повременить. Лучше, мне кажется, сперва потанцевать. Мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь заснул!

Разумеется, все согласны! Хватит речей. Лучше потанцевать, для речей еще будет время. Музыканты забираются на возвышение. Гремит труба, поют аккордеоны, тихонько подыгрывает на флейте Аугуст Бекман. И никто не может сказать, что его не слышно. В музыке нет-нет да и бывают паузы, как же нежно звучит тогда флейта!

Потом Карл Дассов играет туш. «Молодых на круг!» Хеннинг и Бербель стоят посреди зала на натертом до блеска полу, остальные окружили их. Все прихлопывают ладонями в такт старому свадебному вальсу, первый круг которого танцуют только молодые. Некоторые пожилые женщины еще помнят его слова и тихонько подпевают.

Пускай на свадьбе спляшут вальс
невеста и жених,
чтоб до смерти не остыть любви
в сердцах у них.
Пусть хлебом, рыбой и вином
попотчуют гостей,
не то останется пустой
их брачная постель*.

Бербель прильнула к Хеннингу. Все кружатся в вальсе, и при каждом повороте Бербель тоже поворачивает голову.

Так оно и должно быть, невеста должна наслаждаться этим танцем, первым танцем на свадьбе. Это обещает хорошую семейную жизнь. Хмурая невеста не согреет свадебную постель...

---

* Перевод А. Голембы.

Спор возникает неожиданно и в одну минуту захватывает всех.

Уже выпили кофе и справились с кучей пирожных, опять танцевали. Речи были веселыми и добродушными, никто не затрагивал того, что волновало всех в обычное время. Ведь сегодня праздник, в такой день не подобает поднимать спорные вопросы.

Когда Кнут Брюммер встает и стучит по бокалу, тишина воцаряется не сразу. Но, в конце концов, все успокаиваются и с интересом ждут речи Брюммера-миллионщика. И вот он говорит:

— Дорогие женщины, дорогие друзья! Сегодня в этот радостный день, когда к нам приехал оберландрат, мой старый друг Курт Бенш, мне тоже хочется сказать несколько слов... Не часто нам представляется возможность собраться вместе в такой приятной обстановке. И мне хочется сказать, что все мы рады быть на свадьбе нашего Хеннинга Грабе. Мы, право, очень довольны...

На этом месте оратора заглушают бурные аплодисменты. Вероятно, они и побудили Кнута Брюммера без обиняков перейти к главному.

— Премного благодарен за ваше одобрение,— продолжает он.— И вот что я хочу еще сказать... Когда посмотришь вон на тот стол, где лежат подарки новобрачным, то не можешь не согласиться, что некоторые в самом деле постарались. Столько посуды Бербель и за двадцать лет не перебить, а Хеннингу и за двадцать лет не износить столько белья...

Кое-кто улыбается, все обращают внимание на стол с подарками. Брюммер-миллионщик делает паузу, затем продолжает:

— Но, дорогие друзья, я полагаю, что мы все-таки поскупились... Да-да, я уверен в этом. И раз вы не знаете, что следовало бы подарить юной паре в этот знаменательный день, я хочу сделать одно предложение. Я хочу сказать, что все мы должны были бы сделать большой подарок Хеннингу Грабе и его бригаде. Мы не должны больше оставлять пустым место для вершей на Хюкке, его нужно наконец кому-нибудь передать, раз все так зарятся на него...

Говорить дальше Кнуту Брюммеру не дают.

— Ты спятил! — громко каркает Король.

— Они его вконец одурачили!

— Чертов сын, мозги-то у тебя на месте?

Эти реплики сыплются на Кнута Брюммера со всех сторон. Он багровеет, глаза его перебегают с одного лица на другое. Ему и невдомек, какую кашу он заварил.

Да что он, в самом деле, спятил? Заводит разговор о вершах здесь, на свадьбе! Разве мы все не добивались этого места? Разве нам его кто-нибудь отдал? При чем здесь шестая бригада? Разве свадьба сегодня у шестой бригады? У Хеннинга Грабе и так хватит добра. Ведь, говорят, он будет хозяйничать на местах, принадлежавших Адмиралу. А если ему достанется еще и этот кусок, он скоро станет миллионером. Можно подумать, мы ждем не дождемся этого.

Картина резко меняется. Даже женщины вступают в перепалку, а мужчины, перегибаясь через стол, чуть не сталкиваются лбами. И над всем этим разносится громовой смех Карла Дассова: — Вот умора!

Курт Бенш быстрым взглядом скользит по лицам. До него долетают обрывки разговоров. Хеннинг Грабе встает и разговаривает с Бернгардом Калла. Бенш спрашивает его через стол, в чем тут, собственно, дело, и Хеннинг в двух словах объясняет.

Ожесточеннее всех спорят Бербель Грабе и Король.

— Ты понятия не имеешь, что такое справедливость, отец! — говорит она очень громко.

Королева вмешивается в их разговор.

— Неблагодарная! Попробовала бы я сказать что-либо подобное моему отцу! А ты...

— Заткнись! — обрывает Король жену на полуслове.— «Справедливость», «справедливость»,— продолжает он,— вы словно взяли ее себе на откуп. У твоего Хеннинга губа не дура — получить тебя и вдобавок верши на Хюкке. Вот так справедливость!

— Пусть лучше Хеннинг получит их, чем ты! — заявляет Бербель.

Король смотрит на нее, сузив глаза, и говорит:

— А ты, оказывается, в свое время слишком мало получала по одному месту!

Один только Адмирал, пожалуй, остается невозмутимым посреди всей этой словесной бури. Он слушает одних, и других, и третьих, но все это его не волнует. Он даже улыбается Анне Грабе, сидящей с несчастным лицом посреди всего этого переполоха. Что за беспорядок! И это называется свадьба?

Наконец поднимается Бернгард Калла. Он просит всех успокоиться. Никто не обращает на него внимания. Тогда он подает знак Карлу Дассову. Тот трубит туш, да так громко и пронзительно, что все умолкают. Бернгард Калла говорит:

— Можете не волноваться, бригаде Хеннинга не нужно место на Хюкке.— Воцаряется тишина.— Но если хотите знать, что я думаю об этом, то скажу: позор для всего Леннекена, что только от зависти и недоброжелательства мы не осваиваем такого богатого места. Таково мое мнение. Слово имеет Курт Бенш из Окружного совета.

Тишина сохраняется. Даже дети притихли за своим столом. В зале чувствуется напряженность. Курт Бенш медленно встает и обводит взглядом ряды присутствующих. Потом произносит:

— Дорогие мои друзья! По-моему, не стоит спорить в такой день, это ни к чему. Вспомните лучше о свадебном вальсе и подумайте, как все изменилось!

— Совершенно верно! — кричит Кнут Брюммер. Кое-кто аплодирует, затем вновь наступает тишина.

— Как у вас, так и у нас многое изменилось. И никто не может сказать, что стало хуже. Если сегодня вот эта пара женится, то их любовь еще не постарела, не приелась им, как это частенько бывало раньше... Но об одном нам нужно помнить. Мы не должны почивать на лаврах. Мы должны идти вперед... И вот когда я слышу, что вы не можете сговориться меж собой насчет места для вершей и даете угрям преспокойно уйти, я думаю, что никакой вы не кооператив, а просто общество защиты животных!

Что он говорит? Бог ты мой, вы только послушайте!

Ну разумеется, так оно и есть. Он прав. У нас есть богатое рыбой место, а мы на нем не ловим, даем угрям уйти. Мы — общество защиты животных!

Все смеются, хлопают друг друга по плечу.

Рихардинг говорит, по своему обыкновению растягивая слова:

— Да-а-а, в общем-то он пра-а-в, сказа-а-л бы я.

Даже Вернер Преппинг, забыв об отце, стучит кулаком по столу. Он смеется и не обращает внимания на Короля. Ну, дождались наконец, пока человек из Окружного совета не сказал, что кооператив никуда не годится. Король бросает сердитый взгляд на сына, но тот ничего не замечает.

Карл Дассов опять трубит туш. Снова воцаряется тишина. Встает Хеннинг Грабе и говорит:

— Я еще не брал слова. Полагаю, теперь самое время. Сначала я ни о чем таком говорить не хотел, но теперь должен сказать, что было бы действительно неплохо обсудить вопрос, который с такой доброжелательностью поставил Кнут Брюммер... поговорим немного о том, о чем по простоте душевной он завел речь... Да, я тоже хочу сказать, что мы с вами — общество защиты животных...

Внезапно перед Хеннингом Грабе вырастает Король. Он так ударяет кулаком по столу, что рюмки подпрыгивают. Фридерике пронзительно вскрикивает. Король каркает:

— Если здесь еще хоть минуту будут болтать об этом, свадьба для меня окончена! Здесь не собрание!

Становится очень тихо. Король оборвал человека на полуслове. Что же дальше?

И тут в тишине раздается голос Бербель Грабе:

— В таком случае, ты можешь идти, отец. Ведь это моя свадьба, а не твоя!

Движение в зале, шум передвигаемых стульев, что-то должно произойти. Карл Дассов провозглашает с возвышения:

— На сцене все те же!

Никто не смеется.

Хеннинг Грабе произносит:

— Я не хочу никого обижать, но хотелось бы знать, что думают другие товарищи. Хотелось бы знать, должен ли я молчать или продолжать мою свадебную речь...

Шустер, молчаливый Шустер, который сидит за другим столом, говорит:

— Лучше молчать.

Но большинство бурно протестует, ведь Хеннинг Грабе имеет такое же право на речь, как любой другой.

— Продолжай!

— Продолжай!

— Не давай себя прерывать, Хеннинг. Так будет лучше!

— Не хватало еще, чтобы ты на собственной свадьбе держал язык за зубами!

— О да, этот разговор волнует нас всех. Не слушать же только Короля и Шустера. Мы хотим услышать и то, что скажет Хеннинг Грабе.

— Хорошо... Тогда эта свадьба для меня окончена,— хрипит Король и поворачивается к Фридерике: — Пошли, Фридхен, нам больше нет здесь места... Вернер, твоя сестра одна будет праздновать свою свадьбу.

Он действительно поднимается, и Королева тоже встает.

Курт Бенш хочет поправить дело и говорит:

— Дорогой друг, останьтесь, право же, не стоит...

— Я вам не друг,— каркает Король.

Наступает тишина, в которой слышны лишь шаги Короля и Королевы. Фридерике тихо плачет. Бербель вскакивает, догоняет их, берет мать за руку и говорит:

— Мамочка, пусть он идет один... Останься, ведь он хочет испортить мне праздник!

Но Королева прожила жизнь, не имеющую ничего общего с жизнью Бербель. Она вырывается и молча следует за Королем.

Вернер колеблется. Бербель смотрит на него, брат и сестра глядят друг другу в глаза. Вернер рад бы улизнуть, но Бербель говорит:

— Если и ты уйдешь — тряпка ты, а не мужчина, братец. Знать тебя тогда не желаю!

— Да что ты, я и не думаю уходить,— отвечает Вернер и тянется к бутылке.— Нет, я не уйду, не такой я дурак.

И тут, в тягостно нависшем молчании, на весь зал раздается голос Петера Вуссова, сынишки Клауса:

— Я-то думал, сейчас драться будут!

Все покатываются со смеху, затем вновь воцаряется тишина, и Хеннинг Грабе продолжает свою речь. Петер бежит к матери и бросается ей на шею.

— Маленький Петер попал в самую точку,— говорит Хеннинг.— Не хватало только драки и смертоубийства на моей свадьбе... Но давайте все-таки немного потолкуем о том, с чего начали. В своем теперешнем виде мы действительно никакой не кооператив, тут и спорить не о чем... За последнее время мы все очень много думали над этим. А что касается свадебных подарков, то больше всего следовало бы радоваться тому, что теперь у нас есть грузовик — первое, чем мы действительно будем владеть сообща. Мы должны поблагодарить товарищей с автозавода.

Хеннинг садится. Как? Больше он ничего не скажет? И из-за этого Король сбежал со свадьбы? Не захотел слушать?

Все дружно хлопают. Все единодушно одобряют спокойную речь Хеннинга.

Бокалы наполняют крепким вином, многие женщины не отстают от мужчин, и уже кажется, что мир снова водворился на этой необычной свадьбе. От водки по телу разливается приятная теплота. Тут и там раздаются взрывы смеха, тонущие в гомоне голосов.

Но вот еще один оратор просит слова. Фриц Вуссов стучит ножом по бокалу. Дождавшись тишины, он говорит:

— На мой взгляд, называться обществом защиты животных — не большая честь для нас. Хотел бы я знать, почему мы ничего не делаем для того, чтобы исправить положение? Почему упускаем угрей? Почему бы нам просто не сказать: с сегодняшнего дня переходим к кооперативу второй ступени,— и дело с концом?

— Может, сразу и проголосуем? — кричит Шустер, сидящий за другим столом. Раздается хохот.

Но Фриц невозмутимо отвечает:

— Неплохо бы, мне кажется... Раз уж мы собрались все вместе. почему бы и не проголосовать? Уж лучше перейти на вторую ступень зимой, чем весной. Можно не спеша все подготовить к путине...

Воцаряется молчание. Мы-то хотели погулять на свадьбе, поплясать, повеселиться, а нас снова тычут носом в наши будничные заботы. Нет, это нам не по нутру. Отставить такие разговоры.

Даже старый Макс Вуссов, который давно уже ничего не имеет против второй ступени, находит неприличным принимать подобные решения на свадьбе. Он говорит:

— Мой Фриц вечно торопится, как на пожар. Лучше потанцуем, а дела от нас не уйдут!

Раздаются одобрительные возгласы. Ганнес Люссинг снова начинает играть. Веселье продолжается. Вальс сменяется полькой, полька — рейнлендером; не забыта и «Голубка» Карла Дассова. В старом зале дым коромыслом. Дети носятся, как угорелые, их звонкие голоса перекрывают смех взрослых.

Бербель и Хеннинг остаются за столом одни. Лицо Бербель серьезно и задумчиво. Хеннинг что-то говорит ей, но она как будто не слышит. «Неужели нельзя было иначе,— думает Бербель.— Неужели отец не мог обойтись без скандала на моей свадьбе?» И она вновь видит, как уходят

ее старики, как Король, не обращая внимания на Фридерике, все прибавляет шагу и жена едва поспевает за ним. Вот они прошли через кустарник, вышли на перекресток и направились к Вику. Медленно приближаются они к дому, отпирают дверь, переступают через порог...

Бербель думает об этом, и горечь закрадывается в ее душу. Хеннинг сидит рядом и, очевидно, догадывается, что с ней происходит, но молчит. В таких случаях лучше всего молчать.

Никто не обращает внимания на новобрачных, ибо Кнут Брюммер показывает, как танцуют по другую сторону экватора. Все столпились вокруг Хеннинга и покатываются со смеху, вы только посмотрите, что он выделывает бедрами под звуки танго! Карл Дассов давится от смеха и не может больше играть. Гремят аплодисменты.

Бербель говорит Хеннингу:

— Ну и упрямый же черт!

— Но ведь и мы упрямые, Бабс!

Бербель с улыбкой смотрит на него и вдруг говорит:

— Пойдем потанцуем!

Они выходят на круг. Фите Шульт кричит им:

— А я уж думал, вы забастовали!

— Посмотришь, что сейчас будет! — откликается Бербель.

Она тянет Хеннинга к возвышению, где расположился оркестр, делает знак Карлу Дассову. Карл кладет трубу и склоняется к Бербель. Она что-то шепчет ему на ухо. Хеннинг стоит рядом, не понимая, что она затеяла. Карл передает трубу Бербель, она поднимается на помост, музыка смолкает. Бербель приставляет трубу ко рту, и из нее вырывается пронзительный рев.

Все останавливаются. Бербель смотрит на гостей, еще раз пробует потрубить, затем со смехом говорит:

— Дорогие женщины! Дамы приглашают кавалеров... но на особый лад... Мы сейчас...

— Дамы приглашают кавалеров! — кричит Карл Дассов, полагая, что не все расслышали ее слова.

— Да помолчи же! — говорит Бербель.— Итак, дамы приглашают кавалеров, но не кто во что горазд. Я хочу сказать — пусть жены приглашают своих мужей. Сейчас будем танцевать кооперативный танец.

Молчание сменяется смехом. Фрида Шульт кричит:

— Первую ступень, Бербель, или вторую?..

— Вторую!.. Первую! — кричат все наперебой.

— Вот что,— говорит Бербель, спрыгивает с возвышения, протискивается сквозь толпу, берет стул, ставит посредине комнаты и вскакивает на него.— Кто за первую ступень, пусть танцуют на стуле. Остальные, кто за вторую, танцуют, где положено.

Много потом будут говорить об этом танце, с восторгом будут вспоминать о нем. Только так и следовало поступить тогда, на свадьбе.

Ну и потеха! Они лихо отплясывают, весело кричат друг другу: «На стул!»

И вот ведь какое дело: находятся все же такие, кто непременно хочет танцевать на стуле. Шустер, правда, не принял вызова. Но Аугуст Бекман делает на стуле несколько па: Кто-то толкает стул, и Аугуст волей-неволей соскакивает с него.

Ай да Бербель! Вот придумала! Ну не забавно ли, когда какой-нибудь чудак пытается один танцевать на стуле, а его стаскивают, сталкивают в толпу танцующих?

Да, эту свадьбу они не забудут до конца жизни. Все понимают — шутка шуткой, но подоплека-то у нее серьезная. Вот почему кто-нибудь из тугодумов нет-нет да и вскарабкается на стул.

Хеннинг, танцуя, крепко обнимает Бербель и шепчет ей на ухо:

— Держи меня крепче, Бабс! Меня так и подмывает взобраться на стул!

Бербель целует его, вырывается и бежит к возвышению:

— Сыграй туш, Карл! — И кричит: — Люди добрые! А мой-то, старый олух, на стул вздумал лезть!

Стены зала дрожат от хохота.

Хеннинг бросается к стулу, с силой подбрасывает в воздух, ловит за ножку и ставит на возвышение ножками вверх.

А Ганнес Люссинг командует:

— Полонез!

Танцы продолжаются. Дети стоят вдоль стен, из кухни выплывает с кучей тарелок Тиммша-телеграф: скоро ужин. Музыканты сменяют такт. Пары маршируют одна за другой, дети пристраиваются к взрослым. Шествие идет через зал, выходит на улицу, вновь возвращается.

Ах, какая свадьба!

Музыка, музыка!

И когда наконец, едва переводя дух, все рассаживаются за столами, Вернер Преппинг говорит сестре:

— Господи боже, сестричка, ну и достанется нам от отца!

Бербель толкает его кулаком в бок:

— Тебя лишат наследства, Вернер, это как пить дать. Надо было лезть на стул.— И, смеясь, идет к своему месту.

Лицо Адмирала непроницаемо. Анна Грабе, разгоряченная танцем, весело говорит:

— Кто не любит петь да плясать — из такого чурбана лишь колья тесать! — Она улыбается Бербель и добавляет: — Какая же ты славная девчонка, Бабс!

Хеннинг смотрит Бербель в глаза и шепчет:

— Выйдем на улицу, Бабс, я хочу поцеловать тебя!

— Дурачок ты мой,— говорит Бербель,— ведь мы теперь муж и жена, можешь целовать меня у всех на глазах.— Она обвивает руками его шею и, не обращая внимания на шум вокруг, целует.

Со всех сторон подбегают гости, подхватывают их на руки, оркестр играет заздравную. Гости снова наполняют стаканы, чокаются, пьют за них.

Анна Грабе говорит Адмиралу:

— Того и гляди, Иоганнес, быть нам дедом да бабкой.

Он задумчиво кивает.

— Того и гляди, скоро прикажем долго жить.

— Ну что ты! — говорит жена.— Не держи в голове таких мыслей, и с тобой ничего не стрясется.

Угри, поданные на ужин, вчера еще плавали в садке. Хеннинг сам коптил их. Гости усердно на них налегают, не забывая и о ветчине, и о холодном мясе. А в чай подливают крепкого рома. Ночь еще впереди — не мешает подкрепиться. Громки речи, веселы шутки. Разве свадьба не празднуется?

Курт Бенш подсаживается к новобрачным, закуривает сигару и говорит:

— Вас есть с чем поздравить, товарищ Грабе.

— Прежде всего — меня! — откликается Бербель.— Разве не так, Хеннинг?

— Ну конечно, Бабс...

Они чокаются, и Бербель шепчет:

— Мы скоро уйдем к себе, теперь уж недолго...

Курт Бенш спрашивает:

— Так вы, значит, думаете продолжать учебу в Ростоке, а муж останется здесь, на Леннекене?

Бербель пожимает плечами:

— Что поделаешь, иначе не получается.

Курт Бенш затягивается сигарой.

— Мы могли бы использовать Хеннинга Грабе в Совете округа,— роняет он, словно невзначай.

— О! — восклицает Бербель.— Вы это серьезно?

— А почему бы и нет,— отвечает Бенш.— Чем рыбаки хуже других?

Бербель быстро поворачивается к Хеннингу.

— Ты слышал? Тебя переведут в Росток!

Хеннинг улыбается и легонько щелкает ее по носу.

— Ничего не выйдет.

Бербель мрачнеет:

— Ты не хочешь?

— Не могу, Бабс... Ты же знаешь, какая здесь теперь обстановка... пройдет не меньше года, пока все утрясется. При всем желании я не могу сейчас уехать. Сейчас — нет.

Бербель, задумавшись, молчит.

— Да я и не думал сейчас же забирать тебя,— говорит Курт Бенш.— Хотел только, чтобы ты имел это в виду, больше ничего.

Бербель смеется:

— Уж конечно мы будем иметь это в виду.

Брюммер-миллионщик, который до сих пор молча слушал разговор, обращается к Беншу:

— Хеннинг Грабе, знаешь ли, годится и в ландраты и даже повыше. Голова у него что надо... Стоит ему захотеть, он и министром станет.

Бенш смеется, но затем серьезно отвечает:

— Вполне возможно.

Адмирал поднимает бокал и, прежде чем выпить, произносит:

— Среди Грабе дураков не водилось.

Пьют за род Грабе, а Кнут Брюммер воздерживается от возражения, которое могло бы обидеть Адмирала.

Взглянем еще раз на тех, кто пирует здесь, в этом нарядном зале на острове Леннекен.

Адмирал Грабе пошел на мировую, сначала с Королем, ибо обоим это показалось выгодным, а затем и со всеми остальными, кто наседал на него. Правда, мир этот мог бы быть почетнее, но Адмирал верен своей натуре, так же, как и Король, который не откажется от своего упрямства, даже если останется в кооперативе, так же как и Аугуст Бекман и кое-кто еще.

Вспомним и необычную историю Брюммера-миллионщика, который прошел долгий путь, прикрываясь плащом фантазии. Он был ему нужен, этот плащ, ибо в противном случае Брюммер погиб бы от холода прошлых дней. Вспомним и о Карле Дассове, рассказывавшем об удобрении моря, а также о Вернере Преппинге, который так любит пропустить стаканчик и выкурить сигару и так не любит принимать решения. Не забу-

дем и о Бернгарде Калла, простодушном, грубоватом председателе кооператива, о Фите Шульте и его супруге, о Вуссовах. Не забыть бы женщин! Мамаша Грабе скоро станет бабушкой Анной, у нее уже и приданое для внука готово. Ну а Фридерике Преппинг, как нам кажется, и впредь будет жить так же, как жила раньше.

Они сидят за свадебным столом, они танцуют. И Тиммша-телеграф, как всегда, уж наверняка найдет, к чему придраться даже здесь, на свадьбе.

Луна и звезды сияют над Хеннингом и Бербель, когда они возвращаются домой. Медленно идут они по острову Леннекен, по прекрасному острову Леннекен, лежащему посреди залива. Ветер гонит опавшие листья, в темных лужах отражается луна. Где-то ухает сыч. Плещется море у берегов — и больше ни звука. Тени деревьев и кустов кажутся застывшими живыми существами. Песок и галька хрустят под ногами. Вдали цепочкой сверкают огни города. Хеннинг и Бербель останавливаются, прислушиваются. Все тихо вокруг, лишь земля дышит глубоко и ровно. С моря доносится гудок парохода. По темному осеннему небу плывет Большая Медведица.

Веселин Ханчев

Урок бесстрашия

Перевод с болгарского Леонида Мартынова

Он, ученик хороший,
считался лучшим в классе.

Сидел на первой парте
он слева у окошка;
был малорослым,
был с волосами
прямыми, красными,
как пламя,
а на щеках его горели
веснушек целые созвездья.

Он ученик был самый лучший.
Всегда прекрасно знал уроки;
он точно отвечал и ясно,
он не молчал,
когда учитель
в класс с кафедры
бросал вопросы:
— А во втором болгарском царстве
цари какие нам известны?
— Что мы получим, если к натрию
прибавим три молекулы серебра?

Он, ученик хороший,
считался лучшим в классе,
но вот совсем нежданно
в класс офицер явился
и, указав на парту,
что у окошка слева,
сказал:
— Ты, с первой парты,
иди к доске и живо
ответ на все вопросы
давай толково, ясно.

То был урок мученья.

Со стен,
как бы из черных
тюремных казематов,
смотрели Ботев, Левский,
а с опустевшей парты
страх подсказать старался:

— Кто те,
к кому ты шел на явку?
— Где та квартира,
в которой с ними ты встречался?
— Что получил?
— Кому отнес ты?

И это был урок бесстрашья.

Так, ученик прилежный
и самый лучший в классе,
к доске он вышел,
и будто солнце на рассвете,
так волосы его сияли
на черном небе
доски вот этой
над облаками меловыми.
Лицо его
в златых веснушках
спокойно было, было ясно.

Он был школяр прилежный.

Был самый лучший в классе.

Но тут
на все вопросы
ответил он молчаньем.
Молчал,
когда из класса был выведен,
молчал он,
когда поставлен к стенке
был где-то на задворках,
когда звонком последним
винтовки прогремели.

Учеником отличным
он был. И промолчал он.
И сдал он на отлично
бессмертия экзамен.

Уильям Фолкнер

ОСОБНЯК

РОМАН

Перевод с английского Р. Райт-Ковалевой

14

Однако к тому времени, как Рэтлиф изничтожил Кларенса и вернул его к частной жизни во Французову Балку, в Джефферсоне вот уже скоро два года, как поселился новый Сноупс, так что Джефферсон оставался верен себе в том, что дядя Чарльза окрестил количественным соотношением или проблемой Сноупсов.

Этот Сноупс был совсем новенький, холостой, звали его Орест, в просторечии Рес. Вот именно, Орест. Даже дядя Чарльза не понимал, откуда он взялся. Дядя рассказывал Чарльзу, как в 1943 году в городе вдруг узнали, что Флему Сноупсу теперь принадлежит то, что осталось от имения Компсонов. А осталось маловато. Рассказывали, что Компсоны продали порядочный участок муниципальному совету под поле для гольфа еще в 1909 году, чтобы послать старшего сына, Квентина, учиться в Гарвардский университет, где он покончил с собой, не проучившись и года; а лет десять назад младший сын, Бенджи, идиот от рождения, поджег дом и сам сгорел вместе с ним. Было это уже после того, как Квентин утопился под Гарвардом, а брак Кэндейс, его сестры, полетел к черту, и она исчезла неизвестно куда, а ее дочь, тоже Квентин, неизвестно, от какого отца, ночью спустилась из окна по водосточной трубе и убежала со странствующим цирком, и тогда Джейсон, средний сын, избавился было от Бенджи, уговорив мать отправить того в сумасшедший дом, но все равно ничего не вышло, так как, по словам самого Джейсона, мать стонала и плакала до тех пор, пока он, Джейсон, наконец не сдался и не привез Бенджи обратно домой, и, конечно, не прошло и двух лет, как Бенджи не только сам сгорел, но и сжег дотла весь дом. А Джейсон получил страховую премию, взял в долг еще немного денег под пустующий участок и отстроил себе с матерью новый кирпичный дом на главной улице у площади. Но его участок очень ценился: город Джефферсон уже пододвигался к этому участку, окружал его; собственно говоря, поле для гольфа уже давно, еще в 1929 году, перенесли к загородному клубу, а старое поле снова откупил Джейсон Компсон. И не удивительно. Еще в школе Джейсон после уроков и по субботам подрабатывал в скобяной лавке дядюшки Айка Маккаслина в качестве приказчика, а в этой лавке уже тогда хозяйничал некий Эрл Триплет, которого откуда-то выкопал дядя Айк, должно быть где-нибудь в охотничьих угодьях или на озере

Окончание. Начало см. в №№ 9, 10, 11.

в Дельте, потому что дядюшка Айк почти все время проводил там. По этой причине никто в городе не удивился, узнав, что Триплет уже давно потихоньку вытеснил дядюшку Айка из лавки, хотя дядюшка Айк все еще околачивался там, когда не уходил на охоту или на рыбалку, и, конечно, Триплет все еще отдавал ему ружья, патроны и рыболовные снасти по своей цене. И никто не сомневался, что Джейсон поступал точно так же, когда он, в свою очередь, вытеснил Триплета и тот вернулся к своему ружьишку, перемету или верше для миног.

Во всяком случае, практически Джейсон Компсон теперь стал владельцем скобяной торговли Маккаслина. И никто не удивился, узнав, что Джейсон прикупил к старому родовому имению их прежний участок, который его отец продал, чтобы послать старшего сына в Гарвард — университет, презираемый Джейсоном по той причине, что он вообще презирал все учебные заведения после десятого класса школы, считая их прибежищем для тупиц и трусов. Дядя Чарльза говорил, что его очень удивило одно: когда он в канцелярии суда просматривал купчую и другие бумаги, он увидал, что хотя Джейсон несомненно заплатил наличными за бывшее поле для игры в гольф, он не выкупил закладную на все остальные владения, под заклад которых получил деньги на постройку нового дома, аккуратно выплачивая с тех пор проценты в банк Флема Сноупса и, очевидно, предполагая выплачивать их и дальше. Так продолжалось до самого нападения на Пирл-Харбор. Можно было подумать, что у Джейсона был свой собственный, вполне надежный и верный агент в японском парламенте. А весной 1942 года уже можно было думать, что у него есть свой агент, столь же надежный и верный, и в американском правительстве: дядя говорил Чарльзу, что послушать Джейсона, так сразу поверишь, будто он заранее получил не только достовернейшую информацию, что в Джефферсоне будет построен учебный аэродром, но и достовернейшее обещание, что этот аэродром будет построен именно на старом поле для гольфа и нигде больше; дядя Чарльза говорил, что в то время никто ничего в аэродромах не понимал и даже над этим не задумывался, так что все охотно поверили Джейсону, что любое открытое место, годное для того, чтобы гонять мячи, годилось также и для посадки самолетов.

Во всяком случае, нужный человек поверил. А этим нужным человеком был Флем Сноупс, президент банка, державшего закладную на все остальные владения. Дядя Гэвин говорил, будто это было похоже на игру в карты, где каждый, открыв туза, добровольно согласился объявить два других туза битыми. Гэвин говорил, что никто, в сущности, не понимал, что же произошло. Знали они только то, что всем давно было известно про Джейсона Компсона и Флема Сноупса: Гэвин говорил, что, наверно, подошел такой момент, когда Флем, твердо уверенный, что Джейсон больше его понимает в аэродромах, вдруг в перепуге подумал, что, может быть, Джейсон и про деньги тоже понимает больше его. Так что Флем не мог идти на риск и дать Джейсону возможность взять еще карту. Приходилось Флему идти ва-банк.

А может быть (это мнение Гэвина), так думал Джейсон. И Джейсон просто размахивал воображаемым проектом аэродрома перед носом мистера Сноупса, чтобы припугнуть его и заставить сделать первый ход. И очевидно, Сноупс так и поступил: он опротестовал закладную, которую его банк держал на имение Джейсона. И сделано это было, разумеется, по-дружески, тихо и мирно, как Джейсон и ожидал: его (Джейсона) пригласили в тот самый кабинетик в банке, и Флем сказал примерно так: «Я и сам огорчен не меньше вашего, мистер Компсон. Но сами понимаете, какое дело. Наша страна сейчас сражается в обоих

полушариях за самое свое существование, за свою жизнь, поэтому честь и долг каждого гражданина требуют, чтобы и он вложил свою долю в эту борьбу. И вот правление моего банка считает, что каждое пенни из ресурсов банка должно быть вложено в то, что непосредственно касается наших военных усилий».

Именно этого и ожидал Джейсон. «Ну, конечно же, мистер Сноупс. Каждый патриот и гражданин от всего сердца согласится с вами. Особенно когда тут, в Джефферсоне, собираются строить военный объект — аэродром и, насколько я понимаю, заключить контракт сразу после того, как документы на землю будут оформлены». И он тут же назвал свою цену на бывшее поле для гольфа, из каковой суммы, само собой разумеется, будет оплачена и закладная. Но, если мистеру Сноупсу и правлению его банка угодно, он, Джейсон, назовет сумму, за которую готов отдать все компсоновские владения, включая и закладную, так что дирекция банка или другое патриотическое учреждение города смогут сами договариваться с правительством насчет продажи земли под аэродром, причем Джейсон оставляет за собой только право надеяться, что готовый аэродром назовут аэродромом Компсонов, не в честь его, Джейсона, а в честь того, что в истории Джефферсона их семья сыграла свою роль, за которую не приходится краснеть, и что среди их предков был один губернатор и один бригадный генерал, хотя, может быть, это и не стоит увековечивать, а, впрочем, может быть, и стоит. Потому что, как сказал дядя Гэвин, Джейсон был и сам достаточно хитер, во всяком случае, он сразу сообразил: если такой человек, как Сноупс, мог потратить столько денег ради того, чтобы его имя стояло на памятнике его неверной жены, то он может потратить и больше, чтоб в его честь назвали аэродром.

Так думал Джейсон. А в январе 1943 года весь Джефферсон узнал, что мистер Сноупс — не банк, нет, мистер Частный Предприниматель Сноупс — стал собственником всего имения Компсонов. И тут, как рассказывал Чарльзу его дядя Гэвин, Джейсон из злорадства стал понемногу раскрывать свои карты. И кто же мог осудить его за это, если до сих пор никто, кроме итальянского синдиката по изготовлению мраморных памятников, не мог продать Сноупсу нечто столь аморфное, как престиж. А итальянцы, в сущности, продали ему респектабельность, что было для него не роскошью, а насущной необходимостью: теперь он (Джейсон) называл свое старое имение аэродромом Сноупса и даже (как рассказывал дядя Гэвин) подкарауливал, останавливал самого мистера Сноупса на улице, когда вокруг случались зрители, и расспрашивал его, как идет строительство; и это после того, как все, даже те, кто не понимал, что такое аэродром, уже знали, что никакого аэродрома тут строить не будут, потому что правительство давно выбрало ровную местность к востоку от Коламбуса и совершенно плоскую долину в Дельте к западу близ Гринвилла, как единственно приемлемые участки для учебных аэродромов. И тут Джейсон стал выражать сочувствие мистеру Сноупсу косвенным образом, произнося перед публикой длинные тирады о бестолковости и тупости правительства; он говорил, что мистер Сноупс всегда шел впереди своего века и что неизбежно с течением времени, пока будет продолжаться война и всем нам придется потуже затягивать пояса, установка Сноупса, по которой аэродром непременно нужно строить на бугристом поле, будет признана единственно целесообразной установкой и станет известна во всем мире как «Сноупсовский Проект Аэродромов», ибо по этому плану взлетные дорожки, которые раньше тянулись на целую милю, теперь можно будет сократить наполовину, потому что, сгладив бульдозером обе стороны бугра, можно будет их

использовать как для посадки, так и для взлета и самолет поползет, как муха по игральной карте, засунутой в щель.

Но, может быть, Джейсон играл втемную, говорил Гэвин, а потом в страхе перед страшным открытием сказал «пас», когда уже было поздно. Конечно, Джейсон был по-своему хитер и пускал в ход свою хитрость, где мог, иначе он не стал бы тем, чем он теперь стал, без всякой помощи со стороны, начав с ничтожной ставки.

Возможно, что, подписав купчую, даже еще не получив деньги по чеку, он сообразил, что Флем тоже был достаточно хитер, иначе как бы он стал президентом банка, начав с еще меньшей ставки, чем Джейсон,— у того хоть был дом и немного земли, а у Флема — только жена. Может быть, Джейсон вдруг догадался, почуял каким-то нюхом, полученным в наследство от их общего хозяина, самого дьявола, что Флем Сноупс вовсе не собирался и не хотел, чтобы строили аэродром на его земле. Это он, Джейсон Компсон, предполагал, что побочным продуктом войны всегда будет использование земельных участков для строительства аэродромов, танков и пушек, а Флем Сноупс соображал куда лучше. Флем Сноупс отлично понимал, что аэропланы, танки и пушки уничтожают сами себя тем, что устаревают, и что настоящий побочный продукт войны, который вечно растет и множится и никогда не перестанет расти и размножаться, это дети, это повышение рождаемости, и для них нужны участки, где можно возводить стены, чтобы защитить людей от непогоды и ненастья, чтобы им было где хранить накопленный хлам.

Но было уже поздно. Теперь Флем владел землей, и ему только оставалось сидеть и ждать, когда кончится война. Не имело никакого значения, выиграет ли Америка, а вместе с ней и Джефферсон эту войну или проиграет, в любом случае прирост населения будет продолжаться и государству надо будет предоставлять людям жилища, а жилища должны будут стоять на чем-то и где-то — в том числе и на участке земли в четверть квадратной мили, где лишь один уголок принадлежал ворчливому старику по фамилии Медоуфилл, с которым Флем Сноупс мог справиться в какие-нибудь десять-пятнадцать минут, как только ему понадобится этот клочок земли, к которому еще до Пирл-Харбора вплотную пододвинулся город, обстраивая и окружая его. И то, что сделал Джейсон, никого не удивило; дядя Гэвин говорил Чарльзу, что удивительно было одно — что Джейсон обратился к нему, пытаясь подкупить его, чтоб он нашел какую-нибудь ошибку в купчей, выданной Сноупсу, а если ошибки нет, чтоб он ее придумал. Дядя Гэвин говорил, что Джейсон сам ему все объяснил:

— Говорят, будто вы — самый что ни на есть образованный юрист в наших краях. Вы же не только в Гарварде учились, но еще и в каком-то немецком городе, верно?

— То есть, если Гарвард не поможет вам жульнически отнять у Флема Сноупса ваше имение, так пусть поможет Гейдельберг, так, что ли?— сказал дядя Гэвин.— Убирайтесь вон, Джейсон.

— Правильно,— сказал Джейсон,— теперь вам можно благородничать, не зря вы женились на деньгах!

— Я сказал — убирайтесь вон, Джейсон!— повторил дядя Гэвин.

— Ладно, ладно,— сказал Джейсон.— Найдется адвокат, у которого нет таких денег в банке Сноупса, такой, что Флема не побоится!

Впрочем, Джейсон Компсон и сам, без всякой подсказки, понимал, что Флем Сноупс никогда и ни с кем не подписал бы такую купчую, где можно было бы придраться к какой-нибудь ошибке, описке. Но Джейсон все же пытался подкопаться, и дядя Гэвин рассказывал об этом Чарльзу: Джейсон только тем и занимался, что искал способ, любой спо-

соб опротестовать или хотя бы поколебать право Сноупса на его землю, и в нем кипела холодная, неуемная злоба — злоба сектанта, который вдруг обнаружил, что другой проповедник за его спиной подкараулил и обработал его клиента или пациента, над которым он старался все лето; вернее, это была злоба обманщика, вора, одураченного, ограбленного другим вором или обманщиком. Но каждый раз он попадал впросак: право Сноупса на все имение Компсонов оказалось настолько прочным, что Джейсон наконец сдался; и на той же неделе тот же Уот Сноупс, который двадцать лет назад превратил старый особняк де Спейнов в несокрушимый дворец Флема, опять приехал и перестроил старый каретник Компсонов (он стоял поодаль, и Бенджи не удалось его поджечь) в небольшой двухэтажный флигель, и через месяц новый джефферсоновский Сноупс, Орест, поселился в этом флигеле. И не только как агент Флема Сноупса, который на месте должен был воспрепятствовать любым махинациям, какие мог придумать или изобрести Джейсон. Нет, уже к лету Рес обнес изгородями все прилегающие участки, разделил их на выпасы и стал торговать рогатым скотом и свиньями. Кроме того, к этому времени у него начались оживленные партизанские стычки со стариком Медоуфиллом, чей сад граничил с выпасом для свиней, который огородил Рес.

Еще до войны старого Медоуфилла хорошо знал весь Джефферсон: он был так скуп, что смог уйти на покой и жить на сбережения от маленькой лесопилки. Уж после того, как он купил участок у Компсонов и выстроил себе хибарку без электричества и канализации, он еще около года работал на своей лесопилке, торгуя досками, а потом продал ее и стал жить в своем домишке, со своей забитой, замученной женой и единственной дочкой: и так как все понимали, что у живого и здорового человека (ушедшего на покой с лесопилки) не может быть ни одного лишнего доллара и у него в долг не возьмешь и ничего ему не продашь, то старый Медоуфилл мог спокойно сидеть и зарабатывать себе репутацию самого что ни на есть отъявленного сквалыги во всем Джефферсоне, а возможно, и во всем Йокнапатофском округе.

Чарльз помнил его дочку — тихонькую, смирную, как мышонок, девочку, на которую никто и не смотрел, пока она вдруг в 1942 году не только первой окончила с отличием среднюю школу, получив наивысшие оценки, каких никто до сих пор не получал, но ей, кроме того, предложили стипендию в пятьсот долларов, установленную президентом джефферсоновского банка (не сноупсовского, а другого) в память его единственного сына, морского летчика, погибшего в первых боях над Тихим океаном. От стипендии она отказалась. Она пошла к мистеру Холленду и сказала, что поступила на службу в телефонную компанию и стипендия ей не понадобится, но она хочет взять в долг пятьсот долларов в банке под свой будущий оклад и, после настойчивых расспросов, объяснила, что хочет поставить в своем домике ванну; до сих пор раз в неделю, по субботам, зимой и летом, мать грела воду на плите, наполняла круглый стиральный бак, ставила его на пол посреди кухни, и в этой воде все трое купались по очереди: сначала — отец, потом — дочка, а после всех — мать; тут мистер Холленд сам взялся за дело, установил за свой счет ванну и провел канализацию в доме Медоуфиллов, хотя старик бесился и возмущался (он не желал, чтобы в его доме хозяйничали посторонние, а уж если они решили швырять деньги, пусть лучше выдадут наличными), а Эсси было предоставлено постоянное место в банке.

После этого, когда его единственная дочь не только была устроена, но и реально вносила свою долю в семейный бюджет, старик Медоуфилл

дошел до такого неистовства, которого он раньше в себе и не подозревал. До этого времени он самолично делал все покупки, отправляясь каждое утро в город с пустой дерюжной торбой, и в грязных лавчонках на окраине, где обычно покупали провизию негры, торговался до одури из-за таких ошметков, какими даже негры пренебрегали. Весь остальной день он проводил не то что прячась, но выжидая где-нибудь в закоулке своего двора, надсадно орал на бродячих псов, забегавших на его неогороженный участок, и на мальчишек, которые из баловства обрывали те жалкие одичавшие фруктовые деревья, которые он называл «садом». Теперь все это кончилось. Он выждал ровно год, как будто хотел окончательно убедиться, что Эсси получила место навсегда. Потом, наутро после смерти старой паралитички соседки, он купил у ее родных кресло на колесиках, в котором она сидела годами, и, не дожидаясь, пока похоронная процессия выйдет из дому, покатил кресло по улице и после этого почти перестал выходить с участка, засев в этом кресле. Правда, сначала он еще расхаживал по своим владениям. И хотя, по словам дяди Гэвина, все покупки теперь делала Эсси, старик Медоуфилл еще показывался во дворе, еще орал на мальчишек или швырял камнями (запас камней кучкой лежал у него под рукой, как ядра подле музейной пушки) в бродячих псов. Но со своего участка он уже не выходил, а вскоре прочно засел в кресло на колесиках, поставив его, как качалку, у окна, откуда был виден огородик, где он уже не работал, и хилые фруктовые деревья, которые он из скупости или просто от гнусного характера никогда не обрезал и не опрыскивал, хотя мог бы получить с них урожай если не на продажу, то хотя бы для еды.

А потом Джейсон Компсон так устроил, что Флем Сноупс завладел его родовым имением, а Рес Сноупс соорудил загон для свиней рядом с огородным участком старика Медоуфилла и тем самым сделал из старика нового человека. Раньше мальчишки могли от силы сломать ветку, а бродячие псы разрыть цветочную грядку, если только он сажал цветы. Но даже один кабан мог изгадить и запакостить самую землю. И теперь Медоуфиллу было ради чего жить. Он даже на время вылез из своего кресла, оно ему мешало, потому что он целыми днями смотрел, как Рес и поденщик-негр делают проволочную изгородь вдоль его участка, следил, как они копают ямы, как вкапывают каждый столб и утрамбовывают землю, и, охватив столб обеими руками, он тряс его и раскачивал, наливаясь кровью, и кричал как сумасшедший на Сноупса и его помощника, натягивавших проволоку:

— Туже! Туже натягивай! К черту в пекло, вы что, гамак вешаете, или как?

И тогда Рес Сноупс, высокий, долговязый малый, слегка кося насмешливым глазом, говорил:

— Да вы не беспокойтесь, мистер Медоуфилл, право, не стоит! Разве я позволю, чтоб такой почтенный старичок, инвалид, лазал на забор, руками цеплялся? Я тут перекладины сделаю, вы сможете их снимать, а если трудно, можете и под них пролезать, когда захотите,— и Медоуфилл в ярости нечленораздельно бормотал:

— Пусть только эти кабаны... пусть только эти проклятые кабаны...— На что Сноупс отвечал:

— А вы их ловите и запирайте у себя в кухне или же в спальне, где вам удобнее, меня тогда по закону оштрафуют, возьмут с меня доллар. Может, оно и подходящее занятие для такого старичка, инвалида.— Но тут Медоуфилл уже доходил до такого состояния, что Сноупс кричал его безропотной жене, стоявшей у окна или в кухонной двери:— Вы бы лучше его отсюда забрали!

Она уводила его — но на следующий день все начиналось снова. Наконец загородку доделали. Во всяком случае, Сноупс больше не подходил к тому месту, откуда Медоуфилл мог его крыть; только свиньи рылись в земле у новой загородки, которая их удерживала, по крайней мере до поры до времени.

Именно до поры до времени — до той минуты, как темнело и нельзя было видеть, что делается в саду. Зато теперь старику было ради чего жить, ради чего вставать по утрам, вылезать из постели, бежать к окну, как только светало, смотреть — не предала ли его темнота, когда нельзя увидеть свинью в саду, даже если б можно было не спать двадцать четыре часа в сутки, карауля сад; было ради чего сесть в кресло, подкатиться в нем к окошку и увидеть, что хотя бы в эту ночь садик остался нетронутым, еще на одну ночь его пощадили. Он жалел каждую минуту, когда приходилось просиживать у стола за едой: ведь сад оставался без присмотра. И, как говорил дядя Гэвин Чарльзу, старик Медоуфилл вовсе и не думал о том, что же он будет делать, если вдруг, выглянув в окно, увидит свинью у себя на участке,— Чарльз отлично помнил, что этот мерзкий старикашка еще до того, как притворился немощным и засел в кресло, настолько вооружил против себя всех соседей, что ни один из них пальцем не пошевелил бы, чтобы выгнать свинью из его огорода и вообще сделать для него хоть что-нибудь, разве что помог бы спрятать труп, если его безропотная серенькая жена наконец сделает то, что она давно должна была сделать: как-нибудь ночью пристукнет его. Медоуфилл и не задумывался над тем, что он будет делать со свиньей. Ему это было не нужно. Он был счастлив, наверно, впервые в жизни, как говорил дядя Гэвин: человек счастлив, когда его жизнь наполнена, а всякая жизнь становится полной, когда каждая минута настолько занята, что некогда вспоминать о вчерашнем или бояться завтрашнего дня. Но, разумеется, как говорил дядя Гэвин, вечно это продолжаться не может. Со временем старик Медоуфилл дойдет до такой точки, что, если он, выглянув утром из окошка, опять не увидит никакой свиньи в саду, он просто умрет от невыносимого чувства обманутой надежды, а если он вдруг увидит свинью, так уж наверняка помрет, ибо жить уже будет незачем.

Спасла его атомная бомба. Чарльз считал, что когда японцы тоже сдались, все солдаты со всех фронтов стали возвращаться домой, к женщинам, на которых они начали жениться еще раньше, до того, как замерло эхо от первого взрыва над Пирл-Харбором, и продолжали жениться, как только получали хотя бы двухдневный отпуск,— и теперь все они возвращались домой либо к своим семьям, либо чтобы жениться на тех женщинах, на которых они жениться не успели, а кровные их денежки уже заграбастал государственный жилищный фонд ветеранов войны (как говорил дядя Гэвин: «Герой, который доставлял ручные гранаты и пулеметные ленты к передовым позициям, теперь доставляет в прачечную корзины с грязными пеленками из переулков и закоулков, где живут ветераны войны»), и теперь Джейсон Компсон испытывал страдания, которые, как ему, вероятно, казалось, ни один человек не только не заслужил, но и выдержать не мог. Потому что, когда Чарльз вернулся домой в сентябре 1945 года, родовое имение Джейсона, потерянное для него, уже было нарезано на участки и там строились стандартные спичечные коробки — дома для ветеранов войны; а через неделю Рэтлиф явился в кабинет дяди Гэвина и сказал ему и Чарльзу, что участки получили официальное название «Поселок Юлы». Не то издевательское название, которое, злорадствуя, придумал когда-то Джейсон — «Аэродром имени Сноупса при опытно-разрушительном пункте его же имени»,

нет, участки назвали «Поселок Юлы», семейные гнездышки имени Юлы. И Чарльз не знал — сам ли Сноупс это придумал или нет, но хорошо запомнил, какое лицо было у дяди Гэвина, когда Рэтлиф им об этом рассказал. Но и без того Чарльз все еще предпочитал верить, что придумал название не сам Флем, а застройщик участка и (как полагали в городе) партнер Флема Уот Сноупс, потому что Чарльзу все еще хотелось верить, что есть вещи или хотя бы одна вещь, на которую даже Флем не способен, хотя бы по той единственной причине, что Флем никогда и не подумал бы давать участкам какое бы то ни было название, потому что ему было совершенно безразлично, называются они как-нибудь или нет. К рождеству все участки уже были усеяны маленькими ярко выкрашенными девственно новыми домиками, столь же одинаковыми (и столь же прочными), как пряники или галеты, и уже бывший военный моряк или солдат в потрепанной форме, толкая детскую коляску одной рукой и держа на другой второго (или третьего) ребятенка, в нетерпении ждал у дверей, пока последний маляр собирал свои кисти. А к Новому году была утверждена и намечена новая дорожная магистраль вдоль всего жилого участка мистера Сноупса, включая тот угол, которым владел Медоуфилл; и тут перед Медоуфиллом открылись такие возможности для треволнений и развлечений, перед которыми какое-то вторжение свиней было совершенным пустяком, вроде пролета птички или следа лягушки. Оказалось, что теперь одна из крупных нефтяных компаний желает купить тот угол, где сходились участки Медоуфилла и владения Компсонов (теперь Сноупса), то есть кусок медоуфилловского садика и примыкающий к нему загон для свиней Реса Сноупса, чтобы выстроить там заправочную станцию с бензоколонкой.

Но старику Медоуфиллу не принадлежала даже та тринадцатифутовая полоска земли, на которую целилась нефтяная компания. Да и вообще, как знал весь город, купчая на землю была составлена вовсе не на имя Медоуфилла. Давно, когда Рузвельта только что переизбрали президентом во второй раз, Медоуфилл, естественно, оказался среди первых, кто обратился за пособием, и тут же с возмущением и недоверием обнаружил, что эти крючкотворы и бюрократы из федерального правительства решительно отказываются признать его и нищим и землевладельцем одновременно. Тогда он обратился к Гэвину, выбрав из всех джефферсонских адвокатов именно его по той простой причине, что он, Медоуфилл, отлично знал — через пять минут Стивенс так на него рассердится, что, по всей вероятности, откажется взять гонорар за составление бумаги, согласно которой Медоуфилл переводил все свое состояние на имя своей девятилетней (это было в 1934 году) дочери. Он ошибся только во времени, потому что уже через две минуты Стивенс так вскипел, что сам помчался к городскому архивариусу и обнаружил у него в архиве, что в купчей, которую отец Джейсона Компсона выдал Медоуфиллу, значилось: «К югу от дороги, известной под названием Фридом Спрингс роуд и далее к востоку от упомянутой дороги». Фридом Спрингс роуд к тому времени, как Медоуфилл купил свой участок, уже превратилась в размытую, заросшую кустами канаву глубиной в десять футов, вдоль которой шла пешеходная тропка, причем тогда эта канава представляла собой географическую примету, столь же значительную и существенную, как Великий Каньон, потому что происходило все это до той эры, когда бульдозеры и грейдеры не только меняли, но и стирали географические приметы с лица земли. И выходило, что граница пролегала на тринадцать футов ближе, чем та первоначальная землемерная линия, по которой Могатаха, предводительница племени чикасоу, в

1821 году отдала землю первому Квентину Компсону, и дядя Гэвин рассказывал Чарльзу, что по первому моральному побуждению он хотел сразу сообщить старику Медоуфиллу, что тот фактически владеет на поверхности земного шара тринадцатью футами больше, чем думает, если только он успеет заявить о них до того, как это сделает кто-нибудь другой. Но если он, Стивенс, скажет это, то будет морально обязан принять от Медоуфилла десять долларов за архивные розыски, поэтому он решил одно моральное побуждение подавить другим и предоставить простой справедливости совершаться своим путем.

Так обстояло дело, когда провели изыскания для нового шоссе, которое должно было пройти по старой границе племени чикасоу, и тут Медоуфилл обнаружил, что его владения простираются только до канавы, то есть на тринадцать футов не доходят до шоссе. Ярость слишком слабое слово для того состояния, в которое пришел старик, когда нефтяная компания предложила откупить у него участок, а он узнал, что его смертельный враг Сноупс-свиновод владеет, хотя и без всяких документов, именно теми тринадцатью футами, без которых нефтяная компания не приобретет у него, Медоуфилла, ни клочка земли. Конечно, он испытывал и ярость, потому что вот уже с год он не выходил из состояния ярости. Но теперь к ней примешалось и торжество. Больше того: в нем проснулась жажда мщения, желание отплатить. Отомстить Компсонам, которые ему подсунули фальшивую купчую, заставили поверить им на слово. Отомстить всему городу, где его годами изводили мальчишки и бродячие псы, и не дать компании возможности развернуть выгодное для города дело (а если удастся, то даже помешать постройке нового шоссе). Отомстить человеку, который целый год отнимал у него не только сон, но и аппетит постоянной угрозой нашествия свиней. И он просто-напросто заявил, что никому ни на каких условиях не продаст ни клочка своей земли, а так как его участок лежит перед участком Сноупса (не считая полосы в тринадцать футов), то он тем самым отрезал у нефтяной компании угол, намеченный под заправочную станцию, словно ставил таможенную загородку. В результате этого нефтяная компания отказалась покупать и участок Сноупса.

Разумеется — и об этом знал весь город,— Сноупс (Чарльз имел в виду Реса Сноупса) уже говорил с Эсси Медоуфилл, на чье имя была записана земля, и, насколько в городе знали, она ответила: «Вам надо поговорить с папой». Так что перед Сноупсом стояло поистине непреодолимое препятствие: из-за своих свиней он навсегда лишился возможности лично поговорить со стариком Медоуфиллом, хотя бы на минуту вступить с ним в какие бы то ни было человеческие отношения. В сущности, перед Сноупсом стояло два непреодолимых препятствия: вторым препятствием было его убеждение, иллюзии, воображение, будто деньгами можно воздействовать на того человека, который за многие годы настолько привык не иметь и не желать лишнего доллара, что теперь и тысячей его не соблазнить. Так что Сноупс ошибся в человеке. Но он не сдавался (да, конечно, посторонний человек мог бы подумать — а что же в это время делал Флем Сноупс, подлинный владелец всей земли? Но жители города были далеко не посторонние) — Рес отправился к агенту нефтяной компании, ведавшему закупкой участков, и сказал: «Вы ему передайте, что, если он подпишет купчую, я ему отдам десять процентов с того, что вы заплатите мне за эти тринадцать футов». Потом сказал: «Ну, ладно. Пятьдесят процентов. Половину». Потом сказал: «Ну, ладно. Сколько он хочет?» И наконец сказал, и, по словам агента нефтяной компании, голос у него был мало сказать вежливый — предупредительный, вкрадчивый: «Ну, ладно. Хороший гражданин не может мешать про-

грессу, хотя бы и себе в убыток. Скажите ему, если он подпишет купчую, я ему отдам эти тринадцать футов».

На этот раз Медоуфилл даже не дал себе труда сказать «нет», неподвижно сидя в кресле, откуда он мог видеть землю, которую не хотел продать, и прилегающий участок, который его сосед не мог продать из-за него. Так что в городе нашлись сочувствующие, когда Сноупс предпринял следующий шаг, незадолго до того, как у Эсси Медоуфилл произошло одно событие, которое показало, что она, несмотря на свою внешность, далеко не такая смиренница, и хотя про нее по-прежнему можно было сказать «скромная», но добавить к этому надо было не «тихая», а «решительная».

Как-то утром, когда Медоуфилл катил свое кресло от стола к окошку, он, выглянув в сад, увидел то, чего ждал больше года: пролезшая через загородку свинья рылась в бросовых персиках под бросовыми, неухоженными деревьями; и пока он орал на весь дом, вызывая миссис Медоуфилл, Сноупс сам, лично, пересек дворик с початком кукурузы и веревочным арканом в руках и, подманив свинью, привязал ее за ногу и наполовину ходом, наполовину волоком вытащил ее из садика, а старик Медоуфилл, привстав в кресле, высунувшись в открытое окно, орал им вслед страшные ругательства, пока они не скрылись из виду.

На следующее утро он уже сидел у окна и своими глазами увидел, как свинья спокойно протрусила по дорожке в его садик; он орал и ругался, высунувшись из окна, а его перепуганная жена, на ходу заматывая голову платком, уже бежала по саду и стучала в запертую дверь Сноупса, пока неумолчная ругань Медоуфилла не заставила ее вернуться домой. Почти все соседи уже выбежали посмотреть, что происходит: старик, не переставая, выкрикивал ругательства из окошка, а его жена пыталась сама вытащить свинью из садика, когда появился Сноупс (все поняли, что он нарочно прятался и подсматривал) и с невинным, извиняющимся и даже удивленным лицом, держа в руках початок кукурузы и веревку, подманил свою свинью и увел ее.

На следующий день Медоуфилл достал ружье — старую мелкокалиберную одностволку. Не иначе он ее у кого-то одолжил, хотя никто не мог себе представить, когда же он расстался с креслом, с окошком (не говоря уже о свинье), успел где-то найти мальчишку, владельца мелкокалиберной винтовки, и уговорить или запугать его, чтобы тот ему отдал свою игрушку: ни один человек просто не мог бы себе представить, что старик сам когда-то был мальчиком, гордым и взволнованным владельцем первой своей мелкокалиберной винтовки, и берег ее все эти годы, как память о чистом и невинном детстве. Но винтовка оказалась у него в руках, и с патронами — не с настоящими пулями, а с мелкой дробью, какой пользуются натуралисты: таким зарядом да еще на расстоянии не только убить, но и подранить свинью было невозможно. Да и в сущности, как дядя сказал Чарльзу, Медоуфилл вовсе и не хотел прогнать свинью: ему просто хотелось стрелять в нее каждый день, как другие старики играют в крокет или лото.

Прямо от завтрака он бросался к окну, в свою засаду на колесиках и, скорчившись, ждал, когда появится свинья. И тут (ему для этого приходилось вставать с кресла) он выпрямлялся и медленно, осторожно подымал фрамугу и проволочную сетку (он смазал пазы, чтобы рамы подымались быстро и бесшумно, и приделал к ним ручки так, чтобы обе поднять сразу, одним движением) и стрелял из винтовки; свинья судорожно дергалась, подскакивала и тут же, забыв о боли, снова начинала рыться в земле, и он снова стрелял в нее; но наконец какой-то смутный рефлекс связывал для свиньи боль со звуком выстрела, и после следую-

щего выстрела она убегала домой и возвращалась только наутро. А потом она в конце концов связала и валявшиеся персики с чем-то враждебным и целую неделю не приходила вовсе; и тут по соседям пошла легенда, что Медоуфилл нанял мальчишку, доставлявшего мемфисские и джексоновские газеты (сам он газет не покупал, не интересуясь новостями, за которые надо платить ежемесячно целый доллар), чтобы этот мальчишка обчищал мусорные ящики по соседству и ночью разбрасывал приманку у него в садике.

Но теперь город все больше недоумевал: что же именно задумал Сноупс? То есть, конечно, все ждали, что после первого выстрела по свинье, Сноупс перестанет ее выпускать. А может быть, даже продаст, потому что он и этим занимался, хотя никто, должно быть, не дал бы полную рыночную цену за фунт живого мяса, если в свинье сидела накопившаяся за четырнадцать-пятнадцать месяцев дробь десятого номера.

Но наконец, как рассказывал Чарльзу его дядя, все догадались о намерениях Сноупса: он надеялся, что когда-нибудь, по ошибке, по оплошности, а может быть, просто в ярости, которая сметет все нравственные запреты, весь страх перед последствиями, как сметает их азарт игроков и пьяниц, Медоуфилл зарядит ружье настоящей пулей; и тогда Сноупс не только сможет подать на него в суд за убийство свиньи, но и отыскать постановление городских властей, запрещающее стрельбу в пределах города, и уж тогда, с помощью этих двух средств, он как-нибудь заставит Медоуфилла не мешать ему, Сноупсу, продать свой участок нефтяной компании. Но тут произошла история с Эсси Медоуфилл.

Он был капрал морской пехоты. В городе так и не узнали, где и когда Эсси умудрилась с ним встретиться. Она никуда не выезжала, только изредка, на полдня, ездила в Мемфис, как ездили по крайней мере раз в году все жители Северного Миссисипи. Она ни разу не пропустила службу в банке, а летний отпуск, как все знали, она проводила дома, терпя от засевшего намертво обитателя кресла то, что ей полагалось терпеть. Однако они встретились: может быть, они завязали переписку через посредство какого-нибудь Агентства помощи одиноким сердцам. Словом, однажды, сделав, как обычно, ежедневные покупки по хозяйству, она с сумкой в руках ждала на станции, и когда подошел автобус из Мемфиса, с него сошел неизвестный Джефферсону человек, взял ее сумку с провизией, и Эсси с опозданием на час прошла по улице (обычно жители этой улицы проверяли по ней часы). И весь город понял, что скромница, как про нее говорили годами, вовсе не подходящее слово, так как никакая скромница явно не могла так сразу расцвесть, стать такой мягкой, такой нежной и женственной за короткое время после прихода автобуса. И тихоней ее тоже никак нельзя было назвать; ей понадобилась огромная решимость — знал ли ее морячок об этом или нет,— чтобы вместе с ним войти в дом, подойти прямо к креслу под огнем такой ярости, по сравнению с которой проклятия в адрес мальчишек, швыряние камней в собак и даже стрельба дробью по сноупсовской свинье были сущей ерундой, истерикой; ведь теперь нарушители, стоявшие перед Медоуфиллом, подрывали самую систему рабства, за счет которого он существовал,— и не только подойти к креслу, но и сказать: «Папа, это мистер Маккинли Смит. Мы с ним решили пожениться». А потом выйти через пять минут на улицу и там, на глазах у всех, кому хотелось смотреть, поцеловаться с этим моряком — может быть, она его целовала не впервые, но, вероятно, впервые целовалась с ним, не беспокоясь (более того, даже не задумываясь), грех ли это. И, очевидно, у Маккинли тоже было достаточно решимости: сын техасского фермера, он, вероятно, и не слыхал о Миссисипи, пока не встретился с Эсси, где бы и как бы это ни произошло,— и,

в сущности, поняв, что из-за инвалидного кресла и забитой, незаметной матери Эсси не бросит семью и не выйдет за него замуж, несмотря ни на что, он должен был бы все бросить и следующим автобусом вернуться домой, в Техас.

Но, очевидно, эта решимость была у них общей, так как теперь у них все было общее. Они и вправду стали друг для друга судьбой, роком, словно родились под одной звездой. Они и действовали во всем заодно. Ясно было, что он навсегда связал свою судьбу с Джефферсоном. Так как уже довольно давно (стоял январь 1946 года, Чарльз вернулся домой и сам присутствовал при развязке) множество демобилизованных по всей стране училось на разных курсах, хотя у некоторых ни способностей, ни даже охоты к этому не было, то и для Маккинли проще всего было бы тоже поступить на специальные курсы, недавно открытые при джефферсоновской Академии, где за счет государства он смог бы хоть раз в день держать Эсси за руку, дожидаясь, пока старого Медоуфилла задушит его собственная подлость. Но морячок Эсси отказался от высшего образования так же решительно и твердо, как и сама Эсси, и на том же основании. Объяснял он это так: «Два года я был солдатом. Единственное, чему я выучился, это то, что единственное безопасное место — твое личное убежище, предпочтительно с железной крышкой, которую можно захлопнуть у себя над головой. Но так как я теперь уже не солдат, значит, я могу выбрать себе убежище, где захочу, и даже обставить его с удобствами. Вот я и хочу выстроить себе дом».

И он купил небольшой участок. Разумеется, в «Поселке Юлы». И, разумеется, выбирала участок Эсси. Он был совсем недалеко от того дома, где она прожила всю жизнь; значит, как только дом стал расти, Медоуфилл неизбежно (кроме тех часов, когда он оставлял в покое свинью и шел спать) должен был видеть из своего окошка, как бревно за бревном сколачивался дом, вечным напоминанием и предупреждением, что теперь ему никак нельзя оплошать и преждевременно помереть. По крайней мере, постройка дома тоже стала для него предлогом по-прежнему не вставать с кресла, хотя свинью он уже не видал. Она как будто сдалась, быть может, на время. Или Сноупс сдался, тоже, должно быть, на время. Последний визит свиньи состоялся в тот день, когда Эсси впервые привела своего морячка домой для разговоров, и с тех пор не повторялся. Сноупс все еще был владельцем и этой свиньи и многих других (судя по запаху, доходившему оттуда), и во всяком случае, так как это была его профессия, он в любое время мог найти ей замену, если бы решил, что пора это сделать. Но пока что он воздержался, починил загородку или (как думали соседи) просто перестал оставлять калитку открытой на время, так сказать, стратегического перемирия. Так что старику Медоуфиллу оставалось только следить за постройкой дома.

Маккинли строил этот дом сам, сам делал всю грубую, тяжелую работу, и ему помогал плотник, размечавший доски, которые тот пилил, а старик, засев в кресло, исходил злобой, которую за отсутствием свиньи даже выместить было не на ком. Но по привычке, а может, и нарочно, ему приходилось держать под рукой заряженное ружье. Не мог же он знать заранее, появится свинья опять или нет, и теперь жители города уже гадали, много ли времени пройдет, долго ли он сможет выдержать, чтобы не выстрелить в кого-нибудь из них — в Маккинли или в его плотника. Потом решили, что стрелять можно только в плотника, если старик не заведет себе прожектор, потому что в один из дней (уже пришла весна) Маккинли купил мула, и все узнали, что он арендовал небольшой участок земли в двух милях от города и теперь сеял там хлопок. Дом уже был почти закончен, оставалось только отделать его и навесить рамы, что

мог сделать только специалист — плотник, так что сам Маккинли затемно уезжал на своем муле и возвращался к ночи. Но к этому времени старик Медоуфилл уже дошел в своей бессильной ярости до предела; можно бы еще, пожалуй, припугнуть или принудить Маккинли, чтобы он продал недостроенный дом, может быть даже с прибылью, но какой дурак купит у него урожай хлопка с участка, где этот хлопок даже еще не взошел. Теперь ничто уже не могло помочь старику, кроме чьей-нибудь смерти — вдруг умрет он сам или Маккинли.

И тут свинья вернулась. Просто появилась опять — и все. Было это, по всей вероятности, утром, когда Медоуфилл подкатил кресло от стола к окошку, думая, что проведет день, как всегда, в состоянии неизменного озлобления, как вдруг перед ним очутилась свинья, которая рыла землю, ища призраки прошлогодних персиков, как будто она и не уходила из сада. Возможно, что Медоуфиллу так и хотелось думать: свинья вообще никуда не исчезала, и, значит, все, что до сих пор происходило, все, что его довело до бешенства,— лишь сон, воображение, и прогнать этот сон можно, только если сразу выстрелить. Так он и сделал; очевидно, он все время держал заряженное ружье под рукой, многие соседи говорили, что, еще лежа в кровати, услыхали злобный мальчишеский треск мелкокалиберной винтовки.

К полудню отзвук этого выстрела уже пошел по городу, хотя толчок от него больше всех ощутил дядя Чарльза. Он уже собрался уйти домой обедать, когда услыхал шаги на лестнице. В приемную вошел Рес Сноупс, держа наготове пятидолларовую бумажку. Он положил деньги на стол и сказал:

— Добрый день, Юрист, я вас не задержу. Мне нужен небольшой совет — долларов этак на пять.— Не дотрагиваясь до денег, Стивенс перевел глаза на их владельца: он знал, что тот никогда в жизни не выложил бы пять долларов за то, что нельзя было бы потом продать по крайней мере центов на двадцать пять дороже.— Я насчет своей свиньи— ну, той, в которую так любит стрелять дробью этот старый джентльмен — мистер Медоуфилл.

— Слыхал,— сказал дядя Чарльза.— Так что же вы хотите узнать за свои пять долларов? — Дядя потом рассказывал Чарльзу: Сноупс стоял у стола, не то чтобы скрытный, а просто сдержанный.— Зачем же вам объяснять то, что вы сами давно знаете: если вы подадите на него жалобу за то, что он ранил вашу свинью, он выставит против вас закон, запрещающий пускать скотину бегать по городу. Может, хотите, чтобы я вам сказал то, что вы уже год назад знали, когда он первый раз выстрелил? Либо почините загородку, либо избавьтесь от свиньи.

— Свинью откормить дорого стоит,— сказал Сноупс.— А насчет того, чтобы ее продать, так этот старый джентльмен столько дроби в нее всадил, что теперь ее, пожалуй, никто не купит.

— Ну, съешьте ее сами,— сказал Стивенс.

— Целую свинью — одному человеку? Уж я не говорю, сколько в ней дроби набралось за два года.

— Ну, подарите ее кому-нибудь! — сказал Стивенс и тут же пожалел, хотя и с запозданием, об этих словах.

— Значит, вот какой вы мне даете юридический совет,— сказал Сноупс.— Подарить свинью. Премного вам благодарен,— и он пошел к двери.

— Постойте! — сказал Стивенс.— Погодите! — и подал ему деньги.

— Я к вам пришел за юридическим советом,— сказал Сноупс.— Вы мне посоветовали подарить свинью. За это я вам должен заплатить. Ежели гонорар слишком маленький, так и скажите.— И он ушел.

Мозг у Стивенса работал быстро, но он не подумал: *Почему он выбрал именно меня?* — потому что это было понятно: Стивенс когда-то составлял на имя Эсси Медоуфилл дарственную на тот участок, из-за которого шли споры; кроме того, он был единственным человеком во всем Джефферсоне, кроме родных Медоуфилла, с которым старик в последние двадцать лет поддерживал сколько-нибудь человеческие отношения. Он даже не подумал: *Почему Сноупс не сообщил никому другому, юристу или не юристу, что он собирается подарить свинью?* — Он даже не подумал: *Почему он спровоцировал меня на эти слова, так что вышло, будто я ему дал за деньги юридический совет?* — А подумал Стивенс вот что: *Каким образом, подарив эту свинью, Сноупс заставит старика Медоуфилла продать свой участок?*

Дядя Гэвин всегда говорил Чарльзу, что он заинтересован не в истине и даже не в справедливости,— главное для него узнать, понять: надо ли ему дальше вмешиваться в это дело или не надо, и что все средства для достижения этой цели вполне оправданы, если только не оставлять враждебных свидетелей или вещественных доказательств. Чарльз ему не верил; иногда он добивался ответа на свой вопрос слишком трудным путем, иногда слишком кропотливым. И есть вещи, которых не станешь делать только ради того, чтобы найти ответ. Но дядя Гэвин говорил, что Чарльз ошибается: любопытство — это такая возлюбленная, ради которой ее рабы пойдут на любую жертву.

Но в данном случае беда была в том, что дядя Гэвин сам не знал, чего он ищет. У него было два метода — наблюдение и расспросы — и три ориентира — Сноупс, свинья и старик Медоуфилл, для того чтобы раскрыть дело, в котором он, может быть, и сам не сразу разберется. Расспрашивать он никого не мог, так как единственный человек, вероятно, знавший ответ,— Сноупс,— уже сказал ему все, что считал нужным. Постоянно наблюдать за свиньей он тоже не мог, потому что она, как и Сноупс, была способна к передвижению. Так что единственным неподвижным ориентиром был старик Медоуфилл. Словом, на следующее утро дядя Гэвин поднял Чарльза затемно, и еще до рассвета они устроили засаду в машине дяди Гэвина, откуда можно было видеть дом Медоуфилла, его сад и тропку, ведущую в дом Сноупса, а в дальнем углу треугольника — новый домик, который почти достроил Маккинли. Так они просидели два часа. Они видели, как Маккинли верхом на муле уехал к себе на хлопковое поле. Потом и Сноупс вышел в переулок из своего дома и направился в город, к центру. Наконец подошло время идти на службу и Эсси Медоуфилл. Остался один старик Медоуфилл, засевший у окошка. А свиньи нигде видно не было.

— Так вот чего мы ждем,— сказал Чарльз.

— Верно,— сказал его дядя.

— Я хочу сказать — ждем, чтобы он отвлекся и перестал на нас пялить глаза — он уже часа два, наверно, следит за нами,— тогда мы хоть успеем уехать.

— Думаешь, мне хочется тут сидеть,— сказал дядя Гэвин.— Но приходится, иначе надо будет отдать те пять долларов.

На следующее утро все повторилось. Но теперь было поздно бросать это дело: не говоря о том, что Сноупс дал те пять долларов, они оба уже потратили слишком много времени — два дня подряд вставали до зари, даже не выпив чашки кофе, и битых два часа сидели в запрятанной машине и ждали чего-то, чего они, может быть, сразу и не поймут, даже если увидят. Настало третье утро; Маккинли на своем муле выехал, как по расписанию, так точно и аккуратно, что Чарльз и его дядя даже не сразу заметили, что Сноупс еще не появлялся, а Эсси Медоуфилл уже

вышла из дому и отправилась на службу. Для Чарльза это было неожиданно, он даже вздрогнул, как вздрагиваешь просыпаясь, когда не заметил, что уснул: вдруг оба увидели свинью, и дядя Гэвин сразу выскочил из машины и побежал. Да. Это была свинья и делала она именно то, чего от нее ждали: упрямой, мелкой поросячьей рысцой трусила прямо к садику Медоуфилла. Только показалась она вовсе не оттуда, откуда должна была бы показаться. Правда, бежала-то она именно туда, куда они и ожидали, но не оттуда, откуда она должна была бежать. Бежала она не от дома Сноупса, а от дома Маккинли Смита. А дядя Гэвин уже летел, возможно, как говорил Рэтлиф, по врожденному инстинкту или чутью именно туда, где что-то должно было случиться, даже если он не всегда прибегал вовремя, он летел — и Чарльз, конечно, за ним — через улицу, через дворик, прямо в дом, чтобы поспеть, пока старый Медоуфилл не увидел в окно свинью и не выстрелил в нее.

Не постучав, дядя Гэвин влетел именно в те двери, за которыми, как он правильно сообразил, должен был сидеть и смотреть именно в то окошко старик Медоуфилл, там он и оказался; он весь подался из кресла к окну, стеклянная фрамуга была уже поднята, а сетка еще нет, одной рукой он уже навел винтовку, другой держался за ручку сетки, чтобы и ее дернуть кверху. Но он — Медоуфилл — так и застыл, не двигаясь, и смотрел на свинью. Все давно привыкли видеть на его лице жадное, мстительное и жестокое выражение, это было для него обычно. Но сейчас на его лице ничего, кроме явного злорадства, не было. Он даже не обернулся, когда вбежал Чарльз и его дядя, он только сказал:

— Заходите, у вас места в первом ряду!

И они услышали, как он ругается: не честной, грубой уличной руганью, а тихими комнатными похабными словами такой силы, что Чарльз подумал: если старик когда-нибудь так умел ругаться, то на старости лет пора бы и позабыть.

Тут он приподнялся в кресле, и Чарльз увидел, куда он смотрит,— небольшой предмет, не длиннее кирпича, завернутый в кусок мешковины, был привязан к развилке ближнего персикового дерева, футах в двадцати от дома, так что конец смотрел прямо в окно, и Гэвин крикнул: «Стоп! Стоп! Не подымайте!» — и даже схватился за сетку, но поздно: старый Медоуфилл уже привстал, прислонил ружье к стенке и, схватив ручку обеими руками, рывком поднял сетку. Персиковое дерево словно выплюнуло дробовой патрон острым тонким плевком прямо в окошко; дядя Гэвин потом говорил, что буквально на его глазах проволока на подымающейся кверху сетке расщепилась и раздалась там, где в нее проник крохотный снаряд. Чарльз и сам словно услышал, как мелкая дробь хлестнула по животу и груди старика Медоуфилла, и он как-то подскочил и опрокинулся в кресло, но оно выкатилось из-под него, так что он очутился на полу, где и остался лежать с выражением недоуменного возмущения — ни боли, ни испуга, ни волнения, только возмущение. Он тут же привстал и схватился за ружье.

— Кто-то в меня стрелял! — сказал он.

— Ясно, кто,— сказал дядя Гэвин, отнимая у него ружье.— Свинья и стреляла. Да разве она виновата? Не двигайтесь, сейчас посмотрим.

— Какая к черту свинья! — сказал старик.— Это он, распротакой, распроэтакий Маккинли Смит!

Его не ранило, только обожгло, опалило до пузырей, потому что мелкая дробь должна была пробить не только брюки и рубаху, но и толстое зимнее белье и поэтому застряла под самой кожей. Но он совсем взбеленился, он бушевал, орал и ругался, пытаясь отнять ружье у дяди Гэвина (миссис Медоуфилл уже прибежала в комнату, закутав голову плат-

ком, словно в ту минуту, как свинья переходила незагороженную границу их участка, ей это передавалось на расстоянии каким-то неизбежным, роковым образом, словно сигнал электрического глаза, который открывает двери), но потом старик выдохся и пришел в сравнительно спокойное состояние. И тут он все рассказал: два дня назад Сноупс сообщил Эсси, что он подарил свинью Маккинли на новоселье, а может быть — так Сноупс надеялся — и на близкую свадьбу, но тут дядя Гэвин перебил старика:

— Погодите! Эсси сказала, что мистер Сноупс подарил свинью Маккинли, или она говорила, что он сказал, будто бы он ее подарил?

— Что такое? — сказал Медоуфилл.— Что такое? — И тут он опять стал ругаться.

— Лежите смирно,— сказал дядя Гэвин.— Вы целый год стреляли в эту свинью, и ничего ей не сделалось, так что теперь один заряд дроби и вам не повредит. Но ради вашей жены мы вызовем доктора.— Дядя Гэвин снял обрез с дерева, это была очень ловко сделанная ловушка — дешевое мелкокалиберное ружье с отпиленным стволом и прикладом было укреплено на доске, и вся эта штука, завернутая в мешковину, привязана к развилке дерева, а черный шнур, крепкий и тонкий, протянут от курка через отверстия нескольких гаек прямо к сетке оконной рамы, причем обрез был нацелен примерно на фут выше подоконника.

— Если бы он не привстал, перед тем как поднять сетку, весь заряд попал бы ему прямо в лицо,— сказал Чарльз.

— Ну и что? — сказал его дядя.— Думаешь, тому, кто это наладил, было не все равно? Ему было безразлично: либо эта штука напугает старика, доведет его до бешенства, и тогда он налетит уже на Смита с ружьем в руках, а ружье-то на этот раз было заряжено настоящей пулей — видно, старик собирался стрелять всерьез,— и тут Смиту пришлось бы убить его из самозащиты, либо выстрел из обреза ослепит старика, а может, и убьет его на месте, в кресле, и тем самым все разрешится. Так или иначе отец Эсси будет убит, а ее любимый может попасть в тюрьму, если он его убьет, вот и придется иметь дело только с Эсси.

— Хитро придумано,— сказал Чарльз.

— Нет, хуже. Не хитро, а подло. Всякий непременно подумал бы, что такой обрез мог сделать только ветеран войны, моряк тихоокеанского флота, хотя бы он начисто отрицал это.

— И все-таки хитро задумано,— сказал Чарльз.— Даже Смит согласится, что хитро.

— Верно,— сказал дядя Гэвин.— Вот за этим-то я и привел тебя сюда. Ты тоже бывший военный. Может быть, мне понадобится толмач, когда придется с ним договариваться.

— Да я же всего только майор,— сказал Чарльз,— не такой это чин, чтоб меня слушался сержант, а уж сержант морской пехоты и подавно.

— Он всего лишь капрал,— сказал его дядя.

— Да, но это же морская пехота,— сказал Чарльз.

К Смиту они пошли не сразу, в это время он был у себя на хлопковом поле. *Да,*— подумал Чарльз,— *если бы я был на месте Сноупса, то меня тоже сейчас не было бы дома.* Но Сноупс был дома. Он сам отворил двери, на нем был кухонный передник и в руках сковородка, на сковородку было даже выпущено яйцо. Но на лице у него никакого выражения не было.

— Джентльмены,— сказал он с расстановкой.— Заходите.

— Нет, спасибо,— сказал дядя Гэвин.— Мы ненадолго. Кажется, это — ваше? — Тут же стоял стол. Дядя Чарльза положил на него свер-

ток и откинул край мешковины, так что обрез покатился по столу. И все же ни на лице, ни в голосе Сноупса ничего не отразилось.

— Но ведь это, как вы, юристы, говорите, улика косвенная, верно?

— Да, конечно,— сказал дядя Гэвин.— Но теперь все разбираются в отпечатках пальцев, да и в обрезах тоже.

— Понятно,— сказал Сноупс.— Вы как будто не собираетесь мне его дарить?

— Конечно нет,— сказал дядя Чарльза.— Я его вам продам. За дарственную на имя Эсси Медоуфилл на тот кусок вашего участка, который хочет купить нефтяная компания, плюс те тринадцать футов земли, что мистер Медоуфилл считал своими.— И тут Сноупс совершенно застыл на месте, как стыло яйцо на сковородке.— Да, вы правильно поняли,— сказал дядя Гэвин.— Иначе я поинтересуюсь, не хочет ли Маккинли Смит купить у меня эту штуку.

Сноупс пристально посмотрел на дядю Гэвина. «Пройдоха, сразу видно»,— подумал Чарльз.

— Да, с вас это станется,— сказал Сноупс,— наверно, я и сам бы так сделал.

— Я тоже так думаю,— сказал дядя Чарльза.

— Полагаю, что мне надо пойти поговорить с кузеном Флемом,— сказал Сноупс.

— Полагаю, что нет,— сказал дядя Чарльза.— Я только что из банка.

— Полагаю, что я и тут поступил бы так же,— сказал Сноупс.— В котором часу вы будете у себя в приемной?

Они могли бы повидаться со Смитом у него дома к вечеру. Но еще не было двенадцати, а они уже стояли у загородки и смотрели, как Маккинли Смит на своем муле едет вдоль длинной черной полосы земли, вывороченной лемехом плуга. Потом он остановился у загородки напротив них, голый до пояса, в рабочих брюках и военных сапогах. Дядя Чарльза подал ему дарственую.

— Возьмите,— сказал он.

Смит прочитал бумагу.

— Это же Эссино.

— А вы женитесь на ней,— сказал дядя Гэвин.— Тогда сможете продать участок и купить ферму. Вы же оба этого хотите. Есть у вас при себе какая-нибудь рубашка и свитер? Одевайтесь, я вас подвезу в город, а майор — вот он — отведет вашего мула.

— Нет,— сказал Смит. Он уже засовывал, вернее, заталкивал бумагу в карман.— Мула я сам отведу. Сначала мне домой надо. Не поеду я жениться небритый и без галстука.

Потом пришлось дожидаться баптистского священника, пока тот мыл руки и надевал сюртук и галстук, а на миссис Медоуфилл красовалась шляпа, которую на ней видели в первый раз, да и с виду эта шляпа была похожа на первую в мире шляпу, которую кто-то попробовал смастерить.

— А как же папа? — сказала Эсси.

— Ах, вы про кресло,— сказал дядя Гэвин.— Оно теперь мое. Это гонорар за юридическую помощь. Я его подарю вам с Маккинли на крестины, как только вы заработаете.

Потом, дня через два, они все сидели в приемной.

— Вот видите,— сказал дядя Чарльза.— Дело безнадежное. Стоит избавиться от одного Сноупса, как тут же за вашей спиной вырастает другой, и оглянуться не успеешь.

— Это верно,— сказал Рэтлиф безмятежным голосом.— Посмотришь и сразу видать — ничего особенного, просто новый Сноупс завелся, и все.

15

Линда Коль уже вернулась, когда Чарльз приехал. Она тоже по-своему участвовала в войне на паскагульских кораблестроительных верфях, где она добилась своего — работала клепальщицей, и притом отлично, как сказал дядя Гэвин Чарльзу. Это было видно по ее рукам и по ногтям: они были не обгрызаны, не обкусаны, но совершенно стерты. И еще у нее появилась красивая, просто великолепная и трагическая седая прядь через всю голову, как перо на шлеме — поникшее перо; может быть, так оно и есть, думал Чарльз, поникшее рыцарское перо лежит наискось у нее в волосах вместо того, чтобы задорно взвиваться кверху и падать назад; уже шла осень 1945 года, и для рыцаря не осталось ни турниров, ни драконов: сама война убила их, уничтожила, и они отошли в область предания.

Чарльз вообще часто думал, что теперь все местные американские странствующие рыцари — либералы и реформаторы — станут безработными, потому что даже в таких заброшенных, ранее забытых уголках, как Йокнапатофский округ штата Миссисипи, у всех накопилась масса денег — не только у бывших солдат, заработавших их кровью, но и у рабочих военной промышленности — сварщиков, строителей и механиков, вроде Линды Коль-Сноупс, вернее, Линды Сноупс-Коль, которым платили два, три, а то и четыре доллара в час; их заработок рос такими темпами, что они не успевали тратить эти деньги. Даже оба финна-коммуниста, даже тот из них, который еще не выучился английскому языку, и то разбогатели во время войны и им волей-неволей пришлось стать капиталистами и пайщиками-акционерами по той простой причине, что они до сих пор не обзавелись частной собственностью, в которую можно было бы вложить такое количество презренного металла. Что же касается негров, то их новое школьное здание в Джефферсоне было гораздо лучше школы для белых. Да еще чуть ли не у каждого обитателя лачуги, где не было ни электричества, ни канализации, появились купленные в рассрочку автомобили, радиоприемники и холодильники, битком набитые бутылками пива, и взносы оплачивались честно заработанными денежками, которые, как известно, расовой дискриминации не подлежат; а кроме этого, всякие социальные нововведения не только уничтожили голод и неравенство, но и лишили многих работы, заменив ее новым кустарным ремеслом или, вернее, новой профессией, не требовавшей никакой подготовки: простым производством детей. Так что Линде теперь в Джефферсоне бороться было не с чем. Если подумать, так и вообще больше не с чем было бороться, потому что русские сами победили немцев и в ее помощи больше не нуждались. В сущности, если хорошенько подумать, ей вообще нечего было делать в Джефферсоне, так как дядя Гэвин уже был женат — если только она сама собиралась выйти за него. А может быть, прав был Рэтлиф, и ей от Гэвина вовсе не то было нужно, вовсе она не хотела, чтоб он стал ее мужем. Так что вообще могло показаться странным, что она до сих пор сидит в Джефферсоне, где у нее только и дела было, что весь день как-нибудь убивать время, ждать, пока надо будет ложиться спать, жить в этом родовом сноупсовском мавзолее, с этим старым сукиным сыном, которому и дочка, и вообще все люди были так же нужны, как второй галстук-бабочка

или новая шляпа; и, должно быть, правы были те, кто говорил, что в конце концов она в Джефферсоне не останется.

Но пока что она жила здесь, и, как сказал дядя Гэвин, ногти у нее были не стерты в кузнечном цехе, а срезаны до мякоти, чтобы вернуть им прежнюю чистоту и, хотя дядя этого не сказал,— женственность; больше не надо было заклепывать швы на кораблях, и белое рыцарское перо трагично поникло у нее на волосах, потому что все драконы издохли. И все-таки даже работа в кузнечном цехе ничуть не изменила ее. Чарльз все думал: а ведь она нисколько не повзрослела. Нет, он не так думал: не то что повзрослела. Вот с ним самим что-то произошло за три с лишним года между декабрем сорок первого и апрелем сорок пятого, по крайней мере он надеялся, что он как-то изменился: во всяком случае, все, что он вытерпел и выстрадал, настолько совпало с общепринятыми понятиями о страдании и испытаниях, что должно было обогатить его духовно и нравственно, независимо от того, принесло ли это пользу человечеству или нет, а если эти переживания очистили его душу, так они непременно должны были сказаться и на его внешности. Так он, по крайней мере, надеялся. Но она-то совершенно не изменилась, и даже седая прядь в волосах как будто была сделана нарочно — многие женщины так делали. И когда он наконец... Да, именно наконец. Что с того, если он все первые три дня после возвращения домой только и старался, чтобы никто не заметил, как он кружит по площади на случай, если она вдруг пройдет мимо. Видел он города и побольше Джефферсона, но не было в них девушки, женщины, про которую ты еще восемь лет назад, в ту секунду, как она выходила из самолета, подумал: интересно, как она выглядит без платья,— только она для тебя была слишком взрослая и не твоего романа, вернее, наоборот, ты был для нее недостаточно взрослый и не ее романа, так что ей оставался только твой дядя, и ты даже в те десять месяцев в немецком концлагере часто думал: видел ли он ее без платья до того, как женился на тете Мелисандре, а может, и потом, а если нет, то почему, что им помешало? Конечно, его дядя ни за что не рассказал бы ему, было это или нет, но, может быть, через три года с лишним он сам увидел бы это по ней, вероятно, женщина не могла бы скрыть такую вещь от человека, который был бы к ней... ну, скажем, simpatico*. Но когда он ее наконец увидел на улице, на третий день, ничего заметно не было, она совершенно не изменилась (седая прядь не в счет), осталась такой же, как восемь лет назад, когда он с дядей поехал встречать ее в мемфисский аэропорт,— на первый взгляд, слишком высокая, слишком тоненькая на его вкус, и тогда он сразу сказал себе: *Вот уж кому ради меня не придется снимать платье,*— и тут же, не успел подумать, как что-то в нем возразило: *Вот болван, а кто говорит, что она захочет,*— и это было правильно: не то что она была не для него, скорее, он был не для нее; многое еще могло случиться в его жизни (так он надеялся), но ему никогда не придется раздевать ее, хотя, когда раздеваешь этих слишком высоких и слишком тоненьких, так часто испытываешь удивление. Но надо быть честным до конца: должно быть, его душа, или что там есть в человеке, за эти три с лишним года стала более чуткой, потому что сейчас он знал, что если судьба пошлет ему такой случай, то для чувства, которое он испытает, можно будет найти много названий, и, вероятно, он их найдет, но только слово «удивление» тут ни при чем.

Теперь ей не приходилось строить корабли, больше того, уже вообще не надо было строить корабли. Так что не только он, Чарльз, но и весь город раньше или позже должны были увидеть — или услышать об этом

---

* Расположен (*итал.*).

от других,— что она ходит в том же полувоенном защитном костюме, в котором, наверно, работала на верфи, меряет шагами боковые улицы и переулки города или проселочные дороги и тропинки, даже бродит по полям и лесам за две-три мили от города, одна, не то что очень быстро, но долго, как будто после бессонницы, а может быть, даже с похмелья.

— Должно быть, так оно и есть,— сказал Чарльз. И опять его дядя как-то нетерпеливо вскинул голову от папки с делами.

— Что? — сказал он.

— Ты говоришь, может быть, у нее бессонница. А может, она столько ходит, чтоб прошло похмелье.

— А-а,— сказал его дядя.— Возможно.— И снова уткнулся в свои бумаги. Чарльз пристально смотрел на него.

— Почему ты с ней не ходишь гулять? — сказал он.

На этот раз дядя даже не поднял головы:

— А ты? Оба вы бывшие солдаты, могли бы поговорить про войну.

— Она меня не услышит. А писать на ходу в блокноте как-то некогда.

— Вот и я так думаю, знаю по опыту, что два бывших солдата, моложе пятидесяти лет, меньше всего хотят говорить о войне. А вы двое даже и разговаривать не можете.

— Вот оно что,— сказал Чарльз. Его дядя читал бумаги.— Может быть, ты прав.— Его дядя читал бумаги.— А ты не возражаешь, если я попробую ее уломать? — Его дядя не ответил. Потом он закрыл папку и откинулся на спинку стула.

— Пожалуйста,— сказал он.

— Значит, ты думаешь, что ничего не выйдет,— сказал Чарльз.

— Я знаю, что не выйдет,— сказал дядя. И тут же торопливо добавил: — Не огорчайся, дело не в тебе. Это безнадежно, понимаешь? Тут никто не властен.

— Значит, ты понимаешь почему,— сказал Чарльз.

— Да,— сказал его дядя.

— Но мне не скажешь?

— Я хочу, чтобы ты сам понял. Наверно, тебе никогда больше не придется с этим встретиться. Про это ты читаешь во всех книгах, видишь в картинах, слышишь в музыке, учишь в Гарвардах и Гейдельбергах. Но ты боишься в это поверить, пока не столкнешься лицом к лицу, потому что ты можешь ошибиться, а перенести такую ошибку очень горько. И самое горькое — усомниться.

— А я в Гейдельберг так и не попал,— сказал Чарльз.— Я только и был в Гарварде и в концлагере номер такой-то.

— Ну, хорошо,— сказал его дядя,— скажем, в средней школе в джефферсоновской Академии.

Но Чарльз решил, что он уже все понял. Так он и сказал:

— Ах, вот что. Ну, все эти штуки в наше время знают даже маленькие дети. Она просто фригидна.

— Что ж, этот фрейдистский термин ничем не хуже других, когда надо прикрыть целомудрие или сдержанность,— сказал его дядя.— А теперь ступай. Я занят. Твоя мама пригласила меня к обеду, так что мы с тобой скоро увидимся.

Значит, тут крылось что-то большее, о чем дядя не хотел ему говорить. И слово «сдержанность» он сказал, очевидно тоже прикрывая то, о чем говорить не хотел. Впрочем, Чарльз понимал, о чем он думал, он достаточно знал своего дядю, чтобы понять, что слово «сдержанность» относилось не к Линде, а к нему самому. Если бы он, Чарльз, сам никогда не был солдатом, он никогда бы и не подумал, не стал бы спраши-

вать разрешения у своего дяди, он, наверно, давно подкараулил бы ее в каком-нибудь укромном уголке в лесу во время ее прогулки, с наивной уверенностью человека, на войне не побывавшего, что она, пережив войну, теперь непрестанно удивляется, что за чертовщина творится в Джефферсоне и почему и он и все другие подходящие молодые люди теряют столько времени зря. Но теперь-то он узнал, почему молодежь так рвалась на войну: все они думали, что война — это неограниченная, заранее оправданная возможность безнаказанного насилия и грабежа, а на самом деле трагедия войны заключалась в том, что оттуда ничего не приносишь, а оставляешь там что-то очень дорогое, и на войне человек обнаруживает в себе что-то такое, с чем он мог бы спокойно прожить всю свою жизнь и даже не знать, что в нем это кроется, если бы не война.

Значит, это будет не он. Он тоже был солдатом, хотя не мог в доказательство предъявить раны и увечья. Значит, если бы он даже физически одолел ее, чтобы узнать то, что, по словам его дяди, в ней скрыто, хотя неизвестно, что это такое, так он все равно ничего не узнал бы. Он только стал бы одним из тех, кто считал, что она просто старается разогнать похмелье, чтобы начать снова пить — а это можно было предположить по некоторым уликам или хотя бы симптомам. Заключались они в том, что раз в неделю, по средам или четвергам (город мог по ней проверять и часы и календарь), она ждала за рулем отцовской машины у входа в банк перед закрытием, и, когда ее отец выходил, они ехали в Вайот-Кроссинг — то место, которое Джейклег Уотман иносказательно называл туристским лагерем для рыбаков, и там на неделю запасали контрабандного виски. Машина была не ее, а ее отца. Она могла завести себе хоть полный гараж машин на тот капитал, что находился на хранении у дяди Гэвина,— ей он достался от деда, старого Билла Уорнера, богача из Французовой Балки, а может быть, и от Уорнера и от отца, после того как двадцать лет назад разразился такой скандал и шум — ее мать покончила с собой, а предполагаемый любовник матери отдал банк и дом своих предков ее отцу; уж не говоря о том, что скульптор, за которого она вышла замуж в Нью-Йорке, был еврей, а значит (по убеждению всего города) — богач. И водила она машину — возила их обоих,— хотя сама вполне могла нанять кого-нибудь, кто бы сидел рядом с ней и слушал сигналы. Но она не хотела. И вообще она всему предпочитала долгие прогулки, выгоняя усталостью бессонницу или похмелье — словом, то, чем она в отчаянии платила за свое безбрачие,— если только юрист Гэвин Стивенс не работал все эти восемь лет ловче и хитрее, чем можно было предполагать, хотя теперь он был женат.

И запасала она виски для себя, а не для отца. Потому что в городе, да и во всей округе знали: Сноупс никогда не пил, не притрагивался к виски. И все-таки он ни за что не позволил бы своей дочери ездить туда одной. Некоторые довольствовались простым объяснением — что Уотман, как и все в наше время, зарабатывает кучу денег, и часть из них ему придется куда-нибудь помещать, а Сноупс все-таки банкир и, наверно, думал, что неплохо бы этим деньгам осесть у него в банке, так что он заезжает навещать Джейклега ровно раз в неделю, как и любого другого торговца, фермера или хлопковода из выгодных клиентов или вкладчиков своего банка. Но другие люди — и среди них его дядя Гэвин и лучший дядин приятель — агент по продаже швейных машин и сельский буколический философ-самоучка, местный Цинциннат, В. К. Рэтлиф,— глубже вникали в суть дела: Сноупс, как видно, ездил с ней ради респектабельности, ради внешних условностей, в эти дни Сноупс был не только банкиром, он был столпом общества и отцом, и, хотя его единственной дочери, вдове, уже далеко перевалило за тридцать и она все

четыре года, пока шла война, работала, как мужчина, на военной верфи, где атмосфера была далеко не стародевичья и всякие истории случались не только со вдовами, Сноупс все-таки не мог разрешить ей одной ездить за пятнадцать миль в притон известного всем бутлеггера и покупать там бутылку виски. А может, и целый ящик; если считать, что она столько ходила, чтобы разогнать похмелье, значит, ей надо было выпивать или хотя бы иметь под рукой полную бутылку каждый день. Потому-то вскоре все в городе и поняли, что дело не только в похмелье: люди, которые могут позволить себе напиваться каждый день, вовсе не хотят, чтобы хмель прошел, вовсе и не думают от него избавиться, выветрить его, даже если у них времени много. Значит, оставалось предположить, что ее обуревает ревность и досада, потому она и вышагивала ежедневно свои пять-шесть миль, чтобы победить или во всяком случае сдержать эту бессонную, беспомощную досаду на дядю Гэвина за то, что он бросил ее, пока она строила корабли во спасение Демократии, и женился на Мелисандре Гарисс, урожденной Бэкус, как написал бы Теккерей, и он (Чарльз) думал: *Слава богу, что не ему довелось снять с нее платье, если под ним оказалось то, что заставило его дядю — разумеется, если он это платье с нее снял,— опрометью жениться на вдове с двумя взрослыми детьми, причем дочка уже была замужем, так что дядя Гэвин мог стать дедом еще до того, как стал молодоженом.*

Но оказалось, что никакой ревности, никакой беспомощности, непрощающей досады и в помине не было. Пришло рождество, потом кончилась зима, наступила весна. Его дядя не только стал владельцем поместья, но и держался, как подобает хозяину поместья. Конечно, никаких охотничьих сапог и бриджей, и хотя человек с золотым ключиком Фи-Бета-Каппа даже в Миссисипи мог бы сойти за помещика, но он со своей рано поседевшей гривой волос больше походил на пианиста-виртуоза или на агента фирмы «Кадиллак» в Голливуде. Но все-таки он играл роль владельца поместья, раз в месяц, а то и чаще, когда сидел за обедом в Роуз-хилле против новой тетушки Чарльза, Мелисандры, а Чарльз и Линда — друг против друга, и дядя при помощи блокнотика переводил Линде то, что говорилось. Вернее, пересказывал вслух Чарльзу и его новой тетушке то, что он ей писал. Потому что Линда и теперь говорила мало — сидит молча, ест, как мужчина, седая прядь в волосах словно поникшее перо; Чарльз вовсе не хотел сказать, что она ела грубо, нет, просто с удовольствием, со вкусом, и вид у нее был... да, честное слово, иначе не скажешь — счастливый. Счастливый, довольный, как бывает, когда чего-нибудь добьешься, что-нибудь сделаешь, сотворишь, создашь: пройдешь через какие-то, может быть, даже серьезные трудности и жертвы, вмешаешься, даже, может быть, наперекор себе, в чьи-то дела, и вдруг, черт побери, все выходит, все сбывается точно так, как было задумано, а ты, может быть, и не смел, не решался надеяться, что все так хорошо выйдет. Хотелось чего-то для себя, да не вышло, и тут начинаешь думать: может быть, этого вообще и на свете нет, может, это невозможно? — и вдруг сам создашь это своими руками, только не для себя — для себя тебе уже больше ничего не нужно, но, по крайней мере, теперь доказано, что так бывает, так может быть.

Потом в гостиной дамам подавали кофе и коньяк, а Чарльзу — портвейн и сигару — его дядя по-прежнему курил свои простые трубки, никель за штуку. А у нее вид был по-прежнему счастливый, довольный, и еще — Чарльз это сразу почувствовал, понял — вид собственнический. Как будто Линда сама всех их придумала: и дядю Гэвина, и тетушку Мелисандру, и Роуз-хилл, старинный, когда-то небольшой и непритязательный дом, старый мистер Бэкус, с его вечным Горацием или Ка-

туллом и разбавленным виски теперь узнал бы этот свой дом только по местоположению, настолько его преобразили деньги новоорлеанского гангстера,— то же самое пытался делать и Сноупс с домом де Спейна на свои йокнапатофские гангстерские деньги, но у него ничего не вышло, а тут деньги тратились не только широко и щедро, но и с таким тонким вкусом, что ты его и не замечал, только чувствовал, вдыхал, как вдыхаешь воздух или теплоту; и все, что окружало, отгораживало этот дом,— бесконечно длинные белые изгороди, опоясывающие акры возделанной, ухоженной земли, залитые электричеством теплые конюшни, амбары и жилые помещения для конюхов и флигель управляющего,— весь ансамбль в едином гармоничном аккорде на фоне сгустившейся темноты, а потом Линда выдумала и его, Чарльза, чтобы он хотя бы присутствовал тут, хотя бы смотрел на дело ее рук, одобрял он или не одобрял то, что она сделала.

Наконец пора было уходить, говорить «Спасибо» и «Спокойной ночи», и возвращаться в город на машине в апрельской или майской темноте, и провожать Линду домой, во дворец, созданный деревенской фантазией ее отца, и остановить машину у подъезда, где она каждый раз говорила своим крякающим голосом (а он, Чарльз, каждый раз при этом думал: *Может, в темноте, в шепоте, когда наконец спадет платье, ее голос звучал бы не так резко,*— думал: *Конечно, если бы с ней был ты*).

— Зайдем, выпьем? — А в машине так темно, что ей не прочесть слов на блокноте, если бы даже она подала его тебе. Поэтому Чарльз каждый раз делал одно и то же: смеялся, нарочно громко, и тряс головой — иногда ему в помощь светила луна,— а Линда уже открывала дверцу со своей стороны, так что Чарльзу приходилось быстро выскакивать из машины, чтобы вовремя подбежать и помочь ей. Но, как он ни спешил, она успевала выйти сама и уже шла по аллее к портику: как видно, она слишком молодой уехала с Юга и в ней не успела выработаться привычка южанки к неизменной и верной галантности кавалера, а может быть, от работы на верфи ее тело отвыкло от всех прежних привычек, от привычного ожидания услуг. Словом, Чарльзу приходилось догонять, нет, даже перегонять ее на полдороге к дому, и тут она задерживалась, почти что останавливалась и смотрела на него с удивлением — нет, не растерянно, а просто, как говорят в Голливуде,— крупным планом: все-таки она еще не настолько была оторвана от наследственных традиций Юга, чтоб не вспомнить — он, Чарльз, не осмеливался вести себя так, чтобы потом какой-нибудь случайный прохожий доложил его дяде, что племянник позволил даме, которую он привез домой, идти до входной двери без провожатого целых сорок футов.

Так что они вместе подходили к портику, огромному, со смутно вздымавшимися неуклюжими колоннами, возникшему из фантазии ее отца, из его кошмаров, чудовищных надежд, неукрощенных страхов — как знать, из чего, откуда,— к холодному мавзолею, где старый Сноупс замуровал хоть часть своих денег, без тепла, без красоты, и Линда опять останавливалась и говорила: «Зайдем, выпьем»,— словно она не произнесла только что эти слова в машине, и Чарльз опять смеялся и тряс головой, как будто он только сейчас сообразил, что можно ей этим ответить. И ее рука — по-мужски сильная и твердая, потому что, в конце концов, это была рука рабочего или, во всяком случае, бывшего рабочего. Потом он открывал перед ней двери и она останавливалась на миг в пролете в смутном свете длинного холла, и дверь закрывалась вновь.

Да, все это можно было бы назвать по-разному, но «удивление», конечно, не то слово, и он подумал про своего дядю — святая простота,— если только тот действительно хоть раз снял с нее платье. И тут он по-

думал: могло же случиться, что его дядя действительно был с ней однажды и не смог выдержать, вынести и убежал, удрал на двенадцать или двадцать лет назад, к своей старой любви, к Мелисандре Бэкус (вернее, урожденной Бэкус), где ему не грозили никакие опасности. Так что, если «удивление» не то слово, значит, «горе» тоже не то; может быть, просто облегчение. Возможно, что он испытал и страх, поняв, как близка была опасность, но основным чувством, наверно, было облегчение, что он ушел, избежал опасности, на любых условиях. А тогда, давно, Чарльз был еще слишком мал. Он сам не знал, действительно ли он помнит по-настоящему мать Линды, как до сих пор помнят его дядя и Рэтлиф, или же нет. Но он так много и часто слыхал о ней от них обоих, что был уверен—он-то знает все, что помнят они сами, особенно Рэтлиф; у него в ушах еще звучал голос Рэтлифа: «Да, мы счастливы. У нас прямо тут, в Джефферсоне, не только жила сама Елена Прекрасная, чего в других городах не бывает, но мы даже понимали, кто она есть, а потом у нас и свой Парис был, он и спас нашего брата, аргивянина, хоть для этого и пришлось разрушить Трою. А человеку вовсе не надо обладать Еленой, ему бы заслужить право и честь смотреть на нее. Но самое страшное, что с тобой может стрястись, это если она вдруг тебя заметит, остановится и обернется к тебе».

И если, предположим, то, что делает Елену Еленой, перенимается или хотя бы передается по наследству, значит, его дядя конечно же испытал не горе, а облегчение, обыкновенное, может быть, неожиданное для него облегчение; и может быть, в этом и было счастье дяди Гэвина, что судьба не наказала его таким жаром, таким же пылом, как Париса и Манфреда де Спейна; так что он просто испытал самый обыкновенный страх в тот первый и единственный раз (если только его дядя действительно был с ней в тот первый и единственный раз) и сбежал, покуда цел. Вы же знаете: влюбленный паук, умудренный годами или достаточно настороженный опытом, а может быть, и просто настолько умный, что сразу разгадывает робкую подсказку инстинкта, сразу чует, предвидит то первое, нежное и ласковое прикосновение жала, или присоска, или чем там его красотка из него высасывает кровь, в тот миг, как он думает, что отдает ей только свое семя; и тут он отскакивает, вырывается от нее и в том, что он сначала принял за мирный оргазм, теряет не только семя, но и куски внутренностей, зато, по крайней мере, сохраняет свою оболочку, свою шкуру, свою жизнь. Как, скажем, виноградина, зрелая виноградина, может быть уже слишком опаленная солнцем, но целехонькая, хотя после пронзительного поцелуя жадного жала брызнул сок и осталась только опавшая оболочка, видимость виноградины. Впрочем, теперь уже ему вспомнилось, что говорил тогда Рэтлиф: «Нет, замуж за него она не выйдет. Будет куда хуже»,— и Чарльз думал: а зачем Елене и ее наследнице пустая оболочка, эта высосанная виноградина, и что это засело в голову Рэтлифу? Или что ему казалось? Или, вернее, чего он боялся, а вдруг ему это показалось или покажется?

Но потом Чарльз подумал, что разумнее всего, логичнее всего сделать то, что сделал бы каждый на его месте: спросить самого Рэтлифа — что он понял, или что ему показалось, или чего он боялся — а вдруг ему так покажется? Так он и сделал. Уже было лето, июнь; у Маккинли не только созревал хлопок — Эсси ждала ребенка. Весь город это знал — она заявила об этом во всеуслышание однажды утром, как только отворились двери банка и первые вкладчики стали в очередь. Так что через два месяца они с Маккинли получили приз — кресло на колесиках, где сиживал старик Медоуфилл.

— Потому что Линде этого мало,— сказал Рэтлиф.

— Чего мало? — спросил Чарльз.

— Мало, чтобы занять ее время, чтоб она была довольна. Корабли больше строить не надо, а теперь и цветной люд без нее обходится. У нас тут сейчас мир и хорошая жизнь, а ради этого мира, этой хорошей жизни мы, старики, вроде меня и твоего дядюшки, целых четыре года отказывались от сахара, от бифштексов, от сигарет, лишь бы вам, молодым, все было, пока вы там за нас воевали. Жизнь сейчас хорошая, так что даже угнетенные коммунисты — наш сапожник и слесарь,— даже негритянские ребята без нее обходятся, без Линды. А, по-моему, спроси она их раньше, так выяснилось бы, что она им в сущности не очень-то и раньше была нужна, только у них долларов и центов не хватало, чтобы об этом сказать. А теперь хватает.— Он подмигнул Чарльзу.— Ей теперь и бороться не с чем — кончилась несправедливость.

— А я не знал, что так бывает,— сказал Чарльз.

— Бывает,— сказал Рэтлиф.— Так что теперь ей придется чего-нибудь поискать, а может, и самой придумать.

— Хорошо,— сказал Чарльз.— Предположим. Но если у нее хватило сил выдержать то, что мы тут напридумывали, так неужто ей не выдержать то, что она сама придумает?

— Да я о ней не беспокоюсь,— сказал Рэтлиф.— Она молодец. Только опасная она. Я о твоем дяде думаю.

— А он тут при чем? — сказал Чарльз.

— Ежели она что-нибудь выдумает и его попросит, он ее, наверно, послушается,— сказал Рэтлиф.

16

В то утро они встретились в почтовой конторе, как часто встречались и раньше, не сговариваясь, в час прихода утренней почты; на ней была обычная ее одежда, то, что она носила в бесконечных своих прогулках по окрестностям,— дорогие английские башмаки на толстой подошве, поношенные и поцарапанные, но с утра всегда тщательно вычищенные, шерстяные чулки или носки, старые фланелевые брюки или юбка, а иногда что-то вроде защитного комбинезона под старым мужским макинтошем,— так она одевалась осенью, зимой и весной, а летом — полотняное платье, юбка или брюки, и волосы с единственной белой, как перо, прядью, непокрыты в любую погоду. Потом они обычно вместе заходили в кафе при гостинице Холстон-хауз выпить кофе, но на этот раз Стивенс взял у нее блокнотик, который он ей подарил восемь лет назад — слоновая кость с золотыми уголками,— и написал:

На консультацию ко мне, зачем?

— А разве клиенты не ходят к юристам на консультацию? — сказала она.

На это ему, конечно, следовало бы ответить: «Значит, я тебе понадобился в качестве юриста?» — и если бы они оба могли разговаривать нормально, он так и сказал бы, потому что в пятьдесят с лишним лет разговаривать не затруднительно. Но писать всегда затруднительно, в любом возрасте, так что даже юрист не тратит лишних слов, если их надо писать пером или карандашом. И он написал: *Вечером после ужина у тебя дома.*

— Нет,— сказала она.

Он написал: *Почему?*

— Ваша жена приревнует. Не хочу огорчать Милли.

На это он, конечно, ответил бы: «Приревнует, Мелисандра? Меня к тебе? После всего, после стольких лет?» Но писать все это на крошеч-

ной табличке слоновой кости два на три дюйма было слишком долго. И он уже начал писать: *Чепуха,*— но сразу стер это слово большим пальцем. Потому что он встретился с ней глазами и все понял. Он написал: *Тебе хочется, чтоб она ревновала?*

— Она ваша жена,— сказала Линда.— Она вас любит. Она должна вас ревновать.— Он еще не успел стереть фразу, и ему надо было только поднять блокнот и повернуть к ней, чтобы она еще раз прочла ее.— Да,— сказала она.— Ревность тоже часть любви. Я хочу, чтобы у вас было и это. Хочу, чтобы у вас было все. Хочу видеть вас счастливым.

— А я счастлив,— сказал он. Он взял нераспечатанный конверт, только что вынутый из абонементного ящика, и написал на обороте: *Я счастлив, мне была дана возможность безнаказанно вмешиваться в дела других людей, не принося им зла, я по призванию принадлежу к тем, кому заранее отпущены грехи, оттого, что им справедливость дороже истины, и мне не дано было своим прикосновением погубить то, что я любил. Теперь скажи, в чем дело, или мне прийти к тебе домой после ужина?*

— Хорошо,— сказала она,— приходите после ужина.

Сначала богатство его жены было сложной проблемой. Если бы не нервное напряжение, вызванное войной, то напряжение, вызванное внезапно нахлынувшими деньгами, хоть и менее значительное, могло бы стать серьезной помехой. Даже сейчас, четыре года спустя, Мелисандре все еще было трудно привыкнуть к отношению Гэвина: в теплые летние вечера, когда негр-дворецкий и одна из горничных накрывали на стол на маленькой боковой веранде, увитой глицинией, каждый раз как приходили гости, даже если эти гости или гость уже раньше тут ужинали, Мелисандра обязательно говорила: «В столовой, конечно, прохладнее (столовая после перестройки дома была чуть поменьше баскетбольной площадки), и жуки не летают. Но Гэвину наша столовая действует на нервы». И Гэвин каждый раз, как и раньше, даже при тех же гостях или госте, повторял: «Глупости, Милли, ничто мне на нервы не действует. Это у меня врожденное». И теперь они ужинали на маленькой террасе — сандвичи и чай со льдом. Она сказала:

— Почему же ты не позвал ее сюда? — Он продолжал есть, и она сказала: — Понимаю, конечно, ты ее звал.— Но он все продолжал есть, и тогда она сказала: — Значит, что-нибудь серьезное.— А потом сказала: — Но это не может быть что-то очень серьезное, иначе она не стала бы ждать, она сразу рассказала бы тебе там же, на почте.— И потом опять сказала: — А как ты думаешь, в чем дело? — и тут он вытер рот, бросил, вставая, салфетку, обошел стол, наклонился и поцеловал ее.

— Я тебя люблю,— сказал он.— Да. Нет. Не знаю. Ложись спать, не дожидайся меня.

Мелисандра подарила ему к свадьбе спортивный «кадиллак»; было это в первый год войны, и одному богу известно, где она достала новый открытый «кадиллак» и сколько за него заплатила. «А может быть, он тебе вовсе и не нужен»,— сказала она. «Нужен,— сказал он,— всю жизнь мечтал о спортивном «кадиллаке», лишь бы можно с ним делать все, что захочется».— «Конечно, можно,— сказала она,— он твой».

Тогда он поехал на этой машине в город и договорился с владельцем гаража, чтобы ее там держали за десять долларов в месяц, потом снял аккумулятор, радиоприемник, шины и запасное колесо, продал их, отнес ключи и квитанцию от продажи в банк Сноупса и заложил там машину, взяв самую большую ссуду, какую мог с них получить. К этому времени прогресс, промышленное возрождение и обновление дошли даже до провинциальных банков штата Миссисипи, так что в банке у Сноупса

теперь работал профессиональный кассир или оперативный вице-президент банка, импортированный из Мемфиса полгода назад, чтобы придать банку современный лоск, то есть чтобы этот провинциальный банк довести до того образа мысли, когда автомобиль воспринимается не только как определенная неотъемлемая часть культуры, но и как экономический фактор, а раньше Сноупс — и Стивенс это знал — не дал бы под заклад автомашины ни одного цента ссуды даже самому господу богу. Правда, Стивенс мог получить ссуду от импортного вице-президента, просто под расписку, не только по вышеупомянутым причинам, но и потому, что вице-президент был приезжий, а Стивенс принадлежал к одному из трех старейших семейств штата, так что вице-президент не посмел бы сказать ему «нет». Но Стивенс поступил иначе, ему хотелось, чтобы, как говорит пословица, этого младенца нянчил сам Сноупс. Он подстерег, подкараулил, загнал в угол самого Сноупса, причем на глазах у всех, в зале банка, где в это время собрался не только весь штат, но и постоянные клиенты, и подробно объяснил ему, почему он, Стивенс, не желает продавать свадебный подарок жены, но, пока страна воюет, он просто хочет обратить его в военные займы. И ссуда была выдана, ключи от машины переданы банку и закладная оформлена, хотя Стивенс, естественно, и не собирался ее выкупать, причем банк платил и те десять долларов за хранение машины в гараже, и они должны были накапливаться до тех пор, пока Сноупс вдруг не сообразит, что его банк является владельцем новехонького «кадиллака», правда, сильно устарелой марки, и притом без шин и аккумулятора. Но все же дверцы его старенькой машины, купленной шесть лет назад (именно в ней он ездил венчаться), перед ним распахивал забегавший вперед дворецкий, который ждал, пока он выедет на длинную аллею, всю окаймленную розами, вьющимися по белым дощатым загородкам бывшего выгона, где когда-то, в неге и холе, паслись дорогие кровные рысаки. Теперь их не держали, потому что в поместье не было ни одного человека, который стал бы ездить верхом бесплатно; сам Стивенс не любил лошадей, даже больше, чем собак, считая, что лошадь безоговорочно заслуживает большего презрения, чем собака, потому что хотя и те и другие паразиты, но у собаки, по крайней мере, хватает такта быть подхалимом; она хоть ласкается к тебе, возбуждая здоровый стыд за род человеческий. Но истинная причина коренилась в том, что хотя и лошадь и собака ничего не забывают, но собака тебе все прощает, а лошадь — нет; он, Стивенс, всегда считал, что миру не хватает умения прощать; если в тебе есть настоящая чуткость и порывистая непосредственная способность искренне прощать, то уже не имеет значения, есть ли у тебя знания, помнишь ли ты что-нибудь или нет.

Но все же он не знал, что нужно Линде; он думал: *Все-таки женщины — удивительные существа: неважно, чего они хотят и знают ли они толком, что им, в сущности, нужно.* И потом, с ней нельзя было разговаривать. Ей самой приходилось связно и точно излагать, формулировать все, что надо было ему сообщить, а не ждать, пока он вытянет от нее, что ей нужно, путем тончайшей юридической разведки, которую обычно применяют к свидетелям; ему только надо было написать на блокнотике: *Не заставляй меня, по крайней мере, писать тебе все те вопросы, которые ты хочешь, чтобы я тебе задавал, а просто когда ты поймешь, что у меня появляется вопрос, задавай его себе сама и отвечай на него.* Еще прежде, чем затормозить машину, он увидел ее, в белом платье, между двумя колоннами портика, слишком высокого для дома, для улицы, для самого Джефферсона; под колоннами стояла полутьма, прохлада, было бы гораздо приятнее посидеть тут. Но объяснить это ей было трудно; он по-

думал, что надо бы обязать всех возить с собой электрический фонарик; или, может, написать на табличке, попросить ее принести фонарик из дома, чтобы она могла прочесть первую фразу; впрочем, она не могла бы, не заходя в дом, прочесть эту просьбу.

Она поцеловала его, как всегда, когда они встречались не на людях, высокая, ростом почти вровень с ним; он думал: *Конечно, придется идти наверх, в ее гостиную, и двери надо будет закрыть; наверно, дело срочное, раз ей понадобилось меня видеть наедине,*— идя за ней через холл, в глубине которого была дверь комнатки, где ее отец (он верил, что во всем Джефферсоне только они с Рэтлифом знают всю правду) сидел один и, согласно местной легенде, не читал, не жевал табак, а просто сидел, уперев ноги в некрашеную деревянную планку, прибитую по его распоряжению на нужной высоте его родственником, плотником из Французовой Балки, к старинному камину работы Адама; они поднялись по лестнице прямо в ее гостиную, там каминная доска была сделана по ее рисунку как раз на такой высоте, чтобы было удобно, когда приходилось, писать карандашом на больших листах отрывного блокнота, постоянно лежавшего там, потому что сюда она приводила Стивенса, только когда надо было сказать больше, чем помещалось на двухдюймовой костяной табличке. Но на этот раз он даже не успел взять карандаш, как она уже выговорила те восемь или десять слов, от которых он похолодел почти на столько же секунд. Он повторил одно из этих слов.

— Минк? — сказал он.— Минк? — лихорадочно думая: *О, черт, только не это,*— он торопливо соображал: *Девятьсот... да, восьмой. Тогда двадцать лет, потом еще двадцать. Все равно он через два года выйдет. Мы про это забыли. А может, и нет.* Ему не надо было писать: *Скажи мне,*— она сама уже все ему рассказала, и если бы она слышала, он мог бы спросить ее, он непременно спросил бы, каким образом, по какой случайности (он еще не начал думать о совпадении, о роке, о судьбе) она вдруг подумала о человеке, которого никогда не видела, о котором могла слышать только в связи с трусливым и жестоким убийством. Впрочем, это уже не имело значения: в эту минуту он уже подумал о судьбе, о роке.

Посадив с собой рядом дворецкого, чтобы он слушал сигналы, она вчера съездила на отцовской машине во Французову Балку и поговорила с Джоди — старшим братом матери; и, стоя у камина, где лежал чистый блокнот, она рассказывала Стивенсу:

— Сначала его осудили на двадцать лет, до двадцать восьмого года, значит, тогда его выпустили бы. Но в двадцать третьем году он пытался бежать. В женском платье, как сказал дядя Джоди, в чем-то вроде капота и в соломенной шляпе. И как он мог достать женский капот и шляпу там, в каторжной тюрьме?

Если бы не глухота, он мог бы поговорить с ней мягко, нежно. Но у него был только желтый блокнот. И он уже знал ответ, когда писал ей: *Что тебе сказал Джоди?*

— Что тут замешан мой... ну, другой мой кузен Монтгомери Уорд, тот, у которого нашли неприличные картинки для волшебного фонаря, его тоже отправили в Парчмен, в том самом девятьсот двадцать третьем году, помните? — О да, он отлично помнил, как он и тогдашний шериф, покойный Хэб Хэмптон, поняли, что сам Флем Сноупс подкинул в фотостудию своего родственника бутылки с самогонным виски и засадил его в Парчмен на два года, и, однако, Флем не только дважды виделся наедине с Монтгомери Уордом, когда тот сидел в тюрьме, дожидаясь суда, но и внес за него деньги, чтобы того выпустили под залог, благодаря чему Монтгомери Уорд на два дня смог отлучиться из тюрьмы и даже выехать

из Джефферсона, прежде чем его осудили и отправили в Парчмен отбывать срок, и с тех пор в Джефферсоне о нем не было ни слуху ни духу, а лет восемь или десять назад в городе узнали, что Монтгомери Уорд живет в Лос-Анжелесе, где причастен к какому-то весьма прибыльному филиалу или отделению кинофабрики или, вернее, колонии кинозвезд. *Так вот почему Монтгомери Уорд должен был попасть именно в Парчмен, и только в Парчмен,*— подумал он,— *не просто в Атланту или Левенуорт, куда его отправили бы за непристойные фотографии.* О да, он помнил и этот суд и тот, более давнишний, в том же зале суд над этим маленьким, как подросток, щуплым жалким маньяком-убийцей, помнил, как председатель суда наклонился к нему, чтобы согласно конституции дать ему право признать или не признать себя виновным, а тот ему ответил: «Не мешайте мне, видите, я занят»,— и тут же, обернувшись в битком набитый зал, стал снова кричать, звать: «Флем! Флем Сноупс! Кто-нибудь позовите сюда Флема Сноупса». О да, теперь он понимал, почему Монтгомери Уорда надо было отправить именно в Парчмен: Флем Сноупс купил себе еще двадцать лет жизни при помощи пяти галлонов виски, подброшенных для улики.

Он написал: *Ты хочешь, чтобы я его освободил сейчас.*

— Да,— сказала она.— Как это делается?

Он написал: *Ведь ему через два года все равно выходить, почему бы не подождать,*— и дальше написал: *Он 38 лет просидел в этой клетке. Он и месяца не проживет на свободе, как старый лев или тигр. Пускай поживет еще хоть 2 года.*

— Два года жизни не так важно,— сказала она,— вот два года тюрьмы — дело другое.

Он даже начал писать, но остановился и вместо этого заговорил с ней вслух. Потом он рассказывал Рэтлифу, почему он так сделал. «А я знаю почему,— сказал Рэтлиф.— Вы рук марать не хотели. А она умела читать по губам, а если и нет, то во всяком случае вы с себя сняли ответственность».— «Нет,— сказал Стивенс.— Просто я верю в судьбу, в рок, я их поборник, я восхищаюсь ими и хочу стать орудием в их руках, пусть даже самым скромным».

Поэтому он ничего не стал ей писать, он сказал:

— Разве ты не знаешь, что он сделает в ту минуту, как вернется в Джефферсон, словом, туда, где твой отец?

— Повторите еще раз, медленно, я попробую понять,— сказала она.

Но он написал: *Я тебя люблю,*— а сам торопливо думал: *Если я скажу «нет», она найдет кого-нибудь, может быть, какого-нибудь афериста, и он будет ее шантажировать: сначала пообещает освободить Минка, потом будет грозить неприятностями за то, что наделает этот гаденыш, как только выйдет,*— и он написал: *Да, его можно освободить, пройдет неделя-другая, подать прошение, напишу за тебя, ты родственница, тот судья и тот шериф — судья Лонг и старый Хэб Хэмптон — умерли, но Хэб-младший все сделает, хотя он не у дел до следующих выборов. Я сам отвезу губернатору прошение.*

Скажу Рэтлифу,— подумал он. Назавтра прошение уже лежало на его столе, и Рэтлиф стоял над бумагой с пером в руке.

— Ну, чего ж вы,— сказал Стивенс,— подписывайте. Я сам все сделаю. Кто я, по-вашему, убийца, что ли?

— Пока что нет,— сказал Рэтлиф.— А что именно вы сделаете?

— Миссис Коль все сделает,— сказал Стивенс.

— Да вы же мне сами говорили, будто никогда при ней не упоминали о том, что натворит Минк, как только попадет в один город с Флемом,— сказал Рэтлиф.

— А это и не понадобилось,— сказал Стивенс.— Мы с Линдой договорились, что ему сюда вообще возвращаться незачем. Сорок лет прошло, жена умерла, дочки уехали бог весть куда; словом, ему будет гораздо лучше, если он сюда не вернется. Вот она и дает на это деньги. Хотела дать тысячу, но я ей объяснил, что выдать ему сразу столько денег значит погубить его наверняка. Так что я оставлю у начальника тюрьмы двести пятьдесят долларов, чтобы вручить ему ровно за минуту перед тем, как его выпустят за ворота, предварительно договорившись, что, как только он возьмет эти деньги, он тем самым дает клятву в тот же день, до вечера, пересечь границу штата Миссисипи, и тогда ему каждые три месяца будут посылать по двести пятьдесят долларов по указанному адресу, с условием, что он никогда в жизни не переступит границу штата Миссисипи.

— Понятно,— сказал Рэтлиф.— Значит, деньги он может получить только при условии, что никогда в жизни и близко не подойдет к Флему.

— Правильно,— сказал Стивенс.

— А вдруг ему не деньги нужны? — сказал Рэтлиф.— А вдруг он не отдаст Флема Сноупса за какие-то двести пятьдесят долларов?

— А вы не забывайте вот что,— сказал Стивенс.— Позади у него тридцать восемь лет тюрьмы, а впереди — еще два года надо провести в этой клетке, так что он знает, чем это пахнет. Вот он и продаст Флема Сноупса за то, чтоб не сидеть еще два года да еще получить даровую пенсию, тысячу долларов в год, на всю жизнь. Подписывайте.

— Не торопите меня,— сказал Рэтлиф.— Судьба и рок. Это вы про них говорили, что, мол, горжусь им служить?

— Ну и что? — сказал Стивенс.— Подписывайте.

— А вы не считаете, что не мешает вспомнить и про удачу? — сказал Рэтлиф.

— Подписывайте,— сказал Стивенс.

— Флему вы еще ничего не говорили?

— Он меня не спрашивал,— сказал Стивенс.

— А вдруг спросит? — сказал Рэтлиф.

— Подписывайте,— сказал Стивенс.

— Уже,— сказал Рэтлиф. Он положил перо на место.— Вы правы. Выбора нет, отступиться нам никак нельзя. Ежели вы скажете «нет», она найдет другого юриста, а тот уже и «нет» не скажет и уж конечно не придумает этот ход с деньгами, я про те двести пятьдесят долларов. А тогда Флему Сноупсу никакой надежды не останется.

Все остальные документы тоже были оформлены без всяких затруднений. Правда, судья, председательствовавший тогда на суде, давно умер, как и тогдашний шериф Хэб Хэмптон. Но его сын, по прозвищу Хэб-младший, унаследовал от отца не только то, что его выбирали шерифом через срок, с перерывом в четыре года, но и то, что он всегда оставался в политике самым близким приятелем своего сменщика, Ифраима Бишопа. Так что Стивенс взял подписки у обоих; староста тогдашнего состава присяжных был еще вполне здоровый и даже весьма подвижной старичок восьмидесяти пяти лет, который хозяйничал на небольшой электрической крупорушке, когда не ездил на рыбалку или на охоту с дядюшкой Маккаслином, таким же восьмидесятилетним здоровяком. Так же просто и бесцеремонно, как и Рэтлифа, Стивенс вынудил еще нескольких влиятельных лиц подписаться под прошением, но козырным тузом он считал старого своего однокашника по Гарварду, который занимался политикой из любви к искусству и много лет был чем-то вроде друга и советника при дворе всех губернаторов, просто потому, что любая политическая клика знала, что он не

только патриот штата Миссисипи, но и так богат, что ничего для себя уже не требует.

Так что Стивенс мог — да и собирался — доложить своей клиентке об успехе дела лишь после того, как документы были отосланы в столицу штата; лето уже подходило к концу, впереди была осень, сентябрь, когда весь штат Миссисипи (включая губернатора, сенат штата и комиссию по амнистии) снова наденет галстуки и сюртуки и примется за работу. Он понимал, что может сделать все — чуть ли не назначить день и час, когда он хотел бы видеть узника на свободе; и он выбрал конец сентября, написав своей клиентке на большом желтом отрывном блокноте, почему он так сделал, объяснил ей все многословно, красноречиво и убедительно, поскольку сам был в этом вполне убежден: в сентябре сбор хлопка в самом разгаре, так что для этого человека найдется не просто работа, привычная работа, но и такая работа, к которой он потянется всей душой, потому что тридцать восемь лет он ее делал по принуждению, под дулом заряженной винтовки, а теперь ему за нее будут платить сдельно, с каждой кипы. Это было лучше, чем освободить его сейчас же, в июне, когда ему все лето нечего будет делать и его невольно потянет в родные места; конечно, Стивенс не объяснил Линде, почему этому жалкому хилому человечку, который, наверно, уже и до тюрьмы был сумасшедшим, а за тридцать восемь лет вряд ли вылечился, ни в коем случае нельзя появляться в Джефферсоне; он скрывал это от Линды в многословных и убедительных карандашных строчках, торопливо ложившихся на линованые страницы блокнота, пока внезапный шорох не заставлял его поднимать голову (Линда, конечно, ничего не слыхала) — в дверях уже стоял Рэтлиф, вежливый, учтивый, непроницаемый, только теперь он стал немного серьезнее, немного сосредоточеннее, чем обычно. Но именно немного, по крайней мере Линда ничего не замечала, но тут Стивенс, вставая, касался ее руки или локтя (хотя это было лишнее, она сама вдруг чувствовала, что в комнату кто-то вошел) и говорил:

— Привет, В. К., заходите. Разве уже пора?

— Выходит, так,— говорил Рэтлиф.— Доброе утро, Линда.

— Привет, В. К.,— отвечала она своим глухим голосом, но в точности повторяя интонацию Стивенса: а ведь она не могла слышать, как он здоровался с Рэтлифом, и даже сам Рэтлиф не мог вспомнить, когда же она могла это слышать. Тут Стивенс вынимал золотую зажигалку с монограммой Г. Л. С., хотя Л. был не его инициал, и давал прикурить Линде, потом они с Рэтлифом доставали из шкафчика над умывальником три толстых стакана, сахарницу, единственную ложку и нарезанный лимон, а Рэтлиф извлекал из глубины карманов фляжку с самогонным виски: старый Кэлвин Букрайт все еще понемножку гнал и хранил выдержанное виски, изредка делясь своими запасами только с теми тактичными людьми, которые сумели сохранить с ним дружеские отношения, снося все капризы старика. А потом все трое — Линда с сигаретой, а Стивенс с неизменной трубкой — сидели, попивая пунш, и Стивенс все говорил или быстро что-то писал на блокноте, чтобы она ответила, а потом она отставляла пустой стакан, вставала и, попрощавшись с ним, уходила. И однажды Рэтлиф спросил:

— Значит, вы Флему еще ничего не говорили?.— Стивенс продолжал курить.— Впрочем, это и не надобно, теперь уже вся округа знает, что кузина Минка или племянница, кем она там ему приходится, вызволяет его из тюрьмы.— Стивенс продолжал курить. Рэтлиф взял пустой стакан.— Хотите еще?

— Нет, благодарю вас,— сказал Стивенс.

— Ага, значит, вы можете разговаривать,— сказал Рэтлиф.— Конечно, может, там, в подвалах, в банке, где он, наверно, сидит деньги считает, может, туда до него ничего не дошло. А может, все-таки ему придется выйти, по делу.— Стивенс продолжал курить.— По делу к шерифу, напротив.— Стивенс продолжал курить.— Вы никак не хотите еще выпить?

— Ну, ладно,— сказал Стивенс.— Что такое?

— Да я же вас об этом и спрашиваю. Можно было бы подумать, что Флем первым делом пойдет к шерифу и напомнит ему тогдашние слова Минка, то, что он сказал судье Лонгу, когда его отправляли в Парчмен. Но Флем, как видно, не пошел. Может, Линда сама сказала ему про те двести пятьдесят долларов, а ведь даже Флем Сноупс готов ухватиться за соломинку, если ничего другого нет. Ведь Флем, естественно, не может прямо подойти к ней и написать в блокноте: «В ту минуту, как выпустят эту несчастную водяную крысу, он сразу явится сюда и расплатится чистоганом и за могилу твоей матери и за все, в чем я будто бы виноват,— тебе, наверно, об этом все уши прожужжали наши джефферсоновские умники»,— но, разумеется, он и не посмеет даже подать ей такую мысль, не то она тут же схватит вас, помчится в Парчмен, сегодня же вызволит того и завтра к утру доставит в Джефферсон; а так у Флема еще осталось три недели, а за три недели всякое может случиться: вдруг Линда помрет, или Минк, или губернатор, или все члены комиссии по амнистии, а может, и Парчмен вдруг взлетит на воздух. Так когда же, говорите, это будет?

— Что именно? — сказал Стивенс.

— Когда его выпустят?

— А-а. Наверно, после двадцатого. Числа двадцать шестого.

— Двадцать шестого,— сказал Рэтлиф.— А вы туда поедете раньше?

— Да, на будущей неделе,— сказал Стивенс.— Передам деньги, договорюсь с начальником. Чтобы ему не выдавали деньги, пока он не пообещает в тот же день уехать из Миссисипи и никогда не возвращаться.

— В таком случае,— сказал Рэтлиф,— все в порядке. Особенно если я...— он остановился.

— Если вы что? — сказал Стивенс.

— Ничего,— сказал Рэтлиф.— Рок, и судьба, и удача, и надежда — и всем этим мы связаны, мы с вами, и Линда, и Флем, и этот несчастный заморыш, эта бешеная кошка, там в Парчмене, все мы связаны той же судьбой, тем же роком, той же удачей и надеждой, даже неизвестно, где все это начинается и где кончаемся мы. Особенно надежда. Помню, я думал, что у людей ничего, кроме надежды, и нет, а вот теперь я начинаю думать, что им ничего больше и не надо — лишь бы была надежда. А тот разнесчастный сукин сын сидит в банке, считает деньги, потому что это единственное место, где Минку Сноупсу его не достать, раз ему все равно там прятаться, так уж заодно он и деньги сосчитает, надо же что-то делать, чем-то заняться. И кто знает, может быть, он сам выдал бы Линде эти двести пятьдесят долларов, притом без процентов, лишь бы она не хлопотала, чтобы Минку скостили два года. И кто знает, сколько денег он бы выложил из своего сейфа сейчас, лишь бы к этим двум годам добавить еще двадцать. А может, хоть десять. А может, хоть год.

Через десять дней Стивенс сидел в кабинете начальника парчменской тюрьмы. Деньги у него были с собой — двадцать пять совершенно новеньких ассигнаций по десять долларов.

— А вы не хотите его повидать? — спросил начальник.

— Нет,— сказал Стивенс.— Вы сами ему скажите. Или поручите кому-нибудь. Просто предложите ему на выбор: либо он получит свободу и двести пятьдесят долларов и уедет из Миссисипи как можно скорее, а кроме того, пожизненно будет получать каждые три месяца те же двести пятьдесят, если даст слово никогда не переходить границу штата, либо пусть сидит в Парчмене еще два года, а потом хоть сдохнет, черт с ним.

— Что ж, наверно, он согласится,— сказал начальник.— Я бы на его месте наверняка согласился. А почему тот, кто посылает ему двести пятьдесят долларов, так не хочет, чтоб он возвратился домой?

Стивенс торопливо объяснил:

— Возвращаться ему некуда. Семья распалась, никого нет, жена умерла лет двацать пять — тридцать назад, никто не знает, где дочки. Даже лачуга, которую он арендовал, наверно, завалилась, а может быть, ее и разобрали на топливо, увезли.

— Странно,— сказал начальник.— В Миссисипи у каждого человека обязательно есть родичи. Даже трудно найти человека без родных.

— Нет, у него тоже, наверно, есть какая-нибудь дальняя родня, свойственники,— сказал Стивенс.— Как будто семья у них действительно большая, разбросанная, знаете, целый деревенский клан.

— И что же, значит, кто-то из этой большой разбросанной семьи, из его родственников, так не хочет, чтоб он возвращался, что даже не пожалел двести пятьдесят долларов?

— Ведь он сумасшедший,— сказал Стивенс.— Неужели за эти тридцать восемь лет тут, у вас, никто этого не заметил, неужели вам не сказали, даже если вы сами не видели?

— Да мы тут все сумасшедшие,— сказал начальник,— даже заключенные. Может, тут климат такой. Я бы на вашем месте не беспокоился. Все они кому-нибудь вначале угрожают страшными угрозами, то судье, то прокурору, то какому-нибудь свидетелю, который выступил на суде и рассказал такое, о чем всякий порядочный человек промолчал бы, страшно угрожают. Я подметил, что никто на свете не грозится так громко и так страшно, как человек, прикованный наручниками к полисмену. Но тут иногда даже год просидеть — и то помогает. А он просидел тридцать восемь. Значит, его не выпускать, пока он не согласится взять деньги? А почем вы знаете, вдруг он деньги возьмет, а сам вас обманет?

— Все-таки я людей немного знаю,— сказал Стивенс.— Например, я знаю, что какой-нибудь преступник будет работать в десять раз лучше и пойдет на жертвы, в десять раз большие, лишь бы ему приписали хоть какую-нибудь, хоть самую скромную хорошую черту, тогда как честный человек никогда не станет так стараться, чтобы избавиться от какого-нибудь своего порока, если только ему это доставляет удовольствие. А этот тип чуть не убил своего адвоката прямо там же, в тюрьме, когда тот добивался его признания сумасшедшим. Он поймет, что единственная разумная вещь, какую он может сделать, это принять деньги и амнистию, так как отказаться от амнистии из-за денег значило бы, что за эти два года он не только не получит две тысячи долларов, но и вообще может умереть. Или, что еще хуже, он может остаться в живых и выйти на свободу нищим, а Фле...— он осекся.

— Как? — сказал начальник.— А кто это «Фле», которого через два года может уже не быть в живых? Значит, двести пятьдесят долларов от него? Ну, ладно,— сказал он,— я с вами согласен. Если он примет деньги, все будет шито-крыто, как они говорят. Вам это и нужно?

— Вот именно,— сказал Стивенс.— А если выйдет какая-нибудь загвоздка, позвоните мне в Джефферсон, за мой счет.

— Я вам и так позвоню,— сказал начальник.— Уж очень вы стараетесь притвориться, что все это не слишком серьезно.

— Нет,— сказал Стивенс,— вот только если он вдруг откажется от денег...

— Вы хотите сказать, от амнистии?

— А какая разница? — сказал Стивенс.

И когда уже к вечеру двадцать шестого числа он подошел к телефону и центральная сказала: «Парчмен, Миссисипи вызывает мистера Гэвина Стивенса. Говорите, Парчмен»,— и неясный голос сказал:

— Алло, Юрист, это вы? — он сразу подумал: *Значит, я все-таки трус. Если это случится через два года, на мне, по крайней мере, пятна не будет. Теперь я ей могу сказать, потому что есть доказательства,* а в трубку он проговорил:

— Значит, он от денег отказался?

— А, вы уже знаете,— сказал голос Рэтлифа.

— Что за...— сказал Стивенс почти в ту же секунду.— Алло!

— Да, это я, В. К.,— сказал Рэтлиф.— Я — в Парчмене. Значит, вам уже звонили.

— О чем звонили? — сказал Стивенс.— Значит, он еще там? Отказался выйти?

— Нет, вышел. Он вышел утром, часов в восемь. Уехал с попутным грузовиком на север.

— Да вы же сказали, что он не взял денег.

— Я вам об этом все время и говорю. Минут пятнадцать назад мы выяснили, где деньги. Они тут. Он...

— Стойте, вы говорите, в восемь утра,— сказал Стивенс.— В каком направлении?

— Один негр его видел, он стоял на шоссе, а потом его подхватил грузовик, который вез скот в Тэтвейлер. Из Тэтвейлера он мог поехать до Кларксдейла, а оттуда — в Мемфис. Или прямо от Тэтвейлера до Бейтсвиля, а потом — в Мемфис. Но, конечно, если кому нужно из Парчмена попасть в Джефферсон, так можно ехать через Бейтсвиль, а то и проехаться через Чикаго или Новый Орлеан, если кому вздумается. А так он, пожалуй, скоро доберется до Джефферсона. Сейчас я тоже еду, но вы бы лучше...

— Понятно,— сказал Стивенс.

— И Флему тоже,— сказал Рэтлиф.

— О черт, я же сказал — все понятно! — сказал Стивенс.

— Только ей пока не говорите,— сказал Рэтлиф.— Нечего ей говорить, что она только что вроде как убила мужа своей матери...

Но Стивенс этого не слышал, он уже бросил трубку, на нем даже шляпы не было, когда он добежал до площади, до улицы, где в одном конце был банк и Сноупс, а в другом — здание суда и шериф: совершенно неважно, кого он увидит первым, думая: *Значит, я и вправду трус, и это после всех разговоров про судьбу и рок, хотя даже Рэтлиф в них не поверил.*

— Вы что же думаете,— сказал шериф,— что человек просидел тридцать восемь лет в Парчмене, а в ту минуту, как его освободили, он попытается сделать то, за что его опять туда упекут, конечно, если на этот раз не повесят? Не глупите! Даже если он такой, как про него говорят, все равно за тридцать восемь лет ему вправили мозги.

— Ха,— сказал Стивенс невесело,— вы довольно точно все определили. Но вы, наверно, еще без штанов бегали, тогда, в 1908 году. В суде вы в тот день не были, его лица не видели и не слышали, что он крикнул. А я был.

— Ну, хорошо,— сказал шериф.— Что же я, по-вашему, должен сделать?

— Арестовать его. Как вы это называете? Перехватить по пути. Только не давайте ему доехать до нашего округа.

— На каком основании?

— Ваше дело поймать его. А основания я вам дам, как только понадобится. Если надо, задержим его за получение денег под ложным предлогом.

— Но ведь он как будто денег не взял.

— Не знаю, что там с деньгами. Но я что-нибудь придумаю, лишь бы задержать его хоть на время.

— Да,— сказал шериф,— наверно, вы и это можете. Зайдем-ка в банк, поговорим с мистером Сноупсом, может быть, мы втроем что-нибудь сообразим. А то пойдем к миссис Коль. Я считаю, что ей тоже нужно сказать.

На это Стивенс почти слово в слово повторил то, что сказал Рэтлиф по телефону, когда он уже положил трубку:

— Сказать женщине, что сегодня в восемь утра она, можно сказать, убила своего отца, так, что ли?

— Ну, не надо, не надо,— сказал шериф.— Хотите, чтобы я с вами пошел в банк?

— Нет,— сказал Стивенс.— Пока не стоит.

— По-моему, вы все-таки видите пугало там, где его нет,— сказал шериф.— Да если он и вернется, то скорее туда, во Французову Балку. Значит, как только мы его заметим тут, в городе, мы его задержим, поговорим с ним по душам — и все!

— Да, черта с два вы его заметите! — сказал Стивенс.— Я же вам все время втолковываю, что заметить его невозможно. Джек Хьюстон тридцать восемь лет назад тоже на этом просчитался: он его не замечал и не замечал — пока тот в одно прекрасное утро не вышел из кустов с ружьем. Впрочем, сомневаюсь, вышел ли он из кустов, прежде чем выстрелить.

Быстрым шагом он перешел через площадь, думая: *Да, в конце концов, я все-таки трус,*— но та его сущность, то единственное, с чем он привык разговаривать, вернее, к чему привык прислушиваться,— может быть, это был его скелет, и он переживет все остальное его существо на несколько лет или месяцев и, несомненно, все это время будет читать ему мораль, а он будет вынужден беспомощно молчать,— сразу ответило ему: *А кто говорит, что ты трус?* — А он на это: *Но я вовсе не трус. Я гуманист.*— И то, внутреннее: *Ты даже не оригинален, это слово обычно употребляют как эвфемизм для слова трус.*

Наверно, банк уже закрылся. Но когда он шел через площадь к конторе шерифа, машины с Линдой за рулем перед банком не было — значит, сегодня не тот день, когда возобновлялся недельный запас виски. Ставни были закрыты, но, подергав боковую дверь, он привлек внимание одного из служащих, и тот, выглянув, узнал его и впустил; он прошел сквозь стук арифмометров, подытоживавших дневной баланс, они звучали безучастно, как будто пренебрегая теми астрономическими суммами, которые они превращали в дробную трескотню, постучал в дверь, где полковник Сарторис сорок лет назад велел написать от руки слово «КАБИНЕТ», и вошел туда.

Сноупс сидел не за письменным столом, а спиной к нему, перед пустым нетопленым камином, задрав ноги и уперев каблуки в те отметины, которые когда-то выцарапали каблуки полковника Сарториса. Он не читал и вообще ничего не делал, просто сидел, низко нахлобучив свою черную плантаторскую шляпу, неприметно и мерно двигал нижней челюстью, словно жуя что-то, чего, как знали все, у него во рту не было; он даже не спустил ноги, когда Стивенс подошел к столу (стол был широкий, гладкий, и на нем аккуратно, даже как-то методически были разложены бумаги) и сразу, почти на одном дыхании, сказал:

— Минк ушел из Парчмена сегодня в восемь утра. Не знаю, известно ли вам это, но мы... я приготовил деньги, и он их должен был получить у выхода, при условии, что, принимая эти деньги, он тем самым дает клятву уехать из штата Миссисипи и никогда не возвращаться в Джефферсон и даже не переходить границу штата. Денег он не взял; не знаю, как оно вышло, его не должны были отпускать без этого. Его подобрал попутный грузовик, и он исчез. Грузовик шел на север.

— А сколько там было? — сказал Сноупс.

— Чего? — спросил Стивенс.

— Денег,— сказал Сноупс.

— Двести пятьдесят долларов,— сказал Стивенс.

— Очень благодарен,— сказал Сноупс.

— Слушайте, черт побери! — сказал Стивенс.— Я вам рассказываю, что человек сегодня в восемь утра вышел из Парчмена и поехал сюда убивать вас, а вы только и нашли, что сказать — «очень благодарен».

Но тот сидел неподвижно, только челюсти медленно жевали; Стивенс подумал с какой-то сдержанной, кипучей яростью: *Хоть бы он изредка сплевывал, что ли.*

— Значит, у него только и есть, что те десять долларов, которые им выдают при освобождении,— сказал Сноупс.

— Да,— сказал Стивенс,— по крайней мере насколько нам... мне известно. Как будто так.— *Или хотя бы сделал вид, что сплевывает,*— подумал он.

— Ну, а ежели кто-то имел бы на вас зуб,— сказал Сноупс,— и было б ему сейчас шестьдесят три года, а тридцать восемь из них он просидел в тюрьме, да и до того он был слабоват и ростом не больше, чем мальчишка лет двенадцати...

И тогда уже стрелял из-за куста,— подумал Стивенс.— *Да, я отлично понимаю, что ты думаешь: он, мол, и тогда был слишком слабый и хилый, даже до тридцати восьми лет тюрьмы он не рискнул бы драться ножом или дубинкой. И не может он поехать во Французову Балку (единственное место на всем свете, где его, быть может, хоть кто-нибудь настолько помнит, чтобы одолжить ему револьвер), потому что, хотя ни одна душа во Французовой Балке не отвела бы от тебя дуло револьвера, но одолжить — никто не одолжит, даже чтобы пристрелить тебя. Значит, ему либо надо купить револьвер за десять долларов, либо украсть. Значит, можно не беспокоиться: десятидолларовый револьвер стрелять не будет, а украсть ему не даст какой-нибудь полисмен.*— Он быстро соображал: *Ясно. Север. Поехал в Мемфис. Больше некуда. Больше нигде за десять долларов револьвера не купишь.*

Значит, если у Минка всего только десять долларов, ему придется всю дорогу ехать на попутных машинах, сначала в Мемфис, если успеет до закрытия ссудных лавчонок, а оттуда — назад в Джефферсон. А это может случиться не раньше завтрашнего утра, иначе судьба и рок нагородили бы тут такое сверхмощное скопление невероятных совпаде-

ний и удач, что даже Рэтлиф, при всем своем оптимизме, в них не поверил бы.

— Да,— сказал он вслух,— я тоже так думаю. До завтрашнего вечера у вас еще есть время.— Он торопливо соображал: *Как бы его убедить не говорить ей ничего, но так, чтоб он не догадался, что он мне обещает, дает слово и что это я ему подсказал.* И вдруг сам сказал вслух: — А Линде вы расскажете?

— Зачем? — сказал Сноупс.

— Да, конечно,— сказал Стивенс. И неожиданно услышал собственный голос: — Очень благодарен.— И потом, уж совсем неожиданно для самого себя: — Я за это отвечаю, хотя я, в сущности, ничем помешать не мог бы. Только что я говорил с Ифом Бишопом. Что я еще могу для вас сделать? *Хоть бы он сплюнул,*— подумал он.

— Ничего,— сказал Сноупс.

— Как? — сказал Стивенс.

— Так,— сказал Сноупс.— Очень благодарен.

Но теперь он, по крайней мере, знал, с чего начинать. Только не знал как. Предположим, он позвонит в мемфисскую полицию; что же он им скажет, что можно им сказать: они в сотне миль отсюда, они никогда не слыхали ни о Минке, ни о Флеме Сноупсе, а Джека Хьюстона уже сорок лет как нет на свете. Ему, Стивенсу, с трудом удалось расшевелить даже здешнего шерифа, а он-то должен был знать эту историю хоть понаслышке, от старших. Как же объяснить мемфисской полиции, зачем Минк у них в городе, хотя он сам твердо знал — зачем, как убедить их, что Минк был или будет в Мемфисе? А если это даже удастся, то как им описать того, кого надо изловить: ведь сорок лет назад Хьюстон пал жертвой этого человека именно потому, что убийца был настолько незаметным существом, что никто вовремя не обратил на него внимания, не заметил, что он делает, что он способен наделать.

Кроме Рэтлифа. Один Рэтлиф во всем Йокнапатофском округе узнал бы Минка с первого взгляда. Для человека неученого, не путешествовавшего, даже, в сущности, не очень начитанного, у Рэтлифа была потрясающая способность запоминать факты, собирать сведения и заводить знакомства, которые всегда помогали в критические минуты жизни города. Стивенс признался себе, почему он сейчас ждет, тянет время, просто ничего не делает: он ждет, чтобы Рэтлиф в своем пикапе приехал из Парчмена и чтобы можно было сразу, без остановки, не дав ему выключить мотор, отправить его в Мемфис, и пусть он поможет мемфисской полиции опознать Минка и тем самым спасти его кузена, родича — словом, кем там ему Флем приходится,— от заслуженной кары, но в душе Стивенс знал: прежде всего ему хочется узнать от Рэтлифа, каким образом Минк не только ухитрился прошмыгнуть за ворота Парчмена, не выполнив необходимейшего условия — взять деньги,— но и сделал это так ловко, что, если бы не совершенно случайное, непредвиденное присутствие Рэтлифа в такое время и в таком месте, где ему быть совершенно не полагалось, никто и не узнал бы, что деньги не взяты.

Еще не было трех, когда Рэтлиф позвонил; значит, раньше девяти он в Джефферсон не попадет. И дело не в том, что его пикап никак не мог бы проехать это расстояние быстрее: дело было в том, что ни одна машина, принадлежащая Рэтлифу, если только он сам в ней сидел в здравом уме и твердой памяти и, конечно, сам правил, никогда не поехала бы так быстро. Кроме того, в какой-то час, вскоре после шести, он непременно остановится поесть либо в ближайшем, похожем на все другие, скучном хлопководческом поселке, либо (по теперешним временам) в придорожном ресторанчике, аккуратно затормозит и аккуратно, не то-

ропясь, съест мясо, такое волокнистое, что не прожевать, и такое переваренное, что и вкус потеряло, неизменную жареную картошку, хлеб, который не жуешь, а мнешь во рту, как бумажную салфетку, нарезанный машинкой свежезамороженный салат и помидоры, похожие (если бы не их назойливо стойкий цвет) на ископаемые, открытые палеонтологами в вечной мерзлоте тундры, потом пирог из полуфабриката и то, что они называют кофе — словом, съест всю эту снедь — абсолютно чистую и абсолютно безвкусную, если ее не полить как следует консервированным томатным соусом.

Он, Стивенс, мог бы, должен был бы — и времени хватало — съездить к себе, в Роуз-хилл, и там вкусно и хорошо поужинать. Вместо этого он позвонил жене.

— Тогда я приеду в город, поужинаем вместе в Холстон-хаузе,— сказала она.

— Нет, душенька. Мне надо повидаться с Рэтлифом, как только он приедет из Парчмена.

— Хорошо. Тогда я, пожалуй, приеду и поужинаю у Мэгги,— Мэгги была сестра Стивенса,— и, может быть, мы с ней пойдем в кино, а завтра мы с тобой увидимся. Можно приехать в город, если я обещаю не попадаться тебе на улице?

— Видишь, ты мне не хочешь помочь. Как мне удержаться и не встретиться с тобой, если ты так легко сдаешься?

— Значит, увидимся завтра,— сказала она.— До свиданья!

Конечно, они поужинали вместе в Холстон-хаузе: ему как-то не очень хотелось видеть сестру, и зятя, и племянника Чарльза в этот вечер. Холстон-хауз все еще держался старых традиций и не то что цеплялся за них или мужественно не сдавался, а просто эти традиции с упрямой и несгибаемой настойчивостью хранили владелицы отеля — две незамужние сестры (хотя одна из них, младшая, когда-то была замужем, но это было так давно и так недолго, что уже не считалось), последние потомки Александра Холстона, одного из троих первых поселенцев Йокнапатофы, он выстроил первый бревенчатый дом, давно уже проглоченный последующими перестройками; он же больше ста лет назад принимал участие — вернее, подал мысль, чтобы город назвали Джефферсоном; до сих пор ресторан при этом отеле назывался просто столовой, до сих пор (никто не знал, каким образом) там сохранилась мужская прислуга — негры, причем некоторые должности передавались от отца к сыну; до сих пор посетители обедали за двумя длинными общими столами, и во главе каждого сидела одна из сестер; ни один мужчина не решился бы войти туда без пиджака и галстука, ни одна женщина — в шляпе (для того, чтобы снять шляпу, существовала дамская комната с горничной), даже если у нее на руках был железнодорожный билет.

Сестра Стивенса вовремя зашла за его женой, чтобы вместе идти в кино. Он вернулся к себе в служебный кабинет и около половины девятого, услыхав шаги Рэтлифа на лестнице, сказал:

— Так что же там случилось? — И тут же перебил себя: — Нет, погодите. Что вы делали в Парчмене?

— А я, знаете, этот, как его... да, оптимист,— сказал Рэтлиф.— И, как всякий настоящий оптимист, я не жду, что случится самое худшее. Однако, как всякий уважающий себя оптимист, я люблю сам проверить — а вдруг оно все-таки случилось? Особенно, если то, как оно вышло — хорошо или плохо,— скажется тут, у нас в Джефферсоне. Но пришлось покрутиться. Было это часов в десять утра, его уже часа два как выпустили, и они на меня даже заворчали. Понимаете, они свое дело сделали, продержали его тридцать восемь лет, по закону, без обмана,

как было велено, и теперь имели право избавиться от него вчистую. Сами понимаете: новенькая, чистая амнистия, новенькие, чистые двести пятьдесят долларов запрятаны честь-честью в новенькую чистую одежку, в комбинезон с джемпером, ворота за ним захлопнулись, как вам и докладывали, из папки официально вынули дело Минка Сноупса и официально надписали: «Расчет закончен»,— и дело сдали в архив уже целых два часа назад, и вдруг — нате вам — является непрошеный тип откуда-то издалека, даже не адвокат, и говорит: «Да, да, все правильно, только давайте-ка удостоверимся — взял он эти денежки или нет, когда уходил».

Деньги были у самого начальника: Минк стоял перед ним, а на столе лежали отдельно — приказ об амнистии, а рядом — те двести пятьдесят долларов, Минк, наверно, таких денег в жизни не видал; и начальник сам ему объяснил, что вот, мол, выбора у него нет: хочешь получить амнистию — бери деньги, а раз он возьмет деньги, значит, даст честное слово, обещание, поклянется на библии, что сейчас же уберется подальше от Миссисипи и никогда в жизни не переступит границу штата. «Значит, вот что надо сделать, чтобы выпустили,— говорит Минк.— Взять деньги?» — «Вот именно»,— говорит начальник, и Минк протягивает руку, берет деньги, и начальник сам, своей рукой, помогает ему положить и амнистию и деньги во внутренний карман и хорошенько застегнуть пуговицы, и начальник жмет ему руку, и тут входит тюремный староста, чтоб его отвести туда, где привратник уже дожидается с ключом и отворяет ему ворота, а там — вольная воля...

— Погодите,— сказал Стивенс.— Староста?

— Поняли? — одобрительно сказал Рэтлиф, очень довольный, даже гордый.— Чего уж проще! Оттого это и не пришло никому в голову, ведь даже в Парчмене, будь там хоть самая образцовая тюрьма, все-таки вряд ли нашелся бы такой чудак, такой антиобщественный тип, которому могло бы прийти в голову, что можно еще выбирать, раздумывать, когда тебе тычут двести пятьдесят долларов так, за здорово живешь — даже спасибо сказать некому. Я им так и сказал: «Это староста. До ворот Минк дошел с деньгами. Проверим, были ли они у него, когда он вышел». Так я им и сказал: «Старостой у вас кто?»

«Тоже каторжник, пожизненный,— говорит начальник,— убил жену гаечным ключом, потом раскаялся, в тюрьме, еще до суда, приобщился, так сказать, благодати, теперь ведет себя отлично, даже проповедником стал».

— Да,— говорю,— если бы Минку дали выбирать из списка всех ваших нахлебников, так сколько ни выбирай, он лучшего бы для своих целей не нашел, понимаете? Так что мне уже вроде как жалко этого, так сказать, избранничка, хоть у него и не хватило терпения разгадать тайну брака как-нибудь без помощи гаечного ключа. Я хочу сказать, что у вас, наверно, есть кое-какие частные методы расспросов для тех, что не больно словоохотливы, верно ведь?.. В общем, оттого-то я и запоздал вам позвонить: пришлось подождать, хотя, должен сказать, он ничем себя не выдал. Смешно мне на людей смотреть. Впрочем, нет, не смешно. Скорее грустно. Возьмите этого малого — осужден пожизненно, и, даже если бы обнаружилось, что это ошибка, даже если б нечаянно забыли запереть ворота, он бы не посмел выйти, потому что отец его жены поклялся убить его в ту секунду, как он переступит порог Парчмена. Что же ему делать с этими деньгами, даже если бы он вообразил, что можно их безнаказанно присвоить?

— Но как, черт возьми? Как он это сделал? — сказал Стивенс.

— Да Минк только так и мог эти деньги отдать, вот почему никто и не сообразил. По дороге из кабинета начальника к воротам он сказал

этому старосте, что ему понадобилось в уборную, а там он ему отдал двести пятьдесят долларов и попросил вернуть их начальнику, как только выдастся подходящая минутка, только лучше подождать, когда Минк очутится подальше от ворот, а уж потом доложить начальнику, что, мол, он, Минк, премного благодарен, но он передумал и деньги ему без надобности. Старосте только одно и оставалось: часа через два-три Минк уйдет далеко и, наверно, навсегда, и никто не будет знать, да никогда и не спросит, куда он девался. И вообще тут уж все равно, где он будет: в ту минуту, как человек решил, что ему не нужны двести пятьдесят долларов, он как бы помер и сам только что узнал про свою смерть. Вот и все. Не знаю я...

— А я знаю,— сказал Стивенс.— Флем мне подсказал. Он в Мемфисе. Слишком он старый, слишком хилый и слабый, чтоб действовать ножом или дубинкой, значит, придется ему искать такое место поблизости, где есть надежда купить револьвер за десять долларов.

— Значит, вы Флему все сказали. А он что?

— Он сказал: «Очень благодарен»,— сказал Стивенс. И, подождав, добавил: — Слышите? Когда я сказал Флему, что Минк вышел из Парчмена сегодня в восемь утра и едет сюда убивать его, он ответил: «Очень благодарен».

— Слышу,— сказал Рэтлиф.— А вы бы что сказали? Наверно, и вы бы ответили вежливо, не хуже Флема, правда? Должно быть, оно так и нужно. А с Мемфисом вы, наверно, уже переговорили?

— А что мне с ними говорить? — сказал Стивенс.— Как описать мемфисским полисменам человека, которого я бы и сам не узнал, тем более как их убедить, что человек этот действительно в Мемфисе и, по моим предположениям, делает то-то и то-то, раз я сам не знаю, что будет дальше?

— А что ж это Мемфис так оплошал? — сказал Рэтлиф.

— Сдаюсь! — сказал Стивенс.— Объясните!

— Я-то считал, что только в самых захолустных городишках нет никого из ваших дружков по Гарварду, но уж никак не в Мемфисе.

— Какой же я дурак! — сказал Стивенс. Он тут же позвонил и через минуту уже разговаривал с ним, со своим однокашником, любителем сельского уединения, жившим на плантации неподалеку от Джексона,— он уже помог Стивенсу получить амнистию для Минка, так что оставалось только объяснить, что произошло, не вдаваясь в подробности.

— Но ты, конечно, не знаешь, попал он в Мемфис или нет,— сказал его друг.

— Конечно нет,— сказал Стивенс.— Но раз мы вынуждены найти его как можно скорее, то позволительно хотя бы это предположение считать правильным.

— Отлично,— сказал его друг.— Я знаком и с мэром города и с комиссаром полиции. Ведь тебе прежде всего нужно — и это единственное, что они могут сделать,— чтобы прочесали все те места, где сегодня после полудня кто-то пытался купить револьвер за десять долларов. Правильно?

— Правильно,— сказал Стивенс.— И пожалуйста, попроси их позвонить мне за мой счет, когда они... а вдруг что-нибудь найдут.

— Я сам тебе позвоню,— сказал его друг.— Можешь считать, что и я принимаю участие в судьбе твоего приятеля.

— Будешь говорить Флему Сноупсу, что я его приятель, так хотя бы улыбнись,— сказал Стивенс.

Это было в четверг: в пятницу телефонная станция разыскала бы его в каком угодно учреждении. Однако у него скопилось много дел, и он

решил засесть у себя в служебном кабинете. Он только успел заняться делами, как вошел Рэтлиф с аккуратным бумажным пакетиком и сказал: «Доброе утро»,— но Стивенс даже не поднял глаз и продолжал сосредоточенно и быстро писать на желтоватом блокноте: ему не помешало даже, когда Рэтлиф постоял перед ним, смотря ему в макушку. Потом Рэтлиф отошел, сел на один из стульев у стола, на тот, что был ближе к стенке, потом привстал, аккуратно положил свой пакетик на картотеку и снова сел, а Стивенс все писал, не отрываясь, только изредка останавливался и справлялся по книге, лежавшей у его левой руки; наконец Рэтлиф потянулся за утренней мемфисской газетой и, взяв ее со стола, развернул, осторожно шелестя листами, а через некоторое время снова тихонько зашелестел, переворачивая страницу, пока Стивенс не сказал:

— Фу, черт, либо уходите отсюда, либо придумайте себе другое занятие. Вы меня нервируете.

— А у меня никаких занятий нынче утром нет,— сказал Рэтлиф.— Может, вам куда надо пойти, я могу посидеть, послушать телефон.

— Я и тут могу работать, только не шелестите вы...— Он вдруг бросил, отшвырнул карандаш.— Как видно, он еще не доехал до Мемфиса или, во всяком случае, еще не пытался купить револьвер, иначе нам сообщили бы. А нам одно и нужно: заранее дать знать по всему Мемфису. Неужели вы думаете, что в любой ссудной лавке, в любом охотничьем магазине не побоятся потерять лицензию, если продадут ему револьвер, после того как полиция им...

— Если бы меня звали Минк Сноупс, то я бы нашел место, где не боятся потерять лицензию за продажу ружья или револьвера.

— Например? — сказал Стивенс.

— Во Французовой Балке всегда поговаривали, что Минк в молодости мог задать жару, конечно, насколько ему средства позволяли, а средств было маловато. Но он ездил, как все деревенские парни, в Мемфис раза два-три в год со своими сверстниками, тогдашними головорезами — с Квиками, с Терпинами, с Таллями, словом, с кем придется: значит, была у него возможность узнать, в каких местах торгуют без всяких лицензий, так чтоб полиция не трепала их каждый раз, как найдет ружье или револьвер в неположенном месте или не найдет в положенном.

— Неужто вы думаете, что мемфисская полиция знает про Мемфис меньше, чем какой-то сумасшедший ублюдок, убийца, да еще просидевший в каторжной тюрьме чуть ли не сорок лет? Мемфисская полиция, да это же лучшая полиция, не то что в десяти, в ста городах, черт возьми, да я вам их и назвать могу.

— Ну, ладно, ладно,— сказал Рэтлиф.

— Честное слово, даже сам господь бог не настолько занят, чтобы позволить маньяку-убийце с десятью долларами в кармане проехать на попутных машинах сто миль, купить револьвер за эти десять долларов, потом, опять же на попутных, проехать еще сто миль и пристрелить человека!

— А может, тут все зависит от того, хочет бог кого-то убить или нет,— сказал Рэтлиф.— А к шерифу вы сегодня утром заходили?

— Нет,— сказал Стивенс.

— А я заходил. Флем еще к нему не обращался. И из города не уезжал. Я и это проверил. Так что, может, это самый лучший признак: Флем не беспокоится. Как вы полагаете, сказал он Линде или нет?

— Нет,— сказал Стивенс.

— Почем вы знаете?

— Он мне говорил.

— Флем говорил? Прямо так, сам, или вы у него спросили?

— Спросил,— сказал Стивенс.— Я спросил: «А вы Линде расскажете?»

— И что же он ответил?

— Сказал: «Зачем?»

— А-а,— сказал Рэтлиф.

Пробило двенадцать. У Рэтлифа в аккуратном мешочке оказался такой же аккуратный сандвич.

— Вы ступайте домой обедать,— сказал он,— а я тут посижу послушаю телефон.

— Да вы же сами только что сказали, что раз Флем не беспокоится, так какого черта нам волноваться?

— А я волноваться и не буду,— сказал Рэтлиф.— Просто посижу послушаю.

Но Стивенс уже успел вернуться в свой кабинет к концу дня, когда раздался телефонный звонок.

— Пока ничего,— сказал голос его товарища по университету.— Он не был ни в одной из ссудных лавок, нигде, куда можно зайти купить револьвер, особенно за десять долларов. Может быть, он еще и не доехал до Мемфиса, хотя прошло уже больше суток.

— Тоже возможно,— сказал Стивенс.

— А может, он и не собирался ехать в Мемфис.

— Ничего не поделаешь,— сказал Стивенс.— Надо будет написать комиссару полиции благодарственное письмо или...

— Непременно. Только пусть он сначала его заработает. Он согласился, что совсем не трудно и даже полезно каждое утро в течение двух-трех ближайших дней на всякий случай проверять все лавки по списку. Я его уже поблагодарил за тебя. Я даже взял на себя смелость и сказал, что если вы оба когда-нибудь окажетесь в одном избирательном округе и он решит выставить свою кандидатуру, а не ждать продвижения, как ты...— но тут Стивенс положил трубку, обернулся к Рэтлифу и, не глядя на него, сказал:

— Может, он и не появится.

— А что? — сказал Рэтлиф.— Что он вам говорил? — Стивенс рассказал, повторил самую суть.— Полагаю, что больше мы ничего сделать не можем,— сказал Рэтлиф.

— Да,— сказал Стивенс. Он подумал: *Завтра все выяснится. Но я еще день подожду. Может быть, до понедельника.*

Но так долго ждать ему не пришлось. В субботу в его служебный кабинет, как всегда, набился народ, не столько по делу (за что он получал жалованье от штата), а просто все время заходили в гости земляки, выбравшие его на этот пост. Рэтлиф, тоже знавший их всех очень хорошо, может быть, даже лучше Стивенса, сидел в сторонке, у стены, на своем месте, откуда можно было не вставая взять телефонную трубку; и хотя он опять принес с собой аккуратный домашний сандвич, Стивенс в полдень сказал:

— Вы бы пошли домой, позавтракали как следует, а лучше поедем ко мне. Сегодня звонка не будет.

— Вам лучше знать,— сказал Рэтлиф.

— Да. Я вам объясню в понедельник. Нет, завтра: воскресенье день подходящий. Завтра я вам все объясню.

— Значит, по-вашему, все в порядке. Все улажено, все кончено. Известно это Флему или нет, но теперь он может спать спокойно.

— Вы меня пока не спрашивайте,— сказал Стивенс.— Это как нить: держится, пока я... пока кто-нибудь ее не порвет.

— Значит, вы оказались правы. Не нужно ей говорить.

— И не нужно,— сказал Стивенс,— и никогда не понадобится.

— Я так и говорю,— сказал Рэтлиф.— Теперь ей говорить не надо.

— А я говорю — никогда не надо было и никогда не понадобится, что бы ни случилось.

— Даже если это вопрос морали? — сказал Рэтлиф.

— К чертям мораль, к чертям вопрос,— сказал Стивенс.— Никаких вопросов морали тут нет: есть факт, тот факт, что ни вы и никто, на ком человечья шкура, не скажет ей, что своим поступком, вызванным жалостью, состраданием, простым великодушием, она убила человека, который считается ее отцом, неважно, сволочь он или нет.

— Ну, ладно, ладно,— сказал Рэтлиф.— Вот вы сейчас говорили про какую-то нить. Может, есть еще хороший способ, чтоб не дать ей порваться раньше времени — надо только посадить тут кого-то, чтоб слушал телефон в три часа дня, когда он не зазвонит.

Поэтому они и сидели оба в кабинете, когда пробило три. А потом четыре.

— Пожалуй, можно уходить,— сказал Рэтлиф.

— Да,— сказал Стивенс.

— Но пока что вы мне ничего не объяснили,— сказал Рэтлиф.

— Завтра,— сказал Стивенс.— К тому времени уже непременно позвонят.

— Ага, значит, по этой нити все-таки проходит телефонный провод,— сказал Рэтлиф.

— До свидания,— сказал Стивенс.— Завтра увидимся.

Да, телефонная станция его разыщет в любое время, даже в воскресенье, и, в сущности, почти до половины третьего он думал, что проведет этот день у себя, в Роуз-хилле. У него в жизни бывали такие же периоды тревог, и смятений, и неопределенности, хотя почти всю жизнь он прожил одиноким холостяком; ему припомнились два или три случая, когда тоска и беспокойство оттого и возникали, что он был холост, то есть события, обстоятельства вынуждали его оставаться холостяком, несмотря на все попытки выйти из этого состояния. Но тогда, давно, ему было куда скрыться: в забвение, в забытье, в работу, которую он сам для себя придумал еще в Гарварде: снова перевести Ветхий завет на классический греческий язык первоначального перевода, а потом выучиться древнееврейскому и уж тогда действительно восстановить подлинный текст; он и вчера вечером подумал: *Ну, конечно, завтра могу заняться переводом, совсем его забросил.* Но утром он понял, что теперь ему этого мало, всегда будет мало. Конечно, он думал о рвении, которое вкладываешь в работу: не просто о способности сосредоточиться, но и об умении поверить в нее; теперь он постарел, а истинная трагедия старости в том, что нет тоски, настолько мучительной, чтобы из-за нее идти на жертвы, оправдывать их.

Так что и половины третьего еще не было, когда он, сам тому не удивляясь, сел в свою машину и, выехав на пустую по-воскресному площадь, тоже ничуть не удивился, когда увидел, что у входа в служебный кабинет его ждет Рэтлиф; и потом оба, уже не притворяясь друг перед другом, сидели в кабинете и смотрели, как стрелки медленно ползут к трем часам.

— А почему, собственно говоря, мы считаем, что три часа — какая-то заколдованная черта? — спросил Рэтлиф.

— Не все ли равно? — сказал Стивенс.

— Вы правы,— сказал Рэтлиф.— Главное дело — не порвать бы, не повредить бы эту самую нить.— И тут в сонной воскресной тишине часы

на здании суда мягко и гулко пробили три раза, и впервые Стивенс понял, как твердо он не то что ожидал, но знал — до этого часа телефон не зазвонит. И в ту же минуту, в ту же секунду он понял, почему звонка не было; самый факт, что его не было, больше говорил о том, какое сообщение могло быть передано, чем если бы его действительно передали.

— Значит, так,— сказал он.— Минк умер.

— Что? — сказал Рэтлиф.

— Не знаю, где он, да это и неважно. Надо бы нам знать с самого начала, что и три часа на свободе его убьют, не то что три дня.— Говорил он быстро, но отчетливо: — Разве вы не понимаете? Жалкое существо, без родных, без связей, всем чужой, ненужный, лишенный, в сущности, даже человеческих черт, а не то что права называться человеком; и его вдруг заперли в клетку на тридцать восемь лет, а теперь, в шестьдесят три года, выпустили, выкинули, вышвырнули из спокойной, защищенной клетки на свободу, все равно как кобру или медянку, которые живучи и смертельно опасны, пока их держат в созданной человеком искусственной тропической атмосфере, в изоляции стеклянных ящиков; но разве они прожили бы хоть один час, если б их выпустили на свободу и, поддев на вилы или захватив щипцами, швырнули бы на городскую улицу?

— Да погодите,— сказал Рэтлиф,— погодите.

Но Стивенс даже не остановился.

— Конечно, нам еще не сообщили, где его нашли, как и кем он был опознан, потому что до него никому нет дела; может быть, его еще и не подобрали. Ведь он теперь свободен. Он даже умереть может, где ему угодно. Тридцать восемь лет подряд до прошлого четверга у него не мог бы вскочить чирей, сломаться ноготь, чтоб об этом через пять минут не узнали. Но теперь он на свободе. Никому нет дела, когда, где или как он умрет, лишь бы его труп не валялся под ногами. Так что нам можно идти домой, а потом вам позвонят, и тогда вы с Флемом можете поехать опознать его.

— Да,— сказал Рэтлиф.— И все же...

— Бросьте,— сказал Стивенс.— Едем ко мне, выпьем.

— Может, проедем мимо и расскажем Флему, как обстоит дело,— сказал Рэтлиф.— Может, и он тогда выпьет стаканчик.

— В сущности, я человек не злой,— сказал Стивенс.— Я бы не дал Минку револьвер, чтоб он застрелил Флема; может быть, я и не смотрел бы спокойно, как Минк в него нацелился. Но тут я и пальцем не пошевелю, пусть Флем еще день-другой ждет, что Минк вот-вот убьет его.

Он даже не сообщил шерифу, что убежден в смерти Минка. Наоборот, шериф сам сказал ему об этом. Стивенс зашел к шерифу в здание суда и рассказал ему, что́ именно, по его и Рэтлифа предположениям, Минк собирается сделать и зачем и что мемфисская полиция будет по-прежнему ежедневно проверять те места, где Минк мог бы приобрести оружие.

— Значит, его, как видно, в Мемфисе нет,— сказал шериф.— Сколько дней уже прошло?

— Считайте с четверга.

— И во Французовой Балке его тоже нет.

— Откуда вы знаете?

— Я вчера туда ездил, смотрел, что и как.

— Значит, вы мне все-таки поверили,— сказал Стивенс.

— А я за поездки получаю суточные,— сказал шериф.— Погода вчера была хорошая, как раз для загородной прогулки. Значит, у него в распоряжении было четыре дня, а проехать ему всего сто миль. В Мемфисе его как будто нет. Я точно знаю, что во Французовой Балке его

не было. И, как вы говорите, мистер Сноупс знает, что и в Джефферсоне его нет. Может, он помер.— И вдруг, когда другой человек высказал эту мысль, выговорил ее вслух, Стивенс понял, что сам никогда в это не верил, и уже не слушал, что говорит шериф: — Такая мелкая гадина, змея, у него и друзей-то никаких никогда в жизни не было, там, в поселке, никто и не знает, что стало с его женой, с обеими дочками, куда они исчезли. Сидеть под замком тридцать восемь лет, а потом тебя выкинули, как кошку на ночь, деваться некуда, никому ты не нужен. Может, он не выдержал свободы. Может, свобода его и убила. Так бывает, я сам видел.

— Да,— сказал Стивенс,— наверно, вы правы,— а сам спокойно думал: *Мы его не остановим. Мы его не можем остановить — даже всем скопом, вместе с мемфисской полицией, с кем угодно. Может быть, даже гремучей змее, если только судьба за нее, может быть, ей никакой удачи не нужно, а уж друзей и подавно.* Вслух он сказал: — Но пока что мы ничего не знаем. Нельзя на это рассчитывать.

— Понимаю,— сказал шериф.— Я вчера же выдал полномочия двум людям в уорнеровской лавке, они говорят, что помнят его и сразу узнают. Могу дать охрану мистеру Сноупсу, пусть сопровождает его в банк и домой. Но, будь я проклят, мы же не знаем, за кем следить, когда, где? Не могу же я поставить охрану в дом к человеку, пока он сам не попросит, верно? А как его дочка, миссис Коль? Может быть, она что-нибудь сделает? Или вы все еще не хотите, чтоб она знала?

— Нет. Дайте мне слово! — сказал Стивенс.

— Хорошо,— сказал шериф.— Полагаю, что ваш приятель из Джексона сообщит вам, как только мемфисская полиция хоть что-нибудь разведает.

— Да,— сказал Стивенс. Но до среды никакого звонка оттуда не было. А Рэтлиф позвонил ему во вторник вечером, после десяти, и сообщил о том, что случилось, а наутро, по дороге на службу, он проехал мимо банка, где не подняли опущенные шторы, и, стоя у своего стола с телефонной трубкой в руках, он видел в окно мрачные черно-бело-фиолетовые извивы тюля, лент и восковых цветов, прикрепленных над запертой входной дверью.

— Он-таки нашел револьвер за десять долларов,— сказал голос его приятеля.— В понедельник утром. Ссудная лавчонка торговала, в сущности, без лицензии, оттого полиция чуть не пропустила ее. Но при некотором... м-мм... давлении владелец вспомнил эту сделку. И он сказал, что беспокоиться нечего, что этот револьвер только по видимости может считаться револьвером и что не хватит всех трех патронов, которые ему дали в придачу, чтобы этот пистолет сработал.

— Ха,— сказал Стивенс невесело.— Передайте от меня владельцу лавки, что он недооценивает свой товар. Револьвер вчера был здесь. И сработал.

17

В понедельник, часам к одиннадцати утра в кабине грузовика, перевозившего скот, он добрался до переезда. Грузовик шел на восток, к Алабаме, но даже если бы он повернул на юг и проехал через Джефферсон, Минк все равно слез бы у переезда. А если бы машина была из Йокнапатофы и вел ее кто-нибудь из жителей округа или Джефферсона, он вообще и не сел бы в нее никогда.

Пока он не вышел из лавки с револьвером в кармане, все казалось простым, надо было разрешить только одну задачу — достать револьвер;

после этого только расстояние отделяло его от той минуты, когда он подойдет к человеку,—который знал, что его отправляют на каторгу, и не только пальцем не пошевелил, но даже не нашел в себе мужества честно сказать «НЕТ» в ответ на истошный крик о помощи, на кровный призыв кровного родича,— подойдет, скажет ему: «Погляди на меня, Флем»,— и убьет его.

Но теперь надо было, как он говорил, «пошевелить мозгами». Ему казалось, что он столкнулся с какими-то непреодолимыми препятствиями. Он находился в тридцати милях от Джефферсона, у себя дома, и тут жили такие же люди, как везде на нагорьях северного Миссисипи, хотя бы здесь и проходила граница другого округа, и ему казалось, что с этой минуты каждый встречный, каждый, кто его увидит, даже не узнав его, не вспомнив его лицо, его имя, все равно поймет, кто он такой, куда идет и что намерен делать. И тут же сразу, следом, немедленно вспыхнула мысль — что это физически невозможно, но все же рисковать он не решался; за тридцать восемь лет, что он был заперт в Парчмене, в нем отмерла, разрушилась какая-то способность, несомненно обостренная в людях, живших на свободе, и они его узнают, они догадаются, поймут, кто он такой, а он даже не заметит, как это случится. *Наверно, все оттого, что меня тут долго не было,*— думал он.— *Наверно, теперь надо даже и говорить учиться заново.*

Он подразумевал не «говорить», а «думать». Он шел по шоссе, теперь оно было покрыто асфальтом, расчерчено прямыми линиями, вдоль которых неслись машины, а он помнил, как тут тянулся извилистый грязный проселок, где мулы и телеги или в редких случаях верховые лошади медленно тряслись по колеям и колдобинам, и знал, что ему невозможно изменить свою внешность — переменить черты лица, выражение, перекроить знакомую местную одежду или походку; на миг ему пришла в голову — и тут же была отброшена — отчаянная и дикая мысль: а что, если при виде легковой машины или грузовика поворачивать назад, чтобы создать впечатление, будто идешь в другую сторону. Теперь ему надо было изменить весь ход своих мыслей, как меняешь цветную лампочку в фонаре, хотя сам фонарь не меняется; пока он шел, он должен был твердо и неизменно *думать,* что он — кто-то другой, что он никогда и не слыхал про фамилию Сноупс и про город Джефферсон и даже не подозревает, что по этой дороге он непременно попадет туда; он должен был *думать,* будто идет совсем в другое место, с другой целью, куда-то за сто с лишним миль, и мысленно он уже там, только его тело, его шагающие ноги случайно проходят именно этот участок шоссе.

И еще надо было найти кого-то, с кем можно было бы поговорить, не вызывая подозрений, и не для того, чтобы собрать сведения, а чтобы подтвердить их. До той минуты, когда он наконец вышел из Парчмена на свободу и ощутил, что цель, к которой он терпеливо стремился тридцать восемь лет, теперь фактически достигнута, он считал, что собрал все нужные сведения из тех скопившихся за десяток лет слухов, которые, разумеется не каждый день и даже не каждый год, проникали в Парчмен: как и где живет его родич, как проводит время, какие у него привычки, когда и куда он уходит и откуда приходит, кто живет с ним в доме, кто его окружает. Но теперь, когда долгожданный миг почти наступил, сведения могли оказаться недостаточными. Они могли оказаться и совершенно неправильными, неверными; и снова он подумал: *А все оттого, что меня тут так долго не было, все оттого, что мне пришлось сидеть в таком месте,*— как будто ему пришлось пробыть тридцать восемь лет не только вне мира, но и вне жизни, так что даже события, прежде чем узнавал о них, уже переставали быть правдой и только тогда проникали к нему

за тюремные стены; и за этими стенами они становились per se * враждебными, и предательскими, и опасными для него, если только он попробует их использовать, понадеяться на них, довериться им.

И наконец этот револьвер. Дорога опустела, с обеих сторон ее обступил густой лес, ни звука, ни дома, ни души вокруг, и он достал револьвер и посмотрел на него почти что с отчаянием. И утром, в лавке, он не очень походил на револьвер, а тут, в солнечной сельской послеобеденной тишине, он вообще ни на что не был похож, скорее всего он снова напомнил ему, как и в первый миг, ископаемую черепаху. Но ему надо было проверить этот револьвер, истратить один из трех патронов, просто чтобы посмотреть, будет ли он стрелять, и на минуту, на секунду что-то подтолкнуло его память. *Должен выстрелить,*— подумал он. — *Что ж ему еще делать. Старый Хозяин только наказывает, а шуток Он не шутит.*

К тому же он проголодался. Он ничего не ел после той пачки печенья рано утром. Оставалось еще немного денег, и он уже прошел две бензозаправочные станции с лавками. Но он был на родине, он не решился остановиться в лавке и купить сыру с галетами, хотя у него хватило бы денег. Тут он вспомнил, что предстоит где-то провести ночь. По солнцу сейчас было не позже трех; до завтра он никак не мог попасть в Джефферсон, так что дело придется отложить до завтрашнего вечера, поэтому он почти что инстинктивно свернул с шоссе на проселок — он и сам не мог бы сказать, когда стал замечать на придорожном бурьяне и на колючках клочки хлопка, повыдерганные из проезжавших фургонов, да и дорога была ему знакома по тем давнишним свободным годам, прожитым на арендованной ферме: негритянская дорога, изъезженная колесами, отмеченная клочками хлопка, но немощеная, даже неукатанная, потому что у людей, живших вдоль этой дороги, не было ни права голосования, чтобы заставить, ни денег, чтобы побудить дорожного инспектора участка сделать что-то с их дорогой, а не просто разравнивать и размечать ее дважды в год.

Он нашел не только то, что искал, но и то, чего заранее ждал: убогую покосившуюся некрашеную хибарку, со всех сторон окруженную полуразвалившимися, тоже некрашеными и убогими загонами и службами — сарайчиками, амбарами, навесами, а дальше на взгорье у ручья — хлопковый участок; ему было видно, как вся негритянская семья, с двумя-тремя соседями, волокла по междурядьям длинные перепачканные мешки, не отставая друг от друга,— отец, мать, пятеро ребятишек от пяти-шести до двенадцати и четверо парней с девушками, наверно соседи, по очереди помогавшие друг другу на сборе хлопка, и он, Минк, остановился в конце ряда, выжидая, пока отец, по всей видимости хозяин участка, подойдет к нему.

— Здорово,— сказал он,— вам, наверно, лишние руки не помешают.

— Хотите собирать? — спросил негр.

— А сколько платите?

— Шесть монет.

— Что ж, я вам подсоблю,— сказал Минк. Негр обратился к девочке лет двенадцати, шедшей рядом:

— Отдай ему мешок. А сама ступай в дом собирай ужин.

Он взял мешок. Работа была ему хорошо знакома. Всю свою жизнь в это время года он собирал хлопок. Разница была только в том, что последние тридцать восемь лет в конце междурядья винтовка или бич ждали тех, кто отстанет, а тут, как бывало прежде, тех, кто соберет по-

---

* Сами собой (*лат.*).

больше, ждали весы и деньги. Как он и думал, его наниматель шел по соседнему междурядью.

— Вы, как видно, не здешний,— сказал негр.

— Верно,— ответил он.— Я тут проездом. К дочке еду в Дельту, она там живет.

— А где именно? — спросил негр.— Я сам как-то в Дельте работал.

Дело было не в том, что он должен был ждать, что его спросят, и постараться обойти этот вопрос. Неважно, что спросят, лишь бы не забыть, что сейчас он — не он, а кто-то другой. Он ответил не мешкая, даже с охотой:

— Она в Додсвиле. Неподалеку от Парчмена.— И, зная, какой должен быть следующий вопрос, хотя негр его не задал и не задаст, он и на него ответил: — Я целый год пролежал в больнице, в Мемфисе. Доктор сказал, мне полезно пешком ходить. Вот я и пошел и на поезд не сел.

— Для инвалидов больница, что ли? — сказал негр.

— Как? — сказал он.

— Больница казенная, для инвалидов?

— Вот именно,— сказал он.— Меня на казенный счет держали. Больше года.

Солнце уже заходило. Жена ушла в дом.

— Хотите, сейчас взвесим? — спросил негр.

— Да мне не к спеху,— сказал он.— Я и завтра могу у вас полдня поработать, лишь бы мне в обед кончить. Если ваша жена даст мне поесть и подстилку на ночь, можете вычесть из платы.

— Я в своем доме с людей за еду не беру,— сказал негр.

Ему подали еду на стол, покрытый клеенкой, при керосиновой лампе, стол стоял в пристройке, где медленно догорала дровяная плита. Он ел в одиночестве, вся семья негра куда-то скрылась, дом казался пустым; когда хозяин позвал его ужинать, тарелка со свининой, тушенной вместе с кукурузой и помидорами, и бледные, мягкие, непропеченные лепешки с чашкой кофе уже стояли на столе. Потом он прошел в жилую комнату, где в очаге тлели угли — ночь была осенняя, прохладная; тотчас же старшая девочка с матерью встали и пошли в кухню собирать ужин всей семье. Он пододвинулся к огню, вытянул ноги, в его возрасте ночная прохлада дает себя чувствовать. Он заговорил небрежно, как бы заводя беседу из вежливости, вскользь, сначала можно было подумать, что он и не слушал ответов.

— Наверно, вы хлопок сдаете на очистку в Джефферсоне. Я там кое-кого знал. Одного банкира. Де Спейн по фамилии, если не ошибаюсь. Давно это было, много лет назад.

— Такого не помню,— сказал негр.— Теперь главный банкир в Джефферсоне мистер Сноупс.

— Ага. Я и про него слыхал. Большой человек. Большой богач. Живет в большом доме, в городе такого другого нет, и там у него повариха служит и еще человек, подает за столом им двоим, ему и этой его дочке, той, что притворяется глухой.

— Она и есть глухая, была на войне. Пушка выстрелила, у нее перепонки лопнули.

— Да, она так и говорит.— Негр ничего не ответил. Он спокойно сидел в единственной качалке — наверно, другой у них и не было,— и не раскачивался. Но в нем уже чувствовалось не просто спокойствие, а какая-то напряженная неподвижность, словно он затаил дыхание. Минк сидел спиной к огню, к свету, так что лица его видно не было, но голос у него не изменился:

— Баба — и на войне. Здорово она всех их одурачила. Знал я таких. Выдумает что-нибудь, а кругом народ вежливый, никто ее лгуньей не обзовет. А слышит она, наверное, ничуть не хуже нас с вами.

Тут негр заговорил, и голос у него был строгий:

— Кто вам сказал, что она притворяется, тот лгун и есть. И не то что в одном Джефферсоне, про нее и в других местах всю правду знают, хоть, может, до вашей казенной больницы, или где там вы были, может, туда и не дошло. Я бы на вашем месте спорить не стал. И вообще я бы поосторожнее спорил, неизвестно, на кого еще нападешь.

— Верно, верно,— сказал Минк.— Вам, джефферсоновским, оно видней. Значит, по-вашему, она ничего не слышит? Можно подойти к ней сзади, прямо в комнате, и она ничего не услышит?

— Да,-сказал негр,— да.— Его двенадцатилетняя дочка уже стояла в дверях.— Она глухая. И вы не спорьте. Господь ее наказал, как наказывал многих, кто вам не чета и мне не чета. Уж вы тут не спорьте.

— Так, так,— сказал Минк.— Вот оно что. Вас ужинать зовут.— Негр встал.

— А куда вы ночью денетесь? — спросил он.— У нас тут места нет.

— Мне ничего не надо,— сказал Минк.— Тот доктор велел, чтоб я побольше воздухом дышал. Может, у вас лишнее одеяло найдется, я бы прилег в грузовике, а утром спозаранку начал бы работать.

Хлопок, до половины наполнявший грузовик, был прикрыт на ночь брезентом, так что ему даже одеяло не понадобилось. Он отлично устроился. А главное — подальше от земли. Вот главная опасность, от которой человеку надо беречься: как только ляжешь прямо на землю, она тебя начинает тянуть к себе. В ту минуту, как человек родился, вышел из материнского тела, сила земли, ее тяга начинает на него действовать; и не будь тут кругом женщин, родственниц или соседок, а может. и наемных нянек, не держи они его, не поднимай кверху, он бы и часу не прожил. И он это чувствовал. Только стал двигаться — и уже голова потянулась вверх, хоть он еще и подняться не мог, и с той поры он изо всех сил противился этой тяге, старался подняться, хватался за стулья, за что попало, и хоть стоять еще не мог, а уже отрывался от земли, обороняясь от нее. А потом научился стоять самостоятельно, сделал шаг. другой, но все равно первые два-три года жизни половину времени проводил на земле, и старая, терпеливая, выносливая земля ему говорила: «Ничего, ты просто споткнулся, тебе не больно, не бойся». А потом он стал мужчиной, сильным, зрелым, изредка отваживался лечь на землю, в лесу, охотясь ночью; дом был далеко, возвращаться поздно, значит, можно ночь проспать на земле. Конечно, он старался что-нибудь найти — доску, бревно, а то и кучу хвороста,— что угодно, лишь бы оно отделяло его, беспомощного, беспамятного, сонного, от нее — от старой терпеливой земли, она-то может ждать, потому что она все равно каждого заберет раньше или позже, и если кто сейчас осмелел, так это вовсе не значит, что она всегда ему будет спускать. И каждый это знает: пока ты молодой, сильный, ты еще рискуешь провести ночь прямо на земле, а уж две ночи подряд — никак. Бывало, работаешь в поле, захочешь передохнуть, сядешь под дерево или под куст, съешь свой полдник, а потом приляжешь, заснешь ненадолго, проснешься — и в первую минуту не сразу сообразишь, где ты, по той простой причине, что ты не весь тут: за то короткое время, что ты забылся, старая, терпеливая земля, выжидая и не торопясь, уже стала потихоньку забирать над тобой власть, только, на твое счастье, ты проснулся вовремя. Так что, если бы пришлось, можно было бы рискнуть проспать на земле эту единственную последнюю ночь. Но ему

не пришлось ложиться на землю. Казалось, Старый Хозяин сам сказал: «Помогать я тебе не стану, но и мешать тоже не буду».

Потом посветлело, рассвело. Он снова поел в одиночестве, а когда взошло солнце, все снова стали собирать хлопок; в эти благодатные дни жатвы, между летними росами и первыми осенними заморозками, хлопок сухой, можно собирать его чуть только развиднеется; работали до полудня.

— Ну вот,— сказал он негру,— хоть какая, а все-таки вам помощь. Значит, сейчас уже кипа набралась, можно везти в Джефферсон, на очистку, а я, пожалуй, подъеду с вами по пути, раз уж оказия выпала.

Наконец-то он оказался совсем близко, совсем рядом. Тридцать восемь лет прошло, большой крюк пришлось сделать на юг, к Дельте, и опять сюда обратно, но теперь он был близко. Однако теперь дорога шла в Джефферсон иначе, не та старая дорога мимо лавки Уорнера, которую он хорошо помнил. И новые железные столбы с цифрами не походили на старые, написанные от руки доски, что остались в памяти, и хотя цифры он читать умел, он понял, что не все они означают мили, потому что они не уменьшались. Но даже если это мили, все равно надо было проверить:

— Как будто эта дорога прямо идет, через Джефферсон?

— Да,— сказал негр. — А там можно свернуть на Дельту.

— Оно и верно. А далеко еще до города?

— Восемь миль,— сказал негр. Уж милю-то он умел отмерить и без всяких столбов, вот семь, потом шесть, потом пять. а по солнцу прошел только час после полудня; вот уже четыре мили, длинный спуск, внизу — пересохший ручей, и тут он сказал:

— Вот напасть, выпустите-ка меня у мостика. Не успел сбегать утром.— Негр притормозил грузовик у мостика. — Спасибо,— сказал Минк,— дальше уж я пешком пойду. По правде говоря, не хотел бы я попасться на глаза этому своему доктору, увидал бы он, что я на грузовиках езжу, наверно, содрал бы с меня лишний доллар.

— Я вас подожду, — сказал негр.

— Нет, нет, — сказал Минк. — Вам надо поспеть на очистку и домой вернуться засветло. Где ж у вас время? — Он вышел из кабины и сказал, по незапамятному сельскому обычаю вместо благодарности:— Сколько я вам должен? — и негр ответил по тому же обычаю:

— Ничего. Мне все равно по пути.

— Премного обязан, — сказал Минк. — Только доктору ни слова, ежели он вам попадется. Может, встретимся в Дельте.

И грузовик уехал. Дорога сразу опустела. Достаточно немного отойти в сторону, и его не будет видно. Ежели только возможно, лучше, чтоб никто не слышал этот пробный выстрел. Он сам не знал, зачем ему это; он не мог бы выразить словами, что после тридцати восьми лет жизни на виду, на людях ему теперь хочется, ему необходимо ощутить каждую крупицу уединения, которую давала свобода; и потом до темноты оставалось еще часов пять-шесть и примерно столько же миль, и он шел сквозь чащу — шиповник, кипарисы, ивы — по усохшему дну ручья с четверть мили, как вдруг остановился в радостном удивлении, почти в восторге. Он увидал над лощиной железнодорожный мостик. Теперь он не только понял, как добраться до Джефферсона, не рискуя повстречать людей, которые своим привычным йокнапатофским чутьем сразу угадали бы, кто он такой и что намерен делать,— теперь он знал, чем занять время до темноты, когда можно будет идти дальше.

Ему казалось, будто за эти тридцать восемь лет он ни разу не видал железной дороги. Правда, по одну сторону колючей проволоки, окружавшей Парчмен, шел железнодорожный путь, и, насколько он помнил,

поезда проходили там ежедневно. А иногда команды заключенных под конвоем отправляли на какие-нибудь простые строительные или ремонтные работы недалеко от железной дороги, и там он тоже видал поезда, проходившие по Дельте. Но хотя колючей проволоки и не было, смотрел он на них из тюрьмы; он видел эти поезда, он смотрел на них, но они были свободными и потому чуждыми, они мчались, они существовали на воле и оттого казались нереальностью, миражем, химерой, без прошлого и будущего, они даже никуда не шли, потому что пункты их назначения для него не существовали: только секунда, миг движения — и все, будто их не было. Но теперь стало иначе. Сам свободный, он мог теперь смотреть, как они свободно мчатся, теперь он был такой же, как они, даже чем-то связан с ними: им — лететь, мчаться в дыме, в гуде, в пространстве, ему — смотреть на них, вспоминать, как тридцать восемь или сорок лет назад, как раз перед тем, как ему попасть в Парчмен, с ним случились какие-то злоключения в делах, он не помнит какие, но, в общем, так бывало всю жизнь: вечно его настигала, преследовала какая-нибудь незадача, постоянная обида, несправедливость, вечно ему приходилось все бросать, чтобы справиться с этой бедой, осилить ее, а бороться было нечем, никаких средств, никаких орудий, даже времени он выкроить не мог из-за беспрерывной, неустанной работы, которой он кормил себя и свою семью; вот такая тяжелая минута, а может быть, и просто желание увидеть поезд и привели его тогда за двадцать две мили от Французовой Балки. Из-за чего-то ему пришлось провести ночь в городе, он уже не помнил почему, и он пошел на вокзал посмотреть, как проходит пассажирский поезд на Новый Орлеан — на шипящий паровоз, на освещенные вагоны, и в каждом — нахальный заносчивый негр-проводник, в одном вагоне люди ужинают, им прислуживают другие негры, а потом пассажиры разойдутся по спальным вагонам, где их ждут настоящие постели; поезд стоит недолго, и уже его нет: длинный, наглухо запертый кусок другого мира пронесся по темной земле, а бедняки в комбинезонах, вроде него, вырвав свободную минуту, стоят и глазеют, но ни сам поезд, ни люди в нем не знают, смотрит ли кто на них или нет.

Но тогда он стоял и смотрел свободно, как все люди, хоть и был на нем старый комбинезон, а не бриллиантовые перстни; и сейчас он тоже был на свободе, пока вдруг не вспомнил, что он узнал в Парчмене еще одну вещь за те долгие томительные годы, когда он, готовясь выйти из тюрьмы, должен был собирать всякие сведения, мелочь, потому что иначе, когда подойдет тот день, день свободы, вдруг может оказаться поздно, вдруг окажется, что он чего-то не знает; и там он узнал, что с 1935 года пассажирские поезда через Джефферсон не ходят и что железная дорога (которую старый полковник Сарторис, не тот банкир, прозванный полковником, а его отец, настоящий полковник, командовавший местным отрядом в давнишней войне Севера и Юга, выстроил, и, по рассказам стариков, которых он, Минк, еще знал и помнил, это было самым большим событием в Йокнапатофском округе) должна была связать Джефферсон и всю округу с Мексиканским заливом с одной стороны и с Великими Озерами с другой, а теперь она превратилась в заброшенную, заросшую сорняками местную ветку, по которой, да и то не ежедневно, ходят всего лишь два местных товарных поезда.

Но в таком случае именно эта заброшенная колея могла привести его в город без всяких помех, тут уж никто не нарушит его уединение, его свободу, заработанную с таким трудом в течение тридцати восьми лет: и он повернулся и пошел назад, прошел ярдов сто, потом остановился: вокруг никого не было, только густая чаща, пронизанная тишиной сентябрьского дня. Он вынул пистолет. *Уж больно похож на ящерку,*— по-

думал он, и сначала ему показалось, что это смешно и забавно, но вдруг он понял, что в нем говорит отчаяние; теперь он знал, что эта штука не может, не будет стрелять, и когда он, повернув барабан, чтобы первый из трех патронов лег под боек, взвел курок, и прицелился в ствол кипариса футах в четырех-пяти, и нажал спуск, и услыхал негромкий пустой щелк, единственным его чувством было чувство спокойной правоты, почти что превосходства оттого, что он оказался прав, оттого, что он имел неоспоримое право сказать: «Так я и знал», — и вдруг, хотя он даже не заметил, что снова взвел курок, не понял, куда целится, эта штука дернулась и загремела неожиданно со вспышкой пламени из слишком короткого дула; и только тут, чуть не упустив момент, он отчаянным судорожным движением удержал руку, чтобы помимо воли не взвести курок и не разрядить третий, последний патрон. Но он спохватился вовремя, высвободил большой и указательный пальцы и, перехватив левой рукой револьвер, отнял его у правой, чуть не оставшись с пустым и бесполезным оружием в руках, после таких стараний, таких поисков, такой траты времени. *Может, последний тоже не выстрелит,*— подумал он, но только на миг, на секунду, и сразу, тут же: *Нет, брат. Должен выстрелить. Должен — и все. Другого выхода нет. Зря я беспокоюсь. Старый Хозяин наказать наказывает, а шуток Он не шутит.*

И теперь (по солнцу было часа два, не больше, до заката осталось еще по крайней мере часа четыре) он мог еще раз рискнуть лечь на землю в этот поздний, в этот последний час, да к тому же прошлую ночь он провел в грузовике, так что одно очко было в его пользу. И он повернул к мостику, прошел под ним, на случай если кто-нибудь, услышав выстрел, решит взглянуть, что случилось; потом нашел ровное местечко за стволом дерева и прилег. И сразу почувствовал медленное, потаенное, ищущее прикосновение, когда старая, долготерпеливая, неспешная земля сказала себе: «Вот так так, будь я неладна, кто-то уже улегся, как говорится, у меня на пороге». Но ему было все равно, ненадолго он мог рискнуть. Можно было подумать, что у него есть будильник; он проснулся точно в ту минуту, когда сквозь просветы в листьях стало видно, как последние лучи солнца уходят, гаснут в небе, и в уходящем свете он едва смог выбраться из чащи к железнодорожному пути и выйти на него. Здесь было светлее, последнюю милю до города его провожал закат, пока совсем не угас, уступив место темноте, пронизанной скупым светом городских окраин, а потом показалась первая тихая городская улочка, неподвижная рука семафора на переезде и единственный одинокий фонарь у перекрестка, где, увидев его, негритянский мальчишка на велосипеде успел вовремя затормозить и остановиться.

— Здорово, приятель,— сказал Минк и спросил, как обычно спрашивали старики негры, не «Где тут живет», а «Где тут жительствует мистер Флем Сноупс?»

В эти дни, точнее говоря, с прошлого четверга, по вечерам, примерно с половины десятого, с десяти часов, к Флему Сноупсу был приставлен телохранитель, хотя, кроме жены телохранителя, ни один белый человек в Джефферсоне, включая самого Сноупса, об этом не знал. Звали этого стража Лютер Биглин, раньше, до последних выборов шерифа, он жил в деревне, тренировал охотничьих собак и сам занимался промысловой охотой и фермерством. Но его жена приходилась племянницей мужа сестры жены шерифа Ифраима Бишопа, а мать была сестрой местного политического босса, чья железная длань управляла тем участком округа (как старый Билл Уорнер правил своим участком во Французовой Балке), где Бишоп был избран шерифом. Поэтому Биглин был назначен тюремщиком, пока Бишоп занимал пост шерифа. Впрочем, это

назначение определенно отличалось от обычных назначений по протекции. Чаще всего бывает, что человек, назначенный на такой малый пост в служебной иерархии, не вкладывает в свою работу никакого интереса и только занимает должность, хотя он к ней, в сущности, не стремился и попал на нее исключительно под давлением своего семейства, чтобы вытеснить представителя другой политической партии; но Биглин относился к своей работе с той страстной восторженной преданностью и верой в непогрешимость, честность и могущество своего родственника, шерифа, как, скажем, простой капрал в армии Мюрата относился к символическому маршальскому жезлу в руках своего командира. Он был не только честный малый (даже в браконьерской охоте на оленей, уток и перепелов он мог нарушить закон, но никогда не нарушал слова), он был и храбрый человек. После Пирл-Харбора, несмотря на то что его дядя мог бы найти или придумать — и непременно придумал бы,— как освободить его от военной службы, Биглин добровольно пошел в морскую пехоту, где, к вящему своему удивлению, узнал, что по военным стандартам его правый глаз почти лишен зрения. Сам он этого не замечал. Читал он мало, больше слушал радио, а в стрельбе он был одним из лучших во всей округе, хотя стрелял размашисто, неэкономно, неуклюже — он был левша, целился с левого плеча; за время, что он занимался тремя предыдущими своими профессиями, он расстрелял больше патронов, чем любой другой житель; а к тридцати годам он уже сменил два комплекта стволов, причем его дефект пошел ему на пользу, потому что ему не нужно было учиться не моргать глазами, чтобы видеть мушку и цель одновременно или прищуривать правый глаз для точной наводки. И вот он узнал (не в порядке любопытства, а в порядке кровных бюрократических связей), даже раньше, чем об этом узнал шериф, потому что он, Биглин, сразу в это поверил,— что с того часа, как Минка Сноупса наконец выпустили из каторжной тюрьмы, его угрозы родичу не только нельзя забыть, но даже пренебрегать ими нельзя, как склонен был сделать его патрон и начальник.

Так что его цель, его намерение в основном заключалось в том, чтобы сохранить незапятнанной служебную честь своего родича, шерифа, в чьи обязанности входила охрана спокойствия граждан, их жизни и благополучия, а в этом и он, Биглин, принимал посильное участие. Притом у него была еще одна цель, о которой знала только его жена. Даже с шерифом он не поделился своими планами, он рассказал о них только жене: «Может быть, тут ничего и нет, как говорит кузен Иф: просто еще одна выдумка юриста Стивенса. Но представь себе, что кузен Иф не прав, а прав Стивенс; ты только представь себе...» Он ясно видел перед собой все: последняя доля секунды, мистер Сноупс беспомощно лежит в постели, в последний раз он испускает крик, тщетно моля о помощи, зная, что она не придет, и уж нож (топор, молоток, полено, чем там вооружен одержимый жаждой мести убийца) готов опуститься на его голову. Но тут Биглин вбегает, вламывается в комнату, в одной руке — потайной фонарь, в другой — револьвер; один выстрел — убийца падает на свою жертву, и на его лице выражение демонического злорадства и торжества превращается в растерянность... «Понимаешь, мистер Сноупс нас озолотит! Как же иначе! Что же ему еще останется делать!»

Но так как мистер Сноупс не должен был знать об этом (шериф объяснил Биглину, что в Америке нельзя опекать свободного человека, если только он сам об этом не попросит или, по крайней мере, не согласится принять помощь), то Биглин не мог находиться в спальне, где ему полагалось быть, а вместо того ему пришлось искать наиболее удобное

место под ближайшим окном, откуда можно было бы влезть в спальню или по крайней мере взять убийцу на мушку. А это значило, что, безусловно, придется сидеть всю ночь. Он был хорошим тюремщиком, добросовестным служакой, держал тюрьму в чистоте, хорошо кормил заключенных; кроме того, ему приходилось выполнять мелкие поручения шерифа. И вот теперь за все сутки у него для сна оставалось только время между ужином и той неизбежной минутой, когда надо было занять свой пост под окнами спальни Сноупса. Поэтому каждый вечер, сразу после ужина, он ложился спать, а его жена уходила в кино и, вернувшись около половины десятого, будила мужа. С потайным фонарем, револьвером, со складным стулом и сандвичем в кармане, в толстом свитере, защищавшем от простуды — в конце сентября к полуночи становилось совсем холодно,— он стоял, молча, не шевелясь, у забора, напротив окна той комнаты, где, как знали все в Джефферсоне, Сноупс проводил все то время, когда не был в банке, и выжидал, пока потухнет свет; к этому времени слуги — двое негров — уже уходили из дому. Тогда Биглин осторожно переходил лужайку, раскладывал стул и усаживался под окном, причем сидел он так неподвижно, что бродячие собаки, бегавшие по Джефферсону по ночам, чуть не натыкались на него, но чутьем, нюхом, словом, каким-то образом они обнаруживали, что он не спит, и с перепугу, присев на хвост и перевернувшись волчком, удирали прочь. Так он сидел до рассвета, а потом складывал стул, проверял, сунул ли он в карман бумажку из-под сандвича, и уходил; впрочем, если бы Сноупс не спал, а дочка его не была бы глухой, как стенка, они уже в воскресенье могли бы услышать, как он похрапывает, если только какой-нибудь из бродячих полуночников-псов, почувствовав, пронюхав, словом, каким-то образом обнаружив, что он спит и им не опасен, не тыкался в него холодным носом.

Ничего этого Минк не знал. Но даже если бы и знал, ничто не изменилось бы. Он просто посмотрел бы на все это дело — на Биглина, на то, что Сноупса теперь охраняют,— как на еще одно проявление безграничной способности враждебных сил, преследовавших его всю жизнь, изобретать мелкие пакости. Так что даже если бы он и знал, что Биглин уже занял пост под окном той комнаты, где сидел Флем (а он не торопился, наоборот, после того, как тот мальчик-негр с велосипедом указал ему дорогу, он подумал: *Рановато я пришел. Пускай сначала поужинают и негры ихние пусть уберутся из дому),* он все равно вел бы себя точно так же: он не таился, не подкрадывался, просто он был невиден, неслышен, неотвратимо чужой, как мелкий койот или волчонок; он не пригибался, не прятался у забора, как прятался сам Биглин, когда приходил, нет, он просто сидел на корточках — как человек деревенский, он мог сидеть в такой позе часами,— прислонясь к забору, и рассматривал дом; он и раньше представлял себе его вид и расположение по тем сведениям и слухам, которые незаметной тончайшей струйкой медленно просачивались в Парчмен, ему приходилось собирать, выпытывать эти сведения у посторонних людей, скрывая от них, как важно ему знать то, о чем он расспрашивает; и теперь он смотрел на внушительное белое здание с колоннами, чувствуя только какую-то гордость оттого, что один из Сноупсов владеет таким домом, без тени, без признака зависти; в другое время, завтра, хотя он сам и не мечтал бы, даже не хотел бы, чтоб его принимали в этом доме, он, наверно, сказал бы чужому человеку с гордостью: «Тут мой двоюродный брат живет. Дом его собственный».

С виду дом был точно такой, каким он его представлял себе. Вот освещенные окна угловой комнаты, где, как он знал, сидит его родич (на-

верно, они уже поужинали, времени он им дал достаточно), уперев ноги в ту специальную планку, которую, как он слышал в Парчмене, другой их родич — Минк его никогда не видел, потому что тот, Уот Сноупс, слишком поздно родился,— прибил для этого к каминной доске. Освещены и окна комнаты рядом, хотя этого он не ожидал — он знал, что глухая дочка устроила для себя комнату наверху. Но наверху света не было, должно быть, глухая тоже сидела внизу. И хотя свет в кухне означал, что и негры-слуги еще не ушли, но его так неодолимо тянуло к дому, что он уже привстал и собрался было подойти к окошку, посмотреть и, если надо, сразу приступить к делу, а ведь он тридцать восемь лет учился терпению и должен был дойти до совершенства. Но если слишком долго дожидаться, Флем мог лечь, может быть даже уснуть. А это было бы невыносимо, этого нельзя было допустить: должен наступить такой миг, пусть хотя бы доля секунды, когда он скажет: «Посмотри на меня, Флем»,— и тот посмотрит. Но все же он удержался, недаром он тридцать восемь лет учился ждать, и снова присел, опустился на корточки, поправив тяжелый револьвер, засунутый за нагрудник комбинезона; наверно, ее комната на другой стороне, свет у нее в окнах отсюда не виден, а то, что внизу освещена и вторая комната, ровно ничего не значит: если бы он был такой важный и богатый, как его родич Флем, и жил бы в таком красивом доме, так он бы тоже зажигал свет по всему этажу.

Потом свет в кухне погас, вскоре он услыхал голоса негров — поварихи и привратника,— они разговаривали, проходя мимо него (он даже не затаил дыхания), и, пройдя футах в десяти, вышли за калитку в ограде, и голоса их медленно уходили вниз по улице, пока совсем не замерли вдали. И тут он поднялся, спокойно, без спешки, не крадучись, не таясь: просто такой маленький, такой бесцветный, что его и не заметишь, прошел по газону перед домом к окну (ему пришлось встать на цыпочки), заглянул в окно и увидал своего родича, тот сидел во вращающемся кресле, точь-в-точь как в банке или конторе, уперев ноги в каминную доску, со шляпой на голове, как он, Минк, и ожидал его увидеть, все такой же, хотя Минк не видел его сорок лет; конечно, немного он все-таки изменился: черная плантаторская шляпа, про которую он слыхал в Парчмене, была новая, но маленький галстук-бабочка мог быть тем самым, что он носил сорок лет назад в уорнеровской лавке, зато рубашка на нем была белая, городская, и брюки темные, городские, и башмаки — начищенные городские башмаки, а не тяжелые фермерские сапожищи. Но в общем он не изменился: сидит, ничего не читает, ноги задрал, шляпа на голове, а челюсти медленно двигаются, словно что-то жуют.

Надо было для верности обойти дом, увидеть, освещены ли окошки в верхнем этаже с другой стороны, и он стал было обходить дом, но вдруг подумал: не заглянуть ли сначала и во вторую комнату, где виднелся свет, раз он уже так близко, и он пошел вдоль стенки, неслышный, как тень, не тяжелее тени, и снова встал на цыпочки и заглянул в соседнее окно, в соседнюю комнату. Он увидел ее сразу и сразу узнал; комната чуть ли не до потолка уставлена книгами — он и не думал, что их так много бывает,— и женщина у стола посреди комнаты под лампой читает одну из этих книжек, на ней очки в роговой оправе, в темных волосах единственная седая прядь — он и об этом слыхал в Парчмене. На секунду им снова овладела прежняя беспомощная ярость и обида, она чуть не доконала, чуть не погубила его в эту минуту — та же ярость и злоба, которая одолела его, когда он узнал, что она вернулась домой, как видно навсегда, и теперь живет в одном доме с Флемом, и

потом он два или три года подряд неотступно думал: *А вдруг она вовсе не глухая? Вдруг она просто всех дурачит, черт ее знает, какие у нее пакости на уме,*— потому что узнать правду — глухая она или нет — он мог, только понадеявшись на других людей, более того, сделав ставку на ненадежные, сомнительные сведения, на слухи, переданные через третьи-четвертые руки. В конце концов тогда он схитрил, соврал и добился приема у тюремного врача, но тут снова встало препятствие: он не смел спросить то, что ему хотелось, что нужно, необходимо было узнать, он только узнал, что даже совершенно глухие ощущают, могут почувствовать сотрясение воздуха, если звук достаточно громкий или достаточно близкий.

«Как... как...» — сказал Минк, не удержавшись. Но было уже поздно: врач договорил за него: «Вот именно. Как выстрел. Но даже если бы вы могли убедить нас, что вы глухой, как же это помогло бы вам выйти отсюда?» — «Верно, верно,— сказал Минк.— Зачем мне слышать, как бич щелкает, я его и так чувствую».

Но все это было неважно: он знал, что она устроила для себя комнаты наверху, а по тем слухам, которые просачивались к нему в Парчмен — тут людям приходилось верить, нельзя было не верить, ничего не поделаешь,— он знал и то, что его родич все время сидит в этой своей комнатушке внизу, хотя дом у него, как говорили, чуть ли не побольше всей тюрьмы. И вдруг заглянуть в окно и увидеть ее не там, наверху, в другом конце дома, где ей полагалось быть, где, как он уверил себя, она непременно будет, но тут же, рядом, в соседней комнате. Значит, то, во что он до сих пор верил, на что надеялся, тоже может оказаться брехней, ерундой; не нужно даже, чтобы двери между двумя комнатами были открыты: она наверняка и так почувствует то, что тюремный врач назвал сотрясением воздуха, потому что она вовсе и не глухая. Значит, все его обманывало; и он спокойно думал: *А у меня всего-то одна пуля осталась, даже если б я успел два раза выстрелить, пока с улицы не ворвутся. Надо бы найти полено, что ли, или кусок железа,*— чувствуя, что вот она, погибель, вот он, конец, и вдруг он сам себя одернул, остановил на краю пропасти, бормоча вслух, шепча самому себе: «Стой, стой, погоди. Я же тебе говорил — Старый Хозяин шуток не шутит, Он только наказывает. Конечно же она глухая, разве тебе не повторяли сто раз, что весь Миссисипи об этом знает? Я не про этого проклятого доктора в Парчмене, я не про эту сволочь тюремную, про тех, у кого я выпытывал и выспрашивал, я про него, про того вчерашнего негра, он до того обнаглел, что чуть не обозвал в глаза белого человека вруном, а я только всего и сказал, что, может, она народ дурачит. А этим черномазым все известно, они про белых людей всю подноготную знают, а уж не зря про нее говорят, что она продалась черномазым, да к тому же она еще из этих, из *коммонистов,* уж про нее не то что в Йокнапатофском округе, а и в Мемфисе и в самом Чикаго любой негр знает, глухая она или нет, они ее насквозь знают, не иначе. Ну конечно же она глухая и сидит спиной к двери, и надо пройти мимо, а там, наверно, есть и вторая дверь, только и останется, что выйти через ту дверь, другим ходом»,— и он пошел, не торопясь, не крадучись, просто совсем маленький, совсем легкий на ходу, совсем незаметный,— обогнул дом и по ступенькам, меж высоких колонн портика, тихо отворив решетчатую дверь в прихожую, как любой гость, посетитель, приглашенный, прошел через холл мимо открытых дверей, где сидела та женщина, и, даже не взглянув на нее, подошел ко второй двери, вытащил револьвер из-за нагрудника комбинезона; и, думая торопливо, чуть сбивчиво, как будто ему не хватало дыхания: *У меня всего-то одна пуля,*

значит, надо в голову, в лицо; в тело не рискнешь, с одной-то пулей,— вошел в комнату, где сидел его родич, и пробежал несколько шагов к нему.

Ему не пришлось говорить: «Посмотри на меня, Флем». Тот уже смотрел на него, повернув голову через плечо. Он не двинулся с места, только челюсти перестали жевать, остановились. Потом он задвигался, слегка наклонился в кресле и уже стал было опускать ноги с каминной доски, и кресло тоже начало поворачиваться, когда Минк, остановившись футах в пяти, поднял двумя руками кургузый, похожий на жабу, заржавленный револьвер, взвел курок, нацелился, думая: *Он должен попасть в лицо,*— не «я должен», а «*Он* должен»,— и нажал спуск, и скорее почувствовал, чем услыхал, тупой, глупый, почти что небрежный щелк. Теперь его родич, спустив ноги на пол и вполоборота повернувшись в кресле, лицом к Минку, как-то неподвижно и даже безучастно следил, как грязные, дрожащие, худые руки Минка, похожие на лапы ручной обезьяны, подымают курок, поворачивают барабан назад на одно гнездо, чтобы патрон снова попал под боек; и снова Минка тронуло, толкнуло что-то смутное, изнутри, из прошлого: не предупреждение, даже не повторение чего-то, просто что-то смутное, знакомое, но уже неважное, потому что и раньше оно никакого значения не имело, и раньше оно не могло ничего изменить, ничего не могло напомнить; в ту же секунду он и это отбросил. *Порядок,*— подумал он,— *сейчас все выйдет. Старый Хозяин шуток не шутит,*— и он взвел курок и снова нацелил револьвер двумя руками, а его родич не пошевелился, хотя опять начал медленно жевать, будто следя за тусклой точкой света, блеснувшей из-под курка.

Грохнуло со страшной силой, но Минк уже ничего не слыхал. Тело его родича в каком-то судорожном, странном, замедленном движении стало валиться вперед и уже тянуло за собой все кресло; ему, Минку, казалось, что гром выстрела — пустяки, но сейчас, когда кресло грохнется об пол, весь Джефферсон проснется. Он отскочил; был миг, когда он хотел сказать, крикнуть себе: «Стой! Стой! Проверь — мертвый он или нет, иначе все пропало!»— но он уже не мог остановиться, он сам не помнил, как увидал другую дверь, в стене за креслом, как эта дверь вдруг оказалась перед ним; все равно, куда она вела, лишь бы вон, а не назад, в комнату. Он бросился к этой двери, крутя и дергая ручку, он тряс ее и дергал, даже когда понял, что дверь заперта, он тряс ее вслепую даже после того, как сзади раздался голос, и тут он отскочил и увидел женщину, стоявшую у входной двери; сначала он подумал: *Значит, она все слышала,*— и вдруг понял: ей не надо было ничего слышать, привела ее сюда, на погибель ему, та же сила, которая в одно мгновение могла взорвать его, превратить в прах, изничтожить на месте. Уже некогда было взвести курок, нацелиться на нее, даже если бы у него была вторая пуля, и, отскочив от двери, он бросил, швырнул в нее револьвер, и не успел опомниться, как в ту же секунду револьвер очутился у нее в руке, и она уже протягивала ему оружие, говоря крякающим утиным голосом, как говорят глухие:

— Вот. Возьмите. Там шкаф. А к выходу — сюда.

18

— Остановите машину,— сказал Стивенс. Рэтлиф затормозил. Он сидел за рулем, хотя машина принадлежала Стивенсу. Они свернули с шоссе у перекрестка, за лавкой Уорнера, за мельницей, кузней и церковью, составлявшими вместе с кучкой жилых домов и других построек

поселок, где уже было совсем темно, хотя часы показывали половину десятого, а позади осталась широкая, ровная плодородная долина, на которую старый Уорнер — ему было за восемьдесят, волосы поседели, он вдовел двенадцать лет и только года два назад вдруг женился на молоденькой женщине лет двадцати пяти, хотя с ней был обручен или во всяком случае влюблен в нее один из его внуков,— держал закладные и векселя, там участки еще не принадлежали ему: и теперь они были недалеко от предгорьев, где стояли мелкие полуразрушенные фермерские домишки, покосившиеся и убогие, похожие на клочки бумаги меж выветренных складок холмов. Дорога была немощеная, даже без щебня, и впереди, должно быть, становилась совсем непроезжей; уже сейчас в неподвижном свете фар (Рэтлиф остановил машину) она походила на выветрившийся овражек, который поднимался по неровному холму меж тощих трепаных сосен и жидкого кустарника. Солнце прошло экватор и стояло в созвездии Весов; и от остановки движения, от лениво притихшего мотора сильнее ощущалась осень, после мелкого воскресного дождя и ясной изменчивой прохлады, державшейся почти весь понедельник; неровные заросли сосен и мелких дубов были плохой защитой от зимы, от дождя и мороза, отощавшая земля, заросшая сумахом, шафраном и дикой сливой, уже побагровела на холоду, ветви отяжелели от плодов слив, и все ждало заморозков и лая оголодавших гончих, выпущенных на охоту.

— А почему вы думаете, что мы его там найдем, даже если доберемся? — сказал Стивенс.

— А где ж ему быть? — сказал Рэтлиф.— Куда деваться? Вернуться в Парчмен, когда столько хлопот и денег затрачено, чтоб его оттуда вызволить? Куда ему еще идти, как не к себе домой?

— Да нет у него никакого дома,— сказал Стивенс.— Когда это было, два, три года назад, помните, мы приезжали сюда искать того малого...

— Терпина,— сказал Рэтлиф.

— ...который не явился на призывной пункт, и мы поехали за ним. От дома и тогда уже ничего не оставалось, одна видимость. Кусок крыши, остатки стены, их еще не успели разобрать на топливо. Правда, дорога была лучше.

— Да,— сказал Рэтлиф.— Люди по ней волокли бревна, от этого она и была ровнее, глаже.

— А теперь там, наверно, и стен не осталось.

— Там внизу подпол есть,— сказал Рэтлиф.

— Яма в земле? — сказал Стивенс.— Вроде звериной норы?

— Наверно, он устал,— сказал Рэтлиф.— А ведь ему не то шестьдесят три, не то шестьдесят четыре. Тридцать восемь лет он жил в напряжении, уж не говорю про эти последние — у нас сегодня что? четверг? — последние семь дней. А теперь напряжение пропало, ему нечем держаться. Вы только представьте себе, что ждали тридцать восемь лет, чтобы сделать то, что хочется, и наконец сделали. У вас тоже ничего не осталось бы. Так что ему теперь только и нужно лечь, полежать где-нибудь в темноте, в тишине, хоть недолго.

— Он бы об этом в прошлый четверг подумал,— сказал Стивенс.— Теперь уже поздно.

— Так мы же затем сюда и приехали, верно? — сказал Рэтлиф.

— Ну, ладно,— сказал Стивенс.— Поезжайте.— Но Рэтлиф вместо этого совсем выключил мотор. Теперь они еще яснее ощутили, осознали перемену погоды, конец лета. Какие-то птицы еще остались, но вечерний воздух уже не гудел громкой трескучей летней разноголосицей ночных насекомых. Только кузнечики еще стрекотали в густом кустарни-

ке и в стерне скошенных лугов, где днем отовсюду внезапно выскакивали пыльно-серые кобылки, рассыпаясь куда попало. И тут Стивенс почувствовал, что его ждет, о чем сейчас заговорит Рэтлиф.

— Значит, по-вашему, она действительно не имела понятия, что будет делать этот маленький гаденыш, как только его выпустят,— сказал Рэтлиф.

— Ну конечно нет! — сказал Стивенс торопливо, слишком торопливо, слишком запоздало.— Поезжайте!

Но Рэтлиф не шевельнулся. Стивенс заметил, что он не снял руки с ключа, так что сам Стивенс не мог бы завести мотор.

— Наверно, она сегодня вечером останется в Мемфисе,— сказал Рэтлиф.— Теперь у нее есть этот роскошный автомобиль, новехонький к тому же.

Стивенс все помнил. А ему хотелось забыть. Она сама все рассказала — или так ему показалось — сегодня утром, после того как объяснила, на кого сделать дарственную: она сказала, что не желает брать автомобиль своего так называемого отца и уже заказала себе в Мемфисе новую машину, которая будет доставлена сразу после похорон, чтобы ей тут же можно было уехать, а дарственную он может принести ей на подпись домой, когда они будут прощаться или говорить то, что им — ему и ей — останется сказать на прощание.

Похороны были пышные: выдающийся банкир и финансист, погибший во цвете если не лет, то богатства от револьверной пули, но не от такой револьверной пули, как полагалось банкиру, потому что банкир, умирающий от револьверной пули у себя в спальне, в девять часов вечера, должен был бы перед этим пожелать спокойной ночи ревизору банка, присланному из штата или из центра, а может быть, и двум ревизорам из двух этих мест. Он (покойник) не представлял никаких организаций, ни общественных, ни военных, ни гражданских: только финансовые. И не имел никакого отношения к экономике — к скотоводству, хлопку, словом, к тому, на чем выросли и чем жили штат Миссисипи и Йокнапатофский округ, а исключительно к капиталу. Правда, он был прихожанином джефферсоновской церкви, что явствовало из всяческих украшений и пристроек к церковному зданию, но его отношение с церковью было не служением, не истинным союзом, даже не надеждой на отпущение грехов, а просто временным перемирием меж двумя непримиримыми державами.

И, однако, на похороны явился не только весь округ, но и весь штат. Он (Стивенс) тоже стоял, как непосредственный участник представления, по настоянию дочери усопшего (Sic *) в первом ряду около нее. Он, Линда, ее дядя Джоди, у которого на длинном, как у отца, костяке наросло сто фунтов живота и подбородков, и тут же — да, вот именно — Уоллстрит Сноупс, Уоллстрит-Паника Сноупс, который не только никогда не вел себя, как Сноупс, но даже с виду не похож был на Сноупсов: высокий темноволосый человек, с неправдоподобно нежными детскими голубыми, как барвинок, глазами, который начал карьеру мальчишкой-рассыльным в бакалейной лавчонке, чтобы обеспечить себя и своего младшего брата, Адмирала Дьюи, до окончания школы, а потом открыл в Джефферсоне оптовую бакалейную торговлю, снабжавшую всю округу, и, наконец, переехав с семьей в Мемфис, стал владельцем целой сети оптовых бакалейных складов, снабжавших половину штата Миссисипи, да и Тенесси и Арканзаса тоже: и все стояли перед стыдливо замаскированной ямой, рядом с другой могилой, над которой не муж (он только

---

* Так (*лат.*).

сделал заказ и оплатил его), но сам Стивенс воздвиг возмутительную мраморную ложь, ценой которой была куплена свобода Линды девятнадцать лет назад. И ему, именно ему, приходилось теперь воздвигать вторую ложь, уже предопределенную той, первой; они — Линда и он — уже обсудили это сегодня утром.

— Нет. Ничего не надо,— сказала она.

Надо,— написал он.

— Нет,— сказала она. Он только приподнял табличку и показал ей написанное слово; не мог же он написать: *Надо ради тебя.* Впрочем, это и не понадобилось.

— Вы правы,— сказала она.— Вам придется и второй поставить.

Он написал: *Нам.*

— Нет,— сказала она.— Вам одному. Вы всегда все делали за меня. И всегда будете делать. Теперь я знаю — кроме вас, у меня никого не было. По правде говоря, мне, кроме вас, никто и не был нужен.

Стоя у гроба, слушая, как баптистский священник бегло и гладко справлял службу, он, Стивенс, смотрел на лица, городские лица, деревенские лица, лица граждан, представлявших городскую общественность (потому что город должен был быть представлен на этих похоронах) или самих себя, просто потому, что и они когда-нибудь окажутся там, где сейчас лежал Флем Сноупс, мертвые, одинокие, без друзей; смотрел на робкие, безымянные, полные надежды лица тех, кто был должен деньги Флему или его банку и, как это часто бывает с людьми, надеялся, а может быть, даже твердо верил, что теперь, когда Флем умер, о долге каким-то образом забудут или попросту затеряют документы, не стребуют, не спросят. И вдруг он увидел другое. Их было немного: он отыскал только троих, лица у них были тоже простые, деревенские, ничем не отличающиеся от других деревенских лиц, и эти лица даже робко прятались где-то сзади, в толпе, и вдруг они выделились, выскочили, и он сразу понял, чьи эти лица: это были Сноупсы; он их никогда прежде не видел, но это неоспоримо были они, не то чтобы странные, а просто одинаковые, похожие друг на друга не столько выражением, сколько напряженной целеустремленностью; мысль у него пробежала молниеносно, как бывает в минутном испуге, когда тебя резко разбудят: *Они похожи на волков, которые пришли взглянуть на капкан, где погиб волк покрупнее, волк-вождь, волк-главарь, как сказал бы Рэтлиф, волк-хозяин; и теперь смотрят — не достанется ли им хоть кусочек приманки.*

Потом это ощущение прошло. Он не мог все время оборачиваться, да и священник кончил службу, и человек из похоронного бюро сделал знак избранным, официально осиротевшим, следовать за ним, а когда он, Стивенс, оглянулся, смог оглянуться, те лица уже исчезли. Линду он оставил на кладбище. Вернее, дядя должен был отвезти ее домой, где ждала новая машина — она вызвала эту машину по телефону из Мемфиса, решив еще вчера днем сразу после похорон уехать в Нью-Йорк, должно быть, к тому времени, как он приедет к ней подписывать дарственную, она уже соберется, уложит вещи в новую машину.

Поэтому он заехал к себе на службу и взял эту бумагу — дарственную (с обычным гербовым сбором в размере одного доллара), по которой дом и усадьба возвращались семье де Спейнов. Она составила бумагу сама, даже не сказав ему ничего заранее и уж конечно не посоветовавшись с ним. Ей не удалось разыскать Манфреда, у которого Сноупс отнял и дом, и банк, и все, что оставалось от его, Манфреда, доброго имени в Джефферсоне, но она разыскала наконец его оставшихся родственников — единственную сестру майора де Спейна, отца Манфреда, и ее единственную дочку: древняя старуха, не вставшая с постели,

жила в Лос-Анжелесе с незамужней дочерью шестидесяти лет, бывшей директрисой средней школы на окраине Лос-Анжелеса, и она, Линда, их разыскала, откопала, даже не посоветовавшись со своим юристом; возмутительно, когда добрый самаритянин, филантроп, благодетель не только сам находит, но и сам изобретает собственные благодеяния, не привлекая к этому и даже обходя юристов, и секретарей, и советников благотворительных обществ; просто возмутительно, даже, откровенно говоря, антиобщественно вырывать кусок хлеба из стольких ртов.

На бумаге не хватало только ее подписи; и уже через четверть часа он затормозил машину у поворота к ее дому, не особенно обращая внимание на небольшую кучку людей у входа — мужчины, мальчики, два-три негра,— и только сказал вслух: «Местные любители оценивают ее новую машину»,— потом поставил свою машину и, взяв портфель, уже повернул к парадному, скользнув взглядом по группе людей, просто потому, что они попались на пути, но вдруг с мимолетным, пока еще смутным удивлением сказал: «Да это же английский «ягуар». Притом совершенно новый»,— и пошел, не останавливаясь, как вдруг ему показалось, будто он идет по лестнице и она вдруг внезапно завертелась у него под ногами, а он все идет, поднимается, тратит силы, но не движется, не сходит с места; и это так внезапно, так мгновенно, что кажется, будто только твой дух тут, а твоя оболочка уже силой инерции перенесена на ступеньку выше; он думал: *Нет места на всем свете, откуда совершенно новый «ягуар» успели бы доставить в Джефферсон, Миссисипи, со вчерашнего дня, и уж конечно не по телефонному звонку со вчерашнего вечера,*— думая, уже с отчаянием: *Нет! нет! Это вполне возможно! В продаже могла быть такая машина, они могли найти ее в Мемфисе вчера вечером или сегодня утром — вся наша зыбкая, шаткая вселенная только и держится на совпадениях, на случайностях,*— и он решительно подошел к машине, остановился около нее, думая: *Значит, она еще с прошлого четверга знала, что уедет, она просто не знала до вторника, до вечера, в какой именно день это будет.* Машина была ослепительно, безукоризненно новая, и моложавый, вполне благопристойного вида агент или техник стоял тут же; а негр-дворецкий выходил из парадного, неся какие-то ее вещи.

— Добрый день,— сказал Стивенс.— Великолепная машина. Совсем новая, правда?

— Конечно,— сказал тот.— Она и земли не касалась, пока миссис Коль не позвонила нам вчера по телефону.

— Удачно, что у вас сразу нашлась для нее машина,— сказал Стивенс.

— Да нет, мы ее получили еще десятого числа. Когда она нам заказывала машину, еще в июле прошлого года, она велела держать ее у нас, пока не понадобится. Очевидно, когда ее отец... скончался, планы у нее изменились.

— Да, от таких событий многое меняется,— сказал Стивенс.— Значит, заказ был сделан еще в июле.

— Так точно. Говорят, того типа еще не поймали?

— Пока нет,— сказал Стивенс.— Чудесная машина. Я бы тоже от такой не отказался,— и пошел дальше, в открытые двери, вверх по ступенькам, привыкшим к его шагам, в комнату, тоже привыкшую к нему. Линда стояла и смотрела, как он идет, уже одетая по-дорожному, в выгоревшем, но свежевыглаженном защитном комбинезоне, с накрашенными губами и с лицом, сильно намазанным для защиты от дорожного ветра; на стуле лежал потрепанный макинтош, сумка, толстые перчатки и шарф; она сказала:

— По крайней мере, я не солгала. Я могла бы спрятать машину в гараж, пока вы не уйдете, но не спрятала.— Но сказала она это не словами: вслух она проговорила: — Поцелуй меня, Гэвин,— и сама подошла к нему, обхватила его руками, крепко, не торопясь, и прижала рот к его губам, сильно и смело, раскрыв губы, а он обнял ее как бывало и раньше, и его рука скользнула вниз, по спине, где раздвоенная выпуклость кругло и крепко подымалась под жесткой серой тканью, но его рука не чувствовала ответа — ответа никогда не было, никогда не будет, для верности нет угрозы, нет опасности, даже если бы ничего не было меж рукой и раздвоенной округлой женской плотью, и всегда он только касался ее, понимая и принимая все не с безнадежностью, не с горечью, а только с грустью, он просто поддерживал ее сзади, как сажают на ладонь невинное, неоформившееся тельце ребенка. Но не сейчас, не в этот раз. Сейчас он испытал страх, и в страхе он подумал: *Как это было сказано? Человек, чье непреодолимое обаяние для женщин в том, что одним своим присутствием он вселяет в них уверенность, будто готов ради них на любую жертву. Только сейчас все наоборот, совсем наоборот: дурак, простак, не только не знает, куда забивать мяч в бейсболе, он даже не знает, что участвует в игре. Их и соблазнять ничем не надо. потому что они тебя давным-давно наметили, они тебя выбрали просто потому, что верили: оттого что ты выбран, ты сразу не только готов, не только согласен, ты страстно жаждешь принести ради них любую жертву, только надо обоим вместе выдумать какую-нибудь настоящую жертву, стоящую.* Он думал: *Сейчас она поймет, что она не может мне доверять, и только надеется, что, может, оттого и прижалась всем телом, оттого так крепко обняла за плечи, словно хочет потянуть за собой, хотя здесь нет постели,* и тут он страшно ошибался. Он думал: *Зачем ей впустую тратить время, проверять меня, если она всю жизнь знала, что ей только и надо положиться на меня.* И она стояла, обняв его, и целовала, пока он сам не попытался высвободиться, и тут она выпустила его и посмотрела ему в лицо своими темно-синими глазами, без тайны, без ласки, даже, может быть, без нежности.— У тебя весь рот в помаде,— сказала она,— тебе надо умыться. Да, ты прав,— сказала она,— ты всегда прав в том, что касается меня и тебя.— В глазах не было тайны; упорство — да, но не тайна; когда-нибудь он, может быть, вспомнит, что в них и настоящей нежности не было.— Я тебя люблю,— сказала она.— А тебе мало досталось. Нет, это неверно. Ничего тебе не досталось. Ничего у тебя не было.

Он точно знал, что она хочет сказать: сначала ее мать, потом — она; дважды он отдавал всю свою преданность и ничего не получил взамен, кроме права быть одержимым, околдованным, если хотите — одураченным. Рэтлиф, тот непременно сказал бы «одураченным». И она знала, что он это знает; в этом (вероятно) и было их проклятие: они оба сразу, сейчас же узнавали друг про друга все. И не из честности, не потому, что, как она считала, она всю жизнь была влюблена в него, она позволила ему увидать ее новый «ягуар», позволила понять, какое значение можно было бы этому придать при обстоятельствах, сопровождавших смерть ее так называемого отца. Она сделала это потому, что все равно не могла скрыть от него, что заказала машину в Нью-Йорке или в Лондоне, словом, там, откуда ее прислали, как только узнала, что удастся выхлопотать помилование для Минка.

У каждого ее костюма был карман, сделанный точно по размеру маленького блокнотика слоновой кости с коротким грифелем. Он знал, где этот кармашек в комбинезоне, и, протянув руку, вынул блокнот. Он мог написать: *У меня есть все. Ты мне верила. Ты предпочла, чтобы я подумал, будто ты стала убийцей своего так называемого отца, лишь*

бы не солгать.— Он мог бы и, может быть, должен был бы написать: *У меня все есть. Разве я только что не был пособником в подготовке убийства?* — Но вместо этого он написал: *У нас все было.*

— Нет,— сказала она.

Он написал: *Да.*

— Нет,— сказала она.

Он написал «ДА» такими крупными буквами, что занял всю-всю табличку, потом вытер ее ладонью и написал: *Возьми с собой кого-нибудь в машину. Ты можешь разбиться.*

Она взглянула на эти слова настолько мельком, что каждый подумал бы — вряд ли она успела их прочесть, и снова посмотрела на него этими темно-синими глазами, и, была ли в них ласка, была ли в них нежность, была ли в них настоящая искренность, не все ли равно. И ее рот в смутной улыбке был измазан помадой, и она, эта улыбка, казалась мягким мазком, расплывчатым пятном.

— Я люблю тебя,— сказала она.— Я никогда никого, кроме тебя, не любила.

Он написал: *Нет.*

— Да,— сказала она.

Он написал *«нет»,* и когда она повторила «да», он снова написал: *нет, нет, нет,* пока не исписал всю табличку, потом стер и написал: *дарственная.* И, стоя рядом с ней у камина, где они решали все деловые вопросы, которые требовали какой-то договоренности между ними, он развернул документ, снял колпачок с вечного пера, чтобы она подписала, потом сложил бумагу и уже стал прятать ее в портфель, когда она сказала:

— И это.— Он уже заметил на каминной доске длинный простой конверт. Взяв его в руки, он нащупал сквозь бумагу толстую пачку банкнот, слишком толстую: тысяча долларов убьет его в несколько недель, а может быть, и дней вернее, чем тысяча пуль. Он еще вчера вечером хотел сказать ей: «Тысяча долларов и его убьет. Тогда ты будешь довольна?» — хотя вчера вечером он еще не знал, насколько это верно. Но он промолчал. Он сам займется этим, когда подойдет время.— А ты знаешь, где его отыскать? — спросила она.

Рэтлиф знает,— написал он, и снова написал: *Выйди на 2 минуты в ванную. Твои губы тоже,*— и подождал, пока она прочла, а она тоже постояла, наклонив голову, как будто он написал какую-то криптограмму.

— А-а,— сказала она. Потом сказала: — Да, уже пора,— и, повернувшись, пошла к двери, потом остановилась и снова обернулась вполоборота и только тогда посмотрела на него; ни тени улыбки, ничего, одни глаза, которые даже на этом расстоянии не казались черными. И вышла.

Он держал портфель в руках. Шляпа его лежала на столе. Он сунул конверт в карман и вытер рот платком, захватил мимоходом шляпу и стал спускаться по лестнице, смочив платок слюной, чтобы как следует вытереть губы. В холле стояло зеркало, но он решил, что обойдется, пока не попадет к себе в кабинет; наверно, тут есть, должен быть какой-то черный ход, но где-то в доме был дворецкий, а может быть, повариха. Впрочем, никто не запрещал ему пересечь наискось газон перед домом и выйти через боковую калитку на улицу, так что и не понадобится отворачиваться от новой машины. И Рэтлиф, случайно или по счастливому совпадению оказавшийся на лестнице у двери в его служебный кабинет, сказал:

— А машину вы где оставили? Ладно, я ее приведу. А вы бы воспользовались водичкой там, наверху.

Он умылся, запер измазанный помадой платок в ящик и сел к своему столу. Время шло, и он услыхал, как Рэтлиф спускается по лестнице, хотя Рэтлиф чуть потряс запертую дверь; вот теперь он свободен и может осуществить свои юношеские мечты — вернуть Ветхому завету его первоначальную девственную чистоту. Нет, он уже слишком стар. Должно быть, одной только тоски мало, чтобы так затосковать. И снова время шло, потом зазвонил телефон.

— Она уехала,— сказал голос Рэтлифа.— Ваша машина у меня. Хотите зайти ко мне поужинать?

— Нет,— сказал он.

— Хотите, я позвоню вашей жене, что вы будете у меня?

— О черт, я же говорю — нет,— сказал он. Но тут же сказал:— Большое спасибо.

— Заеду за вами часов в восемь,— сказал Рэтлиф.

Гэвин ждал у перекрестка, машина — его машина — сразу тронулась, как только он сел.

— Опасное дело,— сказал он.

— Это-то верно. Но все уже кончилось, надо только попривыкнуть.

— Нет, я хочу сказать, что для вас это опасно. Со мной всем опасно. Я — человек опасный. Неужели вы не понимаете, что я только что совершил убийство?

— А-а, вы вот о чем,— сказал Рэтлиф.— Раньше я думал, что вас только одним можно обезопасить — кому-то выйти за вас замуж. Ничего из этого не получилось, но вы-то, по крайней мере, в порядке. Вы же сами сказали, что только что совершили убийство. Что же еще можно для вас придумать? — Они уже выехали на шоссе, оставив город позади, и можно было прибавить скорость, чтобы побыстрее проехать двадцать миль до лавки Уорнера.— Вы знаете, кого мне больше всех жалко в этой истории? — сказал Рэтлиф.— Лютера Биглина. Может, вы об этом не слыхали, да и никто не узнал бы, если б сегодня все не вылезло наружу в частной, в покаянной, так сказать, беседе между Лютером и Ифом Бишопом. Оказалось, что каждый вечер, начиная с прошлого четверга до этого вторника, Лютер стоял или, вернее, сидел на посту, как можно ближе к тому самому окошку, с той минуты, как миссис Биглин возвращалась из кино и будила его, он там и оставался до самого рассвета. Понимаете, весь день он возился у себя в тюрьме, убирал, кормил арестантов, да еще все время был начеку — не понадобится ли он шерифу для каких-нибудь поручений, как же тут ему было не поспать хоть немножко, а время на сон он мог выкроить только после ужина, до той минуты, когда миссис Биглин — она ему была вместо будильника — возвращалась из кино и его будила, значит, спал он примерно с семи часиков так до половины десятого, до десяти, смотря какой фильм попадался, а всю ночь напролет стоял или сидел на складном стуле прямо под окошком у Флема, и не за награду, не за славу, потому что одна миссис Биглин об этом знала, а исключительно из верности Ифу Бишопу, из уважения к его клятве — защищать и оберегать жизнь всех джефферсоновских граждан, даже жизнь таких, как Флем Сноупс. И надо же было Минку из всех двадцати четырех часов в сутки выбрать именно это время, примерно где-то между семью и половиной десятого, и в этот самый час явиться к Флему с той штукой, которую ему продали за револьвер, как будто Минк сделал это нарочно, назло, а такого, как говорится, и собаке не пожелаешь.

— Поезжайте,— сказал Стивенс.— И поскорее.

— Вот так-то,— сказал Рэтлиф.— Вот чем все это кончилось. Сколько он сквалыжничал, сколько взыскивал, грабил, отнимал, когда мог,

больше исподтишка, втихую, но когда приходилось — и в открытую, топтал нас ногами, хоть кое-кто и пытался ему подставить подножку, а кое-кто успевал отскочить, чтоб не попасться ему на дороге, а кому не удавалось, тех он растаптывал окончательно. А что теперь от всего этого осталось — старуха, которая и с постели не встает, да ее дочка, старая дева, учительница, жили бы они себе тихо и мирно в своей солнечной Калифорнии. Так нет — им теперь ехать сюда, в Миссисипи, жить в этом белом слоновнике, в доме в этом, да еще, пожалуй, миссис Элисон придется снова поступать на службу, а может, придется и жаться и жмотничать, чтобы содержать такую махину, а то разве можно, чтоб все друзья и знакомые, уж не говорю — чужие, про нее судачили, вот, мол, настоящая леди, родилась в Миссисипи и вдруг отказывается принять целый дом не только в подарок, бесплатно, но и дом-то с самого начала был ихний, так что теперь и спасибо говорить некому за то, что ей этот дом отдали. Словом, может, в этом и есть какая-то мораль, если сумеешь ее найти.

— Нет никакой морали,— сказал Стивенс.— Люди просто стараются сделать как лучше.

— Несчастные сукины дети,— сказал Рэтлиф.

— Да, несчастные сукины дети,— сказал Стивенс.— Поезжайте. Скорее.

И вот часов около десяти они с Рэтлифом остановились на бугристой дороге, которая уже перестала быть дорогой, а скоро тут и вообще нельзя будет проехать, и Рэтлиф сказал:

— Значит, вы считаете, что она действительно не знала, что он натворит, как только его выпустят?

— Я вам уже говорил — не знала,— сказал Стивенс.— Поезжайте.

— А у нас времени хватит,— сказал Рэтлиф.— Никуда он не уйдет. Кстати, про ту штуку, что ему служила револьвером, он ее не то уронил, не то выбросил, когда убегал через задний двор. Иф Бишоп мне ее показывал. Правильно говорил тот продавец из Мемфиса. Она и не похожа на револьвер. С виду совершенный ящер — старый-престарый, весь в грязи, в ржавчине. И остались в нем два патрона — гильза и нестреляный. На гильзе капсюль был пробит, как полагается, но только и на ней и на патроне как раз рядом с капсюлем была крохотная зазубринка, вмятинка, и обе вмятинки точь-в-точь одинаковые, и даже на одинаковых местах, так что, когда Иф вынул патрон, а пустую гильзу чуть повернул и подставил под ударник, а потом взвел и спустил курок, на гильзе появилась такая же вмятинка, рядом с капсюлем, значит, выходит, что этот ржавый ударник то попадал на капсюль, то нет. Вот и похоже, что Минк раньше опробовал оба патрона и они оба сначала дали осечку, а он все-таки пошел убивать Флема, понадеявшись, что один-то патрон непременно на этот раз выстрелит, хотя это мало вероятно. А вернее, он подошел к Флему, щелкнул два раза впустую, а потом повернул барабан обратно, чтоб снова испробовать — больше ведь ему ничего не оставалось, и тут-то оно и выстрелило. Но ежели это так, тогда зачем, скажите на милость, Флему было сидеть в кресле, дожидаться, чтобы Минк два раза щелкнул курком впустую, револьвер ведь только потом выстрелил и убил его наповал?

— Почем я знаю,— резко сказал Стивенс.— Поезжайте.

— А может, ему тоже все наскучило,— сказал Рэтлиф.— Как Юле. Может, им обоим наскучило. Несчастный он сукин сын.

— Он был импотент,— сказал Стивенс.

— Что? — сказал Рэтлиф.

— Импотент. Он только и мог уснуть рядом с женщиной, а больше

ничего не мог. Да! — сказал Стивенс.— Несчастные сукины дети, сколько они причиняют людям горя и тоски, сколько от них видят и тоски и горя! Ну, поезжайте!

— А вдруг тут еще что-то было,— сказал Рэтлиф.— Вы-то мальчишкой росли в городе, наверно, никогда и не слыхали про «мое право». Это игра такая, мы всегда в нее играли. Выбираешь мальчишку, себе под стать, подходишь к нему с прутиком или с палочкой, а то и с твердым зеленым яблоком, может, даже с камнем, зависит от того, насколько ты не боишься рискнуть, и говоришь ему: «Мое право!» И если он согласится, он будет стоять смирно, а ты его огреешь этим прутом или палкой изо всех сил либо отойдешь на шаг и запустишь в него яблоком или камнем. А потом уж тебе стоять на месте, а ему взять прут или палку, яблоко или камень и дать тебе сдачи. Такое было правило. И вот, предположим, что...

— Поезжайте! — сказал Стивенс.

— ...что Флем свое право использовал по всем правилам игры, как полагалось, а теперь ему только и оставалось сидеть и ждать, потому что он, наверно, давно понял, как только она опять тут появилась, вернулась, да притом еще с коммунистической войны, что он уже проиграл...

— Замолчите! — сказал Стивенс.— Не надо!

— ...и теперь ее право, ее черед, да еще если она...

— Нет! — сказал Стивенс.— Нет! — Но Рэтлиф не только сидел за рулем, он и руку держал на ключе зажигания, прикрывал его.

— ...всегда знала, что случится, когда того выпустят, и не только она знала, но и Флем тоже знал...

— Не верю! — сказал Стивенс.— Никогда не поверю! Не могу я поверить,— сказал он.— Неужели вы не понимаете — не могу!

— И тут выясняется еще одно,— сказал Рэтлиф.— Выходит, что ей надо было решиться, и притом раз навсегда, а то будет поздно. Конечно, она могла бы и подождать два года, когда и сам господь бог не мог бы удержать Минка в Парчмене, разве только прикончил бы его, и ей тогда не нужно было бы беспокоиться, хлопотать, а кроме того, она сняла бы с себя всякую моральную ответственность, хоть вы и говорите, что никакой морали нет. Да вот не стала она ждать. Тут-то и призадумаешься — а почему? Может, тут вот что, может, если бы в раю людей не было, так и самого рая не было бы, а если бы ты не ждал, что там встретишь людей, которых ты на земле знал, так никто бы туда и не стремился попасть. А вдруг когда-нибудь ее мать скажет ей: «Что же ты не отомстила за меня, за мою любовь, хоть поздно, да найденную, почему ты стояла в стороне, ждала, зажмурясь: будь, что будет? Разве ты сама никогда не любила, не знала, какая она, любовь?..» Держите! — сказал он. Он вынул белоснежный, безукоризненно выстиранный и выглаженный носовой платок — весь город знал, что он их не только сам стирал и гладил, но и подрубал мережкой тоже сам,— и вложил его в слепую руку Стивенса, потом включил зажигание и фары. — Ну вот, теперь все в порядке,— сказал он.

С дороги уже исчезли обе колеи. Только овражек, заросший шиповником, круто шел в гору.

— Я пойду вперед,— сказал Рэтлиф.— Вы в городе росли. А я даже электрической лампы не видел, пока не стал бриться опасной бритвой.— Потом он сказал:— Вон оно.— Покатая крыша, совершенно завалившаяся с одного угла (Стивенс никогда бы не подумал, что тут раньше стоял дом, он просто поверил Рэтлифу на слово), а над крышей — одинокий старый узловатый кедр. Стивенс чуть не упал, споткнувшись об остатки ограживавшего двор забора, тоже поваленного, густо зарос-

шего вьющимися розами, уже давно одичавшими.— Идите за мной,— сказал Рэтлиф.— Тут старый колодец, я как будто знаю, где он. Надо было захватить фонарик.

И вот в осыпающейся щели, внизу, в глубине, в том, что когда-то было фундаментом дома, показалось отверстие, черная полузасыпанная дыра, зияющая у их ног, словно сам разрушенный дом ощерился им в лицо. Рэтлиф остановился. Он негромко сказал:

— Вы ведь этого револьвера не видали. А я видел. Похоже, что это был вовсе не десятидолларовый револьвер. Похоже, что такие револьверы продают по девять с половиной долларов пара. Может, у него второй еще остался,— но тут Стивенс, не останавливаясь, протиснулся мимо него и осторожно нащупал ногой что-то вроде ступеньки; вынув из кармана золотую зажигалку с монограммой, он зажег ее и при слабом колеблющемся свете стал спускаться вниз, и Рэтлиф, идя за ним, говорил: — Ну конечно, теперь он на свободе. Зачем же ему теперь убивать людей? — И они прошли в бывший погреб, в пещеру, в нору, где на куче наспех собранных досок сидел человек, которого они искали,— он не то прикорнул в углу, не то встал на колени и, моргая, смотрел на них, как ребенок, которому помешали молиться на ночь: именно не застали за молитвой, а помешали, прервали, и, стоя на коленях, в новом комбинезоне, уже измазанном и провонявшем, опустив полусжатые кулаки перед собой, он, мигая, смотрел на крохотное пламя в руках Стивенса.

— Здрасьте,— сказал он.

— Вам тут нельзя оставаться,— сказал Стивенс.— Раз уж мы вас нашли, так неужели вы думаете, что шериф завтра же не догадается, где вы?

— А я тут не останусь,— сказал он.— Я только зашел отдохнуть. Вот соберусь и пойду дальше. А вы кто такие?

— Неважно,— сказал Стивенс. Он вынул конверт с деньгами.— Вот,— сказал он. В конверте лежали двести пятьдесят долларов. Он их оставил из той тысячи, что была там. Стивенс сам не знал, почему он отсчитал именно столько. Человек посмотрел на деньги, не вставая с колен.

— Я же эти деньги оставил в Парчмене, у меня их не было, когда я вышел за ворота. Значит, какой-то сукин сын их украл?

— Это не те деньги,— сказал Стивенс.— Те деньги вернули. А это новые деньги, она утром их для вас оставила. Другие деньги.

— Значит, если я эти возьму, мне никому ничего обещать не надо?

— Да,— сказал Стивенс.— Берите.

Он взял деньги.

— Премного благодарен,— сказал он.— В тот раз мне говорили — через три месяца вышлют еще двести пятьдесят, ежели я только обещаю сразу выехать из Миссисипи и уж никогда не возвращаться. Должно быть, сейчас это уже отпало.

— Нет,— сказал Стивенс.— Все осталось по-прежнему. Сообщите через три месяца, где вы будете, я вам вышлю деньги.

— Премного благодарен,— сказал Минк.— Высылайте на имя М. С. Сноупса.

— Как? — сказал Стивенс.

— М. С. Сноупса. Это меня так зовут: М. С.

— Пойдем! — почти грубо сказал Рэтлиф.— Пошли отсюда! — И когда Стивенс обернулся, взял его под руку, отобрал у него горящую зажигалку и держал ее над головой, пока Стивенс ощупью искал стертые земляные ступени, и они снова вышли на воздух, в ночь, в безлунную тьму, где истощенные, выветрившиеся поля разметались под первым

слабым дыханием осени в ожидании зимы. Наверху, чинами небесной иерархии, плыли созвездия на пажитях Зодиака: Скорпион, и Медведица, и Весы, а в вышине, за холодным Орионом и Плеядами, горько сетовали сонмы бесприютных падших ангелов. Осторожно, нежно, как женщина, Рэтлиф открыл дверцы машины, помогая Стивенсу сесть.— Вам теперь лучше? — сказал он.

— О черт, да, да! — сказал Стивенс.

Рэтлиф закрыл дверцу, обошел машину, открыл другую дверцу, сел, захлопнул и эту дверцу, включил мотор, зажег фары и тронул машину — оба они тоже старики, обоим под шестьдесят.

— Не знаю, может она уже припрятала где-нибудь дочку, а может, еще только собирается завести. Но уж если заведет, так дай бог, чтобы она никогда не привозила ее в Джефферсон. Вам уже попались на пути две Юлы Уорнер, не думаю, что вы смогли бы выдержать и третью.

Когда оба незнакомца ушли и унесли свет, он больше не ложился. Он уже отдохнул, все ближе подходила минута, когда надо будет снова идти. Он так и остался стоять на коленях, на куче старых досок, которые он сгреб, чтобы защититься от земли, если он вдруг уснет. К счастью, человек, укравший у него в прошлый четверг десять долларов, не взял английскую булавку, так что он туго свернул деньги по размеру нагрудного кармашка и приколол их булавкой. На этот раз все будет в порядке: пачка такая толстая, что он даже во сне почувствует, если кто к ней начнет подбираться.

И вот подошло время идти. Отчасти он даже был рад: человек и от отдыха может устать, истомиться, как от всего другого. На дворе было темно, прохладно, идти легко, и кругом пусто, одна только старая земля. Но после шестидесяти трех лет человеку уже не надо все время думать о земле. Правда, земля сама напоминала о себе, о том, что она тут ждет; тихонько, не спеша, она с каждым шагом тянула его к себе, говоря: «Не бойся, ляг, я тебя не обижу. Ты только ляг». Он подумал: *Теперь я свободный. Могу идти куда хочу.* Вот он и пойдет на запад, люди всегда идут туда, на запад. Как снимутся с места, как тронутся в новые края, так непременно пойдут на запад, словно сам Старый Хозяин заложил это в кровь и плоть, что достались тебе от отца в ту минуту, как он тебя вбрызнул в чрево матери.

Теперь он был свободен. И немного попозже, к рассвету, как придет ему охота, он и прилечь сможет. И когда охота пришла, он лег поудобнее, примостив спину, и ноги, и руки, уже чувствуя, как его начинает потихоньку-полегоньку тянуть вниз, словно эта чертова старуха земля хочет его убедить, будто она и сама не замечает, что делает. Но в эту минуту он увидел знакомые звезды, видно, он лег не совсем так, как надо, потому что ложиться нужно лицом к востоку; идти на запад, а если лег — ложись лицом к востоку. И он передвинулся, немножко повернулся и улегся именно так, как надо, и теперь он был свободен, теперь он мог себе позволить рискнуть; и чтобы показать, как он осмелел, он даже решил закрыть глаза, дать ей волю, пусть делает, что хочет; и тут, словно поверив, что он и на самом деле уснул, она́ постепенно принялась за свое, потянула крепче, правда осторожно, чтоб не обеспокоить его: просто покрепче, посильнее. А ведь не только одному человеку надо всю жизнь от нее обороняться, всем людям во все века приходилось быть настороже; даже когда человек жил в пещерах, как рассказывают, он подгребал под себя песок, чтоб подальше быть от земли во время сна, а потом придумал для защиты деревянные полы, а еще позже — кро-

вати и стал подымать полы вверх, этаж за этажом, пока не поднял их на сто, на тысячу футов, в высоту, в воздух, защищаясь от земли.

Теперь он уже мог рискнуть, ему даже захотелось дать ей полную волю, пусть покажет, пусть докажет, на что она способна, если постарается как следует. И в самом деле, только он об этом подумал, как сразу почувствовал, что тот Минк Сноупс, которому всю жизнь приходилось мучиться и мотаться зря, теперь расползается, расплывается, растекается легко, как во сне; он словно видел, как он уходит туда, к тонким травинкам, к мелким корешкам, в ходы, проточенные червями, вниз, вниз, в землю, где уже было полно людей, что всю жизнь мотались и мыкались, а теперь свободны, и пускай теперь земля, прах, мучается, и страдает, и тоскует от страстей, и надежд, и страха, от справедливости и несправедливости, от горя, а люди пусть лежат себе спокойно, все вместе, скопом, тихо и мирно, и не разберешь, где кто, да и разбирать не стоит, и он тоже среди них, всем им ровня — самым добрым, самым храбрым, неотделимый от них, безымянный, как они: как те, прекрасные, блистательные, гордые и смелые, те, что там, на самой вершине, среди сияющих видений и снов, стали вехами в долгой летописи человечества: Елена и епископы, короли и ангелы-изгнанники, надменные и непокорные серафимы.

ПОЭТ—ПАТРИОТ

(К 400-летию со дня рождения Пак Ин Но)

Прошло 400 лет со дня рождения выдающегося корейского поэта Пак Ин Но. Вместе с народом Кореи эту дату отмечает прогрессивная общественность всех стран. Всемирный Совет Мира постановил торжественно отметить юбилей поэта, патриота и мыслителя, которым гордится корейский народ.

Пак Ин Но родился 11 августа 1561 года в провинции Северная Кенсан в семье разорившегося янбаня *. Его отец был чиновником, изучал науки, а затем уехал в деревню, пахал землю и занимался просветительской деятельностью. Он, прогрессивный для того времени человек, был первым и, пожалуй, единственным учителем Пак Ин Но и сумел привить сыну любовь к литературному творчеству.

В 1592 году, когда на Корейский полуостров хлынули полчища японских захватчиков, Пак Ин Но вступил добровольцем в армию. Семь лет провел он в боях и морских сражениях. Однако служебная карьера не соблазняла Пак Ин Но. Его манила поэзия. Через несколько лет после окончания освободительной Имчжинской войны (так она названа по 1592 году, который в корейском летосчислении значится как год «дракона-имчжина») Пак Ин Но оставляет службу и возвращается в родную деревню, чтобы полностью отдаться литературе.

Творчество Пак Ин Но по времени совпало с периодом зарождения в корейской средневековой литературе реалистического направления сирхак. Приверженцы этого направления разоблачали в своих произведениях пороки корейского феодального общества, беззаконие и произвол, сословное неравенство. Правда, в силу исторических условий сирхакисты не вышли за рамки реформаторства, конфуцианской морали и утопии о равенстве всех людей. Тем не менее сирхак было прогрессивным для своего времени явлением.

Одним из наиболее видных представителей этого направления явился Пак Ин Но. Еще во время Имчжинской войны он пишет «Песнь о мире». В ней поэт выразил свою лютую ненависть к войне со всеми ужасами и страданиями, которые она несет народу. Пак Ин Но был очевидцем того, как во время войны японские орды Хидэёси дважды прошли через всю Корею до ее северных границ, оставляя после себя руины и пожарища, уничтожая сокровища корейской культуры. «Песнь о мире» — не единственное произведение поэта, посвященное этой теме. Он возвращается к ней в поэме «Призыв с корабля» и других.

Многогранно творчество Пак Ин Но. В его стихотворениях, поэмах и песнях читатель слышит стоны крестьян, задавленных гнетом феодалов-янбаней, видит картины жизни простых людей, написанные талантливой рукой большого лирика, проникнутые любовью к родной земле и человеку.

Творчество Пак Ин Но навсегда вошло в историю корейской литературы. В нем отразились стремления корейского народа к счастью, справедливости, к миру.

---

* Представитель высшего сословия в средневековой Корее.

Пак Ин Но

ПЕСНЯ О ПАХОТЕ

Если бы венценосец,
Если бы муж известный
Стал земледельцем — много
Было б о нем преданий.

Честный народ издревле
Пахотой не гнушался.
Честен я — почему бы
Мне не стать земледельцем?

* * *

Всю жизнь мечтал я неизменно
Быть пахарем и рыбаком.
Удить мне часто приходилось,
Ну, а пахать не привелось.
Теперь, хотя и с опозданьем,
Я добыл буйвола себе.
Как только дождь весенний хлынет,
Я поле вспахивать пойду.

* * *

Хотя в горах живут кукушки,
Но помнят о поре работ
И, проносясь над головами,
Зовут возделывать поля.*

Мы признаем, что земледелье —
Основа жизни всех людей,
Никто ведь не имеет права
Есть, проводя в безделье дни.

* * *

В час утренний прохладный
Пошел пахать я землю,
Потом ловил я рыбу,
С закатом — снова в поле.

Богатства мне не надо!
В большой плетеной шляпе
Я и под сильным ливнем
Люблю ворошить землю.

* * *

Не говори, что служба
Достойней земледелья.
Ну, разве службу можно
Сравнить с работой в поле?

Ведь если ты чиновник,
Обиды неизбежны,
А если землю пашешь,
То кто тебя обидит?

* * *

Предание гласит, что в старину
Друг другу люди уступали пашни.
А в наши дни — кто знает почему!—
Из-за земли идут сплошные свары.

Неужто же теперь у всех крестьян,
Которые живут на белом свете,
Затмился ум и помутился взор
И душами их завладела жадность?

* * *

В былые года не умели
Люди возделывать землю:
Срывали плоды с деревьев
И жили, не зная труда.

И так, не паша и не сея,
Смогли бы прожить мы на свете —
Значит, мы землю пашем
Не только ради еды!

* * *

В краях, где алчные живут,
Из-за земли идут раздоры,
А тот, кто мудр и честен был,
Тот уступал другому пашни.

Шумите вы, желая взять
Чужую землю? Вот совет мой:
Пристойнее живите впредь...
Да и пора трудиться в поле.

---

* По народному корейскому поверью кукушка своим криком зовет крестьян на полевые работы.

* * *

Кто сказал, что земледелье —
Лишь от голода защита?
Если так, то было б можно
Не работать на полях.

Не одна лишь бедность, верьте,
Причинить способна муки.
Если души огрубели —
Надо их перепахать!

* * *

Если земля оскудела —
Знаете вы, что с ней делать.
Если душа оскудела —
Как вы поступите с ней?

Скудную душу, как почву,
Надо усердно мотыжить —
В сто раз обильней, чем с поля,
Будет у вас урожай.

ДВА ТРЕХСТИШИЯ

Из долгих дум о моем отце
веревку я длинную свил,
И ею солнце хочу поймать,
уходящее далеко:
Пусть для родителей старых моих
медленней время идет.

* * *

Хотел бы я построить ладью
из сосен горы Куансан *
Для всех, кто в мире сбился с пути...
Но лодочник прочь ушел
И равнодушно на берегу
оставил мою ладью.

Перевод с корейского В. В. Рогова

* Легендарная гора. Считалось, что она построена человеческим трудом и добродетелью.

КОММУНИЗМ—
ЭТО НАДЕЖДА НАРОДОВ,
ИХ ЛУЧЕЗАРНОЕ БУДУЩЕЕ!

Богомил Нонев

ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА

Верно говорил Никита Сергеевич в одном своем выступлении накануне XXII съезда КПСС:

«Программа Коммунистической партии Советского Союза — это программа действия нашей партии, нашего народа, но все честные люди, которые хотят нас правильно понимать, увидят в ней много высоких, общечеловеческих принципов».

Да, это несомненно так. И чем больше времени проходит с того дня, когда делегаты съезда, собравшиеся со всех концов советской страны, проголосовали за принятие Программы, в которой предначертано наше коммунистическое завтра, тем яснее мы видим ее всеобъемлющее значение. Трудно сразу прочувствовать ее всю целиком, ибо это не просто план строительства или определение очередных партийных задач, а энциклопедия нашей эпохи и близкого будущего.

Впереди — двадцатилетие, в течение которого будет создана материально-техническая база коммунизма. Для того чтобы это свершилось, потребуется много труда и усилий. «Труд на благо общества,— говорится в Программе,— священная обязанность каждого человека... В коммунистическом обществе человек не может не трудиться. Этого не позволят ни его сознание, ни общественное мнение».

Труд создает и материальные, и духовные ценности нового общества. В труде формируется и культура коммунизма. Качественно новая, многообразная, богатая, проникнутая коммунистическими идеями и подлинным гуманизмом, отражающая духовную жизнь нового общества, она вместе с тем вберет в себя все лучшее, что создано человечеством за его многовековую историю.

Само существование лагеря социализма и мира показывает, какая могучая идеологическая сила движет ныне человечеством, оказывая непрерывное революционизирующее воздействие на сознание строителей нового общества, так же как и на сознание тех, кто еще находится под игом капитала. Если сорок с лишним лет назад на честных людей и прежде всего на коммунистов всего мира возлагалась историческая задача — защищать молодую советскую власть, оказывать ей всемерную поддержку и помощь для того, чтобы она могла осуществить построение социализма в одной стране, то

сегодня наш долг — всеми силами содействовать осуществлению третьей программы партии — программы строительства коммунизма, вдохновлять людей всех стран и континентов на труд и борьбу во имя светлого коммунистического будущего.

И в этом огромную роль призваны играть литература и искусство. Они должны быть источником радости и вдохновения для миллионов людей, выражать их волю, мысли и чувства, служить средством их идейного обогащения и нравственного воспитания — содействовать формированию духовного облика нового человека.

Великое обновление

Накануне XXII съезда в одной из советских газет я прочел слова Героя Социалистического Труда А. Никитиной: «Поправок к проекту Программы у меня нет. Зато сама Программа вносит в мою жизнь серьезные поправки».

Быть может, эти слова были навеяны прежде всего теми широкими перспективами, которые начертаны Программой КПСС в области сельского хозяйства. Но в этой афористически выраженной мысли нельзя не увидеть то философское и нравственное обобщение, к которому должен прийти каждый из нас.

Маркс, Энгельс и Ленин создали великое учение революционного пролетариата. Они вовсе не считали, что завещают человечеству готовые рецепты, применимые в любых обстоятельствах, на всех исторических этапах, которые предстоит пройти последующим поколениям. Напротив, они учили нас творчески развивать марксизм, чтобы он всегда был живым делом, чуждым застывшим формулам, которым некоторые приписывают таинственную силу магических заклинаний. И в этом секрет непрестанных побед марксизма. Именно завоевания марксистской мысли внушают людям веру в коммунистическую партию. И партия ни разу не обманула доверия народа.

Вот и у нас в Болгарии... Было время, когда даже доброжелательно настроенные по отношению к нам журналисты изображали нашу страну этаким экзотическим уголком, с ослами и буйволами, цыганскими шатрами и суровыми, оборванными людьми, с любознательным и гостеприимным народом, который, однако, придавлен нуждой, гнетом чужеземной династии и национальной буржуазии, одержимой жаждой обогащения. Еще и поныне к нам приезжают люди, чьи сердца преисполнены симпатией к нашей родине, но представления о Болгарии основаны на устаревших книжках и недобросовестных россказнях...

Трудно передать волнение и радость, с которыми они обнаруживают, что Болгария — это совершенно обновленная страна с современной промышленностью, с неоглядными нивами и тысячами сельскохозяйственных машин, с новыми городами, нарядными селами и цветущими садами, с прекрасными дорогами и комфортабельными гостиницами, с сотнями театров и концертных залов. С каким неподдельным удивлением они видят повсюду довольных, жизнерадостных, хорошо одетых людей! Да, Болгария стала иной, там давно покончено с безрадостным, жалким существованием.

Страна наша древняя, а люди ее молоды. Человек заканчивает архитектурный факультет — и сразу же включается в строительство городских и курортных ансамблей; оканчивает политехнический институт — и становится одним из руководителей машиностроительного завода; получает диплом об окончании музыкальной академии — а его уже знает мировая оперная сцена. Для тех, кто не жил в Болгарии в годы построения социализма, это, быть может, покажется странным, а для нас в этих фактах лишь раскрывается логика исторического развития, неуклонное поступательное движение нашего общества.

Претворены в жизнь слова Георгия Димитрова, произнесенные более пятнадцати лет назад:

«Необходимо путем индустриализации и электрификации страны и механизации сельского хозяйства достичь за 15—20 лет того, чего другие страны в других условиях достигали за целое столетие».

В то время буржуазные комментаторы встретили эти слова насмешкой, ибо мерили возможности нашей экономики на аршин капиталистического развития. Но те, кому были известны темпы развития советского государства, не могли не верить в выполнимость планов болгарских коммунистов. Великим вдохновляющим примером были для нас советские пятилетки.

И вот теперь у нас за несколько часов стали делать то, на что прежде уходили дни, за несколько месяцев — то, на что требовались годы, а за несколько лет — то, на что понадобились бы десятилетия. Это «чудо» предвидел Маркс, о нем говорил Ленин, его и имел в виду Димитров. Даже нам самим трудно осознать в полной мере, как стремительно выросли творческие силы народа, как окрепли его мускулы, расцвело воображение и обогатилась мудрость.

Болгария являет собой убедительный пример обновляющей силы социализма. Теперь уж нам не кажется недостижимым экономический уровень высокоразвитых промышленных стран — металлургические заводы и текстильные фабрики, оборудованные по последнему слову техники, химические комбинаты и теплоцентрали, огромные площади поливных земель и быстроходный транспорт. И если в Советском Союзе сегодня в порядке дня астронавтика и использование атомной энергии в мирных целях, если там сегодня в промышленность внедряется кибернетика и автоматизация, то и для нас это уже не далекая, призрачная мечта, а реальное, близкое будущее, ибо мы следуем по тому же пути, который был пройден советской страной.

Читая и перечитывая Программу Коммунистической партии Советского Союза, которая провозглашает, что уже нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, мы твердо знаем, что так оно и будет. И Программа КПСС действительно внесет серьезные поправки в нашу собственную жизнь, окажет «ускоряющее воздействие» на наше мышление, на наш духовный и нравственный рост, поможет до конца преодолеть пагубные последствия культа личности.

Коммунизм предполагает новую мораль, в основе которой лежит глубокое уважение и любовь к человеку, любовь к своим братьям и товарищам по строительству, любовь ко всем, кто борется за мир и правду. Только в атмосфере взаимного доверия между людьми, только в здоровой среде, где человек человеку брат, может вырасти тот, кого мы называем новым человеком.

Именно в такой атмосфере, в условиях коллективного руководства и коллегиального решения всех вопросов, уважения к партии и ее коллективному разуму, соблюдения ленинских партийных норм и принципов новой морали, мы можем развернуть все силы, которые были скованы во время господства культа личности.

Это был трудный период, когда погибло много невинных людей, честных и преданных, и при этом превозносился до небес «самый мудрый, самый дорогой, самый человечный» человек.

Атмосфера культа личности препятствовала истинному, глубокому художественному творчеству. Социалистический реализм предполагает партийность и правдивость в изображении жизни, а именно этими двумя основными принципами в то время нередко пренебрегали. Отсюда появились и лакировка действительности, и сглаживание существующих нравственных конфликтов, и фальшиво приподнятый тон в ряде произведений.

И когда сегодня перед нами встает проблема из проблем — построение коммунистического общества и воспитание новых людей,— нам надо знать то, что не должно никогда повториться.

Необходимо было нанести последний сокрушительный удар фальши и преступлениям, догматизму и бездушному отношению к человеческой личности, чтобы с еще большей силой воссияло доверие к партии, к будущему, к человеку. И XXII съезд КПСС сделал это.

Ленинские принципы восстановлены в своей чистоте, и они дадут богатые всходы будущего, жизни, освобожденной от догм и культов, истинной науки и волнующего искусства, великой коммунистической мысли великого коммунистического времени.

По законам красоты

Если нужно определить начало, которое лежит в основе теории и практики коммунизма, то, без сомнения, прежде всего нужно указать на творческое начало. Мы разрушаем старый мир и создаем новый — вот в чем сущность наших усилий.

В период строительства коммунизма творческим станет не только труд. Творческим будет и отношение самых широких народных масс к искусству и литературе. Переход к высшей форме общественного устройства предполагает такое эстетическое воспитание, которое приобщило бы всех людей к самым совершенным творениям человеческого гения, привело бы к созданию невиданных художественных ценностей и небывалому расцвету искусств. Ведь еще Маркс учил, что уничтожение частной собственности повлечет за собой полное высвобождение всех человеческих чувств и свойств, ибо эти чувства и свойства станут подлинно человеческими как в субъективном, так и в объективном смысле. В «Немецкой идеологии» Маркс и Энгельс писали:

«Во всяком случае при коммунистической организации общества отпадает подчинение художника местной и национальной ограниченности, целиком вытекающее из разделения труда, а также замыкание художника в рамках какого-нибудь определенного искусства, благодаря чему он является исключительно живописцем, скульптором и т. д., так что уже одно название его деятельности достаточно ясно выражает ограниченность его профессионального развития и его зависимость от разделения труда. В коммунистическом обществе не существует живописцев, существуют лишь люди, которые занимаются и живописью как одним из видов своей деятельности».

В Программе КПСС ясно указывается, что партия будет неустанно заботиться о расцвете литературы, искусства, культуры, о создании всех условий для наиболее полного проявления личных способностей каждого человека, об эстетическом воспитании всех трудящихся, формировании в народе высоких художественных вкусов и культурных навыков.

Одним словом, искусство еще глубже войдет в наш быт, в нашу повседневную жизнь. Основное направление нашей работы — построить жизнь «по законам красоты», о чем говорил еще Маркс.

Как много разнообразных задач в этом плане возникает перед нами!

Маркс отмечал, что частная собственность делает людей столь глупыми и односторонними, что они только тогда считают какой-либо предмет своим, когда непосредственно владеют им или когда он существует для них как капитал.

Мы живем в социалистическом обществе, боремся за приближение коммунизма, поэтому все, с чем мы сталкиваемся, все, что нас окружает, будь то хорошее или плохое, волнует нас, заставляет радоваться или негодовать, рукоплескать тем, кто идет впереди, и клеймить нерадивых — тех, кто не заботится о качестве и красоте продукции материального производства. Маяковский называл дома и улицы своими. Мы теперь хорошо его понимаем. Каждый из нас может с полным правом сказать: «город мой», «улицы мои». Все принадлежит нам, все является социалистической собственностью. Человек в социалистическом мире не замыкается в четырех стенах своего жилища, пренебрегая всем, что находится вне его. Он хочет, чтобы все было красиво, чисто, нарядно.

Надо решительно изгнать дурной вкус с нашей улицы, из наших общественных учреждений. Это вовсе не частный вопрос, касающийся только руководителя данного предприятия. Это вопрос, имеющий огромное общественное значение. Надо создать благоприятную атмосферу для эстетического воспитания широких масс народа.

Эстетический вкус воспитывается. Тот, кто стремится им обладать, должен учиться. И тогда человек приходит к пониманию того, что искусство — явление гораздо более сложное, чем кажется на первый взгляд, что «мне нравится» еще не всегда означает «я понимаю».

Каждый имеет право любить или не любить какую-либо книгу, кинокартину, каждому может нравиться или не нравиться этикетка на коробке спичек, почтовая марка или витрина магазина. Но не каждому дано право решать, что красиво и что

некрасиво. Для того чтобы судить об искусстве (в чистом ли виде или в самом утилитарном его приложении), надо иметь познания, вкус, долголетний опыт.

Нам известно, что тысячи друзей, приезжающих к нам летом на черноморское побережье, с восхищением отзываются об успехах молодой болгарской архитектуры — светлой, солнечной, пользующейся простыми, неусложненными формами и объемами, без излишнего украшательства и бесцельных попыток воскресить ренессансное или барочное прошлое. Мне тоже очень нравится наша архитектура. Но мало построить красивые здания, нужно внести в них тепло, искусство, красоту.

Этим летом я побывал в двух гостиницах на нашем черноморском побережье. Бывал я там и раньше, вскоре после их открытия, и помнил, что в холлах висели картины лучших болгарских художников — Бориса Коцева, Дечко Узунова, Найдена Петкова, Рафаеля Михайлова, Пенчо Балканского... Однако в этом году я этих картин уже не увидел. На мой вопрос управляющие гостиниц ответили, что картины сняты, ибо они «являли собой чистой воды формализм». Так называют они каждое мало-мальски свободное использование живописных форм, всякий отход от холодного натурализма или цветной фотографии. Я не могу сердиться на них за то, что они все еще не обладают необходимой эстетической культурой, но не могу не быть на них в претензии за то, что низкий уровень собственной эстетической культуры они возводят в степень эстетического критерия, стремятся быть законодателями в этой области.

Законом нашего общества является план. Развитие и воспитание вкуса также можно планировать. Оно не должно быть отдано на откуп отдельным лицам с их шаткими представлениями о том, что такое искусство. Нужно планировать оформление улиц, кварталов и домов, магазинов и общественных учреждений. Мы должны открыть доступ к искусству каждому человеку, должны воспитать в каждом человеке творца и ценителя красоты. И непримиримо бороться против тех, кто хочет заставить нас пробавляться кустарными поделками, мещанскими опусами, духовно и эмоционально бедными, слабыми по форме произведениями искусства и предметами материальной культуры.

Болгарский народ славится красотой своих народных песен и родопских вышивок, наружной и внутренней отделкой домов в Копривштице и Трявне, самоковскими изделиями из кованого серебра, дивной резьбой по дереву в Банской околии. Болгарский народ дал миру много талантливых художников, архитекторов, мастеров прикладного искусства. На основе лучших национальных традиций и достигнутого уровня современного искусства мы должны создавать прекрасное в нашем быту.

Все в Программе КПСС, которая служит для нас руководством к действию, сводится к человеку, к тому, чтобы сделать его жизнь счастливой и прекрасной, чтобы сам человек стал подлинным венцом творения, как говорилось в старых книгах.

Поэтому мы должны ввести в строй не только производственные мощности, но также и мощь нашей эстетики, законодателя прекрасного в нашей жизни.

Сердце коммуниста

Программа КПСС — это коммунистический манифест наших дней. Она мобилизует нас, вдохновляет, ведет. Необозримы перспективы, которые она открывает перед экономикой, грандиозны планы, осуществление которых создаст материально-техническую базу коммунистического общества. Но это не все. Программа КПСС окажет также огромное влияние на наш моральный кодекс, поможет нам стать людьми, достойными эпохи, в которую мы живем, трудимся, творим. Наша устремленность в будущее органически сочетается с самыми прогрессивными этическими нормами, которые были созданы в течение столетий в ходе борьбы угнетенных против гнилого, аморального эксплуататорского общества. Творцы нового мира создают и устои прочной коммунистической, высокочеловечной морали, прямо противоположной волчьим законам, властвующим в мире капитализма, и таким образом сами становятся новыми людьми.

Формирование нового человека неразрывно связано с ростом и расцветом социалистического общества. Новый человек стоит в центре внимания писателей социалистических стран, все наши усилия направлены к тому, чтобы с художественной убедительностью показать, отобразить его развитие, его духовную борьбу, конфликты и победы. Многосторонность духовной жизни, кристально чистый нравственный облик, скромность и бескорыстие, высокий патриотизм и интернационализм — вот некоторые из черт, присущих новому человеку. Это не абстрактные нравственные и политические добродетели в чистом виде, плод благородной фантазии. Они возникают в непрерывном и подчас мучительном процессе формирования нового характера. Участник великого исторического процесса социалистического и коммунистического строительства, новый человек испытывает на себе здоровое, положительное воздействие реальной действительности и сам в свою очередь воздействует на нее, влияет на ее развитие.

Когда мы говорим о положительном герое нашего времени, мы имеем в виду прежде всего коммуниста.

Ведь именно коммунисты, в которых уже явственно видны черты человека будущего, и только коммунисты могли создать и программу этого будущего, его философию и перспективы. Каждому в отдельности трудно оценить всю грандиозность замыслов, легших в основу этой программы, трудно охватить взглядом все бесчисленные пути, по которым пойдет построение нового общества. Цифры, проценты, экономические выкладки... Буржуазная печать, захлебываясь в многоголосом злобном реве, объявила их нереальными, неосуществимыми, пропагандистскими измышлениями. Но история Советского Союза, насчитывающая уже несколько десятилетий, и наша собственная более короткая история социалистического строительства научили нас воспринимать с насмешкой то, что в лагере мировой реакции говорят о нас, о нашей пролетарской власти, о пафосе пятилеток, о героизме наших народов. Ведь даже сейчас нашлись на Западе озлобленные газетные писаки, которые осмеливались подвергать сомнению... полеты Гагарина и Гитова! Нам ни жарко, ни холодно от этой клеветы. Пусть библиографы поставят перед собой задачу собрать в одну книгу хотя бы частицу из того, что было сказано о нас буржуазными борзописцами. Это будет антология глупости и злобы — книга по-своему поучительная.

Мы хотим воссоздать в наших книгах, картинах, фильмах и пьесах образ нового человека. А они пишут, что это пустые попытки, что мы якобы измышляем образ фиктивный, несуществующий. Для них человек по природе своей — преступник, подлец, эгоист и трус. Они не хотят и не могут понять, что есть на земле и другой человек и что величественная программа, принятая нами, рассчитана на этого человека, творца человеческого счастья.

Нам не обойтись без споров, поисков, а подчас и неудач в нашей литературной и философской практике, в попытках обобщить результаты наших наблюдений, нашего изучения реальной действительности и решить проблему создания образа нового человека. Ведь мы должны показать его основные «признаки», новые черты в его духовном облике, а это нелегкая задача. Каждому из нас это известно по собственному опыту. Черты эти уловить трудно помимо всего прочего еще и потому, что облик нового человека непрестанно меняется, что он становится все выше и чище. Это человек мысли, самопожертвования и созидания. Его характер и духовный облик подчинены новым закономерностям морального, нравственного роста, для которого не требуются длительные исторические сроки. Его «корень жизни» — марксистско-ленинское мировоззрение. Он получил закалку во вдохновенном труде, он верен делу коммунизма, пролетарскому интернационализму и социалистическому патриотизму, он развивается гармонически, сочетая в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.

Воссоздавать средствами искусства образ нового человека так, чтобы был он жизненным, полнокровным, реальным, это наш писательский долг. Быть может, для этого потребуется множество объединенных усилий, обсуждений, взаимной помощи — ведь задача не проста. Но не следует ни на минуту забывать о месте, которое занимает писатель в нашем обществе.

В том, другом мире, мире капитализма, писатель очень часто оказывается в полном одиночестве, а в лучшем случае имеет всего несколько друзей и единомышленников. Когда я думаю о его блужданиях, трудностях, жизненных катастрофах, столь часто заканчивающихся моральной деградацией либо самоубийством, мне приходят на память клондайковские герои Джека Лондона: они бредут в метель и морозы по бескрайней снежной пустыне в поисках куска золота и кусочка счастья. И когда больше не хватает воли и сил, погибают в единоборстве с волчьей стаей.

Иное — у нас. У нас никто не знает одиночества. Каждый имеет единомышленников и верных товарищей, организацию, партийный коллектив, которые поддержат тебя в трудную минуту, помогут понять, увидеть свои заблуждения, обратят твой взор к широким горизонтам большой жизни и вместе с тобой порадуются твоим творческим победам. Работать, писать в коллективе, в окружении людей, которые живут, отчетливо видя будущее,— как это помогает каждому использовать все свои возможности, сполна проявить свои способности и дарования!

Этот творческий коллектив не ограничен пределами одной социалистической республики, он трудится не только в рамках национальной литературы, ибо общие наши идеи давно перешагнули через эти границы. Наш творческий коллектив — всюду, где бьется сердце коммуниста, и в мире социализма и за его пределами, там, где честные писатели в тяжких условиях капиталистической действительности стремятся на основе тех же идей и того же творческого метода понять и отобразить движение народных масс и ход истории. Единство устремлений и взаимопомощь вопреки измышлениям клеветников вовсе не означают унификации художественного творчества и мышления. Как раз наоборот, эти факторы создают благоприятную творческую атмосферу, в которой сохраняется и выявляется своеобразие, индивидуальный почерк, стиль каждого из художников, руководствующихся принципами социалистического реализма.

И если для того, чтобы убедиться в правильности сказанного, нужны исторические подтверждения, то достаточно оглянуться лет на десять назад и сопоставить некоторые из теорий того периода с теперешним уровнем нашего художественного мышления. Мы увидим тогда, до какой степени наша коллективная жизнь сыграла роль синхрофазотрона для нашего духовного роста. Всего десять лет — а от скольких схем и наивных представлений, от какой ограниченности в истолковании произведений искусства и от какой школьной нормативности в предъявляемых к ним требованиям мы освободились, чтобы сделать свой вклад в бурный процесс развития нашего общества. На этом и зиждется наше убеждение, что сегодня художник стал еще ближе к жизни, еще вернее воссоздает образ нового человека, еще глубже проникает в суть жизненных конфликтов, переживая период подлинного творческого возмужания.

Когда речь идет о писателе и основной его задаче — воссоздать образ нового человека, мы с особым вниманием вчитываемся в пятый раздел Программы. В нем изложен моральный кодекс строителя коммунизма. Обратившись к литературе прошлого, мы без труда установим, что именно о таком обществе, о таком отношении к труду, о такой морали и взаимоотношениях между людьми мечтали когда-то и Томас Мор, и Томмазо Кампанелла, создавший «Солнечный город» в мрачной камере тюрьмы, и живший в невероятной нужде Сен-Симон, и наивный мечтатель Фурье. Но они не сумели дать материалистическое толкование исторического развития и не проникли в тайну капиталистического производства, и потому-то мы называем их утопистами. А пятый раздел Программы построения коммунизма — это не просто прекрасная мечта человечества, а научно обоснованное провидение, продолженная в будущее реальность, в которой распускаются цветы новой, замечательной жизни. Наш моральный кодекс зиждется на моральных завоеваниях человека, осуществленных в эпоху борьбы против капитализма и закрепленных в эпоху социалистического строительства. То, что вчера было еще единичным явлением, сегодня уже явление массовое, а завтра станет великими буднями коммунизма. Так чаяния гуманистов и мечтателей прошлого ныне осуществляются, претворяются в жизнь партией Ленина, страной, которая неуклонно идет по великому пути, сознавая свою историческую ответственность перед всем человечеством.

Программа советских коммунистов — это не только их программа, но также и наша. Мы тоже стремимся сократить сроки построения социализма, чтобы подойти как можно скорее к коммунизму. Мы будем строить коммунистическое общество. Мы уже строим его, потому что каждый кирпич в здании социализма — это кирпич, положенный в фундамент коммунизма.

На XXII съезде КПСС была принята Программа, которая является коммунистическим манифестом нашего времени. Мы ее прочувствовали, поняли и приняли всем сердцем.

Расширяются горизонты человеческого счастья. Огромный, могучий мир ведет борьбу против нищеты и эксплуатации, против войн и колониального угнетения, против невежества и тупости, против эгоизма и опустошающего сердце безверия — во имя человека и его будущего.

Эту великую борьбу возглавляют коммунисты.

г. СОФИЯ.

Зденек Плугарж

СВЕТЛЫЙ ПУТЬ

Много волнующих чувств охватывает меня, когда я вчитываюсь в Программу Коммунистической партии Советского Союза. Меня особенно сильно взволновало ощущение связи этого документа с полетом первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Этот полет был результатом огромных усилий большого коллектива ученых, техников и рабочих, он осуществлялся по точно рассчитанному пути и завершился успехом, который был заранее обеспечен. Программа КПСС — это также точно определенная и научно обоснованная дорога в будущее для всего человечества.

Я по профессии, собственно говоря, техник, и мне невольно приходит на ум такое сравнение: если найти ряд точек определенной кривой, то можно не только начертить ее, но и продолжить далеко за известные пределы, ибо ее дальнейшее направление диктуется математической закономерностью. И Программа КПСС — это такая же стремительно вознесшаяся до самых звезд линия, отправные точки которой известны всему миру. На этой линии длиною в пятьдесят восемь лет (первая Программа партии была принята, как известно, в 1903 году) столько достоверных, тысячу раз проверенных жизнью и историей точек, что ее дальнейшее направление — не догадка, пусть даже правдоподобная, не пророчество или добрые пожелания, а сама действительность, точно определенная на основе научного анализа. И совершенно закономерно, что одной из точек этой линии явился многочасовой полет Германа Титова вокруг земного шара. Такой же закономерностью предрешены высадка советского человека на Луне, экономическая победа над капиталистическим Западом, погружение всего имеющегося в мире оружия в глубочайшие пучины океана, вечный мир на земле и в конце концов торжество коммунизма на всей нашей планете.

Гениальные мысли всегда просты, так же просты и величественные слова Программы КПСС: «Построение коммунизма — дело рук народа, его энергии, его разума. Победа коммунизма зависит от людей, и коммунизм строится для людей». В этих словах заключено то, что является залогом светлого будущего сотен миллионов людей доброй воли. Можно жить без удобств и комфорта, можно переносить любые трудности, но нельзя жить без перспектив. И для меня лично самое ценное в документе, который я держу в руках, состоит в том, что он дает ясную перспективу, освещает путь человечеству, как факел, который уже нельзя погасить.

И если что-нибудь может быть для писателя подлинным источником вдохновения, может формировать его мироощущение, может помочь ему смотреть на события «с точки зрения будущего» и придать ему силы для творческих побед, то это бесспорно величайший документ современной истории человечества — Программа Коммунистической партии Советского Союза.

г. БРНО.

Питер Темпест

МЕЧТА — ПРЕДВИДЕНИЕ — ПЛАН

Семьдесят лет назад английские социалисты с радостью встретили новую волнующую книгу Уильяма Морриса — яркое описание будущего коммунистического общества. В новом обществе, писал поэт и художник, труд станет жизненной потребностью и наслаждением, люди будут свободны, счастливы, полны энергии и, как правило, прекрасны физически. Свою книгу Уильям Моррис назвал «Вести ниоткуда — утопический роман».

Сегодня вести приходят из Советского Союза. И это волнующие вести. Многовековая эра утопий кончилась. Первая страна социализма на сорок четвертом году своего существования, в расцвете сил, победно провозглашает: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Мечты и стремления, в течение тысячелетий воодушевлявшие поэтов, философов и простых людей, идеалы, во имя которых они боролись, страдали и шли на смерть, порою в отчаянии,— все это духовное наследие человечества ныне в надежных руках Коммунистической партии Советского Союза, коллективного автора этой эпохальной Программы.

И вот перед нами наши собственные мечты, обретшие строгость и четкость чертежа,— точный график их осуществления.

Мы уже были свидетелями побед социализма. Из Англии мы с восхищением и гордостью смотрели на широкую и прямую дорогу, по которой стремительно идет треть человечества, и с огромной благодарностью вспоминали тех, кто прокладывал и строил эту дорогу,— большевиков, красногвардейцев, рабочих и крестьян. Только им и было по плечу выполнить этот огромный труд.

И сейчас мы смотрим вперед, на тот путь, что прокладывают в будущее сыны и дочери Октября, авангард всех народов мира, возводя сияющее здание коммунистического общества.

Полный сил, жизнерадостный, уверенно глядящий в будущее советский человек, который покорил Землю и накинул лассо на Солнце, сейчас готовится к новым подвигам, стремясь увеличить свою власть над природой — овладеть на благо человечества новыми источниками энергии.

Мира и хлеба! — таков был один из первых лозунгов большевиков. Ныне Программа КПСС показывает всем народам мира, что в их власти навсегда покончить с войной и голодом.

«Мир — это театр»,— писал Шекспир. Ныне советские коммунисты дают нам Программу, которая не приглашает нас оставаться пассивными зрителями великих исторических событий наших дней, а вдохновляет нас и побуждает выйти на сцену, чтобы стать подлинными творцами истории.

г. ЛОНДОН.

Эрвин Штриттматтер

ПРЕОБРАЗУЕМ МЫ ПЛАНЕТУ НАШУ, ЗЕМЛЮ!

Сильное впечатление произвела на меня Программа КПСС. Да и как могло быть иначе, ведь в ней угаданы многие мои мечты. Вопросы сельского хозяйства занимают в моем творчестве основное место, я пишу главным образом о людях деревни. Вполне понятно, что соответствующий раздел Программы я читал с особым интересом. Я взял за правило сочетать мою писательскую работу с ежедневным физическим трудом. Поэтому мне особенно по душе то положение Программы, которое говорит о воспита-

нии нового человека, «гармонически сочетающего в себе духовные богатства, моральную чистоту и физическое совершенство».

Для работников сельского хозяйства ГДР нынешнее лето было тяжелой порой. Беспрерывно шли дожди, и это несколько снизило урожай. Нас угнетало сознание бессилия перед могуществом природы. Часто приходила мысль: когда же наконец мы научимся регулировать погоду? И в самом деле, в наши дни досадно и унизительно для человека все еще зависеть от «небесных сил».

И вот, когда в Программе КПСС мы читаем, что будет сделано все для «освобождения сельского хозяйства от вредных воздействий стихийных сил природы», нас это радует и воодушевляет.

Около десяти лет назад я написал пьесу «Кацграбен». Герои этой пьесы, крестьяне, мечтают о будущем. Эти мечты выражены в эпилоге. Теперь, перечитав его, я очень обрадовался. Мои тогдашние марксистские «грезы» (если так можно выразиться) сбываются. Только сейчас я читал этот эпилог с несколько иным чувством. А ведь в то время мне было как-то неловко за свою дерзость, и если бы мне пришлось прочесть эпилог самому (за меня его читали актеры), то я сделал бы это довольно сдержанно и неуверенно. В то время у нас в Германской Демократической Республике сельскохозяйственные производственные кооперативы только начинали развиваться. За минувшие годы многие из моих «фантазий» стали явью. Остальные сбудутся до 1980 года. Эта дата зафиксирована в новой Программе КПСС. Я здесь воспроизвожу эпилог своей пьесы «Кацграбен», ибо его поэтическая форма выражает, как мне кажется, мои чувства лучше, нежели обыденные слова.

Не станем мы тогда страшиться непогоды,
На грядках, влагой напоенных, будут дыни,
Арбузы зреть, и тут же водоемы
Раскинутся. Изменится хозяйство.
А в камышах попрячутся бекасы,
И карпы разжиревшие, и сомы
Избороздят просторные пруды.
Под сенью полосы лесозащитной
Поселятся бататы, рис и хлопок.
И ветер нипочем — его к посевам
Посаженный кустарник не подпустит.
А над полями, над лугами зажужжат
Рои, несущие цветов душистых соки.
Взрастим по-новому плоды и корнеплоды,
Облагородим мы кустарник дикий,
Поборем ядовитость волчьих ягод,
Пырей упрямый мы скрестим с пшеницей,
И не останется без пользы ни травинки!
Чересполосица исчезнет, будут всюду
Луга и пашни кооперативов —
Совместные владенья земледельцев,
Совместные заботы и старанья.
Машины сеют и машины косят,
Пшеница зреет в Люнебургской степи,
И ни клочка невспаханной земли!
Ту гору, что сегодня своротить
И миллионы рук не в состоянье,
Мы сдвинем лишь одним нажатьем кнопки
И реки вспять заставим течь, коль захотим.
Преобразуем мы планету нашу, Землю!
Такую жизнь построить нам под силу,
А хищник сунется — найдет у нас могилу.

(Перевод В. Вешняка)

г. БЕРЛИН.

К. Зелинский

МИР СЕГОДНЯ И ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИТЕРАТУР

(Несколько мыслей в связи с выступлениями журнала «Сервей»)

Недавно в беседе с одним австралийским писателем у нас зашла речь о потрясающих контрастах, которые сегодня определяют лицо мира.

Этот писатель подарил мне иллюстрированную брошюрку, где жизнь австралийских аборигенов предстает в том виде, в котором она существовала, видимо, и тысячелетия тому назад. В австралийских пустынях, рассказал он, в районах сегрегации живут туземные племена на совершенно первобытном уровне. До них никому нет дела.

В ответ я рассказал своему гостю о только что прочитанной мною книге ботаника и путешественника Николаса Гэппи, которому удалось проникнуть в еще неведомые джунгли Британской Гвианы и Бразилии по Амазонке. В этой книге (она называется «Ваи-ваи» — по имени одного индейского племени и вышла в Лондоне в 1958 году) весьма красноречивы факты. Автор, отнюдь не являющийся коммунистом, пишет, однако, что методы, которыми пытаются там приобщить «туземцев» к современной цивилизации (а Гэппи встретил индейцев, даже не видевших ни разу белого человека), эти методы решительно противоречат человеческим и национальным интересам населения. Особенное возмущение у Гэппи вызывала деятельность миссионеров, которые обменивают бисер и побрякушки, приправляя свою торговлю пропагандой христианства. Запугивая индейцев идеей греха, внушая им презрение к их народным обычаям, они во всем стремятся обезличить их и принизить столь присущее индейцам гордое чувство своего человеческого достоинства.

— Скажите, вы считаете этих индейцев людьми? — спросил Гэппи одного миссионера.

Последовал решительный ответ:

— Но это же не имеет никакого отношения к делу! Мы любим их — любим во Христе. Наша задача — спасать души, а до остального нам нет дела.

Впрочем, можно привести тысячи и тысячи примеров из практики колониальных держав в Африке, Азии, Америке, в разных концах мира, свидетельствующих о том, что колонизаторы, становясь владыками других народов, ни в малой степени не заботились об интересах этих народов. Как писал Неру в своей «Автобиографии», английское понятие управления Индией вытекало из представления о полицейском государстве... О материальных нуждах граждан не заботились, они приносились в жертву английским интересам. Культурные и другие потребности народа, за исключением крошечной кучки людей, находились в полном пренебрежении. Впрочем, об английском владычестве в Индии с беспощадной прямотой писал еще Маркс. Один из результатов английского владычества — сотни миллионов неграмотных.

Вопрос о развитии национальных культур многочисленных народов и племен, населяющих ныне землю,— один из важнейших и острейших вопросов современности. Его острота вызвана нарастанием антиколониального революционного протеста на всех континентах — в Африке, Южной Америке, в Азии. Угнетенные народности и племена не хотят долее жить в рабстве, в нищете, в унижении, вымирая от болезней и непосильного труда, обслуживая некую «расу господ» — хозяев монополистического капитала. В самой глубине тропических лесов в Африке или Южной Америке, в пустынях Австралии и Сахары люди тоже хотят жить по-человечески. Все люди на земле хотят дышать воздухом свободы, распоряжаться дарами природы, пользоваться завоеваниями науки и техники, учить своих детей в школах, наслаждаться произведениями искусства и сами создавать поэмы и романы на своем родном языке. Колониальные народы не хотят, чтобы грабили земли их отцов, чтобы и дальше их держали в беспредельной нищете и невежестве.

И хотя рабовладельцы в наши дни вооружены не только бичами и охотничьими ружьями, но всей изощренной техникой массовых убийств, пример Конго, Анголы, Алжира и других стран показывает, как земля может гореть под ногами рабовладельцев, хотя бы и вооруженных до зубов современным оружием. Пример Кубы показывает, как революционный народ, воодушевленный идеей национальной свободы, идеей социализма и создания своей национальной культуры, может стряхнуть с себя паучье иго империалистических эксплуататоров.

На фоне всех этих событий сквозь далекие пространства, сквозь тысячи километров, сквозь бури и страдания народов светят простые слова: «Москва», «Ленин», «Советский Союз». Все народы, населявшие когда-то отсталую царскую Россию, теперь создают свою национальную культуру и литературу. Индийский писатель Кумар Гошал в своей книге «Народ в колониях» (она вышла в Нью-Йорке в 1948 г.) писал, что на лидеров колониальных народов производит громадное впечатление пример замечательно быстрого экономического роста и культурного развития Казахстана и республик Средней Азии. Этот пример показывает наиболее отсталым народам, не имеющим даже ни своей письменности, ни литературы, как можно достичь в самый короткий исторический срок поразительных результатов.

Но в капиталистическом лагере мы найдем не только признание всех этих неоспоримых фактов. Ведь притягательность примера страны социализма может ввести в «опасный соблазн» лидеров национального движения! Это вызывает страх среди идеологов империализма, стремление любыми средствами опорочить достижения национальных культур и литератур в СССР.

Одну из таких попыток исказить и ослабить международное воздействие яркого примера развития национальных литератур в СССР предпринял издающийся в Лондоне журнал «Сервей», поместивший за последнее время ряд статей об этих литературах. Я познакомился с этими статьями. Они довольно показательны, так как наглядно отражают цели, которые ставят себе наши идейные противники, и демонстрируют средства, которыми они пытаются воздействовать на своих читателей. Однако прежде чем обратиться к этим статьям, представим общее положение в мире и в СССР в аспекте вышеназванных проблем.

* * *

Человечество сегодня говорит примерно на двух с половиной тысячах языков. Однако более половины наций и племен, населяющих землю, немы в литературном отношении. У них нет письменности. У них нет условий для закрепления словесного творчества.

Возникает такой вопрос: по какому пути пойдет развитие мировой литературы, если она будет развиваться на двух с половиной тысячах языков? Будет ли число языков сокращаться или увеличиваться? Станет ли писатель будущего обращаться лишь к своему «семейному кругу»? Этот «семейный круг» может быть племенем в несколько тысяч человек, может быть и народом в несколько десятков миллионов. Но все-таки он останется «семейным кругом», какой-то частицей человечества. Радио и реактивная авиация сняли такую, в прежние времена трудно преодолимую, преграду, как расстояние. У сегодняшних людей иное чувство пространства и иное чувство человечества. Вот почему и литературное творче-

ство мы невольно представляем себе на фоне и в связи с процессами XX века, процессами умножения контактов народов между собой.

Я думаю, что на многие вопросы, которые задает нам языковая карта мира и история сегодняшнего дня, мы сможем получить ответ в тех процессах развития культуры, какие происходят в России после социалистической революции в октябре 1917 года.

Развитие национальных литератур есть часть или следствие решения общего национального вопроса. Национально-освободительное движение народов вызвало и далее будет вызывать к жизни образование новых десятков и сотен национальных культур и литератур. Для одних народов это будет означать еще только образование письменности, выработку литературного языка и т. п. У громадного большинства народов, находившихся под колониальным игом, этот процесс формирования своей национальной литературы осложнен напластованием языка и культуры нации-завоевательницы, культуры колонизаторов.

Впереди два пути развития национальных литератур мира. Один — путь националистического обособления. Это неизбежный путь в условиях капитализма. Другой путь — расцвет национального момента и в то же время преодоление языковых барьеров через идейное сближение народов, через образование человеческой общности, таков путь социализма. Именно об этом говорит советский опыт. На нашем, советском примере, на примере многонациональной советской литературы видно, как может преодолеваться невероятная языковая раздробленность человечества. Социализм одновременно приносит и расцвет национальных форм, и их сближение, и взаимопроникновение. Точно сказано об этом в Программе КПСС.

«Широкий размах коммунистического строительства и новые победы идеологии коммунизма обогащают социалистическую по содержанию, национальную по форме культуру народов СССР. Усиливается идейное единство наций и народностей, сближение их культур. Исторический опыт развития социалистических наций показывает, что национальные формы не окостеневают, а видоизменяются, совершенствуются и сближаются между собой, освобождаясь от всего устарелого, противоречащего новым условиям жизни. Развивается общая для всех советских наций интернациональная культура. Культурная сокровищница каждой нации все больше обогащается творениями, приобретающими интернациональный характер».

Национальная форма (в первую очередь язык) — это историческое образование, историческая категория. Национальная форма — это одно из проявлений исторической общности народа, той общности, которая порождена совместной жизнью многих поколений одного человеческого коллектива. Национальный момент — это «Я» народов, их индивидуальность.

В эпоху, когда десятки наций выходят на форум всемирной истории с тем, чтобы заявить о своем народном «Я», рождаются литературы нового, социалистического реализма. А как же иначе раскрыть это народное «Я», как не путем правдивого, верного действительности художественного метода, выявляющего силы народов, борющихся за укрепление и развитие социализма?

Через Пушкина русская литература впервые осознала нашу страну как страну многонациональную: «И назовет меня всяк сущий в ней язык...» — говорил о себе поэт. Но недаром более ста лет назад в поэме «Кавказ» Шевченко писал, что в царской России «от молдаванина до финна на всех языках все молчат».

Сегодня литературная карта СССР неузнаваемо изменилась. Заговорили все и ранее немые народы. И те, которые не имели письменности до революции (а таких народностей в Советском Союзе насчитывается свыше сорока), и народы с древней письменностью — такие, как народы Закавказья. Литература у всех приобрела новые масштабы и получила новое направление развития.

Почему исчезли белые пятна с литературной карты? Они исчезли потому, что все нации и даже самые малочисленные племена и национальные группы сумели принять участие в строительстве новой социалистической экономики и культуры. Причем в условиях совершенного равноправия. Тем народностям окраин России, которые запоздали в своем развитии из-за политики угнетения, проводившейся царской Россией, советское правительство оказало тройную, удесятеренную — и моральную, и

материальную, и политическую — помощь. В этом была суть национальной политики, провозглашенной Лениным. К чему она привела? Она привела к тому, что ранее задавленные народности стали развиваться необыкновенными темпами. У них еще до войны и затем в послевоенные годы выросла своя творческая интеллигенция. Вся страна покрылась сетью типографий, в которых стали выпускаться книги на национальных языках. А так как в Советском Союзе полностью ликвидирована неграмотность и обеспечено образование уже в объеме семи классов, то писатели всех племен и народов обрели своих читателей.

Библиография литератур народов СССР, произведений, переведенных только на русский язык и только за двадцать лет (с 1934 по 1954 год), составляет том более чем в 750 страниц. Но важнее тучи фактов понять принцип их расположения и направление их движения.

Каждая из пятидесяти литератур народов СССР начала свой путь в разных исторических условиях. «Печкой», от которой они «танцевали», были разные национальные традиции. Естественно, что молодой советский писатель, который оказывался перед задачей воплотить новое содержание, выразить свои чувства, порожденные революционными событиями, рассказать о том, что произошло с родным народом,— естественно, что такой писатель прежде всего обращался к опыту своей национальной литературы. Если этот опыт сводился только к устному народному творчеству — очевидно, он клался в основу. И действительно, у многих народностей стихи, поэзия были преобладающим жанром. Можно сказать, что почти вся Сибирь, если иметь в виду нерусские национальности,— это страна поэзии. То же самое можно было бы сказать и о Средней Азии и Северном Кавказе.

Среди краев СССР, в которых по преимуществу господствуют поэтические жанры, можно выделить Дагестан. В силу особых географических условий и по прихоти истории в этой небольшой горной стране, спускающейся к Каспийскому морю, в прошлом стране лишь овечьих пастбищ и земледелия живет свыше тридцати различных народностей и национальных групп. Это настоящий «Вавилон» языков. Сегодня в Дагестане преподавание в школах ведется на семи языках (аварском, лезгинском, кумыкском, даргинском и др.). И вот этот маленький Дагестан, с населением меньше миллиона человек, выдвинул поэтов, которые в переводах на русский язык стали известны не только всему СССР. Из пишущих на аварском языке (это наиболее многочисленная дагестанская национальность — более двухсот тысяч) вышли Гамзат Цадаса и его сын Расул Гамзатов. Из среды лезгин — Сулейман Стальский, народный певец, или ашуг, которого Максим Горький, как известно, назвал «Гомером двадцатого века».

Представляет особый интерес, что в век радио и типографских машин у тех народов СССР, где до революции еще были живы традиции устной народной поэзии, эта поэзия ожила заново. Из среды ашугов, народных певцов, которые с незатейливым струнным инструментом, вроде казахской домбры или узбекской и таджикской дутары, путешествовали в степи, по аулам, вышли колоритнейшие фигуры. Напомню казахского акына Джамбула — яркого певца советских побед и обличителя феодально-кочевой степи прошлого.

Однако проза, особенно роман, не без основания считается важнейшей формой в поступательной эволюции литературных жанров, подобно тому как выплавка чугуна и стали характеризует промышленный потенциал страны. Современный многоплановый и социально-психологический роман является в Советском Союзе достоянием не только русских, украинцев, армян, грузин, азербайджанцев, эстонцев, словом, тех наций, где роман получил давнее развитие. Имена таких романистов, как латвийские писатели Вилис Лацис и Андрей Упит, как эстонцы Рудольф Сирге и Ааду Хинт, как грузины Лео Киачели или Константин Гамсахурдия, как армянские романисты Дереник Демирчян или Стефан Зорян, как новеллист Аксель Бакунц, достаточно хорошо известны. Замечательно и другое. В самые короткие сроки роман сложился у народов Средней Азии, которые его до революции не знали. Даже возникла проза у бурятов и тувинцев, а тувинцы получили свою письменность только в начале тридцатых годов.

Одним из примеров быстрого и всестороннего развития прозы у народов, до революции особенно запоздавших в истории,

могут служить повести Чингиза Айтматова. Например «Джамиля», получившая отклик и за рубежом. Эта повесть о любви отмечена тонким психологизмом и написана во всеоружии всех современных литературных средств. Добавлю к сказанному, что киргизы до революции не имели письменности, что этот небольшой (около миллиона) народ, до революции сплошь неграмотный, кочевал по горным пастбищам и еще в начале двадцатых годов нашего века сохранял в своем укладе остатки родового строя.

У меня вызывают особенно теплое чувство писатели, которые пришли на огни пятилеток из тайги и тундры Сибири и Дальнего Востока. Вот, например, автор прелестных поэтических повестей — «Зарево над лесами» и «Там, где бежит Сукпай» — удэгеец Джанси Кимонко. Удэге — маленькое охотничье племя на Дальнем Востоке, в отрогах Сихотэ-Алиня. Джанси Кимонко учился в школе Хабаровска и в Институте народов Севера в Ленинграде. Он вернулся к своим родичам, чтобы стать председателем сельсовета и председателем охотничьего колхоза, но погиб на охоте. Или вот, молодой поэт из народа манси, выпустивший уже третью книгу стихов,— Юван Шесталов. Мансийцы (их меньше семи тысяч, хотя административный Ханты-мансийский округ по площади больше Франции) живут за Уралом, на северо-западе Сибири. Мансийцы и ханты сохранили замечательный поэтический фольклор, но оставались и безвестными и неграмотными. А вот сегодня советский мансийский поэт Юван Шесталов ощущает себя в единстве с революционными событиями во всем мире и посылает свой голос из-за Уральского хребта неграм Африки: «Так вставайте же, вставайте на тернистый путь Лумумбы!»

Стихи молодого поэта сочетают образность и лиризм мансийского устного народного творчества с широтой кругозора современного образованного советского человека.

Там, где карлики деревья
Уходили в тень корнями,
Языкастые поверья
Нас прозвали дикарями.

Ой, легенды, что вы врете!
О моем лесном народе
Столько нынче песен славы!

...Я, поющий песню эту
В лад с таежными ветрами,
Разве мог бы стать поэтом,
Если б вырос с дикарями?..

(Перевод А. Прокофьева)

Разумеется, у меня и в малой степени нет претензий в этой статье хотя бы частично воспроизвести множество красок и оттенков на многонациональной литературной карте СССР. Многоцветность этой карты — заманчивый предмет для литературной науки — есть наглядное выражение творческого расцвета всех народов и национальных групп Страны Советов.

* * *

Это одна сторона исторического процесса. Другая сторона — преодоление как бы «вспыхнувшей» многоязыкости через духовное сплочение.

Мы вправе задаться вопросом, как наряду с расцветом национальных традиций и форм в литературе реализуется то, о чем сказано в Программе КПСС:

«Все интенсивнее становится обмен материальными и духовными богатствами между нациями, растет вклад каждой республики в общее дело коммунистического строительства. Стирание граней между классами и развитие коммунистических общественных отношений усиливают социальную однородность наций, способствуют развитию общих коммунистических черт культуры, морали и быта, дальнейшему укреплению взаимного доверия и дружбы между ними».

Это общее проявляется не только в тематике (а темы дружбы народов, социалистического строительства и т. п., естественно, общие темы для всех советских литератур), но это общее находит выражение и в видоизменении национальных форм, в развитии жанров и стилей. Иначе сказать, то общее, что составляет душу всех советских национальностей и племен, глубоко проникает в самую природу художественного творчества на почве социалистического реализма, порождая новые эстетические формы. Принципиально важно, что этот процесс обновления и видоизменения художественных национальных форм и традиций на пути освоения нового общего коммунистического содержания жизни в равной мере относится и к литературам с древней письменностью и к литературам ранее бесписьменных народов. Как ни далеки между собой, казалось бы, литературы армян и нанайцев, грузин и якутов, украинцев и эвенков, но существуют общие зако-

номерности, которые изнутри направляют литературное развитие столь исторически несхожих между собой народов к общим целям коммунистического человечества.

Более всего общего обнаруживается в принципе отображения жизненных явлений, в принципе их типизации. Разумеется, этот принцип не носит догматического характера. Он почерпнут в самой советской действительности или, вернее, подсказан ею. Он заключается в том, что в центре интересов художника оказываются те общественные силы, которые направлены на созидание коммунизма. Это силы самого народа в его движении к историческим целям. Это новые герои, их новые отношения, складывающиеся в социалистическом обществе, в условиях коренной, революционной ломки всего старого уклада. В художественном произведении, посвященном прошлому, наблюдается та же закономерность: в центре внимания писателя оказываются главные движущие силы истории — народ, борьба классов.

Второй общей чертой, наблюдаемой во многих национальных литературах социалистического реализма, является вышеупомянутое сходство тематики, а отсюда и отдельных сюжетных мотивов (назовем такую распространенную тему: превращение юноши — неграмотного охотника из первобытного племени в советского интеллигента: инженера, врача, ученого). Это сходство порождается тем, что в Советском Союзе все народы и национальные группы участвуют в общегосударственном экономическом и культурном строительстве, в строительстве колхозов, новой индустрии, социалистической культуры.

Третья общая черта, характеризующая освоение национальными советскими литературами метода социалистического реализма,— это тенденция к развитию повествовательной прозы, и более того — монументальной формы романа-эпопеи. Сюжет такой эпопеи отражает исторический переход народа от прежней общественной формации (капитализма, феодализма) к новой, социалистической. Эта тенденция отчетливо выражена во многих литературах — и в русской (А. Толстой, М. Шолохов, А. Фадеев, К. Федин), и в украинской (А. Гончар, М. Стельмах), латышской (А. Упит, В. Лацис), азербайджанской (С. Рагимов), казахской (М. Ауэзов) и других.

Много общего наблюдается и в развитии стиля, языка, речевых и образных средств. С одной стороны, стилевые искания художников направлены на образование новой лексики, новой ритмики — словом, создание таких форм, которые были бы адекватны эпохе, выражали бы ее революционную ломку и поиски нового. В русской литературе эти искания прежде всего связаны с именем Маяковского. Его творческий опыт или, скорее, пример нашел широчайший отклик и в национальных литературах, особенно в литературах народов Советского Востока, где устарелость феодальной традиции чувствовалась весьма остро. Другая тенденция — и это особенно ощущается в прозе — развитие стилевых традиций классического русского реализма с его высоким искусством пластического создания образов, с его простотой и выразительностью языка. Разные национальные литературы в процессе роста начинают освобождаться от тех традиционных особенностей, которые уже являются препятствиями на пути их развития как литератур социалистического реализма.

Как мы видим, единство советских национальных литератур проявляется не только в общности идейного содержания, но и в некоторых общих тенденциях развития форм

* * *

Таковы очертания диалектически сложного процесса образования новой культуры и литературы коммунистического человечества. На почве социализма нет антагонистического противоречия между национальным и общечеловеческим. Другое — в лагере капитализма. Программа КПСС подчеркивает, что империалисты, защищаясь от национально-освободительных революций, стремятся извратить их, выхолостить главное содержание, использовать для разжигания национального эгоизма, насаждая дух исключительности и национального антагонизма. Вот почему наши идейные противники в капиталистическом лагере стремятся извратить опыт развития советской многонациональной литературы в буржуазно-националистическом духе.

Журнал «Сервей», издающийся в Лондоне, довольно претенциозно именует себя «журналом восточноевропейских и советских исследований». Именно исследований-то и не встречаешь на страницах «Сервей». Было

бы унизительно для английской науки, многими великими именами которой гордится все человечество, относить эпитет «научный» к этому изданию, ставшему приютом для разбросанных по белу свету — в США, Англии, ФРГ, Израиле и в других странах — так называемых «специалистов» по русской литературе. Их «специальность» — подбрасывать материал в международную кухню холодной войны против СССР. Такие задачи, как ясно каждому, несовместимы с интересами подлинной науки. Но, повторяю, некоторые материалы, печатающиеся на страницах «Сервей», могут быть поучительны для понимания того, на какие позиции наши идейные противники хотели бы отбросить писателей советских республик. Вот, например, программная статья, помещенная в журнале «Сервей» (№ 36, апрель—июнь 1961 г.),— «Многонациональная литература и ее проблемы» Джорджа Луцкого. Это украинский буржуазный националист, ныне состоящий профессором университета в Торонто (Канада), где он возглавляет отделение славянских исследований. Луцкий — автор антисоветской, построенной на клевете и подтасовке фактов книги «Литературная политика в Советской Украине 1917—1934», вышедшей в Нью-Йорке в 1956 году. Эта книга в свое время получила должную оценку в нашей печати *.

Статья в журнале «Сервей» написана тем же методом, а именно: автор, оперируя рядом фактов, создающих видимость осведомленности в вопросе (например, Дж. Луцкий упоминает некоторые труды Ленина, статьи в журнале «Дружба народов», в «Известиях АН СССР», дискуссию в Институте мировой литературы им. Горького АН СССР и т. д.), в то же время искажает факты, запутывает читателя, стремясь вызвать у него недоверие и неприязнь ко всему советскому вообще.

Но название статьи и ссылки на некоторые научные советские издания вряд ли могут ввести в заблуждение даже английского читателя. Именно проблем-то и нет в статье Луцкого. Да автор и не ставил перед собой никаких научных задач. Его статья демонстрирует только одно: угрюмую неприязнь буржуазного националиста ко всему русскому. Автор уверяет, что писатели нерусских национальностей ныне усомнились в идейном единстве и сами пришли к выводу, что все, что они делали, «сшито из русской материи». Дж. Луцкого раздражает не только распространенность русского языка в СССР, но и существующий у нас школьный закон, по которому в любой национальной республике родители вправе по своему выбору обучать ребенка на родном языке и на русском.

Ненависть ко всему русскому у Луцкого так велика, что он даже готов превратить в русификатора и гонителя национальных нерусских литератур — кого бы вы думали?..— А. М. Горького! Да, да, под пером американского профессора даже Максим Горький, который еще до революции выступал как защитник национальностей, угнетаемых в царской России (финнов, латышей, евреев), а в советские годы поистине стал живым олицетворением дружбы советских литератур, собирателем творческих сил национальных литератур, Горький, который еще на Первом съезде писателей в своем докладе поставил вопрос о необходимости шире изучать и классическое наследие и опыт советских национальных литератур, Горький, который на весь мир заявил, что советская всесоюзная литература — это не только литература русского языка. Любимый всеми народами не только в СССР Горький превращен Дж. Луцким в великодержавного шовиниста и русификатора.

Стоит ли комментировать подобный «тезис»? Один этот пример говорит сам за себя. Такое отношение ко всему русскому у канадско-украинско националистического профессора объяснимо его классовой позицией. Дж. Луцкий ненавистник всего русского потому, что русский язык сегодня в глазах всего мира является носителем идей социалистической революции, голосом неотразимых достижений Страны Советов. Слово «русский» даже в далеких джунглях Африки сегодня звучит как «брат». Множество русских слов («совет», «колхоз», «спутник» и т. п.) без перевода вошло как новые понятия в языки большинства народов нашей планеты. Американский певец, «негр преклонных годов», Поль Робсон выучил русский язык, чтобы петь советские песни, которые звучат во всех концах земного шара как символ братского единения народов. А канадский профессор Луц-

---

* См. рецензию Т. Трифоновой «Под маской науки». «Вопросы литературы» № 7, 1957 год.

кий на страницах английского журнала призывает советских писателей нерусской национальности подальше бежать от всего русского.

Но так велика сила фактов, что даже этот недруг всего советского и русского вынужден признать: «Национальные языки интенсивно развиваются и обогащаются (конечно, при этом он добавляет: несмотря на русификацию и ассимиляцию» — *К. З.)*. Хотя украинский лингвистический журнал «Мовознавство» усматривает в период перехода от социализма к коммунизму еще большую «интенсификацию роли русского литературного языка как «средства международных связей», он содержит в изобилии новые лингвистические материалы, показывающие, что исследования в области диалектологии и украинского языка в целом продолжаются в более широких масштабах, чем до 1956 года. Изумительный древний киргизский эпос «Манас» и сейчас пленяет современных киргизских писателей».

Неприязнью к русскому дышит и другая статья в журнале «Сервей», статья Г. Морриса «Литература Средней Азии». Автор ее — сотрудник Британского музея, а в прошлом — Центральноазиатского исследовательского центра (как его рекомендует редакция). Но эти «академические» титулы находятся в явном противоречии с антинаучными качествами его работы так же, как и профессорский труд Дж. Луцкого. Основной тезис статьи тот же: среднеазиатские литературы подчинены русской литературе. Но Г. Моррис идет и дальше, заявляя, что «современная среднеазиатская литература — искусственное образование». Автор при этом не замечает, что, применяя термин «среднеазиатская литература», он валит в одну кучу литературы казахскую, узбекскую, киргизскую, туркменскую, таджикскую, кара-калпакскую, уйгурскую и литературы других народов, живущих в Средней Азии.

Основной довод в доказательство того, что «среднеазиатская литература» представляет собой образование «искусственное», фиктивное, Г. Моррис видит в том, что реалистическая традиция не органична для Средней Азии. Ее традиция, по его мнению, это — напыщенность и риторика, и поэтому, как он прямо пишет, «перспективы будущей советской литературы в Средней Азии представляются малообещающими». А вообще, по мнению автора «Сервей», «литература советской Средней Азии, с точки зрения профессиональной, уступает другим литературам Советского Союза». Когда знакомишься с подобного рода высокомерными высказываниями, невольно вспоминаются физиономии британских и иных колониальных чиновников, довольно реалистично и часто ядовито нарисованных на страницах современной и английской и американской литератур (например, в «Тихом американце» Грэхема Грина). Никак не может себе представить бывший сотрудник Центральноазиатского исследовательского центра, «что какие-то «азиаты» (кстати, Г. Моррис довольно свысока смотрит и на литературы Индии, Ирана, Турции, как тоже... на «мало знакомые с западноевропейской литературной традицией».— *К. З.)*, а тем более «советские азиаты» (то есть в его представлении варвары в квадрате) могут создать литературу, да еще на своих родных языках, не уступающую по художественному уровню произведениям и русских и английских писателей. Хотя автор статьи и упоминает имя Мухтара Ауэзова, но, очевидно, Г. Моррис не удосужился прочитать его роман «Абай», иначе он, вероятно, не решился бы произнести свой приговор литературам Средней Азии и Казахстана. Ведь читатели могут проверить эти слова: на английский язык переведено довольно много произведений писателей народов Средней Азии.

Статьи о национальных литературах в журнале «Сервей» могут явиться своего рода учебно-показательной иллюстрацией для того раздела Программы КПСС, в котором дается анализ позиций, с которых буржуазия в капиталистических странах ведет атаку против советской идеологии, против единства социалистических стран и в защиту политики колониализма. В Программе прямо сказано: «Основное политическое и идеологическое оружие, которое использует международной реакцией и остатками внутренних реакционных сил против единства социалистических стран,— национализм...»

Авторы буржуазных изданий типа журнала «Сервей», руководимые духом национальной исключительности и чувством превосходства своей расы или нации колонизаторов над другими расами или нациями, тем са-

мым уже сходят с пути подлинной науки. Эти авторы или пасуют перед фактами, или искажают их и не видят тех действительных проблем, которые выдвигает история нашего времени.

А в то же время именно сегодня, когда рождается новое человечество, когда весь земной шар кипит в противоречиях, сама жизнь громко заявляет об этих проблемах — национальных, языковых и, прежде всего, социальных.

Герберт Уэллс в своих вышедших в Англии в 1900 году известных предсказаниях о том, что произойдет в двадцатом веке, опираясь на опыт Англии и Франции, как колониальных держав, приходил к выводу, что европейские языки (английский и французский, в первую очередь, и затем немецкий) имеют шансы занять господствующую мировую роль «собирателей», объединителей народов. Но ограниченность буржуазного мировоззрения помешала великому писателю представить себе, как пойдет развитие социальных революций в XX веке.

Революции изменили всю картину. Социальные и научно-технические достижения в Советском Союзе таковы, что в наглядных масштабах и возрастающими темпами начинает увеличиваться собирательная (пользуюсь выражением Г. Уэллса) роль русского языка. Не только ученые для чтения специальной литературы начинают в западноевропейских странах и в США изучать русский язык. Русский язык — это сегодня не только язык великой литературы, но и язык революции, ленинских идей и побед советского народа. В то же время те языки, которые к началу нашего столетия в глазах Г. Уэллса — и не без известного основания — приобрели значительную собирательную роль, став языками международных взаимоотношений, как английский и французский языки, ныне столкнулись с противодействием их распространению. Это — противодействие народов, ранее находившихся в колониальной зависимости от Англии и Франции. Английский язык за два столетия господства англичан в Индии стал связующим языком для интеллигенции многочисленных индийских наций и народностей. И, как мы видим, сегодня в Индии английская речь звучит на индийских конгрессах, конференциях, издаются научные журналы на английском языке и т. д. Но вместе с тем новая интеллигенция уже получает образование по преимуществу на языках хинди, урду или бенгали, то есть на наиболее распространенных языках, на которых в общей сложности говорит более 220 миллионов человек.

Народы Африки говорят сегодня примерно на 120 языках, принадлежащих к одиннадцати языковым группам (не считая диалектов). Тенденция к объединению Африки, возможно, приведет и к выдвижению из множества африканских языков и диалектов одного или нескольких языков, которые смогут стать языковой базой для дальнейшего развития культур африканских народов.

Таким образом, национально-освободительные движения и социальные революции влекут за собой формирование национальных культур и литературных языков. А с другой стороны, рождают в душах сотен миллионов людей пафос человеческой близости и единства. И для писателей всех этих народов громадный и теоретический и практический интерес представляет опыт Советского Союза, где гармонически сочетаются и возрождение национальных языков и объединение литературного творчества общими идеями, общим реалистическим методом в трактовке жизни, то есть методом социалистического реализма.

Условия воспитания литературной интеллигенции, темпы литературного развития, характер поэтики и стилистики, образование жанров, возникновение сюжетов, метафорической системы, вопросы соотношения национальных традиций, в частности фольклора, с новыми задачами современности — вот то, что вызывает пристальный интерес к советскому опыту у писателей и ученых освобожденных народов Африки и Азии.

Международное значение опыта советских национальных литератур неоспоримо. Оно определяется не только самим идейным существом советской литературы, но и большим богатством ее художественных форм.

На Третьем съезде советских писателей (май 1959 г.) я познакомился с писателем Жаком Алексисом с острова Гаити. Жак Алексис и его товарищи, прогрессивные писатели Гаити, создали у себя народный театр, всецело опирающийся на фольклорные сюжеты, которые, однако, приспосабливались к современным условиям. Они хотели

таким образом оторваться от импортной литературы, проникающей из США и Европы. И это им удалось полностью. Их театр приобрел необычайную популярность в народе.

Беседуя с вьетнамскими писателями в Институте мировой литературы им. Горького, я обратил внимание на их огромный интерес к изданию в СССР фольклорных памятников, к научным принципам создания сводов эпических песен и поэм.

Английский журнал «Сервей» утверждает, что общение с русским языком и русской литературой грозит якобы культуре советских народов разрушением национальной специфики, утратой национальной формы. Это — националистическая клевета. Национальная форма (специфика, краски, словом — все частное и особенное) не имеет самостоятельной ценности, взятой отдельно от общего, от идеи. Национальная форма, фиксируем ли мы ее в архитектуре, кино, живописи, литературе (и язык в том числе), представляет собой функцию, производное человеческой деятельности, хотя и обладающее большой степенью обратного воздействия на идею. Как не может существовать «искусство для искусства», «наука для науки», так и бессмысленно культивировать «национальную форму для национальной формы», ради сохранения ее самой. В последнем случае (как и «искусство для искусства») национальная форма становится моментом разъединения людей, орудием национализма.

Наш путь другой. Советские народы развивают национальную форму, используют ее лишь в той мере, в какой она содействует всестороннему развитию человека, эстетическому, интеллектуальному, насколько она, национальная форма, содействует человеческому объединению людей на пути образования нового коммунистического мира. Но, коль скоро устаревшая форма превращается уже в тормоз, преграду на этом пути, мы не культивируем ее. Национальная форма не фетиш. Это одно из проявлений человеческой общности, образовавшееся на долгом пути исторического развития человечества, составившегося ныне из двух с половиной тысяч народов и племен.

Многотысячелетняя история старого мира нарисовала эту пеструю литературную карту, словно запечатлевшую библейскую легенду о вавилонском смешении языков.

И вот мы на пороге нового мира, накануне прыжка из царства необходимости в царство свободы. Новыми глазами мы увидели перед собой земной глобус, подобно тому как космонавтам заново предстала земля с высоты почти в триста километров. И новый мир коммунизма напишет руками будущих поколений и свою новую литературную карту мира.

Ю. Кожевников

В БОРЬБЕ ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ

Семнадцать лет строительства новой Румынии в корне изменили облик румынской литературы.

Художественная практика этих семнадцати лет позволяет в настоящее время глубоко подойти к проблеме социалистического реализма в румынской литературе и подвести некоторые итоги. Не случайно ряд теоретических работ, вышедших в Румынии за последние два-три года, обнаруживают тенденцию к обобщениям (пусть хотя бы предварительным). В 1959 году была опубликована книга Думитру Мику «Современный румынский роман», в которой автор прослеживает развитие этого жанра за пятнадцать лет, то есть с 1944 года по 1959. Автор справедливо пишет: «Жизнь, находящаяся в непрерывном изменении, ставит литературу перед лицом новых проблем и задач. Новый читатель требует новой литературы, которая изображала бы жизнь в ее революционном становлении, выражала бы чувства и стремления тех, кто созидает мир будущего... Основным методом художественной литературы, проникнутой пафосом эпохи социалистических революций, конечно, может быть только реализм, но не реализм «вообще», не «чистый реализм», а, как говорил Горький, «реализм людей, которые изменяют, перестраивают мир», «реалистическое мышление в образах, опирающееся на социалистический опыт...»

В 1960 году вышел в свет сборник статей «Актуальные проблемы литературы социалистического реализма». Академик Дж. Калинеску, опираясь на работы и высказывания В. И. Ленина о литературе, намечает методологию анализа румынской литературы прошлого; о расцвете новой румынской литературы и присущем ей историческом оптимизме говорит академик Перпессичиус; принципу партийности посвящена статья Михая Новикова; проблему мастерства трактует Сильвиан Иосифеску; традиции социалистического реализма в румынской литературе — Михай Гафица. Боевым утверждением передовых принципов искусства явилась также книга Овида С. Крохмэлничану «За социалистический реализм», направленная своим острием против ревизионистских работ Дьердя Лукача. Проблема социалистического реализма значительное место занимает и в книге Иона Витнера «Литературные меридианы», и в работе Сильвиана Иосифеску «Вокруг романа».

Недавно вышел в свет сборник статей известного румынского критика Михая Новикова «Реализм, критический реализм, социалистический реализм». Эта книга разделена на две части. В первой автор собрал свои статьи и работы, в которых трактуются проблемы социалистического реализма применительно к румынской литературе. Во второй части объединены работы, посвященные советским писателям, в том числе М. Горькому, В. Маяковскому, Н. Островскому, А. Толстому, И. Ильфу и Е. Петрову, Л. Леонову, произведения которых автор рассматривает как образцы нового творческого метода.

Книга М. Новикова позволяет показать национальные особенности развития румынской литературы, подтверждающие общую закономерность становления и разви-

тия социалистического реализма. Он начинает с тех изменений, которые претерпевает реализм на рубеже двух веков и которые являются предвестниками литературы нового качества, новых задач, нового эстетического идеала.

«В рамках критического реализма,— пишет М. Новиков,— в последние десятилетия прошлого века наблюдается сдвиг авторского внимания от сатирически разоблачительного изображения правящих классов (образа жизни и соответствующих типов) к изображению нищенской жизни простого народа».

Такой сдвиг наблюдается в творчестве Иона Луки Караджале. В эти годы Караджале создает драму «Напасть», сценурассказ «Румынский арендатор» и публицистические заметки «1907 год от весны до осени» (о восстании 1907 года в Румынии, возникшем под влиянием русской революции 1905 года). Социальные проблемы народной жизни поднимаются в рассказах Александру Влахуцэ и Йона Славича; Джордже Кошбук в стихотворении «Хотим земли» выражает не только вековые чаяния крестьянина, но и его стихийный бунт против эксплуататоров. Журнал «Вьяца ромыняскэ», основанный в 1906 году, видит первоочередную задачу реалистической литературы в том, чтобы правдиво показать жизнь труженика земли, жизнь простого человека, и эта задача успешно решается в ранних рассказах Садовяну и других писателей, примыкавших к журналу.

Если румынская реалистическая литература на рубеже двух веков насыщена социальной проблематикой, то революционно-романтическая поэзия, связанная с зарождающимся рабочим движением, выступает с прямым требованием социальной справедливости, становится глашатаем борьбы за нее. Отсюда начинает прокладывать себе путь в Румынии революционная литература, неразрывно связанная с борьбой трудящихся масс за хлеб, за труд, за жизнь, за новый социальный строй. «Для нас в настоящее время,— пишет М. Новиков,— особенно важно подчеркнуть, что эта новая нить, скромная и несовершенная, появившаяся в нашей литературе на границе двух веков, никогда не прерывалась».

Рост румынского рабочего движения, на гребне которого в конце прошлого века поднялось творчество таких поэтов, как Траян Деметреску, Йон Пэун Пинчио и в первую очередь Думитру Т. Некулуцэ, был той движущей силой, которая подняла румынскую литературу до высот социалистического реализма. М. Новиков пишет: «Новым периодом мощного подъема литературного творчества, непосредственно связанного с рабочим движением, является период 1917—1920 годов, когда борьба пролетариата приобретает особый размах под непосредственным воздействием Великой Октябрьской социалистической революции».

Румынский рабочий класс в тридцатые годы, в годы массовых забастовок, не только заявил о себе как сознательная политическая сила, но и заложил основы нового искусства, краеугольным камнем которого можно считать творчество писателя-коммуниста Александру Сахии. Организуя журнал «Блузе албастре» («Синие блузы»), он писал: «Как и всякий подлинно живой организм, искусство может уходить корнями только в жизнь, воплощать жизнь и обращаться к жизни. Коль скоро жизнь — это борьба, коль скоро человечество разделено на два враждебных, совершенно противоположных лагеря, а конфликт между ними достиг кульминационной точки, не может быть и речи о «чистом» искусстве, без социальных вопросов, без определенных позиций».

М. Новиков справедливо считает, что именно Александру Сахия выдвинул подлинную программу новой румынской литературы, подкрепив эту программу своими рассказами, в которых впервые образ героя-революционера обретает жизненно-реальные черты. В этот же период появляется и революционная поэзия Александру Томы, с рабочим движением связывает свое творчество целая группа молодых писателей Михай Бенюк, Джео Богза, Йон Кэлугэру, Мирон Раду Параскивеску, Думитру Корбя.

В своем анализе М. Новиков особое внимание уделяет связям советской и румынской литератур. Он приводит свидетельство Михаила Садовяну о воздействии на него творчества Горького: «В годы моей молодости бурно вошел в европейскую литературу Максим Горький. Его произведения были переведены на все языки. В начале нового века появились и у нас многочисленные переводы в газетах и журналах. Мир, находящийся вне границ России, мог

благодаря Горькому лучше узнать беспокойную душу русского народа, мучимую вопросами о смысле жизни; мог ощутить в героях Горького бурление человеческого океана, простирающегося от границ Европы вплоть до полярного круга и до сибирской глуши, бурление непобедимых волн, не могущих не разорвать все препоны».

Произведения Горького, нашедшие самый непосредственный отклик среди румынской общественности, сыграли роль, как пишет М. Новиков, «положительного катализатора, действие которого было облегчено возрастающим интересом румынских писателей к русской литературе». Этот интерес значительно усиливается после Великой Октябрьской социалистической революции, он приобретает еще большую широту и социальную остроту. Румынскую общественность привлекает в первую очередь революционный пафос русской литературы. «Почти неизвестный в Румынии до 1917 года Александр Блок после появления «Двенадцати» и «Скифов» становится одним из писателей, о котором говорится больше всего».

Существует определенная закономерность роста этого интереса, есть органическая связь между революционным пафосом, который несли в себе книги русских писателей, и внутренними потребностями румынской литературы. Интерес к русской революционной литературе усиливается в период 1917—1923 годов, когда румынская литература сближается с революционной борьбой рабочего класса. Писатель Гала-Галактион в эти годы выражает уверенность, что «мы увидим, как из рядов самых молодых вырастет и окрепнет долгожданный революционный певец», а в статье «Воззвание Ромэн Роллана» он советует своим коллегам по ремеслу последовать призыву великого французского писателя и защищать «свободную и несущую свободу Россию». Трансильванский поэт Эмиль Исак, обращаясь к своим собратьям, восклицает: «Приходите скорей к источнику социализма, ибо в нем будущее».

В газетах и журналах социалистического направления 1917—1923 годов печатается много рассказов, в которых на первый план выступает человек, посвятивший свою жизнь революционной борьбе. М. Новиков указывает, что революционер в этих рассказах часто был русским по происхождению. «Особенно часто встречается фигура потемкинца как символ единства борьбы и устремлений двух народов»,— пишет он. Это весьма интересное явление исторически закономерно, ибо развитие румынского рабочего движения на разных этапах было тесно связано с революционной Россией: в конце прошлого века политические эмигранты из России явились первыми распространителями марксизма в Румынии; многие из революционных матросов с броненосца «Потемкин», высадившихся в Констанце, осели в Румынии, влились в массу румынских рабочих, среди которых они вели революционно-пропагандистскую работу; через Румынию лежал один из путей доставки ленинской «Искры» в Россию; румынские солдаты во время первой мировой войны восприняли идеи Великого Октября непосредственно от русских солдат.

В Румынии, превращенной в «санитарный кордон» против Страны Советов, переводы советской литературы делались бессистемно, хотя в эти годы появляются на румынском языке такие книги, как «Цемент» Гладкова, «Вор» Леонова, «Трансвааль» Федина, рассказы Шолохова и другие произведения. Эти переводы, так же как признания самих румынских писателей, позволили М. Новикову сделать следующий вывод: «В конечном итоге можно заключить, что в период становления социалистического реализма в румынской литературе пионеры нового движения стремились использовать в значительной степени опыт советской литературы».

Освобождение Румынии от фашизма означало коренной переворот во всех областях народной жизни. С этого момента литература тоже начинает свое новое летосчисление. Социалистический реализм стал не только велением времени, той органической потребностью творчества, без которой художник не может выразить ни эпоху, ни жизнь своего народа, ни самого себя,— изменились и сами условия творчества. «Благодаря принципиальному и заботливому руководству партии рабочего класса,— пишет М. Новиков,— писатели с самого начала могли увидеть в методе социалистического реализма (теоретически обоснованном на творческом опыте советской литературы) метод, больше всего соответствовавший выполнению задач,

которые выдвигала перед литературой новая историческая эпоха».

Упрочению нового творческого метода сопутствовал процесс ломки старых взглядов, осознания высокого долга и гражданской ответственности художника перед своим народом. По собственному признанию Садовяну, он написал в 1948 году роман «Малая Пэуна», твердо отдавая себе отчет в том, что книга о зарождении коллективных хозяйств (хотя коллективных хозяйств в стране еще и не существовало) будет полезно для всего народа. Переосмысление взглядов на крестьянство, обобщение богатейшего художественного опыта с новых идейных позиций привело Садовяну к созданию замечательной повести «Митря Кокор» — первого произведения социалистического реализма в румынской литературе после освобождения. Такие же изменения претерпело творчество и других старейших писателей Румынии: Камила Петреску, Чезара Петреску, Тудора Аргези.

Естественно, что в сложном процессе взаимодействия жизни и литературы центральное место занимает вопрос об облике героя. «Борьба за достижение идеалов социализма, работа нашей партии по разрешению конкретных задач, которые встают на различных этапах этой борьбы,— пишет М. Новиков,— предстает как очистительная деятельность, которая поднимает и украшает человека и в «Митре Кокоре» Садовяну, и в «Бэрэгане» В. Эм. Галана, и в романе Надя Иштвана «На самом высоком напряжении», и в «Земле» Титуса Поповича, и в «Весах» Лючии Деметриус, и во многих других значительных произведениях».

В работе, специально посвященной теме «Борец-коммунист — главный герой современной литературы», М. Новиков выделяет как главную черту, присущую новому положительному герою, его социалистический гуманизм.

«Для облика положительных героев нашей литературы,— пишет М. Новиков,— важно, в какой степени им присущи принципы социалистического гуманизма. Душа их всегда открыта для людей. Чтобы проникнуться социалистическим гуманизмом, одни из них должны переродиться, как это происходит, например, с Митрей Кокором. Букши Кароль (герой романа Надя Иштвана.— *Ю. К.*) в своей привязанности к рабочим находит твердую точку опоры в тот момент, когда его обуревают сомнения. Ни на мгновение не сомневается Павэлоайе («Сталь и хлеб» Йона Кэлугэру), что рабочая масса последует за партией; неунывающим оптимистом, привлекающим к себе симпатии, видим мы Феркаша в романе Франциска Мунтяну «В городе над Муреш»ом». Носители социалистического гуманизма предстают в нашей литературе как герои, исполненные оптимизма, веры в будущее, больше всех чувств ценящие любовь к людям. Именно поэтому они умеют любить, умеют и ненавидеть. Любовь настоящих борцов к людям не имеет ничего общего с сиропообразным человеколюбием добропорядочного буржуа. Это убеждение нашло свое наиболее полное выражение в лирической поэзии («Патрон» Марии Бануш, «Весенние грозы» Михая Бенюка, «Подписываю во имя жизни» Дана Дешлиу, «Лидице» Эуджена Жебеляну и многие другие стихотворения)».

Современная румынская литература с ее новыми темами, новыми героями проникнута светлым мироощущением, передать которое в полной мере можно только методом социалистического реализма. «Мы с гордостью можем сказать,— пишет М. Новиков,— что наша литература стала носительницей социалистического эстетического идеала, являясь, таким образом, художественным выражением тех чаяний, за которые под руководством Румынской рабочей партии борется весь наш трудовой народ».

ТВОРИТЬ ДЛЯ НАРОДА

Конгресс деятелей культуры революционной Кубы

Первый национальный конгресс кубинских писателей и деятелей искусства, происходивший в Гаване 18—22 августа этого года, привлек к себе внимание широких общественных кругов не только на Кубе, но и далеко за ее пределами. Шестьсот с лишним делегатов — выдающихся деятелей кубинской культуры, собравшихся на этот конгресс,— единодушно провозгласили свою верность делу кубинской революции и выработали широкую и конкретную программу развития литературы и искусства в стране, которая сбросила иго колониализма и вступила на путь строительства новой жизни.

Конгрессу предшествовала большая подготовка. Еще в ноябре 1960 года группа передовых деятелей культуры опубликовала «Манифест интеллигентов и художников». «Мы, кубинские интеллигенты, писатели, художники и артисты,— говорилось в этом манифесте,— публично заявляем о своей творческой ответственности перед Революцией и народом Кубы в эпоху, главным содержанием которой является общая борьба за достижение полной независимости нашей родины. Мы убеждены, что победа Революции создала нам необходимые условия для развития национальной культуры — культуры освободительной и внутренне свободной, а потому способной стимулировать поступательное движение Революции и служить ей».

Манифест призывал художественную интеллигенцию Кубы к объединению. В нем была выдвинута следующая программа действий: возрождение и развитие национальных традиций культуры; сохранение и использование народного творчества; признание необходимости объективной и честной критики для повышения ценности произведений; приведение художественного творчества в соответствие с требованиями Революции и сближение интеллигенции с народом; развитие культурного обмена, контактов и сотрудничества между кубинскими писателями, художниками и артистами и творческой интеллигенцией стран Латинской Америки, а также всего мира.

Обсуждение этого манифеста, принявшее самый широкий характер, способствовало консолидации всех верных народу сил кубинской культуры. В апреле 1961 года было принято решение о созыве национального конгресса писателей и деятелей искусства, а вслед за этим были образованы комитеты, на которые возлагалась подготовка к конгрессу.

Программа предстоящего конгресса, проблемы культурного строительства обсуждались на собраниях творческих работников, на страницах журналов, газет и специальных бюллетеней, в дискуссиях, транслировавшихся по радио и по телевидению. Серию статей, посвященных вопросам художественного творчества, опубликовал в этот период выдающийся литературный и общественный деятель Кубы Хуан Маринельо. В дискуссиях приняли участие не только писатели, артисты и художники, но также читатели и зрители, высказывавшие свои мнения, пожелания, критические замечания.

По материалам газет «Noticias de Hoy», «Revolución», «Lunes de Revolución».

Большое значение имели три совещания деятелей культуры, состоявшиеся в Гаване 16, 23 и 30 июня 1961 года. В их работе принимали участие президент республики Освальдо Дортикос, премьер-министр Фидель Кастро, министр просвещения Армандо Харт и другие руководящие деятели страны. На последнем совещании с речью выступил Фидель Кастро, подробно разъяснивший программу правительства в области культуры и ответивший на многие вопросы, возникшие в ходе дискуссии.

«Мы должны бороться за то,— сказал он,— чтобы художник творил для народа, а народ, в свою очередь, повышал свой культурный уровень, чтобы приблизиться к художнику. В каких случаях художник должен идти к народу и в каких случаях народ должен идти к художнику — разве можно найти здесь одно общее решение? Нет. Это было бы слишком просто. Нужно приложить усилия, чтобы все произведения доходили до народа, но нужно в то же время сделать все, что в наших силах, для того чтобы народ мог понимать эти произведения с каждым разом все глубже и лучше».

Фидель Кастро отметил необходимость бережного отношения к тем писателям и художникам, которые, сочувствуя революции и принимая ее, сами еще не являются революционерами и не сумели положить революционную программу в основу собственного творчества. «Революция должна занять определенную позицию по отношению к этой части интеллигентов и писателей,— сказал Фидель Кастро.— Революция должна проявить к ним внимание. Мы должны относиться к этим художникам и интеллигентам, не являющимся настоящими революционерами, таким образом, чтобы они нашли в Революции поле для применения своих творческих способностей и чтобы их творческий дух, даже если они и не являются революционерами, получил возможность и свободу выражения в рамках Революции. Это можно выразить такими словами: в рамках Революции — все; против Революции — ничего!»

Фидель Кастро подробно осветил задачи Национального совета по вопросам культуры и высмеял тех, кто боится, что деятельность этого совета «стеснит свободу художественного творчества». Он закончил выступление страстным призывом, обращенным к деятелям культуры, отдать все свои силы делу развития культуры в освобожденной Кубе.

По мере приближения дня открытия конгресса подготовка к нему принимала все более массовый характер. Были организованы лекции, беседы, спектакли и театральные фестивали, выставки живописи, вечера поэзии, которые широко знакомили кубинский народ с деятельностью мастеров национальной культуры.

Днем открытия конгресса было избрано 18 августа — годовщина со дня гибели великого испанского поэта Федерико Гарсиа Лорки. В работе конгресса приняли участие крупнейшие кубинские писатели, художники и артисты, гости из разных стран Латинской Америки и Европы, государственные и общественные деятели Кубы. Конгресс был открыт речью Николаса Гильена, посвященной памяти Гарсиа Лорки и двух других великих поэтов Испании — Антонио Мачадо и Мигеля Эрнандеса, павших жертвами фашизма.

С речью выступил президент Кубинской республики Освальдо Дортикос.

Конгресс заслушал доклад Николаса Гильена, выступления романиста Алехо Карпентьера, критика-литературоведа Хосе Антонио Портуондо, поэта Роберто Фернандеса Ретамара, историка Леопольдо Оррего Эстуча, поэтессы Рафаэлы Чакон Нарди и других, а также иностранных гостей — итальянского поэта Рене Депестра, чешского писателя Яна Дрды, мексиканского художника Хавьера Герреро, английского писателя Седрика Белфрейджа и др.

Состоялись заседания трех комиссий конгресса, занимавшихся следующими вопросами:

1) Творческая ответственность писателей и художников перед Революцией и народом Кубы (председатель — Николас Гильен).

2) Обмен, контакты и сотрудничество между кубинскими деятелями культуры и творческой интеллигенцией Латинской Америки и других стран мира (председатель — Алехо Карпентьер).

3) Создание Союза кубинских писателей и деятелей искусства (председатель — Роберто Фернандес Ретамар).

Делегаты конгресса единодушно приняли обращение к мексиканскому правительству с требованием освободить томящегося в тюрьме художника Давида Альфаро Сикейроса, Декларацию принципов писателей и деятелей искусства, а также специальную резолюцию, призывающую к расширению культурного обмена между Кубой и другими странами.

«Наш долг и наше право выражены в словах: «Бороться своими произведениями за лучший мир»,— говорится в Декларации принципов. И далее: «Во имя этого мы приложим все усилия, чтобы возродить и пересмотреть традиции кубинской культуры, предшественницы той культуры, которая возникнет в новом обществе, воздвигаемом нами.

Писатели и художники, вне зависимости от своей эстетической платформы, должны участвовать в великой борьбе кубинского народа и, действуя в своей собственной области, защищать и укреплять Революцию. С помощью суровой самокритики мы, писатели и художники, сделаем наше мастерство еще более совершенным, чтобы еще лучше выполнить эту задачу. Мы уверены, что наш непосредственный контакт с трудящимися и изучение тех проблем, которые под руководством революционного правительства решаются сейчас на фабриках, на фермах и в кооперативах, поможет нам в этом деле; это поможет формированию революционного сознания, необходимого для наиболее полного воплощения действительности, что является основой всякого подлинного искусства».

Конгресс провозгласил создание Союза кубинских писателей и деятелей искусства и принял устав Союза. Председателем Союза избран поэт Николас Гильен, вице-председателями — Алехо Карпентьер, Хосе Антонио Портуондо, Алисия Алонсо, Рене Портокарреро, Архелиер Леон, Хосе Лесама Лима, Гильермо Кабрера Инфанте, Рикардо Порро.

Работа конгресса находилась в центре внимания всей Кубы — ход заседаний подробно освещался в газетах, публиковавших наиболее важные выступления; делегаты и гости конгресса выступали по радио и телевидению.

Ниже публикуются (с сокращениями) материалы Первого национального конгресса писателей и деятелей искусства Кубы: речи Освальдо Дортикоса и Фиделя Кастро, доклад Николаса Гильена.

Освальдо Дортикос

Революция требует ваших усилий

Этот конгресс дает всем писателям и художникам Кубы прекрасную возможность занять свою позицию перед лицом Революции, уяснить характер своей будущей деятельности и определить индивидуальные обязанности каждого и коллективную обязанность всех. Он дает возможность каждому из вас, лицом к лицу со своим народом как высшим судьей, сказать решительное слово о своем долге перед историческим моментом, в который нам выпало жить. Революция требует усилий от всего народа, но от каждого она требует усилий в соответствии с его собственным призванием. Есть общие обязанности, но есть и специфические обязанности, и ни от тех, ни от других честный человек не может уклониться. У каждого писателя, художника, артиста имеются обязанности, общие с народом, но есть и свои, специфические обязанности, вытекающие из его призвания. Именно об этих специфических обязанностях нужно говорить сейчас.

Рано или поздно Революция полностью преобразует культурную жизнь страны. Она преобразует ее с тем же размахом, который проявляется во всех революционных изменениях общества. Но разве это значит, что Революция создает культуру заново? Разве это значит, что Революция — это открытие какой-то новой, не существовавшей ранее культуры? Разумеется, нет. Революция, стремящаяся к преобразованию всей культурной жизни страны, начинает как раз с того, что собирает, очищает, оценивает исторически все культурное наследие нации. Революция, которая прежде всего выступает против худших традиций страны, в об-

ласти культуры, как бы ни казалось это парадоксально, должна прежде всего поддержать и сохранить ценные культурные традиции этой страны.

Именно поэтому мы глубоко удовлетворены тем, что проблема, которая нас так волнует, занимает важное место в программе работы конгресса. Поднимая ряд спорных вопросов, вокруг которых, несомненно, развернется дискуссия, мы, однако, думаем, что вопрос о культурном наследии, во всяком случае, не является дискуссионным.

Как нужно действовать? Какую художественную технику предпочесть? Какой путь является наилучшим? Все это подлежит дискуссии и будет обсуждаться, но мы думаем, что одно убеждение должно быть единодушным. Оно состоит в том, что для создания настоящей революционной культуры, для того, чтобы литературная и художественная жизнь в нашей стране была богатой, необходимо прежде всего сохранить наши лучшие традиции. Рассматривая каждого деятеля и каждое произведение с революционной точки зрения, оценивая их исторически, все мы, и особенно вы, должны позаботиться о том, чтобы сохранить для теперешнего поколения и для будущих поколений плодотворные достижения тех одиноких умов, которым не выпало счастье жить с нами в эту блистательную эпоху нашей истории, но которые тем не менее и в те времена, когда довелось им жить, выполнили свой долг человека, кубинца, интеллигента. Ведь и вся наша Революция является прямым историческим следствием нашего прошлого.

Спросим себя, разве не предательством было бы забыть тех, кто в минувшие эпохи готовил путь, по которому мы сейчас идем? Например, тех, кто в XIX веке закладывал основы нашей нации? С них-то мы и должны начинать.

Наша культура должна отыскать свои собственные пути, но находясь при этом в контакте со всеми достижениями мировой культуры и при условии использования собственных культурных традиций. Эта задача возложена на вас, и она должна решаться незамедлительно, потому что в ходе революционного процесса наблюдаются иногда и такие действия, которые, будучи внешне радикальными, в действительности расходятся с подлинно революционной политикой.

Необходимо также выполнить (нужно обсудить, каким образом это сделать) ту работу, которая уже начата с замечательным энтузиазмом в нашей стране и которая ставит своей целью исследовать, очистить от чуждых наслоений наше фольклорное богатство и помочь его дальнейшему развитию.

Эта работа особенно важна, потому что она является одним из средств стимулировать нашу литературно-художественную жизнь и внести в нее богатую струю народного творчества.

Таким образом, черпая из источников нашего культурного наследия и из неиссякаемых родников народного гения, наши писатели и художники сделают большое дело и получат плодотворные результаты.

Но для того чтобы действенно решить эту задачу в интересах Революции и народа, писатели и художники должны, начиная с этого конгресса, тесно и дружески сблизиться с народом.

Мы не станем указывать вам, с помощью каких именно художественных средств и форм вы скорее всего добьетесь постоянной и тесной связи с народом. Это — ваше дело, личное дело каждого из вас. Мы искренне считаем, что все способы хороши, лишь бы они служили этой главной цели. Единственное, о чем я хотел бы заявить, и я подчеркиваю, что эти слова я произношу от имени тех, кого я здесь представляю,— это то, что писатели, художники и артисты, выполняя свой долг, обязаны неустанно и тщательно добиваться высокого совершенства своих произведений.

Нужно идти к народу, а не нисходить к нему, потому что сам народ поднимается, а не нисходит. Нужно идти к народу, отыскивая в его жизни темы для своих будущих произведений, идти к нему за вдохновением.

И к народу же нужно возвращаться потом с литературными и художественными произведениями, чтобы вернуть ему собственные его сокровища. Однако важно помнить, что для того, чтобы быть понятым народом и в то же время достигнуть высочайших художественных свершений, необходимо ценой больших усилий преодолеть интеллектуальную замкнутость.

Мы помним, как в былые времена нищета культурной жизни нашей страны, усугубленная империалистическим проникновением, толкала наших лучших писателей и художников на путь бегства от действительности, на путь герметизма. Некоторые из этих людей стоят сегодня на стороне Революции, и Революция, несмотря на все, сказанное выше, должна с уважением относиться к ним. Различными способами можно помочь восстановить связь этих писателей и художников с народом, и те, кто до сих пор еще не мог творить для народа, должны быть с нами сегодня.

Вспомним проникнутые тревогой и болью слова Антонио Мачадо, сказавшего однажды: «Писать для народа! Чего бы я мог еще желать!» И вспомним также, что писать для народа вовсе не означает снижать художественный уровень. Тот же Мачадо сказал, что «писать для народа — это значит зваться Сервантесом в Испании, Шекспиром в Англии, Толстым в России».

Революция требует, чтобы все отдали ей свои силы, и мы знаем, что кубинские писатели, художники и артисты отдадут ей все свои силы, потому что в наши дни это — единственный путь для каждого честного художника.

Фидель Кастро

Мы — семена грядущего

Все мы должны работать еще больше не только потому, что обязаны осуществить текущие задачи, но и потому, что перед нами стоит еще более ответственная цель: мы должны выковать будущее, воспитать будущие поколения.

Всем нам, без исключения, придется обучать, всем нам, без исключения, придется стать учителями. Важнейшая для всех нас задача — подготовить будущее. В этот час истории нашей родины мы — это горсть семян, брошенных в борозду Революции, чтобы обеспечить грядущую жатву.

Мы должны рассматривать себя прежде всего с этой точки зрения. Что мы создаем? Мы творим будущее. Это будущее во много раз важнее, чем настоящее, и плоды этого будущего во много раз важнее, чем мы сами, и то, что мы создаем, гораздо важнее нас самих.

Таков был дух нашего конгресса. Созданный на нем Союз писателей и деятелей искусства является порождением этого духа, этой готовности служить делу Революции, этого сознания важности стоящей перед каждым из нас задачи, этого самоотверженного отречения от всяческого эгоизма, тщеславия, мелкой амбиции.

Разве этот дружный союз мог возникнуть при других обстоятельствах? Разве мог бы в иное время собраться подобный конгресс в атмосфере подобного братства, подобного взаимопонимания? Нет, для этого были необходимы, во-первых, та великая очистительная буря, какой явилась Революция во всех областях жизни, и, во-вторых, тот дух благородства и бескорыстия, который внесла Революция в сердца всех настоящих патриотов, настоящих творцов, настоящих и достойных граждан нашей страны.

Мы все с большой радостью следили за работой этого конгресса. Мы видим, какое большое значение имеет он для нашей Революции, как выросло революционное сознание, как важна та миссия, которая стоит перед вами, и как замечательны перспективы, которые раскрываются перед вашим творчеством. Какая радость быть писателем, художником, артистом в этот час созидания, в час, когда весь народ берется за строительство новой жизни, когда на обломках старого общественного строя возникает новое общество, когда в историю нашей страны вписывается одна из самых прекрасных страниц, когда увенчиваются успехом усилия многих поколений кубинцев, когда сбываются мечты нашего народа, осознавшего собственную силу! Какое счастье быть творцом в этот час, когда все, созданное усилиями нашей нации во всех областях жизни, предстает перед нами как прекрасная действительность, когда мы являемся хозяевами своей судьбы, когда наконец мы можем посвятить себя труду так, как мы это делаем теперь!

Дух единства, дух свободы, дух ответственности перед народом победил, и наш народ соберет богатую жатву.

Незачем говорить о том, что вы должны делать: задачи, которые стоят перед вами, возникают из самой действительности. Вы располагаете сегодня наилучшими, идеальными условиями для работы. Интеллигент, писатель, художник приобретает в эту революционную эпоху такую ценность и такое значение, каких он еще никогда не имел; эту ценность и это значение могла ему дать только Революция, только трудящиеся и освободившиеся из-под гнета классы нашего народа.

С уничтожением в нашей стране эксплуатации как системы или как базы для общественного строя писателям, художникам и артистам впервые предоставляется возможность работать не для эксплуататорского меньшинства, а для большинства народа, для всего народа.

С тех пор как возникла эксплуатация человека человеком, всегда было меньшинство, которое пользовалось культурой, получало образование, которое наслаждалось произведениями искусства и литературы.

Каким образом миллион сто тысяч кубинцев, не умевших ни читать, ни писать, каким образом смогли бы эти люди оценить творчество кубинского писателя? Для огромной массы народа, не имевшей доступа ни в начальные школы, ни в институты, ни в библиотеки, это творчество попросту не существовало

С ликвидацией в нашей стране эксплуатации как базы для общественного строя впервые созданы условия, благодаря которым вы работаете уже не для привилегированного меньшинства. Сознание того, что вы работаете не на эксплуататоров и что вас самих не эксплуатируют, должно быть одним из главных источников вашего вдохновения.

Вы знаете, что перед нами много работы, что нам предстоит построить целый мир. И это должно быть для вас источником подлинного вдохновения и энтузиазма: знать, что вы сами являетесь частью этого нового мира, его строителями.

Вчера мы встретились с рабочими одного сахарного завода — честными и скромными тружениками. Им в этот вечер была вручена премия, которой удостоил их народ за то, что они заняли первое место в соревновании. Надо было видеть ту беспредельную радость, ту гордость, которую чувствовали эти люди. В чем был источник этой гордости, в чем причина их радости? Просто они славно потрудились. Эти рабочие добились

увеличения выпуска продукции на 30,24 процента по сравнению с прошлым годом. Им пришлось поработать, приложить немалые усилия, им пришлось попотеть, выполняя свой долг. И они достигли своего, они дали замечательный пример, они показали, на что способен рабочий класс, на что способна Революция. Своими собственными руками они увеличили богатства родины, они оправдали надежды, возложенные на них.

Вот чем они так гордились, вот чем они были довольны. Они создавали богатство родины, благодаря их усилиям был сделан вклад в укрепление той базы, на которой вырастает ваше творчество — творчество писателей, артистов и художников. Они были счастливы, потому что сделали все, что смогли, они были счастливы, потому что своей работой они помогли родине. Какое глубокое восхищение вызвали в нас эти люди! Как замечательны эти простые, честные, самоотверженные труженики!

Вы — тоже труженики, вы тоже должны создавать богатства, и вы также разделяете беспредельную радость тех, кто производит ценности, кто создает.

В недалеком будущем, 28 января следующего года, соберется конгресс писателей и деятелей искусства Латинской Америки. 28 января кубинские деятели культуры соберутся вместе с писателями, художниками и артистами братских народов Латинской Америки, чтобы обсудить свои задачи и наметить общие цели.

Это будет новым шагом, новой победой кубинской Революции, новым источником воодушевления для братских народов, среди которых имеется столько революционных писателей и художников — многие из них участвуют в комитетах солидарности с кубинской Революцией.

Мы горячо приветствуем всех вас, мы желаем вам как можно скорее пожать плоды приложенных усилий, мы желаем, чтобы ваш замечательный Союз существовал всегда и чтобы с каждым днем он становился все более дружным и братским. Мы желаем больших успехов всем вам — писателям, художникам и артистам, вам — творцам, вам — семенам грядущего нашей родины. Вперед, товарищи писатели, художники и артисты! Вместе с рабочими! Вместе с крестьянами! Вместе с защитниками родины! Родина или смерть! Мы победим!

Николас Гильен

Массам—лучшие плоды нашего творчества

«Для испанской Америки пробил час вторично провозгласить свою независимость».

Около восьмидесяти лет прошло с тех пор, как Хосе Марти — мыслитель, писатель, поэт, а также политик — произнес эти слова. Сегодня Куба уже не испанская колония, управляемая из Мадрида, и не североамериканский протекторат, которым управляет Вашингтон. Ныне ведется вторая война за независимость против империализма, об угрозе которого также говорил Марти. Мы участвуем в этой борьбе так же, как в борьбе против Испании, в дни нашей первой войны за независимость, участвовали интеллигенты, подобные Вареле, Сеспедесу * и Марти.

Та совокупность социально-экономических отношений, которая служила базой кубинского общества до Революции, претерпела глубокие изменения. Аграрная и жилищная реформы, так же как и национализация нашей экономики,— это неоспоримая действительность, свершившийся факт. За этим последует уже начавшаяся индустриализация нашей страны, которая приведет к тому, что мы сможем снабжать себя сами, станем не только свободными, но и во всех отношениях независимыми.

Однако все то, что позволяет кубинскому народу продвинуться так далеко, как не продвигался еще ни один народ Америки, кое для кого в то же время представляет опасность. Для кого же? Нет смысла медлить с ответом: для империализма янки, который с разрушением последнего бастиона испанской колониальной системы на нашем континенте занял место сошедшей на нет державы. Его военное, экономическое и политическое могущество росло с каждым днем, пока в мире не появились страны социализма.

С другой стороны, переворот, о котором мы говорим, затрагивает также и кубинскую культуру, влияет на жизнь и творчество интеллигентов. Перед ними раскрывается действительность, коренным образом отличающаяся от той, в которой они жили до сих пор, и не только отличающаяся, но и бесконечно лучшая, потому что отныне их труд не будет источником сверхприбыли для капиталиста, который, используя самые разнообразные и хитроумные способы, живет плодами чужого ума.

В условиях социализма интеллигент служит народу, а народ помогает ему, уважая и одобряя его человеческие качества, облегчая ему жизнь и творчество, наконец окружая его любовью масс и при этом не ущем-

---

* Феликс Варела (1787—1853) — выдающийся кубинский просветитель, борец за независимость Кубы. Карлос Мануэль де Сеспедес (1819—1873) — кубинский революционер, поднявший в 1868 году восстание против испанского господства.

ляя ни его личной свободы, ни его творческих стремлений.

Но значит ли это, что культура буржуазного общества должна быть сметена и механически заменена социалистической культурой, без всякого внимания к прошлому? Должен признаться, что я категорически расхожусь во взглядах с теми, кто отвечает на этот вопрос утвердительно.

Было бы серьезной ошибкой отрицать, что эпоха капитализма имела важнейшее значение для создания и выработки социалистической культуры. Как ни огромны наши силы, как ни велики возможности Революции — а они огромны,— было бы невозможно одним махом, как по заказу, насадить на Кубе пролетарскую культуру, не принимая во внимание культуру предыдущих эпох в ее наиболее развитых и прогрессивных формах.

В послеоктябрьские дни Ленин преградил дорогу тем, кто поспешно и недиалектично надеялся воздвигнуть здание социалистической культуры на пустом месте.

Для нас, кубинцев, наследие состоит изо всего, что было сделано на Кубе в области культуры, от песенки «Ма Теодора» и «Зерцала терпения» до музыки Рольдана и Катурлы, включая сюда и творчество Марти и Кукаламбе.*

Несомненно, что наиболее богатая часть этого культурного наследия относится к прошлому веку, когда обилие досуга, обеспеченного благодаря существованию рабства, позволило просвещенной буржуазии того времени без оглядки отдаться своим культурным занятиям. Перефразируя известное выражение Энгельса, можно было бы сказать, что без африканских рабов не было бы и кубинской буржуазной культуры XIX века.

Кубинская культура XIX века должна быть взята, изучена, очищена и подвергнута критике нами — писателями и художниками, которые строят культуру, отвечающую нашей революционной действительности и нашему строю. Между той культурой и нашей не должно быть разрыва.

Наша революция — это рассадник идей, создатель возможностей для творчества кубинских художников и писателей. Но если мы хотим, чтобы эти возможности смогли претвориться в действие, а этот рассадник — в сад, полный тенистых деревьев, отягощенных плодами, необходимо поддерживать постоянную связь с народом. Мы считаем, что эта связь не должна ограничиваться чисто интеллектуальным сближением, которое иногда является следствием скоропреходящего любопытства. Мы должны также и практически сблизиться с народом, с его материальной жизнью. Недостаточно, например, только размышлять о деревне или довольствоваться информацией о сельской жизни: в нашем распоряжении — живая, настоящая деревня, которая к тому же является плодотворной почвой для подлинного вдохновения. Нужно рисовать с натуры, описывать народную ферму или потребительский кооператив, увидев их собственными глазами и пожив в них; идти в деревушки, затерянные в горной глуши или в чаще лесов; войти в ранчо; прикоснуться собственными руками к потной коже шахтеров; проходить, чувствуя себя хозяевами острова, по нашей Кубе, целуя ее, как любимую женщину. Все то, что составляет жизнь в эти драматические дни нашей борьбы за свободу, должно быть собрано нами и воплощено в печатном слове, в камне, в звуках, в красках.

Иногда я спрашиваю себя, отдаем ли мы себе полностью отчет — мы все, кубинские художники, артисты и писатели,— в грандиозном значении той эпохи, в которую нам пришлось жить, в величии этих лет. Ничего подобного не переживала Куба в прошлом, мы не сможем найти ничего равного и в других странах нашего континента. Это история маленького, казавшегося изнуренным народа, который солидные доктора считали уже умершим или, по крайней мере, агонизирующим; история народа, который был порабощен жестоким и ненасытным врагом и который одним гигантским прыжком бросается на этого врага и побеждает его, а затем принимается за союзников этого врага, предавших свою родину — свою семью, свою кровь и свою плоть,— и также побеждает их. И он не только совершает все это — что уже само по себе является великим и грандиозным,— но и начинает после этого воздвигать собственный дом на земле своих предков, чтобы свободно и мирно жить в нем.

Разве эта история не заслуживает быть рассказанной? Какому народу нашей Америки выпала такая великая судьба? Рассказать эту историю, скорее напоминающую волшебную сказку,— разве эта задача не достойна того, чтобы сделать ее главным содержанием нашего творчества? Мы думаем, что достойна. Но тут встает вопрос: как рассказать ее? И здесь нам представляется уместным поговорить о нашем профессиональном долге и о тех требованиях, которые предъявляет он, когда мы стремимся его выполнить (а мы обязаны всегда к этому стремиться) с неподкупной честностью.

По нашему мнению, произведению недостаточно быть революционным по своему содержанию, чтобы обеспечить его красоту или хотя бы действенность, с которой оно выразит чувства народа. Одна народность еще не сделает произведение прекрасным, если автор его, возложив все свои надежды только на это качество, забудет о необходимости художественного совершенства.

---

* «Ма Теодора» — народная кубинская песенка XVI века. «Зерцало терпения» (1608) — поэма Сильвестре Бальбоа, одно из первых литературных произведений на Кубе. Амадео Рольдан (1900—1939) и Алехандро Гарсиа Катурла (1906—1940) — выдающиеся национальные композиторы Кубы. Кукаламбе — псевдоним кубинского поэта Наполеса Фахардо (1829—1862).

Убеждение в том, что для народа надо писать примитивно и вульгарно,— такое убеждение глубоко реакционно. Думать, что простое нанизывание образов и общих мест, в какой-то степени навеянных Революцией, может служить Революции — значит рисковать получить прямо противоположные результаты.

Ленин в свое время критиковал подобный взгляд, указывая, что рабочим нравится то же, что нравится интеллигентам, но что некоторые из интеллигентов, и именно худшие, считают, что рабочим нужно всегда преподносить устарелое или второсортное.

Следует сказать, что некоторые крайности допускаются у нас не только в поэзии, в литературе, но и в изобразительном искусстве. Я имею в виду воинственные картины и скульптуры, изображающие людей с невыразительными лицами, с поднятыми вверх кулаками, сжатыми губами и глазами, из которых сыплются искры.

Нет, неправда, что надо «говорить глупости народу, чтобы угодить ему». Мы должны дать народу лучшие плоды нашего духа, нашей техники, нашего интеллекта и нашего творчества и быть уверенными, что он понимает и признает то, что мы ему даем, что он принимает это с благодарностью.

Я хотел бы, чтобы мои слова не были восприняты как наставление свыше. Нет ничего более чуждого моим намерениям и моим возможностям. Наоборот, эти слова порождены глубокой тревогой или если быть полностью откровенным — то даже страхом, потому что я знаю, что все мы подвержены этой опасности, все совершали подобные ошибки, и поэтому особенно важно принять меры предосторожности, не поддаваться искушению вступить на легкий путь, на котором безвозвратно погибли многие настоящие художники.

Фидель Кастро в своем выступлении перед интеллигенцией сказал, что «...Революция защищает свободу, что Революция принесла множество свобод и что если кто-нибудь беспокоится о том, что Революция стеснит его творческий дух, то такое беспокойство не имеет основания, оно бессмысленно...» Но Фидель сказал также, что «...душевное состояние всех революционных художников и писателей, как и тех художников и писателей, которые понимают и принимают Революцию, можно выразить такими словами: «Какие опасности могут угрожать Революции и что можем сделать мы, чтобы помочь Революции?»

Я думаю, что ответ для каждого из нас прост: мы должны отдаться Революции не только духом, но и плотью — душой и телом, как влюбленные. Да, мы любим свободу и стремимся к ней. Она — это насущное благо. Человек всегда боролся за нее и всегда будет бороться. Но она не является абсолютным благом, потому что ничего абсолютного не существует. Для чего нужна эта свобода? Чтобы нападать на Революцию? Мы заявляем: Нет. Свобода для того, чтобы приукрашивать нищету, прославлять бесчеловечную эксплуатацию и рисовать империализм в розовых тонах? Мы снова заявляем: Нет. Свобода для реакционеров и фашистов устраивать заговоры против нашего народа и накапливать миллионы песо, чтобы платить иностранным наемникам или обесценивать кубинскую монету? Свобода для этого? Но мы, художники, артисты и писатели Кубы, снова восклицаем: Нет! Мы не хотим, чтобы свобода позволила нашим палачам снова превратить нас в рабов.

Мы собрались в славные и трудные дни. Кубинская Революция укрепляет свои завоевания и движется вперед по следам наших побед. Взоры всего мира устремлены на эту точку в Карибском море, едва различимую на карте, но уже вошедшую в историю Америки, во всемирную историю. Наша Революция дает ослепительный пример того, что ее враги не являются непобедимыми — какими их считали когда-то старые политики в своей постыдной покорности,— но она показывает также, что эти враги, которым нанесен смертельный удар, еще полны ярости и еще располагают силами, чтобы напасть на нас.

Фидель Кастро сказал однажды, что кубинской Революции предстоит выиграть еще много сражений. Но в этих сражениях против разрушающегося мира нашим союзником является новый мир, мир подлинной демократии, страны мира и социализма.

После трех лет непрерывного революционного подъема Куба может с гордостью смотреть на все то, что сделано народом, и с твердой уверенностью смотреть на то, что еще предстоит сделать. Одним из самых трудных, но и самых прекрасных сражений будет то, которое должны, начиная с сегодняшнего дня, выиграть мы, кубинские писатели и художники. Мы создаем социалистическую, гуманистическую культуру, которая предоставит простому человеку все то, в чем отказывал ему колониализм и что принадлежало лишь привилегированному классу, господствовавшему в колониальном обществе. Это будет такая культура, которая поможет нам окончательно обрести собственный национальный характер, которая научит нас открывать в корнях мощь и нежность высоких ветвей, поднявшихся к небесам, которая поможет нам залечить раны, нанесенные тупыми и злобными силами империализма, разжигающего ненависть между людьми. Это будет культура, которая освободит нас, и вдохновит, и распределит между всеми хлеб и розы.

Александр Фадеев в группе делегатов и гостей Второго всесоюзного съезда советских писателей. Слева направо: Жоржи Амаду, Пабло Неруда, Михаил Садовяну, Илья Эренбург, Луи Арагон, академик Д. В. Скобельцын, Николас Гильен, Николай Тихонов, Александр Фадеев.

К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. А. ФАДЕЕВА

Франтишек Кубка

ВОСПОМИНАНИЯ О ДРУГЕ

1

Впервые я увидел Александра Фадеева на пограничной станции Петровицы. Вместе с Ярославом Папоушком, историком и служащим министерства иностранных дел, я поджидал там варшавский скорый поезд, на котором к нам прибывала делегация советских писателей и журналистов. Это был ответный визит. Чехословацкая делегация побывала в СССР в декабре 1934—январе 1935 года.

Солнечным утром 5 октября 1935 года поезд остановился на вокзале, расположенном в прелестной долине. На платформу вышел Михаил Кольцов, а вслед за ним спрыгнул со ступеньки вагона высокий светловолосый человек с ясными голубыми глазами и по-юношески открытым лицом. Одет он был в черную косоворотку.

Это был тридцатичетырехлетний Александр Фадеев.

Потом я сидел в купе с ним, с Алексеем Толстым и Анной Караваевой. К нам подсаживались и другие. Все были в приподнятом, веселом настроении. Особенно Алексей Толстой. Но Фадеев сперва держался замкнуто.

Вскоре мы разговорились. Однако речь зашла не о литературе, а о Владивостоке, где в декабре 1918 года на Первой речке я как солдат принимал присягу на верность Чехословацкой республике.

Фадеев в то время посещал коммерческое училище и работал в партийном подполье. Ему приходилось печатать листовки, а также изготовлять документы для коммунистов, которых преследовали белые, хозяйничавшие на Дальнем Востоке, и иностранные интервенты. Однако, вопреки предположениям читателей его «Разгрома», он не был коренным дальневосточником и родился не в Уссурийске, где провел свое детство, а в Кимрах, недалеко — в понимании рус-

ских — от Москвы, в нынешней Калининской области.

Я сказал ему, что женат на сибирячке, он сообщил мне, что тоже женат. Моего сынка зовут Иржи, а его мальчика назвали в честь отца Александром. Мы беседовали, как добрые соседи.

Толстой громко рассуждал. Караваева благоговейно смотрела в окно на убегающий пейзаж. В купе поминутно входили и тут же снова убегали непоседы Михаил Кольцов и Сергей Третьяков. Ярослав Папоушек ехал в другом купе с советскими журналистами, которых смешил своими остротами Миронов, представитель советского наркоминдела. Сумрак нисходил на поросшие густой травой берега Эльбы, и мы не замечали, что приближаемся к Праге.

Уже тогда Александр Фадеев завоевал мое сердце.

2

Еще в 1928 году я с восторгом прочитал на русском языке «Разгром» Фадеева. Этот роман захватил меня прежде всего изображением природы, на фоне которой разворачивались описанные в нем события. Уссурийские непроходимые дебри, фантастически дикая земля, где еще водятся тигры. Я видел этот край только из окна вагона на пути от Пограничной к Владивостоку в декабре 1918 года, и все же он произвел на меня неизгладимое впечатление. Именно здесь, в этом краю, происходили жаркие бои красных партизан с белогвардейцами и японцами.

«Любимый руководитель дальневосточных партизан Сергей Лазо был схвачен японцами и заживо сожжен в топке паровоза. Вместе с ним был схвачен и сожжен мой старший двоюродный брат Всеволод Сибирцев. Это была моя «путевка в жизнь»,— писал позже Александр Фадеев.

В 1918—1919 годах я был в Харбине и оттуда следил за борьбой большевиков в Приморье. Но лишь читая «Разгром», я получил истинное представление об этой борьбе, как уяснил себе характер войны русских с Наполеоном из симфонической увертюры Чайковского «1812» и из «Войны и мира» Толстого. Критики справедливо находят много общего у Льва Николаевича Толстого и молодого Фадеева в их демократической концепции истории. Но правильно отмечают и разницу между учителем и учеником. Если великий мастер рассматривал исторические события как фаталист, то ученик был твердо убежден, что битву за Родину и новый мир неизбежно выиграет рабочий класс.

«Новый мир — это были поднявшиеся в стремлении к справедливой жизни и впервые одержавшие победу огромные массы рабочих и крестьян России. Нам нетрудно было выбирать между старым и новым миром,— писал Фадеев.— Мой отец и мать, фельдшер и фельдшерица, в глухой деревне еще сами обрабатывали землю. Таковы были и мои немногочисленные товарищи по школе. Жизнь рабочих и крестьян была нам близка.

Так, полные юношеских надежд, с томиками Максима Горького и Некрасова в школьном ранце, мы вступили в революцию».

И так же просто, как писал, Фадеев говорил об этом в Праге, Плзне, Братиславе и Остраве с каждым, кто хотел его слушать: «Мы сражались с бандами атамана Семенова и японцами, пока Приморье не стало нашим. Я и с партизанами ходил, и бродил по деревням как агитатор. Я писал в «Партизанский бюллетень» и сближался с такими людьми, как Левинсон и шахтер Морозко. Три года я жил с нашими людьми в труднейшее для них время, прошагал с ними три тысячи километров, спал под одной шинелью и ел из одного котелка. Я понял роль партии и был принят в ее ряды».

В 1921 году Фадеев был избран делегатом на X съезд партии, вместе с другими делегатами партии штурмовал Кронштадт, где вспыхнуло контрреволюционное восстание, и был тяжело ранен. Но об этом ранении он никогда не говорил.

Когда он выздоровел, партия послала его учиться в Горный институт, а потом на партийную работу — на Северный Кавказ. В это время Фадеев начинает писать свои первые прозаические произведения. В 1927 году из печати вышел «Разгром».

Вначале молодой Фадеев пишет очень медленно. Неустанно исправляет и переписывает. Он внимательно перечитывает Льва Николаевича Толстого, изучая его слог, его длинные, но прозрачно ясные фразы, его технику проникновения в душевный мир героев методом психологического анализа. Он учится реализму и конкретному видению. Но у Толстого была своя идеология, а у Фадеева — своя. И это марксистская, коммунистическая, пролетарская идеология. Никогда Фадеев не шел ни за «серапионовцами», ни за «лефами». Он был пролетарский писатель...

Фадееву, которому нетрудно было выбирать между старым и новым миром, нетрудно было и создать, не прибегая к схемам и преувеличениям, художественный образ большевика — образ гуманный, высоконравственный и грешный. Ибо, как я понял из наших совсем не литературных бесед в Праге, он и сам был таким же Левинсоном, человеком нравственным и грешным, обладателем большого самобытного таланта...

Я побывал с Фадеевым в Плзне, в Праге и в курортных городах северо-западной Чехии. Он быстро знакомился с людьми и постигал их характеры. Фразы

он ненавидел и прощал все, кроме литературщины. Видел я его также в обществе Незвала, Марии Майеровой, Горы Матзиуса. Я слышал, как он говорил с рабочими.

И все, что он делал, говорил и писал, он делал, говорил и писал, как большевик.

В 1935 году он незаметно, без видимого напряжения, проделал в Чехословакии огромную пропагандистскую работу.

3

Возможно, Фадеев приезжал к нам и между 1935—1938 годами. Не помню. Зато хорошо помню, как я встречал его на вокзале, когда в июне 1938 года он приехал на сокольский слет в качестве представителя Комитета по делам физкультуры и спорта при Совнаркоме СССР.

В то время у меня было много работы с иностранцами, и по долгу службы я обязан был заботиться о вдове историка Эрнеста Дениса. С Фадеевым я встречался только случайно. Случайно мы и оказались рядом на трибуне перед Староместской ратушей во время праздничной процессии.

Сначала прошли под своими национальными флагами иностранные гости: чешские «соколы» из Америки, чехи и словаки с Балкан и из Австрии, французские гимнасты, бельгийцы, сербы, хорваты, словенцы, болгары, лужичане и поляки. Их приветствовала толпа, заполнявшая площадь. При появлении каждого государственного или национального флага на трибуне все поднимались и снимали шляпы. Александр Фадеев тоже вставал, снимал шляпу, садился, снова вставал и был в прекрасном настроении.

И вот, когда мы вставали, снимали шляпы, аплодировали и садились, когда играла музыка и ликовал народ, наш гость вдруг вспыхнул до самых корней волос, будто его хватил солнечный удар.

— Что случилось?

— Не видите? — сказал он сдавленным голосом.— Мне здесь нечего делать!

Он уходил, и я бросился за ним. А между тем с Парижской улицы на площадь выходила небольшая группа «соколов». Во главе ее бородатый старец нес большой бело-красно-синий флаг царской России.

— Не могу тут оставаться... Уезжаю...— твердил взволнованно Фадеев. Я держал его за рукав.

Царский флаг склонился перед президентом, и тут Фадеев увидел, что президент не встал перед флагом. Трибуна не аплодировала, и ликующая площадь притихла. Царский флаг был официально игнорирован. Фадеев остался на трибуне.

Как только шествие окончилось, он подошел к советскому послу, который стоял среди дипломатов.

Началось длительное обсуждение. Чехословацкое сокольское общество принесло извинения, объяснив, что эмигранты, у которых в Праге была своя сокольская группа, не были приглашены участвовать в празднестве. Они стали с флагом на боковой улице и, улучив удобный момент, влились в процессию.

Инцидент был кое-как улажен.

И все-таки до самого отъезда Фадеев не мог успокоиться.

— Мир в напряжении! За углом вас подкарауливает Гитлер! Вы — союзники Советского Союза, и Советский Союз прислал на слет официальную делегацию. А на Староместской площади развевается царский флаг! Нехорошо! Ох, как нехорошо...

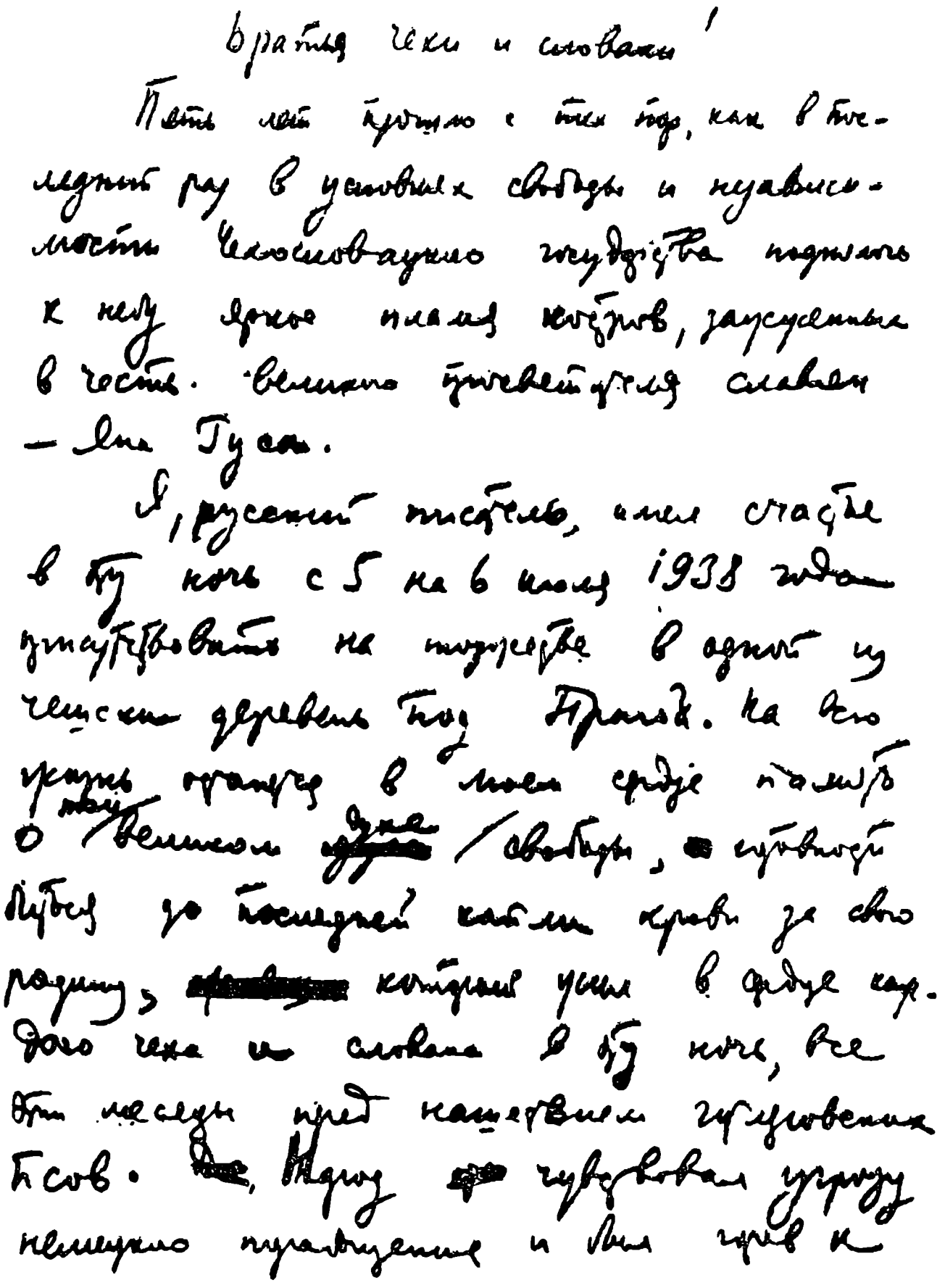
4

В дни Мюнхена Александр Фадеев мужественно стоял за нас. Он защищал нас и в годы оккупации. И даже когда его родная страна переживала тягчайшие испытания, он помнил о нас. При каждой возможности он писал о нашей судьбе и предсказывал нам счастливое будущее.

Фадеев всегда принимал участие в культурных мероприятиях чехословацких граждан, проживавших в Советском Союзе. Говорил с нами и о нас по радио. Читал нашего Неруду. Писал о нем. Неруда был чрезвычайно близок ему как прозаик и поэт-реалист, как труженик слова, патриот и демократ. Фадеев зачитывался и другими чешскими поэтами и писателями. Рекомендовал советским издательствам печатать переводы чешской и словацкой литературы, привлекал к работе над переводами известных поэтов.

Член Центрального Комитета партии и депутат Верховного Совета СССР, генеральный секретарь Союза советских писателей, он оказывал огромное влияние на советских авторов, вернувшихся с фронта и из эвакуации в те самые кабинеты, которые они покинули во время войны как солдаты, военные корреспонденты и пропагандисты. Его личная деятельность во время войны были велика и многообразна. Он был корреспондентом «Правды» и прославленного «Совинформбюро», которое голосом Левитана сообщало миру («Говорит Москва... Говорит Москва...») сводки боев и побед советских армий... Он написал книгу «Ленинград в дни блокады. Из дневника» (1944), а перед концом войны уже делал наброски своего романа «Молодая гвардия».

Я прочитал это произведение в Софии. Оно не так поразило меня, как «Раз-



В июле 1943 года, в годовщину сожжения Яна Гуса, Александр Фадеев обратился по радио с братским словом к народам Чехословакии. **На снимке:** Первая страница рукописного текста этой речи.

ны, он только художественно изобразил отдельный случай.

И все же Фадеев не был очевидцем событий, описанных им в «Молодой гвардии», каким он был в «Разгроме», каким был Толстой в «Казаках» и «Севастопольских рассказах». Материалы о краснодонской трагедии он получил из вторых рук, из рассказов свидетелей.

Материал был велик. Его обилие зачастую давило писателя. В Краснодоне было много героев, и в каждый образ надо было вдохнуть индивидуальную и коллективную душу. Лучше всего удались автору типы и синтетические характеры людей, которых он знал лично, хотя бы и не в Краснодоне. В его произведении представлена советская молодежь, с детства воспитанная партией, пятилетками, новыми советскими школами и новой жизнью, молодежь мужественная, самоотверженная, трудолюбивая, мудрая, веселая, искренняя и влюбленная. Все это юноши и девушки, которые воспринимают жизнь реалистически и в то же время романтически, вдохновенные коммунисты, юные Фадеевы мужского и женского пола, но гораздо моложе самого Фадеева, Левинсоны нового поколения.

Фадеев создал произведение, которое можно определить как реалистическую документальную прозу. Местами она возвышенна, местами сурова. В период, прошедший между написанием «Разгрома» и «Молодой гвардии», он приобрел жизненный опыт. Но драгоценная пыльца с мотыльковых крыльев его поэзии облетела. Стиль «Молодой гвардии» уже не толстовский, а скорее стендалевский, хотя дьявольская объективность Стендаля Фадееву чужда. В возрасте Стендаля он оставался чистым юношей, страстным искателем справедливости, а ведь морщины уже бороздили и его чело и его стиль...

гром», хотя сюжет его глубоко волнует. Два места особенно ярко запечатлелись в моей памяти: описание счастливой жизни краснодонской молодежи перед самым началом войны и трагические сцены переправы через реку жителей, бегущих от немецких захватчиков. Как по содержанию, так и по стилю это мастерски написанные картины. Гармония и хаос.

Писатель сам пережил напряженные дни фашистского вторжения летом 1941 года. Я уверен, что в том или другом месте он лично наблюдал потрясающие сцены эвакуации жителей и отступления войск. Его упрекали в том, что, описывая панику, он позабыл об организованности, которая спасла сотни тысяч людей и огромное хозяйство страны. Все это справедливо, хотя следует сказать, что Фадеев не писал историю всей войны.

5

Обо всем этом я говорил с ним в 1949 году в Праге на дружеской вечеринке у писателя Яна Дрды. В то время

Фадеев уже начал перерабатывать «Молодую гвардию».

Он сказал: «Я критикую других, пусть и меня критикуют. Правду надо искать! Чтобы ее найти, я переделаю целые главы, введу новых героев, а некоторым прежним сделаю ревизию... Работа будет нелегкая... Иногда я начинаю сомневаться в своих способностях, и это очень тяжело. Хватит ли умения? Могу ли я вообще писать или не могу?»

Все веселились на вечеринке у Яна Дрды, и только Фадеев был серьезен и сосредоточен. Он просматривал альбом художественных карикатур и вспоминал всех, кого знал и кого после войны уже не было в живых. Ванчуру, Чапека, Фучика, Полачека...

Разговор зашел о Кареле Чапеке. Фадеев сказал: «Что вы хотите от него? Вполне достаточно того, что он был антифашистом и доказал это своими прекрасными произведениями».

Потом стал говорить о Неруде.

Он говорил о Неруде и на беседе в клубе чехословацких писателей, но в какой его приезд это было, точно не помню.

Фадеев становился знатоком нашей старой и новой литературы. В нем росли способности незаурядного критика.

6

...Немногие заметили, однако, что генеральный секретарь Союза советских писателей, взявший на себя ответственность и за идейное развитие советской литературы, и за писателей как творческих личностей, постепенно вырастает в превосходного критика, одного из одареннейших критиков, которые сказали свое слово в борьбе за социалистический реализм.

У Александра Фадеева был выдающийся аналитический ум. Это чувствуется и в «Разгроме», и в «Последнем из Удэге», и особенно в «Молодой гвардии». Он был настоящий марксист, и на все существующее — на хлеб, родину, любовь и смерть — смотрел с классовой точки зрения. С юных лет он как писатель, организатор, политик и журналист всегда был коммунистом. Коммунизм органически входил в его творчество. И если в его романах происходят те или иные события, то они происходят потому, что союз рабочих и крестьян необходим для построения коммунизма, или потому, что комсомолец не может действовать, размышлять и любить иначе, чем Олег Кошевой, и т. д.

Фадеев прежде всего жил во имя коммунизма, а потом уже о нем теоретизировал. И вот он, с его острым умом, стал редким типом критика, который имеет право критиковать, потому что сам творит.

Фадеев не любил писать критические статьи. Не любил прикрываться авторитетом журналов и газет. С чувством глубокой личной ответственности он писал откровенные критические письма своим друзьям-писателям, подписывая их полным именем. Его доклады всегда были основаны на тщательном критическом анализе, и мнение свое он высказывал невзирая на лица. Фадеев любил жизнь, любил людей и хотел, чтобы жизнь становилась все прекраснее, а люди совершеннее. Он хотел, чтобы росла и крепла советская литература, и, зная, что только социалистический реализм может дать действительно верное и полное представление о людях нашей эпохи, сражался за него.

Французскому критику «Молодой гвардии» он писал, что «...социалистический реализм, который опирается на правду жизни в ее развитии... включает в себя революционную романтику».

Фадеев — литературный критик боролся за реального человека, каков он есть и каким он должен быть. Искусству критики он больше всего учился у Горького. Учился профессионально выражать существо дела, не прибегая к профессиональному стилю критиков. Фадеев, как и Горький, решительно отвергал критические штампы и избегал казенных выражений в образной речи. Выступая как критик и как журналист, он всегда оставался писателем...

7

В 1953 году я опять видел Фадеева в Праге. Он сидел с нами в клубе. Рассказывал о своих уже взрослых сыновьях и о том, что теперь месяцами не живет ни в Москве, ни на подмосковной даче: уезжает в Магнитогорск и готовит там роман «Черная металлургия».

Он говорил, что у него уже много блокнотов, переполненных заметками и материалами для этого романа. Он всегда тщательно подготавливался к очередному труду. В его блокнотах больше текста, чем в книгах. В этих блокнотах можно найти описания природы и портреты людей, записи услышанного и выписки из прочитанного, краткие и подробные заметки о пережитом, об истории народов, городов, деревень и заводов. «Черная металлургия» должна была быть романом о промышленных стройках Советского Союза и о строителях социализма в период его перерастания в коммунизм...

Фадеев радовался тому, что у нас вышла его статья «О литературной критике», но все время возвращался к Неруде, Челаковскому и Коллару. Мы заговорили о чешском языке. Он считал его древнее русского, так как многие его формы близки к церковнославянским.

Говорил, что в последнее время обнаружил у себя филологическую жилку. Жалел, что не изучал языкознания.

— Ничего, наверстаю, еще немного времени есть!

8

В последний раз я видел Фадеева в июне 1955 года.

Он сидел за столом президиума Всемирной ассамблеи в защиту мира в Хельсинки и непринужденно, с изящной энергией вел одно из его заседаний. Движения его были уверенны и свободны, голос, как всегда, звучал несколько глуховато, но улыбался он все так же по-мальчишески. И хотя на его щеках и шее уже появились красные жилки, а около носа залегло несколько глубоких морщин, он был такой же, как двадцать лет назад, когда я познакомился с ним.

Но голова его была белая, как лен.

Сердце мое радостно билось. Вот он сидит в нескольких шагах от меня у микрофона, предоставляет ораторам слово и благодарит их...

В перерыве он спросил меня, где поместили нашу делегацию.

— В городе...

— А меня устроили за городом, на островке. Там и днем и ночью тихо, как в склепе. Старому человеку приятна такая тишина...

Под старым человеком он подразумевал себя. Потом серьезно добавил:

— Мне пятьдесят четыре. Наше поколение очень много пережило...

Не прошло и года, как его не стало.

Пока он был жив, мы никогда не говорили ему, как он нам дорог. Молчали, как это бывает между мужчинами. А теперь все скорбят о нем. И мы в Чехословакии тоже.

Он унес с собою частицу моего сердца.

ОБОЗРЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ

«Вторая литература» боннского рейха

Рупорами реваншистской пропаганды в Западной Германии служат не только откровенно милитаристские периодические выпуски вроде «Немецкого солдатского календаря», ежегодника «Бундесвер строится», но и другие бесчисленные издания воспоминаний гитлеровских генералов и состряпанные по образцу американских комиксов выпуски, «увлекательно» расписывающие головокружительные похождения фашистских вояк во время второй мировой войны. Наряду с этими, наступающими на читателя грубо, крикливо, старающимися взять его нахрапом, пропагандистскими жанрами в боннском рейхе расцвела реваншистская литература, действующая хотя и в том же духе, но гораздо более изощренно. О ее методах и приемах и рассказывает помещенная в **«Нейе дейче литератур»** (ГДР) статья **Гюнтера Цвойдрака «Вторая литература».**

> «...Есть в Западной Германии,— пишет Цвойдрак,— литература совершенно особого рода, которой не найдешь нигде в истории литературы, о которой едва и только вскользь упоминается в литературных приложениях и на литературных страничках больших ежедневных газет, о которой ни один профессор, ни один критик, хоть сколько-нибудь претендующий на имя, не обронит и слова иначе как свысока, с недоумением пожав плечами».

Однако эту литературу, которую западногерманская критика в большинстве случаев старательно замалчивает, нельзя обойти, от нее нельзя отмахнуться, ибо голос ее звучит все громче и настойчивее, ибо она становится все активнее. Это — реваншистская, профашистская литература самого современного, новейшего образца. Каково же, спрашивает Цвойдрак, общее положение, создавшееся в результате в западногерманской литературе?

Как показывает критик, оно оказалось весьма сложным и требует, чтобы в нем разобрались, внесли в него ясность, назвали явления своими именами:

«Создается видимость, что вся современная западногерманская литература чуть ли не целиком сводится к творчеству таких писателей, как Бёль, Кёппен, Носсак, Андерш, Вальсер, Рихтер, Вейраух». О них много пишут, число их читателей в ФРГ приблизительно доходит до ста тысяч. Однако, замечает Цвойдрак, произведения этих даровитых писателей представляют собой

> «лишь крошечную частицу западногерманской книжной продукции и отражают положение лишь на крохотном участке западногерманского книжного рынка... А, укрывшись за этой литературой, как за ширмой, в Западной Германии за последние годы прочно утвердилась *вторая литература,* количество и широта распространения которой обратно пропорциональны ее литературным достоинствам. И в том, что формально наличие этой «второй литературы» почти игнорируется, в действительности больше лицемерия, чем неосведомленности официальных инстанций. При этом ее влияние намного сильней и шире, чем хотят признать профессора литературы или критики, напускающие на себя вид всеведущих».

О том, насколько широкое распространение получила в ФРГ «вторая литература», свидетельствует, по замечанию Цвойдрака, хотя бы тот факт, что, например, «один

только роман «Пока ноги идут» Йозефа Мартина Бауэра... вышел таким тиражом, который намного превышает всю литературную продукцию «группы 47»* вместе взятую». Ссылаясь на это превосходство в тиражах, поборники «второй литературы» демагогически противопоставляют ее прогрессивной западногерманской литературе, существующей якобы «для немногих избранных», для особой читательской «элиты». В противовес ей они и рекламируют «вторую литературу». Для поддержки «второй литературы» используются все технические средства массовой пропаганды ФРГ — помощь могущественных издательских трестов и рекламных бюро, кино, радио, дешевые иллюстрированные издания, выпуски в сериях с продолжением и т. п.

Западногерманская буржуазная критика, замечает Цвойдрак, эти годы упорно замалчивала «вторую литературу», предпочитая «разглагольствовать о Кафке и Бенне, Музиле и Юнгере, о Джойсе, Прусте, Беккете, Эзре Паунде и Сен-Джон Персе». И вот,

> «пока выходит сто двадцать седьмое эссе о Кафке, еще более утопическое и никчемное, чем сто двадцать шестое, массовый поток «второй литературы» смывает последнюю плотину на своем пути и затопляет вокруг себя всю Федеративную республику. Под прикрытием любовно сотканных писаний о Кафке ширится процесс нивелировки и превращения человека в зверя — ведется психологическая война в области литературы... И говорить о западногерманской литературе, не затрагивая при этом вопроса о ее второй литературе,— уже невозможно».

При этом, подчеркивает автор статьи, «вторая», то есть сегодняшняя реваншистская, литература ФРГ ставит себе цели отнюдь не малые:

> «...она формирует сознание, представления об истории и перспективах на будущее в уме миллионов людей в Западной Германии. Сегодня она проникает глубже, чем вчера, и, если против нее не повести борьбу, завтра проникнет глубже, чем сегодня».

Чрезвычайно опасна она еще и потому, что дозирует свой яд более продуманно, чем это делалось в реваншистских творениях фашиствующих писак более раннего периода:

> «Одна из характерных особенностей этой «второй литературы» состоит в том, что она, в отличие от фашистской литературы, заявляет себя не прямо и откровенно. Во «второй литературе» нет недостатка в общей гуманистической фразеологии, в ней иногда прольют слезу, а иной раз, стыдливо потупя взор, признают даже некую совсем крошечную историческую вину фашистской Германии и напослед ок благочестиво возведут очи горе. Нацистская мораль в ней, как правило, не проповедуется прямо в лоб, это делается более скрытно — немного мимикрии и побольше елею.
>
> Именно в этой литературе,— добавляет Цвойдрак,— фашизм, выросший из клерикализма боннского государства и из экономического чуда, нашел как раз то, что ему нужно: стоит лишь чуть-чуть поскрести ее сверху, и сейчас же проступит коричневый цвет. Многие авторы в этой литературе, из тех, что прежде красовались в коричневых рубашках и высоких военных сапогах, ныне натянули на себя, так сказать, поверх всего этого черные рясы».

«Первооткрывателем» этой «второй литературы», ее «ключевой фигурой и провозвестником», как отмечает Цвойдрак, является Йозеф Мартин Бауэр. И, чтобы помочь читателю лучше разобраться в сути этих писаний, критик останавливает внимание на особенно характерных тенденциях творений этого сверхсовременного барда западногерманского реваншизма.

Новейшим «достижением» «второй литературы» является роман Бауэра «Пока ноги идут». Что же в нем происходит? Военный преступник обер-лейтенант Форрель после трех лет плена возвращается из Сибири в Западную Германию. Раскаялся ли он в своих преступлениях, осознал ли свою вину? Нисколько. Весь смысл его растянутого на сотни страниц возвращения, замечает Цвойдрак, сводится к тому, что

> «именно теперь, на обратном пути через всю Сибирь домой, этому самому обер-лейтенанту Форрелю удается то, чего он никак не мог добиться с самого момента нападения гитлеровской Германии на Советский Союз: Форрель наконец убеждается, что он — немецкий сверхчеловек, в самом подлинном значении этого слова».

Западногерманская критика единодушно определила «жанр» романа Бауэра — «книга антисоветской пропаганды». Сам Бауэр, не отказываясь от этого определения, дополнительно уточняет жанр своей книги

---

* Литературное объединение писателей ФРГ, в которое входят Бёль, Кёппен, Вайзенборн и др.

как «роман возвращения». Однако «возвращения» к чему? Цвойдрак убедительно доказывает: это «возвращение» не к чему иному, как к прежней проповеди агрессии, войны, фашизма... прежней по существу, но под новой вывеской.

Если раньше, говорит Цвойдрак, Бауэр призывал к агрессии против Советского Союза во имя мирового господства доктрины нацизма, то теперь он призывает к ней во имя «вечных ценностей» и католических догматов «свободного западного мира». Если раньше он оправдывал эту агрессию заимствованной в арсенале расистского «учения» «теорией» о «человеческой неполноценности» славянских народов, то теперь он оправдывает ее правомерность ссылками на модный в теориях идеологов современного империализма миф о «бесчеловечности социалистического мира», будто бы представляющей угрозу «свободному Западу». В том же ключе пишет и другой корифей «второй литературы» в ФРГ, автор нашумевшего реваншистского романа Х. Г. Конзалик.

Но, продолжает Цвойдрак, «вторая литература» не справилась бы со своей прямой задачей, если бы не выполняла еще одной функции — не искала бы путей и возможностей реабилитации в глазах народных масс ФРГ господствующих классов, бывших главными виновниками двух страшных мировых войн и ныне готовящих третью. «Вторая литература» старается внушить читателю: правящая верхушка ФРГ и немецкий народ — это, дескать, одно целое, они в равной степени заинтересованы в будущей войне. Особенно изощренно и утонченно этот трюк был пущен в ход, когда в печати ФРГ отмечалась одна из годовщин битвы на Волге. В связи с нею специальный выпуск набившего руку на пропаганде реваншизма издательства «Пабель-ферлаг» был посвящен «несчастному для Германии исходу этой битвы».

> «При этом не было сказано ни слова насчет того, что несчастьем был не самый исход, а война, на которую господствующие классы послали немецкий народ, что самый этот исход был не трагическим, а, напротив, счастливым для судеб всего мира и, в конечном итоге, для самой Германии.
>
> Авторы и издатели такого рода выпусков... как правило, норовят демагогически обернуть дело по-своему: субъективное отсутствие преднамеренности совершения преступления, в котором они участвовали помимо своей воли, и неведение *отдельных немецких солдат* искусно приравнивается к «невиновности» *немецкого милитаризма* и неведению причин этой войны».

И католицизм, заключает свою статью Цвойдрак, служит «второй литературе» ФРГ лишь камуфляжем, помогающим ей идти к своим целям. Именно поэтому, в частности, Бауэр и приводит воинственного героя своего романа «Пока ноги идут» в лоно католической церкви:

> «Тот же точно путь, что и приходящий в конце концов к церкви Форрель, проделывает и сам Бауэр, а с ним вместе и вся эта «литература»: ряса должна прикрыть военные сапоги. Но и в этом маскарадно-клерикальном одеянии западногерманскому милитаризму не уйти от своей исторически неизбежной, надвигающейся на него с неотвратимой закономерностью судьбы. Золотые деньки его уже сочтены, как и время прислуживающей ему литературы».

Куба. Год просвещения

«Стать образованным, чтобы быть свободным»,— говорил Хосе Марти, и эти слова великого кубинского патриота, революционера, поэта и просветителя сейчас на устах у тысяч кубинцев. Они стали в этом году лозунгом жизни всей революционной Кубы, лозунгом, который не сходит со страниц газет, повторяется сотнями плакатов, горит в сердце каждого патриота. И это не удивительно: 1961 год явился на Кубе Годом просвещения. Под этим красноречивым названием нынешний год войдет в историю кубинской революции, подобно тому как 1960 год уже вошел в историю под названием Года аграрной реформы.

О том, как проходила кампания по проведению в жизнь намеченной революционным правительством Кастро программы всенародного просвещения, рассказы-

вает в американском ежемесячнике **«Мейнстрим» Анджела Александер** в статье, присланной с Кубы.

«Два миллиона еще остаются на Кубе неграмотными,— пишет Александер,— к концу Года просвещения на Кубе не должно быть ни одного неграмотного кубинца. Передовым отрядом этого великого наступления явилась многотысячная армия учителей-добровольцев, которые направляются во все концы страны для ликвидации неграмотности. Их называют «букварщиками», и нет сейчас на Кубе звания ответственней и почетней этого боевого имени учителя-добровольца. Кто они? Рабочие, крестьяне, интеллигенция, учащиеся средних школ, которые на время каникул стали учителями. Свои национальные кадры профессиональных учителей на Кубе были до сих пор очень невелики. На новый призыв революции откликнулись тысячи добровольцев-энтузиастов. Пройдя курс специальной подготовки, они стали «букварщиками», подобно тому как раньше становились по ее зову солдатами. Сначала их было три тысячи. Но эти три тысячи явились лишь авангардом армии в 500 000 добровольцев-«букварщиков», из которых 100 000 были назначены в самые глухие горные районы».

Их посылают, чтобы они жили в крестьянских семьях, работали и ели вместе со своими учениками. Нелегки, продолжает Александер, условия, в которых приходится работать добровольцу-«букварщику», ибо его классы находятся в местах, где, говоря словами Фиделя Кастро, «вместо кровати с матрацем — гамак, вместо электрических ламп — свечи, где ни кино, ни парков, ни кондитерских, ни мороженого».

«Год просвещения,— рассказывает Анджела Александер,— по существу вступил в свои права сейчас же после сделанного Фиделем Кастро в Нью-Йорке заявления, что с неграмотностью на Кубе будет покончено за один год. Ты знаешь, сказали мне, ЮНЕСКО объявило это утопией и считает, что Кубе понадобится для этого по меньшей мере десять лет — ведь там, помимо всего прочего, не насчитывается и 40 000 учителей... Нет, не какие-нибудь там 40 000, их теперь 500 000!»

Враги кубинской революции, рассказывает далее Александер, последыши контрреволюции, притаившиеся в подполье, в бессильной злобе не останавливаются ни перед какими преступлениями.

«Однажды — это был сумрачный день в последних числах января — в горном районе Эскамбрай Маунтн было найдено тело повешенного на дереве восемнадцатилетнего негра Конрадо Бенитеса, о котором Фидель Кастро говорил впоследствии как о «простом парне из народа». Он был учителем-добровольцем, а следовательно, по мнению убивших его контрреволюционеров, коммунистом. У него в тот час, когда он был повешен, были с собой три «коммунистических» издания: грамматика, учебник физиологии и учебник арифметики — книги, названия которых прогремели по всей Кубе, книги, достойные быть воспетыми в поэзии и увековеченными всем искусством. И 28 января, в день рождения национального героя Кубы Хосе Марти, Фидель Кастро в своей речи по случаю открытия Школьного городка на месте, бывшем раньше бастионом, объявил о формировании стотысячной молодежной бригады имени Конрадо Бенитеса, которая не оставит без учителя ни одного крестьянского дома, где есть неграмотные, в глуши, в самых далеких горных районах.

...Программа Года просвещения,— продолжает автор статьи,— не ограничивается одной только ликвидацией неграмотности. Уровень всенародного образования будет неуклонно подниматься все выше и выше — задачей двух лет, следующих за годом ликвидации неграмотности, будет повышать образование каждого кубинца до уровня неполной средней школы. А затем и техническое образование станет доступным всем и каждому».

Уже сейчас по всей стране развернута широкая сеть специальных заводских, агрономических и других учебных заведений, которых будет становиться все больше. Запланировано создать со временем хотя бы по одному высшему техническому учебному заведению в каждой провинции.

Анджела Александер особо подчеркивает значение помощи Советского Союза и стран народной демократии в деле подготовки для Кубы национальных кадров высококвалифицированной технической интеллигенции.

«Мы во что бы то ни стало станем одним из самых образованных и культурных народов в мире»,— эти слова, отмечает она, можно услышать от многих кубинцев; в них звучат чаяния и уверенность не только одних кубинцев.

«За пять лет Куба рассчитывает подготовить технические кадры, число которых будет достаточным не только для осуществления программы ее собственной индустриализации, но и для помощи народам других стран. Перед стра-

нами Латинской Америки уже не станут те две трудные проблемы, с которыми пришлось столкнуться Кубе,— барьеры расстояния и языка. Говорящая по-испански Куба скоро сможет помочь странам Латинской Америки, говорящим по-испански, в деле подготовки национальных технических кадров и тем самым окажет этим странам огромную поддержку в дальнейшем развитии различных отраслей промышленности, которая будет подлинно национальной...

...Триста девушек из далеких горных районов, которых поселили на время учебы в роскошной «Гаване» (бывший отель «Хилтон»)... объявление в газетах, что заключенным, которые выучатся читать и писать в этом году, срок заключения будет сокращен на три месяца... два миллиона карандашей — дар от стран лагеря социализма... ребята, которые цитируют Хосе Марти, мчась сломя голову из школы домой... здания, на стенах которых основным декоративным мотивом стали буквы алфавита,— такова Куба 1961 года, Года просвещения», — заключает свою статью А. Александер.

Новелла — боевой жанр современной литературы

Рассказ, новелла становятся в последние годы жанром, который все более заметно активизируется в венгерской литературе, приобретает в ней все большее значение как жанр, дающий писателю возможность быстрее и непосредственнее отзываться на события современности. Поэтому, пожалуй, именно в новелле трудности, спорные моменты и достижения, которые связаны с ростом новой венгерской литературы, обозначились особенно резко.

Учитывая это, Союз писателей Венгрии провел конференцию, посвященную современной новелле. Конференция была приурочена к выходу большой двухтомной антологии современной венгерской новеллы, озаглавленной «Пестрые рассказы». Обсуждение этого сборника широко отмечалось на страницах печати страны. С докладом о состоянии венгерской новеллы выступил заместитель главного редактора журнала «Кортарш», известный критик **Андраш Диосеги,** доклад которого **«Современность и современная новелла»** опубликован в газете **«Элет эш иродалом».**

Характеризуя этот двухтомник, представляющий читателю всю венгерскую новеллу наших дней, отмечает докладчик, необходимо, в первую очередь, сказать, что

> «...сборник свидетельствует о новом приближении нашей литературы к жизни... и у каждого, кто хотя бы перелистает его, возникает ощущение новизны и значительности...
>
> Может показаться,— замечает Диосеги,— что мы уделяем новелле слишком много внимания и возводим ее в ранг привилегированного жанра. Однако нельзя не отметить, что многие писатели, представленные в сборнике, избирают темой своих произведений изменения в жизни нашего общества, приобретающие историческое значение, создают интересные рассказы большого внутреннего накала, со сложной, полной подлинного драматизма ситуацией и заявляют свою собственную позицию с прямотой и решительностью, не присущей ни одному другому жанру в сегодняшней нашей литературе».

Какие же из центральных проблем развития сегодняшней венгерской литературы заявляют о себе именно в новелле особенно громко? Это прежде всего, подчеркивает докладчик, вопросы реализма, народности и художественного мастерства.

> «Всеми признано,— говорит Диосеги,— что требование «ближе к жизни» в наши дни ощущается не как нечто принудительное для художника, а как естественное и все более необходимое для него самого, как результат его жизненного пути и стремления воплотить действительно пережитое в образ.
>
> ...Что касается ведущей тенденции, выступающей в современной новелле как главная,— замечает Диосеги,— то она состоит в том, что большая часть наших новеллистов стремится не просто выхватывать из жизни и фиксировать какие-то отдельные ее моменты и субъективно важные для них частности, а выявлять закономерность в ней, концентрировать эту закономерность в выражение объективной истины... Не с одинаковой силой, но многие писатели ведут борьбу за углубление идейности, за большую верность воссоздания действительности и большую яркость выражения правды».

Однако, отмечает Диосеги, иногда успешность осуществления этого снижается из-за недостаточно ясного понимания реализма у некоторых писателей — ограниченного у одних и намеренно искаженного другими. При этом особо важное значение приобретает в

сегодняшней венгерской литературе разграничение и установление точного соотношения понятий «реализм» и «будничность».

> «Мы спорили о понятии «будничность» потому, что, прикрываясь лозунгом изображения «будней», некоторые писатели и сегодня еще отказываются включить в это понятие исторические конфликты и коренные изменения в нашей жизни... Конкретно это выражается в поверхностности изображения жизни, чему неизменно сопутствует бо́льшая или меньшая сентиментальность, в обостренном внимании к мелочам жизни — все это лишь дешевая подделка под реализм».

Усиление реализма в венгерской литературе, утверждает Диосеги, зависит прежде всего от углубления ее идейности, о чем убедительно свидетельствует пример писателей, в творчестве которых взята ориентация на показ во весь рост положительного героя нашей эпохи:

> «В тех новеллах, в которых наиболее четко обозначена общая идейная концепция автора и наиболее глубоко осознано значение образа положительного героя, особенно заметно стремление подойти к действительности и дать более полную картину внутренней жизни человека».

Говоря далее о стремлении венгерских новеллистов к народности, Диосеги отметил, что оно в первую очередь сказалось в перемещении центра внимания писателей. В их произведениях все более заметен интерес к новому герою, к простым труженикам новой, социалистической Венгрии — к рабочим и крестьянам.

Дискуссия о «новом театре»

«Новое искусство», «новый роман», «новый театр» — эти и им подобные выражения, в которых ударение неизменно ставится на слове «новый», являются вот уже многие годы чуть ли не самыми модными в лексике деятелей буржуазного искусства на Западе, в критике, прессе.

Исходя из того, что уже в течение почти целого десятилетия во Франции не прекращаются споры о так называемом «новом театре», французский еженедельник **«Экспресс»** предложил нескольким ведущим деятелям «нового театра» своего рода анкету, с ответами на вопросы которой они и выступили на его страницах.

Итак, «новый театр»... «Что это такое? Чего именно хотят «новые» драматурги? Могут ли они сами с уверенностью и не покривив душой сказать, что принесли в театр нечто новое? В чем они видят свои достижения? Считают ли они, что одержали верх в борьбе? И, прежде всего, идет ли борьба на самом деле?» Эти вопросы «Экспресс» и предложил в своей анкете людям, которые, по словам еженедельника, «сегодня создают французский театр, первый авангардистский театр в мире. Театр, который можно назвать революционным».

Но действительно ли таков этот театр? Предстает ли он революционным в высказываниях отозвавшихся на анкету крупнейших деятелей «нового театра»?

На страницах «Экспресс» с очень обстоятельными разъяснениями своего отношения к современному театру выступили известные во Франции драматурги **Маргарит Дюра** и **Робер Пэнже,** актер **Жан Мартен** и, наконец, общепризнанный лидер «нового театра», его главный драматург и теоретик — **Эжен Ионеско.** К ним («Ведь именно вы его создали и вы в нем играли...») «Экспресс» и обратился со своей анкетой, чтобы получить информацию, так сказать, из первых рук.

Открывший дискуссию Ж. Мартен высказал ту глубоко верную мысль, что подлинные новизна и новаторство в театре — а равно и в любом другом виде искусства — определяются не декларативным провозглашением их как самоцели, а служением искусства современности, тесной связью искусства с ее интересами и стремлениями.

> «Нет ничего досаднее, чем само это обращение к названию «новый театр». Собственно «нового театра» как такового не существует. Но театр, который живет творческой жизнью, всегда нов, ибо он всегда так или иначе стремится служить эпохе, в которую он живет и которая его захватывает».

Однако дальше сам Мартен, к несчастью, «исправляет» высказанную им правильную мысль, разъясняя, что под «служением эпохе» он понимает не соответствие требованиям современности содержа-

ния пьесы, жизненного материала, проблем, пафоса пьесы, а новизну стиля ее исполнения: «...современной пьесу делает не то, что в ней заключено, а то, как она написана и сыграна». Возможность же новизны содержания для Мартена вообще сомнительна. Отсюда два его характерных замечания — о пьесе М. Дюра «Сквер» и об «отношении актера к драматургу», которое предполагает, что Расин и Беккет звучат сейчас одинаково современно: *«По-моему, такая, написанная сегодня, пьеса, как «Сквер», может быть создана и через 500 лет, только тогда она будет написана иначе... Если актер искренне любит Расина, то его должны волновать те же проблемы, что волнуют меня, когда я остаюсь с глазу на глаз с Беккетом».* Поэтому и требования современности к драматургу, по мнению Мартена, могут простираться только до границ области стиля, в отношении же к содержанию драматургии они неправильны: *«В конечном счете ни один автор не обязан отчитываться, почему он говорит одно, а не другое. Он пишет так потому, что это необходимо для него...»*

Эта мысль решительно поддерживается М. Дюра, которая утверждает, что ни новых тем, ни новых конфликтов театр не знает вообще, а знает он только новое (у драматурга, работников сцены, зрителя) отношение к «извечным» темам и конфликтам. Моральные же конфликты Дюра считает вообще «проходящими мимо театра». Но с особой ясностью отношение «нового театра» к современности обозначилось в оценке Ж. Мартеном, М. Дюра, Р. Пэнже значения злободневности театра. Само требование к театру быть злободневным, жить насущными вопросами сегодняшнего дня они единодушно считают неприемлемым для «нового театра» — слишком «утилитарным», «заземленным», создающим будто бы опасность «поглупеть, состариться, утратить свою «новизну». По мнению теоретиков «нового театра», чтобы остаться нестареющим и разумным, он должен отречься от «злободневности», от серьезной по содержанию драматургии и от любой тенденциозности.

Остаются, стало быть, лишь формально новые приемы и так называемый «новый тон», к поискам которых и сводится весь смысл «нового театра».

«Что же в таком случае вызывает необходимость в этой самой новой манере?» — совершенно справедливо недоумевает «Экспресс».

«Безумие самой жизни»,— в один голос отвечают все трое. «Трудно объяснить с полной определенностью,—говорит Дюра,— что именно вызвало к жизни стиль Ионеско. В основном, пожалуй, это то самое привычное безумие, которое вошло в каждый дом».

Но при всем при том представители «нового театра», как они уверяют, решают в своем творчестве — и конечно уж на свой, «новый» лад — свои, конечно тоже «новые», социальные и даже политические задачи: *«Социальные задачи,*— утверждает Р. Пэнже,— *решаются в каждой из наших пьес».* Однако, как выясняется из дальнейшего, «социальность» своего театра Пэнже, Дюра, Мартен понимают более чем своеобразно: они видят ее в отражении... «извечного» одиночества личности, ее будто бы фатально предопределенного и неизбывного отчуждения среди себе подобных!

Вполне понятно, ни Пэнже, ни Дюра, ни Мартен не могут объяснить, что же во всей их драматургии социального. А как обстоит дело с отношением их театра к политике? Оказывается, это отношение не менее оригинально.

В своих пьесах, замечает «Экспресс», «новый театр» очень часто выходит за рамки кодекса буржуазной морали, шокирует буржуа, дерзко эпатирует его. Означает ли это, что «новый театр» считает себя политически «левым»? Некоим образом, заверяют Пэнже, Дюра, Мартен. Все это — вопросы стиля и только; в «новом театре» стиль, форма заменили политику. Именно так, продолжают они, обстояло, в частности, дело с нашумевшей пьесой Дюра «Сквер», в которой прислуга — это ли не сенсация! — пела (правда, вне какой-либо связи с сюжетом, смыслом пьесы) «Интернационал».

Каковы же тогда, спрашивается, отношения «нового театра» со зрителем, что проложило ему дорогу к зрителю? «Не думаете ли вы,— спрашивает «Экспресс»,— что своим успехом «новый театр» обязан главным образом снобизму?»

«По-моему,— отвечает Дюра,— *со всяким «движением» в искусстве в самом начале всегда бывает именно так».* То есть

снобизм, по мнению Дюра и Мартена, превращается в некую единственную силу, якобы открывающую обществу новое в искусстве. А вслед за признанием «нового театра» снобами пришла — таков извечный путь преуспевших «новаторов» буржуазного искусства в буржуазном обществе! — мода на «новый театр». Не отсюда ли у деятелей «нового театра» тревожное ощущение непрочности своего успеха и, несмотря на регистрируемый ростом кассовых сборов успех, постоянное чувство непонятости зрителем, чувство его отчуждения.

> «В наши дни,— меланхолично констатирует Мартен,— людям недостает истинного мужества, чтобы сказать «мне от такого искусства скучно» или «а вот это мне нравится». И это тоже своего рода снобизм. Говорят: «Видели ли вы Годо?», «Нужно посмотреть «Сквер», «Моя дорогая, это очаровательно». А потом идут и очень скучают. После, выходя из зала, говорят: «А все-таки это очень интересно».

Именно таков в большинстве своем тот «свой зритель», которого «новому театру» удалось привлечь и завоевать. «Равнодушная публика» — так называют своего зрителя сами деятели «нового театра».

Но может ли театр, открещивающийся от современности, от вопросов, волнующих широкие массы, рассчитывать на иного зрителя? Кучка пресыщенных снобов да подстрекаемые боязнью отстать от моды буржуа — таков партер «нового театра», определяющий погоду в его зрительном зале. Не удивительно поэтому и постоянно гнетущее актеров на сцене ощущение, что они играют в пустоте и для пустоты.

Все эти высказывания весьма характерны. Однако наиболее полно кредо «нового театра» изложено Эженом Ионеско в статье под заголовком **«Создал ли я антитеатр?»**, которую он представил в качестве ответа на анкету «Экспресс». Ионеско высказал прежде всего свое глубоко иррационалистическое понимание взаимоотношений «старого» и «нового» в ходе истории развития искусства.

> «По-моему,— пишет он,— извечно история искусства и мысли в каждый данный момент характеризуется «жаждой обновления». Исключение из этого правила составляет только последнее десятилетие. Вся история—не что иное, как следствие «кризисов»: нарушений установленных норм, отрицаний, оппозиций и, вместе с тем, попыток возвращения покинутых позиций, но уже на новой основе, без чего такого рода возвращения были бы реакционны, консервативны. Если нет «кризисов», то наступает застой, окаменение, смерть».

Таким образом, «новое», по Ионеско, только отрицание «старого», чтобы затем вернуться к нему. Никакого поступательного движения в этом, выдуманном Ионеско, процессе тоже нет, а есть только «кризисы», не дающие мертвым волнам этого призрачного моря окаменеть: «обновление» — это не поступательное движение вперед, а вечная попытка заменить найденное сегодня потерянным вчера! Таков очередной парадокс Ионеско, с которого он и начинает свое подведение итогов десятилетнего существования «нового театра».

Оставим в стороне эту абсурдную теорию и посмотрим, как оценивает Ионеско конкретные задачи и достижения, специфику и возможности «нового театра»?

> «Я знаю,—пишет он,—можно утверждать: в конце концов ничего нового не может быть вообще. Нет никакого нового движения идей и в том, что уже сделано нами. Да и приступать к проверке того, сделано ли нами что-нибудь новое, тоже, по-моему, еще преждевременно. Но ясно также и то, что в некоторых аспектах нашего творчества мы связаны с экзистенциализмом; можно к этому прибавить: мы, каждый в меру своих скромных возможностей, продолжаем великую революцию в искусстве, литературе, мысли, которая началась в 1915—1920 годах, еще не завершена и находит сегодня свое выражение в новейших научных открытиях, в глубинной психологии, в абстрактном искусстве, сюрреализме и т. п. Пока еще неизвестно, являемся ли мы творцами перестройки направления мыслей в обществе: чтобы судить об этом, нужно взглянуть на сделанное с более далекой дистанции, чем мы можем сегодня».

В чем же видит Ионеско смысл этой так называемой революции в искусстве?

> «Если в том, что мы пытаемся делать, есть нечто уже ощутимое, то это — высказанная в некоторых наших произведениях жалоба на суету и пустоту жизни, на призрачность идеологий; может быть, в них мы действительно провозглашаем конец всем идеологиям — правым, левым, умеренным».

Это нигилистическое отрицание всякой идеологии вообще Ионеско считает главной особенностью «нового театра».

> «Речь идет,— поясняет он,— о том особого рода кризисе мысли, который

естественно, обозначился в кризисе языка: слова не означают больше ничего, системы мысли в наши дни — это всего лишь монолитные догмы, построения из штампов. Штампы отложились и в таких словах, как «нация», «национальная независимость», «демократия», «классовая борьба», и в таких, как «бог», «социализм», «материя», «разум», «индивидуальность», «жизнь», «смерть» и т. д.

> Каждая же из систем мысли, как на нее ни взглянешь,— всего-навсего своего рода алиби, которое подтверждает нашу непричастность к реальности и, действуя в обход нашего разума, по-своему устремляет слепой поток наших чувств».

Демократия, независимость, национальность — все это, таким образом, просто сбрасывается идеологом «нового театра» со счета как чуждые, как не стоящие внимания штампы, «окаменелости». Какое, словно говорит он, дело «новому театру» до того, что сотни тысяч людей во всем мире выстрадали эти «слова». Но ведь «новый театр» и обращается не к этим людям, не к народу, не к массам, которые бы не поняли и не простили такого пренебрежения к своей вере, к себе.

Иррационализм же, крайний субъективизм возводится Ионеско в абсолютную норму «нового театра».

> «Да,— заключает он свое определение идейно-эстетической программы «нового театра»,— наши персонажи безумны, несчастны, потеряны, глупы, условны; да, их речи абсурдны, у них нет общего языка, он бессвязен, как и их мысли...»
>
> «Что же тогда,— спрашивает он,— остается прочно и постоянно в этой новой драматургии, возникающей среди руин всех существующих систем мысли? Насмешка, гнев, смятение «чистого духа», страх — а это и есть человеческое существование».

Такова, утверждает Ионеско, та «программа обновления», которую «новый театр» предлагает современному искусству вот уже в течение десяти лет. Что же в этом принципиально нового по сравнению с так называемой «черной литературой» и декадансом, уже давно ставшим в буржуазном искусстве нормой? На это Ионеско ответа не дает, да он, пожалуй, и не нужен — слишком уж мало существенны эти различия, если они и имеются.

Следует признать, что у «нового театра» не было недостатка в различного рода формальных новшествах. Тем не менее и то новое, что он принес в этой области, подытожить, как показывает сам Ионеско, довольно несложно:

> «Обновление техники? Пожалуй, главным образом, в попытках усилить театральную выразительность, заставляя «играть» декорации, аксессуары... Актеры стремились выработать стиль одновременно и более естественный и более гротескный, чем прежде; действие развивалось во взаимодействии реальных персонажей и марионеток».

Ни Пэнже, ни Дюра, ни Мартен, ни Ионеско не ответили на один, казалось бы, очень простой вопрос, поставленный в анкете «Экспресс»: «Почему в течение последних десяти лет люди ищут нового в театре, кино, романе?» И, это понятно: чтобы ответить на такого рода вопрос по существу, пришлось бы признать, что для подавляющего большинства зрителей новое в театре— это воспроизведение живой действительности наших дней, это наша современность с ее жгучими вопросами, борьбой идеологий, с ее политическими схватками, в которых крепнет и мужает сознание простого человека нашей великой эпохи. Но с таким пониманием нового в искусстве наших дней создатели «нового театра» согласиться, конечно, не могут, о чем убедительно свидетельствуют их ответы на анкету «Экспресс».

Гордон Шаффер

ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Английский народ впервые осознал всю серьезность военных угроз, исходящих от правящих кругов США, когда в середине июня как бы в ответ на предложение СССР подписать мирный договор с ГДР, если заключение общегерманского мирного договора окажется невозможным, такие газеты, как «Таймс» и «Обзёрвер», стали помещать на своих страницах подробно разработанные планы ядерного нападения стран — участниц НАТО на Советский Союз.

Началась мощная пропагандистская кампания, целью которой было подчеркнуть готовность американского народа взяться за оружие. Однажды мне с несколькими людьми, из которых большинство не интересовалось политикой, довелось смотреть телевизионную передачу в форме маленьких интервью: телерепортеры останавливали на улице прохожих и спрашивали их, готовы ли они воевать из-за Берлина. Как правило, американцы, к которым обращались с этим вопросом, отвечали «да». Женщина, сидевшая рядом со мной, содрогнулась. Потом спросила: «Неужели они все одурманены?»

Ответ прост. Люди, которых выбирают для такого рода передач, действительно *одурманены*, и таких немало также и среди англичан. Они подвергаются непрерывной пропагандистской обработке. Многие из них даже не знают, что Берлин находится в центре Германской Демократической Республики. США и Англия часто похваляются своей «свободной прессой», но, в сущности, речь идет лишь о свободе для богатых — свободе владеть печатными органами и утаивать от читателей все, что не соответствует видам «сильных мира сего». Клеветническая кампания против ГДР достигла в нашей прессе неслыханных масштабов. Что же касается заявлений правительства ГДР и нот Советского правительства о подписании мирного договора и превращении Западного Берлина в вольный город с гарантией свободного доступа для Западной Германии, то они, в основном, игнорируются.

И все же по мере возрастания военной угрозы со стороны западных держав английский народ начинает понимать размеры опасности и вникать в суть дела.

В начале развернувшейся пропагандистской кампании как в газетах, так и в телепередачах говорилось только о «голоде и очередях за хлебом в Восточном Берлине». Но от лжи такого рода вскоре пришлось отказаться, ибо стало известно, что цены на предметы первой необходимости в Восточном секторе ниже, чем в Западном. Единственным признаком «голода» в ГДР оказалось ограничение продажи сливочного масла: *только* полфунта в день на человека, то есть больше, чем может себе позволить средняя английская семья. Затем — впервые за всю историю существования двух Берлинов — открылся истинный смысл обмена западных марок на восточные, широко практиковавшегося на черном рынке в спекулятивных целях и приводившего к ограблению трудящихся ГДР. Именно поэтому решение ГДР закрыть границы Восточного сектора было встречено в Англии с неожиданным сочувствием.

Принятые правительством ГДР меры безопасности, направленные против вылазок западноберлинских провокаторов, нашли поддержку даже в английских официальных кругах. Так, корреспондент консервативной газеты «Дейли мейл» Уильям Форрест, цитируя в своей статье слова высокопоставленного английского офицера: «Я не желаю, чтобы кучка хулиганящих западноберлинских школьников втянула меня в третью мировую войну», со своей стороны, замечает: «Глядя на этих молодчиков, «демонстрирующих» на улицах Берлина, я себя спрашивал: родись они на поколение раньше, разве не были бы они среди штурмовиков Гитлера, избивающих евреев?»

Другим признаком растущего в Англии недовольства политикой США явилось нежелание крупных деловых фирм отказаться от участия в Лейпцигской ярмарке, несмотря на давление со стороны госдепартамента и министерства иностранных дел Великобритании.

Лондонская финансовая газета «Сити пресс», которую никак нельзя заподозрить в симпатиях к социализму, 1 сентября посвятила английским фирмам, участвующим в Лейпцигской ярмарке, целую полосу под общим заголовком «Мы не можем позволить себе отказаться от торговли с Восточной Германией». Развивая эту мысль, газета пишет: «Группа западногерманских журналистов, посетив новый порт в Ростоке, опубликовала фотографию лужицы и куска ржавого железа. Но они куда лучше информировали бы общественность и деловые круги Западной Германии, если бы напечатали фотографии огромных химических и текстильных заводов. К счастью, английские бизнесмены не верят в такую чепуху, как торговый бойкот. Они вполне отдают себе отчет в том, что, пока мы торгуем с какой-либо страной, стрельбы не будет, как бы нам не претила ее политика. В прошлом году в Лейпциге было представлено 20 английских фирм, а в этом уже 23».

Нет ничего удивительного в том, что «Сити пресс» не по душе политика ГДР. Достаточно взглянуть на другую полосу газеты, где с восторгом говорится об одном дельце, который, начав в июле 1954 года с капитала в 24 000 фунтов, сумел, играя на бирже, довести его к 1961 году до 42 000 фунтов. В Англии и ФРГ можно, не работая, загребать такие деньги, но в ГДР это исключено!

Однако газета излагает точку зрения разумных капиталистов, которые, защищая собственные интересы, понимают, что ныне единственный верный путь — это мирное сосуществование с социалистическими странами.

Пожалуй, всего более тревожит общественное мнение в Англии ставший до наглости откровенным милитаристский характер западногерманской политики. Члены федерального правительства во главе с Аденауэром, произнося речи о защите «свободы» Берлина, не раз грубо требовали возврата бывших немецких территорий. Недавно посольство ФРГ в Лондоне распространило книжку, в которой говорится, что германское верховное командование не имело никакого отношения к развязыванию второй мировой войны, что с ним «низко обошлись» после капитуляции Германии и что западные державы «поступили глупо, распустив остатки немецкой армии, которые, совершенно очевидно, были нужны, чтобы приостановить продвижение русских».

Лондонская газета «Дейли экспресс», комментируя появление этой книги, сообщает, что правительство ФРГ выделило крупные суммы на пропаганду такого рода. Несколько дней спустя посольство ФРГ, купив в рекламных целях целую страницу газеты «Айриш таймс», опубликовало довоенную карту Германии под заголовком «С конституционной точки зрения, Германия продолжает существовать в границах 1937 года».

Д-р Зеебом, член аденауэровского правительства, пошел еще дальше, заявив, что Мюнхенское соглашение, по которому Судеты перешли в руки гитлеровской Германии, должно оставаться в силе.

А ведь с самого начала раздавались трезвые голоса, предупреждавшие, что вооружение Западной Германии развяжет руки реваншистам, контролирующим политику страны. Когда впервые стали заговаривать о вооружении Германии, лорд Далтон, в то время министр лейбористского правительства, сказал, что это — «дорога

в ад». А когда набирались первые контингенты будущей армии, боннский корреспондент газеты «Таймс» писал, что ее готовят для похода на Берлин, Вроцлав и дальше.

Года два назад, во время волны антисемитских и профашистских выступлений в ФРГ, несколько английских газет опубликовали статьи, в которых говорилось о том, что в Западной Германии всячески пытаются обелить нацистский режим и в школах учат детей, что Гитлер был хорошим человеком, который восвал против коммунистов. Но потом вдруг эти предостережения прекратились и машина пропаганды опять заработала, превознося ФРГ как «союзника Запада».

Таким образом, в Англии немало людей, принадлежащих ко всем слоям общества, сознают опасность милитаризма, возрожденного в Западной Германии, но, с другой стороны, дает себя знать пропаганда, которая ни перед чем не останавливается, чтобы вызвать антикоммунистическую истерию и заодно оказать поддержку реваншистским элементам в ФРГ. Самую пагубную роль в этой ситуации сыграла беспринципность верхушки Британского конгресса тред-юнионов и лидеров лейбористской партии, которые, поддерживая план вооружения Западной Германии и принимая участие в клеветнической кампании против ГДР, политически разоружают трудящихся.

Если бы лейбористская партия с самого начала выступила против вооружения Западной Германии и выдвинула в качестве политической платформы идеи сосуществования и разоружения, она бы немедленно оказалась у власти. Народ, страстно ищущий пути к миру, откликнулся бы на ее призыв.

Такова предыстория создавшегося опасного положения, когда подписание мирного договора и обуздание милитаристов в Бонне, Вашингтоне, Париже и Лондоне стало вопросом жизни и смерти для Англии.

Хотя люди еще плохо разбираются во всех сложностях германского вопроса, народ инстинктивно восстает против союза с бывшими нацистскими генералами. Волна протестов, которая прокатилась по стране в связи с прибытием первого контингента западногерманских войск в Уэльс, потрясла правительство и правое крыло лейбористской партии. Когда недавно делегация лондонских профсоюзов пришла выразить свой протест премьер-министру, Макмиллан попросил своего парламентского секретаря принять ее, и тот в течение получаса пытался убедить членов делегации, что цель правительства — нейтрализовать опасность германского милитаризма, держа Западную Германию под контролем НАТО.

Когда конгресс тред-юнионов, несмотря на давление своей верхушки, принял резолюцию, осуждающую дислокацию западногерманских войск в Англии, сэр Альфред Робертс, выступая от имени Генерального совета, с недоуменным видом сказал делегатам, что «против пребывания этих войск на британских островах нет никаких возражений, если не говорить о том, что произошло в 1914—1918 и в 1939—1945 годах». Вот куда ведет антикоммунистическая истерия! Сэр Альфред и ему подобные, всецело поддерживая гонку вооружений, не способны понять, почему народ не может и не хочет забыть о бедствиях прошлой войны, почему страны, разоренные нацистскими армиями, твердо решили сделать все, чтобы этого никогда не повторилось!

Недавно один кандидат в депутаты парламента от консервативной партии, выступая на митинге молодых консерваторов в Фелтаме, близ Лондона, сказал, что «Англия должна быть готова к ядерной войне ради сохранения Берлина». Это выступление было опубликовано в местной газете. На следующей неделе эта же газета опубликовала на двух полосах письма протеста, во многих из которых напоминалось о злодеяниях немецких фашистов, совершенных ими, в частности, в Советском Союзе. Редакция газеты «Айриш таймс» тоже получила множество писем протеста после того, как она по просьбе посольства ФРГ опубликовала карту Германии в довоенных границах.

Так народ использует всякую возможность, чтобы прорвать густую сеть пропаганды и высказать свои подлинные требования. Но нельзя умалять существующие опасности. Лейбористская партия, которая могла бы сплотить здоровые силы нации, связана по рукам и ногам своими лидерами. Глава партии Гейтскелл, уходя в отпуск, отказался поддержать требование внеочередного созыва парламента. Военная подготовка продолжается.

Задача сторонников мира в Англии состоит не только в форсировании переговоров между Западом и Востоком, но и в разъяснении всех данных проблемы, с тем чтобы давление народных масс привело к принятию таких решений по германскому вопросу, которые реально учитывали бы сложившееся в Германии положение. Нужно разоблачить и всенародно заклеймить те круги, которые поддерживают мысль о военных действиях в случае подписания мирного договора между Советским Союзом и Германской Демократической Республикой. Возобновление ядерных испытаний Советским Союзом было встречено в Англии с сожалением, а иными, в том числе и некоторыми искренними сторонниками мира, даже с осуждением. Но это решение советского правительства подчеркивает всю серьезность создавшегося положения, когда миру грозит уже не выпадение радиоактивных осадков, а ядерная война.

Английский народ хочет мира. Он чувствует, что опасность исходит не от Советского Союза или какой-либо другой социалистической страны, а от темных сил, готовых развязать войну из-за слепой ненависти к народам, выбравшим путь социализма. Не случайно советским гостям всегда оказывают в Англии самый теплый прием, в то время как лидеров ФРГ встречают холодным молчанием. Народы не забывают об Освенциме, Дахау, Бухенвальде и всегда будут помнить о великой битве на Волге, которая возвестила конец нацистского кошмара. Сегодня священный долг каждого англичанина, любящего свою родину и верящего, что разоружение и ликвидация военной угрозы откроет перед человечеством безграничные возможности, заключается в мобилизации сил народа, который должен возвысить свой голос и во всеуслышание потребовать мира.

г. Кингстон **(Англия)**

Иштван Пинтер, Ласло Сабо

ИНТЕРВЬЮ С ПАЛАЧАМИ

В Хаммельгассе все спокойно

О строгости западногерманского правосудия мы слышали и от Крумхольца и от молодого франкфуртского адвоката Хейзера: первый, ссылаясь на строгость правосудия, заявлял, что ему нечего бояться западногерманского суда, а второй жаловался, что не может за недостатком улик выступить против Бехера, так как германское правосудие строго требует предъявления доказательств. И они оба были правы: западногерманские судьи строго требуют доказательств и улик, когда речь идет об убийцах, и чем больше людей погибло от их руки, тем больше доказательств требуется для их осуждения. Но когда дело доходит до вынесения приговора, строгости судей приходит конец...

Мы не смогли взять интервью у Германа Крумея и Отто Хунше, так как они оба находятся в следственной тюрьме Хаммельгассе в городе Франкфурте. А ведь они многое могли бы рассказать о фашистском терроре в Венгрии и о его жертвах, так как Герман Крумей, оберштурмбаннфюрер СС, был заместителем Эйхмана и вместе с хауптштурмфюрером Отто Хунше участвовал в массовых депортациях и убийствах.

Крумей уже пятый раз находится в следственной тюрьме, но ему еще ни разу не вынесли обвинительного приговора. А ведь это он 20 июня 1942 года послал Кальтенбруннеру секретную депешу за № 612642, требуя, чтобы к восьмидесяти восьми сиротам из Лидице была применена «особая обработка» (на языке эсэсовцев это означало, что детей надо уничтожить). Он же, как заместитель Эйхмана, несет ответственность за вывоз из Венгрии и умерщвление в газовых камерах почти полумиллиона жертв. Случай с Крумеем тем более примечателен, что этот заместитель главного палача уже 30 сентября 1947 года перед Нюрнбергским международным трибуналом признался в совершенных им преступлениях. Но ни в то время, ни двумя годами позже, когда Крумею пришлось предстать перед западногерманским судом присяжных, ни один волос не упал с его головы: судьи не признали виновным убийцу детей из Лидице.

Крумей сменил черную эсэсовскую форму на белый халат парфюмера: открыл в маленьком городке Корбахе собственный магазин и стал потихоньку заниматься торговлей (закон о выдаче государственной пенсии всем лицам, сумевшим доказать, что они не менее десяти лет служили в эсэсовских войсках, тогда еще не был издан). Но если и не как эсэсовец, Крумей все же получил от правительства Западной Германии кругленькую сумму в качестве «перемещенного лица». Он родился в Чехословакии в местечке Троппау и имел впоследствии многочисленные заслуги перед рейхом в черном деле порабощения чехов и словаков, за что ему и была отпущена сумма в 12 тысяч марок для устройства личных дел.

Десять лет безмятежно жил Крумей в городке Корбахе, постепенно приобщился к политической жизни и стал играть довольно значительную роль в «Общегерманском блоке», называвшемся также «Союзом изгнанных с родины и лишенных прав», во главе которого стоял тогда Вольдемар Крафт, тоже один из крупных эсэсовцев. Крумей был даже выдвинут кандидатом в депутаты ландтага от этого фашистского «блока» и получил депутатский мандат от Вальдекского избирательного округа. А между тем одна за другой появлялись обличительные статьи о Крумее и даже книги, где целые главы посвящались его преступлениям. Но франкфуртскую прокуратуру это не очень-то волновало. И только в апреле 1957 года, когда правительство Чехословацкой Республики передало ей целый том документов, подтверждающих преступления Крумея, следственные органы скрепя сердце снова арестовали его.

Тюремное заключение Крумея продлилось всего лишь три месяца — он был осво-

---

Окончание. Начало см. в № 11.

божден «за недостатком улик». Освобождение Крумея наделало шуму далеко за пределами Германии, и франкфуртской прокуратуре пришлось, уступая международному общественному мнению, 16 сентября 1958 года снова посадить Крумея в Хаммельгассе. Но и на этот раз пребывание преступника в тюрьме оказалось недолгим: судьи потребовали живых свидетелей, хотя им и было хорошо известно, что вряд ли хоть одна из жертв Крумея осталась в живых. В решении по делу Крумея было дословно сказано: «Не представляется возможным выяснить до конца судьбу детей из Лидице, которые через ведомство, во главе которого стоял Крумей, были переданы гестапо; дальнейшая судьба их неизвестна».

А для того, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в строгости правосудия Западной Германии, приведем целиком заключительную часть судебного решения:

«Хотя обвиняемый в телеграмме от 20 июня 1942 года, адресованной главному управлению безопасности, по вопросу о детях, выразил мнение, что их ждет «зондербехандлунг» (особая обработка), этот факт сам по себе еще не дает права сделать юридически обоснованный (!) вывод, что обвиняемому было известно о задуманном убийстве детей. Нельзя утверждать с уверенностью, что термин «особая обработка» в кругу СС и СД был равнозначен полному истреблению или убийству, как это считает государственная прокуратура, и что обвиняемому было известно такое значение указанных слов».

Всему миру известно, что бандиты Гиммлера называли «особой обработкой» истребление миллионов людей; во время судов над военными преступниками этот термин повторялся сотни, если не тысячи раз; было доказано, что он равнозначен глаголам: ликвидировать, «газировать», истреблять, убивать... Тем не менее во Франкфурте в 1958 году ученые юристы сомневаются, не означает ли слово «зондербехандлунг» санаторное лечение или поездку на Ривьеру... Действительно, здесь «очень строгие судьи»!

Итак, преступления Крумея доказать нельзя, а значит, и в тюрьме держать его не следует. Об одном лишь умалчивают в Западной Германии: во франкфуртском суде заседает 39 судей, начавших свою карьеру при Гитлере. А что ворон ворону глаз не клюет, ни для кого не секрет.

Судьба почтенного корбахского жителя Германа Крумея несколько изменилась, когда был арестован Эйхман. Это вовсе не значит, что франкфуртские судьи наконец содрогнулись от совершенных Крумеем преступлений, просто они испугались, что Эйхман может назвать имена лиц, без всякой маскировки, под собственными именами проживающих в Западной Германии и даже занимающих ответственные посты под эгидой Аденауэра. И вот Крумея снова поместили в Хаммельгассе, чтобы избавить от неприятных вопросов, пока не пройдут «трудные времена».

По тем же причинам в ноябре 1960 года попал в следственную тюрьму и Отто Хунше, бывший хауптштурмфюрер СС, один из главных организаторов массовой депортации и убийств венгерских граждан. Хунше жил с 1945 года в городе Даттельне, где успел построить себе прекрасный особняк на полученные от государства средства и на собственные адвокатские гонорары...

Когда же будет суд над этими двумя палачами? Вот уже девять месяцев сидят они в тюрьме, но о процессе над ними никто и не заикается. Следствие идет, вернее, медленно плетется, а прокурор в ответ на нетерпеливые вопросы глубоко вздыхает: ничего не поделаешь, правосудие в Западной Германии неукоснительно требует улик и доказательств...

Американский военнопленный Отто Винкельман

В течение многих месяцев имя Эйхмана не сходило со страниц мировой печати, и мы, путешествуя по Западной Германии, не раз задавали себе вопрос: почему лишь Адольфу Эйхману воздают по заслугам? Ведь Эйхман совершил всего одну ошибку... Нет, речь идет не о его леденящих кровь преступлениях, а о том, что он почему-то прятался, жил под чужим именем, когда ему надо было всего лишь приехать в Западную Германию и довериться Аденауэру. Тогда с ним не случилось бы ничего плохого и ему не пришлось бы даже менять имя.

Лучшим доказательством такого положения вещей может служить судьба эсэсовского генерала Отто Винкельмана, непосредственного начальника Эйхмана, к которому мы и отправились за интервью. Отто Винкельман был главнокомандующим всеми войсками СС и полиции в Венгрии, и в его подчинении вместе с Эйхманом и Бехером находились доктор Гешке, начальник гестапо, и доктор Вильгельм Хёттль, начальник разведывательной службы. После разгрома гитлеровской Германии бывший обергруппенфюрер СС Отто Винкельман, вполне доверяя Аденауэру и американцам, никуда не прятался и не убегал и до сих пор мирно живет на получаемую им от боннского правительства пенсию в тридцати километрах от Киля, в местечке Бордесхольм, в собственной новенькой вилле. Пенсия у него небольшая, 1705 марок 82 пфеннига, но это примерно столько, сколько зарабатывают в Западной Германии четверо рабочих вместе взятых. Шестидесятипятилетний эсэсовский генерал очень религиозен и ежедневно ходит в кирху, но занимается и общественными делами: он — председатель союза бывших офицеров полиции и член ХДС, партии Аденауэра, причем даже представляет эту партию в бордесхольмском муниципалитете

Винкельман служил в германской полиции с 1919 года, 1 ноября 1932 года он вступил в нацистскую партию. В июле 1938 года Винкельман перешел на работу в СС, а 20 апреля 1940 года, в день рождения Гитлера, был произведен в генералы и носил генеральский чин до 1 мая 1945 года, когда был взят в плен американцами. В документах Винкельмана, на основании которых он получает пенсию, значится: «С 1 мая 1945 года по 1 сентября 1948 года — военнопленный американских войск». Эти 40 месяцев западногерманское ведомство социального обеспечения не сочло перерывом в стаже Винкельмана.

Первое время Винкельман провел как подследственный в Обер-Урзеле, в американской военной тюрьме, а 27 октября 1945 года американские военные власти отвезли эсэсовского генерала в Венгрию, где он должен был выступить свидетелем на процессе венгерских военных преступников Салаши, Коварча, Имреди и их сообщников. Протоколы процесса неопровержимо доказывают, что настоящее место Винкельмана было на скамье подсудимых, рядом с его венгерскими друзьями.

Венгерское правительство и министерство юстиции неоднократно обращались к американской военной миссии в Будапеште, требуя передачи венгерскому суду Винкельмана, Визенмайера и других военных преступников, дела которых должны были рассматриваться судом той страны, на территории которой они совершали свои преступления против человечества. Переговоры с американской военной миссией о выдаче венгерским властям Винкельмана и Визенмайера затянулись, но 10 мая 1948 года оба преступника все же получили официальное извещение, что их дело будет передано венгерским судебным органам. В венгерских архивах хранится копия письма Винкельмана, адресованного им американской миссии в Будапеште. Разница в умственном развитии двух видных эсэсовцев очевидна: ограниченность Винкельмана помешала ему хотя бы слегка завуалировать факты, как это сделал в своем письме Визенмайер.

«27 октября 1945 года три американца привезли меня в Будапешт,— писал Винкельман,— для показаний по делу Салаши. При этом старший сержант Карман, старший лейтенант Козэри и капитан, имени которого я не знаю, заверили меня, что я останусь американским военнопленным и что меня ни в коем случае не передадут венгерским властям, а сразу же по окончании процесса отвезут обратно в Германию. Господин Карман, сообщая мне в Обер-Урзеле о необходимости выезда в Будапешт, сказал дословно следующее: «Не беспокойтесь, вы можете быть вполне уверены, что я вас привезу обратно, вас там задержат не больше чем на 10—12 дней». Это обещание было нарушено, меня передали венграм вопреки заверению старшего лейтенанта Козэри, что американская миссия ни в коем случае не выдаст меня...»

Очевидно, известие о передаче его венгерским властям очень испугало Винкельмана, потому что в конце письма он прямо напоминает американцам: «Обращаю ваше внимание еще и на то обстоятельство, что перед моим отъездом в Будапешт мною были получены определенные указания насчет того, что именно и в каком объеме я должен буду показывать на суде. Прошу новых указаний».

Ответа не последовало, но американцы сделали все от них зависящее, чтобы спасти Винкельмана от венгерского правосудия. Американская военная миссия при Союзной комиссии в Будапеште сообщила министерству юстиции Венгрии, что Винкельман, а вместе с ним 38 военных преступников, имена которых значились в представленном министерством списке, не будут переданы венгерскому суду, так как «указанные в отдельных случаях преступления не носят военного характера и не являются достаточной причиной для допроса упомянутых лиц как военных преступников».

Такие же или примерно такие ответы последовали на все дальнейшие запросы министерства юстиции и других официальных венгерских инстанций. В конце концов американская миссия заявила, что «существует возможность судить Винкельмана в Германии». И вот 1 сентября 1948 года в 8 часов 45 минут на будапештском аэродроме атташе американского посольства в Будапеште полковник Муттер горячо жал руку военному преступнику, повинному в массовых убийствах и только что сидевшему в тюрьме на улице Марко. Этот американский полковник был первым человеком, с искренним дружелюбием пожавшим окровавленную руку Винкельмана после того, как все народы мира отпраздновали победу над фашизмом.

Обергруппенфюрер СС «спасает людей от смерти»

— Я не хотел на это идти. Но Гиммлер сказал, что я, как старый офицер полиции, должен согласиться. Если я откажусь, то ему придется назначить другого, более жестокого человека. В конечном счете, это не так трудно понять, ведь венгры как-никак были нашими союзниками...

Генерал Винкельман так и сказал: «Как-никак»,— и сложил руки на груди. Мы сидели у него в кабинете, обставленном удобной современной мебелью. Чтобы попасть к нему, достаточно было позвонить — он тут же согласился на беседу с нами.

— Так я и попал в Венгрию 19 марта 1944 года,— продолжает свой рассказ Винкельман.

— Сразу же после разговора с Гиммлером?

— Нет, мне сначала пришлось заехать в Вену. Я встретился там с Кальтенбрунне-

ром. Как сейчас помню, он принял меня в большом зале...

Ему, очевидно, приятно вспоминать то время, и он наслаждается возможностью поделиться своими воспоминаниями. Винкельман называет имена Гиммлера и Кальтенбруннера, как будто говорит о местном бакалейщике или аптекаре. О самом себе он рассказывает в том же духе, что и его сообщники, с которыми мы уже беседовали: я, мол, ничего не делал, ничего не знаю, моя хата с краю... То же самое говорит его бывший подчиненный Эйхман в своей стеклянной клетке.

— Какое же все-таки вам было дано задание?

— Меня назначили комендантом немецкого гарнизона. По правде сказать, мне там вообще нечего было делать, разве только мирить тех, кто поссорился, да улаживать внутренние дела между отдельными органами...

— Эйхман тоже принадлежал к вашему гарнизону?

— Да. Но я даже представления не имел, кто он такой.

— Но ведь вы были его непосредственным начальником... Неужели вы не знали, чем он занимается?

— Как это ни странно звучит, тогда я не знал. Теперь об этом знают даже дети, но тогда деятельность Эйхмана была так засекречена... Отмечу попутно, что этот человек уже тогда был мне несимпатичен... Знаете, шестое чувство...

Конечно, шестое чувство... Стоит ли доказывать Винкельману, что Эйхман был его подчиненным и выполнял его распоряжения? Он лучше нас знает, что Эйхман во всем постоянно отчитывался перед ним, что все донесения Эйхмана в канцелярию Гиммлера шли через его руки. Вернемся лучше к его беседе с Кальтенбруннером.

— Кто еще присутствовал при вашем разговоре в Вене, когда вы получали инструкции?

— Я не помню...— пытается увильнуть от ответа Винкельман.

— Разве Хёттля там не было? — спрашиваем мы, зная об этой встрече из биографии самого Хёттля.

— Хёттль? В Вене? — пытается вспомнить Винкельман, сосредоточенно глядя в потолок.

— В Будапеште в 1945 году вы говорили на допросе,— освежаем мы память забывчивого генерала,— что встретили Хёттля в Вене и что он вам показывал список арестованных.

— Ну, конечно... Теперь я вспомнил: там был Хёттль... Но списка я не помню...

— А ведь Хёттль сам написал в книге своих воспоминаний о событиях в Венгрии, что передавал гестапо списки лиц, подлежащих аресту. Все, кто знал видных немецких офицеров, действовавших в то время в Будапеште, прочтя это, подумали о вас.

— Ну, конечно,— тут же вспоминает Винкельман,— вы правы. Какой-то список я все-таки видел у Хёттля.

— Это и был список лиц, подлежащих аресту...

— Нам приходилось считаться с тем, что Венгрия была уже прифронтовой зоной. Но я действительно не знаю, сам ли Хёттль составлял этот список или поручил кому-нибудь другому...

— Это не так уж важно, господин генерал, вы, как военный, знаете, что начальник несет ответственность за действия своих подчиненных.

Винкельман тут же забывает об избранной им тактике и попадает в подставленную ему ловушку.

— Ну, конечно,— восклицает он.— Начальник есть начальник, а приказ есть приказ, и ответственность за него несет тот, кто его отдает.

— Это, очевидно, относится и к вам... Вы командовали в Венгрии войсками СС и полиции...

— Время от времени,— снова увиливает Винкельман.— Меня ведь часто отзывали оттуда. В марте вместе со мной в Будапешт приехал Кальтенбруннер, а в октябре 1944 года я уже передал командование Пфеффер-Вильденбруху...

Пример Эйхмана пошел этим людям впрок. Как он умеет увертываться! Ну что ж, пойдем дальше.

— Что вы делали, например, 19 марта 1944 года?

— Я прибыл в полдень, пообедал, а так как я очень устал, то лег спать.

— И хорошо спали?

— Конечно! — отвечает Винкельман с широкой улыбкой.— Очень хорошо. Я всегда хорошо сплю, даже теперь, а ведь мне в апреле стукнуло 65.

— Выглядите вы, господин генерал, значительно моложе. Тяжелые годы не наложили на вас отпечатка.

— Военная жизнь полезна для здоровья,— произносит он с гордостью, не замечая нашей язвительности.— Я солдат по призванию...

— Эйхман на процессе тоже говорит, что был всего лишь солдатом и выполнял приказы...

— Я предпочитаю не говорить об этом процессе,— сразу став серьезным, отвечает Винкельман.— Я люблю правду и ненавижу ложь, а если судить по газетам, там было сказано много такого, что очень далеко от истины. Утверждали даже, что я был сообщником Эйхмана!

— Вы командовали в Венгрии всеми войсками СС и полиции, а следовательно, Эйхман служил под вашим начальством...

— Я и не отрицаю, что Эйхман был моим подчиненным... Но у меня были весьма ограниченные функции. Если бы, к примеру, один из солдат Эйхмана напился и устроил скандал (хотя такого, конечно, никогда не было и быть не могло), то в мои обязанности входило бы посадить этого солда-

та за решетку, пока он не протрезвится, вот и все... Как начальник гарнизона...

— Значит, вы занимались исключительно поддержанием внутреннего порядка в немецких частях? Хотя порядок был таким примерным, что вашего вмешательства и не требовалось.

— Именно так, точно так,— заулыбался Винкельман.

— А как же вы вступили в контакт с Салаши?

— Если память мне не изменяет, я познакомился с ним только в сентябре. Его прислал ко мне гаулейтер (гаулейтером Винкельман все время называет Визенмайера). После этого я еще несколько раз с ним встречался, но особых дел у меня с ним не было...

В желтой книжечке у нас имеются копии показаний Салаши о том, что Винкельман всячески содействовал ему. Нам даже известно, что Винкельман в личном донесении Гиммлеру выставлял кандидатуру Салаши в правители Венгрии. Но мы говорим только:

— Послушайте, господин генерал, в дневнике Салаши совершенно ясно написано, что именно вы его больше всех и поддерживали... Салаши приводит факты, документы...

— В дневнике Салаши?! Значит, этот человек писал не дневник, а сказки Андерсена. Если я не ошибаюсь, то и у вас не очень хорошее мнение об этом типе...

— Даже очень плохое... Но почему он упоминал именно вас?

— Этого я не могу знать. Я вообще не понимаю, почему Визенмайер настаивал на его кандидатуре... Хотя, по моему мнению, были и похуже его... Да, да, я настаиваю на том, что хуже всех, хуже Салаши, был Коварч. Это был...

— Да, да,— прерываем мы его,— Крумхольц уже говорил нам о нем.

— А, вы и с Крумхольцем беседовали! — восклицает Винкельман, и на лице его снова расцветает улыбка.— Что же вы мне сразу не сказали? Как он поживает?

— Очень хорошо... Выглядит он, во всяком случае, прекрасно. Шлет вам привет...

— Крумхольц всегда был моим преданным помощником. Он во всем поддерживал меня. Я рад, что он хорошо себя чувствует. Превосходный офицер полиции!

— Салаши в своем дневнике тоже очень хорошо отзывается о нем...

Винкельман пропускает это замечание мимо ушей. Потом вдруг спрашивает:

— Как теперь называется в Будапеште Кайзер-Вильгельмштрассе?

— Уже шестнадцать лет, как ее переименовали в улицу Эндре Байчи-Жилинского.

Мы не понимаем ни вопроса, ни причины, заставляющей Винкельмана вскочить с места за бумагой и карандашом.

— Я хочу это обязательно записать. Потому что, должен вам сказать, я этому человеку однажды спас жизнь. Только имя его выскочило у меня из головы. Даже когда ко мне заходил адвокат Симон из израильского консульства в Кёльне, чтобы допросить меня по делу Эйхмана, я не мог вспомнить это имя. Но теперь уж я его запишу, чтобы как-нибудь не забыть опять...

Пока Винкельман с трудом пишет венгерское имя, мы объясняем его жене, вошедшей в кабинет:

— Мы считаем Эндре Байчи-Жилинского своим национальным героем. Он был депутатом парламента и неоднократно выступал против войны и союза с Гитлером. Он был арестован эсэсовцами 19 марта 1944 года... Защищаясь от них, он взялся за оружие. Господин Винкельман, конечно, помнит этот случай, который на служебном языке был, очевидно, назван «чрезвычайным происшествием»...

— Тогда я был в отъезде...— замечает генерал, продолжая писать по буквам трудное для него имя.

— Позже Байчи-Жилинский был выпущен из тюрьмы.

— И это моя заслуга, я дал приказ освободить его,— радостно кричит Винкельман, совершенно забывая, как совсем недавно утверждал, что был всего лишь скромным начальником гарнизона, в функцию которого входило лишь призывать к порядку подвыпивших немецких солдат.

— Но когда пришел к власти Салаши, Эндре Байчи-Жилинский был снова арестован и в сочельник казнен... Вы были тогда на месте...

Тяжелое, свинцовое молчание. Тишину нарушает голос жены Винкельмана, решившей прийти на помощь мужу и сгладить неловкость:

— Очень странно. В сочельник обычно никого не вешали...

Кровь стынет у нас в жилах, мы не находим слов для ответа. Винкельман пользуется случаем, чтобы прервать и так уже затянувшуюся беседу, предлагает выйти на лужайку, сделать несколько фотографий, если нам, конечно, угодно... Ситуация могла бы показаться смешной, но нам не до смеха. От слов госпожи Винкельман мы просто оцепенели. А ведь она всего лишь сказала, что в сочельник обычно никого не вешали... Обычно...

Разговор между коллегами в Бонне

Побывав во многих городах Западной Германии, мы наконец приехали в Бонн, настоящий заповедник крупных и мелких фашистов. По укоренившейся у журналистов привычке, мы прежде всего решили зайти в отдел печати, который в Бонне носит название «Канцлерского бюро печати». Отсюда западногерманское правительство руководит всей пропагандой, как внутренней, так и внешней. Во главе бюро печати стоит не кто иной, как Глобке, тот самый Глобке,

о преступлениях которого в связи с процессом Эйхмана пишут газеты всего мира. Но Аденауэр туг на ухо, протестующие голоса до него не доходят. Естественно, Глобке подобрал для своего бюро соответствующий персонал. Первый военный преступник, с которым мы встречаемся там,— Адольф Михаэлис, заведующий самым важным отделом бюро печати, отделом № 7, или «Остблоком», который занимается подстрекательством против стран социалистического лагеря, в том числе и против Венгрии.

Господин Михаэлис приглашает нас пообедать с ним в клубе журналистов.

— Очень рад познакомиться с вами... Наслышан о ваших австрийских приключениях...

Михаэлис очень любезен, но нам сразу становится ясен его намек: в Австрии мы побывали с целью более близкого ознакомления с делом Хёттля, бывшего начальника германской разведки в Венгрии, с которым у Михаэлиса по роду его занятий был самый тесный контакт. Мы предпочитаем отделаться шуткой:

— Все-таки Хёттль заслужил нескольких репортажей...

— Безусловно! — с горячностью соглашается Михаэлис.— Хёттль — большой мошенник. Я вообще не понимаю, как австрийское правительство терпит его у себя... Почему его не арестовывают? В 1944 году Хёттль даже меня хотел арестовать и запрятать в концентрационный лагерь. Хорошо, что друзья помогли мне, устроив так, что меня призвали на военную службу.

Михаэлис безупречно говорит по-венгерски. Оказывается, он кончил университет в Будапеште. Садимся за стол. Михаэлис ведет с нами легкий светский разговор.

— Где вы успели побывать? С кем встречались?

— Во многих местах... Были, например, у господина Визенмайера в Дармштадте...

— Неужели? Ну и что?..

— Он прекрасно выглядит и чувствует себя отлично. Мы его знали лишь по фотографиям, но нам кажется, что с 1944 года он пополнел...

— Я с ним встречался очень мало... Вы сами знаете, что положение было тогда очень запутанное... Как коллегам, я могу рассказать вам кое-что о тех временах... Вы будете удивлены.

Господин Михаэлис то и дело подчеркивает слово «коллега». Мы переводим разговор на западногерманских реваншистов. Михаэлис считает, что не следует относиться к ним серьезно.

— Нам, журналистам, очень хорошо известно, что политика и пропаганда — две разные вещи...

— Тогда вы сможете нам объяснить, что означает географическая карта, которую мы не далее как сегодня утром держали в руках. Границы Германии на этой карте совпадают с границами рейха в 1938 году. Из этого можно заключить, что вы претендуете на земли, принадлежащие Польше, Чехословакии и Советскому Союзу. Что это, политика или пропаганда?

— Где вы взяли такую карту? У нас, конечно, высказываются разные политические взгляды... Правительство не может нести за них ответственность...

— Знаем, знаем, что у вас «демократия»... Но книга, в которой мы видели эту карту, была издана как раз «Канцлерским бюро печати», одним из отделов которого вы руководите.

— Интересно... Я этой книги не видел. Такие вопросы относятся к компетенции другого отдела. Я вам открою один секрет: разговоры о воссоединении — всего лишь предвыборная пропаганда. Мы совсем не заинтересованы в этом. Мы хорошо живем, и это главное. На опыте своей собственной истории мы знаем, что всякий раз объединение Германии вело к войне. Мы сами себя боимся...

— Извините,— прерываем мы его рассуждения,— но как раз перед отъездом из Венгрии мы перелистывали дневник Салаши. В записях, относящихся к ноябрю 1940 года, часто встречается ваше имя. Тогда вы придерживались совсем других взглядов...

— Да, да...— в свою очередь прерывает нас Михаэлис, по-видимому ожидавший, что мы затронем эту тему.— Должен сказать, что я всегда был плохого мнения о Салаши...

Михаэлис долго и подробно излагает нам «плохое мнение» о Салаши, стараясь прикрыть многословием свое замешательство. Наконец нам удается прервать его:

— У Гитлера было совсем другое мнение о Салаши...

— Это так, но Салаши все же был идиотом... Ярко выраженным кретином.

— Тогда почему же вы интересовались им еще в 1940 году?

— Мы, посвященные, знали уже тогда, что война против Советского Союза приближается, и должны были обеспечить свой тыл...

В запросе венгерского правительства о выдаче ему военных преступников для предания их суду, направленном 5 ноября 1945 года американской военной миссии, о Михаэлисе сказано следующее:

«Главной задачей указанного лица было наблюдение за внутренней жизнью Венгрии и контроль над деятельностью венгерских оппозиционных партий. Михаэлис находился в тесной связи со всеми правыми политическими деятелями, поддерживал контакт с партией «скрещенных стрел», собирал сведения с мест и передавал инструкции из Берлина. Часто ездил в Вену, где находился «Политический центр юго-восточной Европы», для информирования этого центра».

— Известно ли вам, что ваше имя находится в списке военных преступников, действовавших в Венгрии?

— Интересно! — отвечает Михаэлис то-

ном человека, которому известно все, кроме того, что его лично касается.— Я занимал такую маленькую должность... И Хёттль хотел арестовать меня... Я помогал всем, кому мог... Если бы меня не призвали, я бы кончил жизнь в концлагере.

— Вы служили в войсках СС?

— Да. Это мои друзья так устроили, чтобы Хёттль не мог меня арестовать...

Он говорит, говорит, превозносит до небес западногерманскую «демократию». С таким же пылом он когда-то восхвалял третий рейх, хотя теперь у него есть больше причин для восторженной благодарности: в гитлеровской Германии Михаэлис был всего лишь шпионом средней руки, а в Германии Аденауэра он заведует отделом солидного правительственного учреждения...

«Будем терпимы»

В министерстве по делам переселенцев, находящемся в Бонне, Хузаренштрассе, 30, мы также находим хорошо известных нам лиц, и в первую очередь Франца Ротена, карьера которого началась в рядах фольксбунда, продолжалась при Салаши, а теперь привела его под крылышко Аденауэра. Ротен работает заместителем начальника отдела печати указанного министерства, к нему обращаются за пропагандистскими материалами по вопросам переселения.

Мы звоним Францу Ротену по телефону, и он сам снимает трубку. По-венгерски Ротен говорит не хуже нас.

— Алло? Ах, это вы. Слышал, слышал, что вы в Бонне и уже успели поговорить с Визенмайером...

Михаэлис успел его информировать...

— Да, говорили... А теперь хотим поговорить с вами.

— По какому делу? Я слишком маленький человек, чтобы давать интервью иностранным журналистам... Особенно таким, которые... как бы это сказать... прибыли с другого политического полушария. Не могли ли бы вы обратиться за интервью к кому-нибудь другому?

— У нас мало времени, господин Ротен. Может быть, вы нас все же примете? Ваше прошлое нас не интересует: мы его знаем. Нас интересует, чем вы занимаетесь теперь. И потом, хотелось бы получить от вас несколько брошюр и листовок, которые вы печатаете десятками тысяч.

— Поймите, что я не могу этого сделать!.. Я не хочу рисковать...

— Когда то, господин Ротен, вы были храбрее...

Надо отметить, что Ротен придерживается совсем иной тактики, чем его сообщники: он не жалуется на слабую память и не пытается доказать свою непричастность к преступлениям, а взывает к терпимости.

— Люди должны быть терпимее друг к другу,— объясняет Франц Ротен.— Это самое важное... Терпимость — мой принцип. Вы, конечно, со мной не согласны. Но вы должны мне поверить: я больше ничего не организую... Я вообще больше ничего не делаю... Франци ни на кого не работает, а просто зарабатывает себе на хлеб...

— Но...

— Я знаю, что вы хотите сказать... Пока человек молод, он честолюбив... А теперь уж... Мы помогаем беженцам, устраиваем их на работу. Никакой организации, никаких курсов подготовки диверсантов... Я знаю, что вы и половине моих слов не верите, и все же это так... А этими вещами занимается другое министерство...

Такая откровенность заслуживает поощрения. Значит, не его министерство, а другое... А Ротен все болтает и болтает:

— Один мой друг был в прошлом году на Балатоне, ему там очень понравилось... Он рассказывал, что венгерские женщины носят туфли на шпильке... В глубине сердца я чувствую себя венгром, не смейтесь, это так и есть...

Неприятно даже подумать, что вот такой тип когда-то командовал людьми: он был организатором фольксбунда, натравливал немецкое меньшинство на венгров, был поставщиком людского материала для СС, уж не говоря о его роли в партии «скрещенных стрел». Вот что пишет о нем Пауль Флах, председатель баварской организации немцев, переселенных из Венгрии, которого, кстати сказать, трудно обвинить в симпатиях к коммунистам.

«Франц Ротен был членом и секретарем «Немецкого народно-просветительного общества в Венгрии». Ввиду тесных связей Ротена с Салаши, его имя часто упоминалось в печати именно в связи с Салаши и с партией «скрещенных стрел». В венгерских кругах о нем отзывались не только как о подлинном организаторе партии «скрещенных стрел», но и как о советнике Салаши по политическим, и главным образом по внешнеполитическим, вопросам. Когда Салаши в 1938 году был впервые арестован, то Ротен смог избежать ареста лишь потому, что заблаговременно удрал в Германию, где ему тут же дали соответствующую работу в министерстве иностранных дел». (Из книги «Доктор Франц-Антон Баш», опубликованной в ФРГ в 1956 году.)

Впоследствии Ротен под фальшивым именем Шауба работал связным между германской национал-социалистской партией и партией «скрещенных стрел». Салаши на суде заявил, что Ротен предлагал ему влить партию «скрещенных стрел» в германскую национал-социалистскую партию, так как Ротен видел в Берлине карту, на которой вся юго-восточная Европа была присоединена к Германии. И вот этот самый Ротен болтает о том, что в глубине души он чувствует себя венгром...

— Не можете ли вы сказать,— удается нам наконец перебить его,— где мы можем найти господина Гольдшмидта?

Ротен смеется так громко, что приходится отнять телефонную трубку от уха.

— Ну и хитрецы вы, венгры... Только и мы не лыком шиты, нас не обведешь вокруг пальца. Дела Гольдшмидта меня не интересуют, и ни в каком «землячестве» я не состою. Хотите верьте, хотите нет, но хотя я и работаю с Гольдшмидтом в одном министерстве, встречаемся мы с ним только в коридоре, да и то не чаще, чем раз в полгода. Но вы и сами найдете к нему ход, я уже слышал, что вы на это большие мастера... А пока до свидания, желаю удачи...

Он надеется на «новый порядок в Европе»

Доктор Георг Гольдшмидт, который был в свое время заместителем руководителя фольксбунда в Венгрии, ныне занимает высокую должность в министерстве по делам переселенцев.

Швейцар у дверей министерства сообщает нам, что «господа принимают посетителей только по предварительной записи». Звоним Гольдшмидту из ближайшего автомата. Опять повезло — нас сразу соединяют. Достаточно было нам представиться, как он тут же переходит на венгерский язык...

Мы уславливаемся с ним встретиться на другой день в министерстве, но, когда мы туда приходим, швейцар сообщает нам, что господин Гольдшмидт очень извиняется: ему пришлось внезапно уехать, и вернется он не раньше, чем через четыре-пять дней. Некрасиво с вашей стороны, господин Гольдшмидт! Через десять минут звоним в министерство, к телефону подходит секретарша.

— Господин Гольдшмидт на совещании и до конца рабочего дня сюда не вернется.

Ну что ж, придется поехать дальше, а дня через два вернуться в Бонн, на машине это сделать не так уж трудно.

— Добрый день, господин Гольдшмидт! — снова звоним мы через несколько дней начальнику отдела министерства.— Вы удивлены? Прошлый раз наша встреча не состоялась, но теперь-то вы нас конечно примете.

Гольдшмидт пытается увильнуть:

— У нас не любят, чтобы служащие министерства делали заявления представителям прессы, особенно если они оттуда... Вы можете что-нибудь неправильно истолковать, напечатать интервью, а здесь меня привлекут к ответственности за «особые взгляды»... Доказать я ничего не смогу, вы ведь не приезжаете к нам каждый месяц, и я буду навек скомпрометирован...

— Но, господин Гольдшмидт, вы ведь на весь мир заявляете, что у вас демократия и свобода, как же может быть, чтобы такое ответственное лицо, как вы, не имело права делать заявления для печати?!

— Я имею право делать заявления, только надо сначала получить разрешение от государственного секретаря. Но я боюсь, что вы не сможете дождаться разрешения, да его могут и не дать. У нас на этот счет большие строгости: заявления от имени министерства могут делать только уполномоченные на то лица.

— Мы и не требуем от вас заявлений от имени министерства. Ответьте нам на несколько вопросов частного порядка.

— Чем же я интересен для вас как частное лицо?

— У нас есть, например, ваша фотография, которая была напечатана в газетах в декабре 1943 года. В военном мундире со свастикой на рукаве вы произносите речь на будапештском стадионе, агитируя за вступление молодежи в эсэсовские войска...

— Я никогда не был в СС!

— Однако мундир...

— Для войны всегда нужны войска,—увиливает от ответа Гольдшмидт.

— Так то войска, а набранные вами мальчишки никогда не были солдатами. Недобрую память оставили они по себе в Венгрии, охотясь в конце 1944 года за дезертирами и расстреливая ни в чем не повинных граждан.

— Но я никогда ничем подобным не занимался!.. Все мои действия в то время были законны. Между германским и венгерским правительствами было подписано соглашение о том, что все венгерские граждане, принадлежащие к немецкому меньшинству в Венгрии, будут отбывать военную службу в рядах СС. Я этого соглашения не подписывал, но получил директивы проводить его в жизнь... Я тогда не знал, что происходит в Германии, и понятия не имел о концентрационных лагерях.

Он ничего не знал, понятия не имел о том, как грабили и терзали Венгрию, как бросали в тюрьмы и казнили антифашистов, что творилось в концлагерях!..

— В душе я всегда был противником набора молодежи в СС.

— А в чем же выражался ваш душевный протест, господин Гольдшмидт? Вы же не станете отрицать тот исторический факт, что фольксбунд был пятой колонной Гитлера в Венгрии. А вы были заместителем руководителя фольксбунда. Как же вы могли быть не согласны с тем, что делал фольксбунд?

— А что я мог предпринять? Я был всего лишь маленьким винтиком.

Он выполнял приказания... Был винтиком... Кричал, митинговал, произносил погромные речи, подстрекал к массовым убийствам и... был всего лишь маленьким винтиком.

— Еще один вопрос, господин Гольдшмидт: у вашего правительства имеются территориальные претензии к Венгерской Народной Республике? В чем они заключаются?

— Я не понимаю вашего вопроса! — раздражается Гольдшмидт.— Никаких претензий у нас нет! Что за чушь? Ведь у Германии с Венгрией даже нет общих границ.

— Быстро же вы забыли о своей собственной речи, произнесенной на митинге в Люд-

вигсбурге в 1954 году перед переселенными из Венгрии немцами. Вы тогда требовали «возврата» четырех западных венгерских областей

— Вы меня неправильно поняли,— начинает заикаться Гольдшмидт.— На этом митинге речь шла лишь о том, что народ имеет право на землю, на которой он живет. Но об этом теперь говорить преждевременно. Вот когда придет время для нового порядка в Европе...

Господин Гольдшмидт все еще не разучился пользоваться фразеологией геббельсовской пропаганды: он так и сказал — «новый порядок».

А когда наступит этот «новый порядок»? Может быть, после третьей мировой войны? Такие, как Гольдшмидт, видно, забыли венгерскую пословицу: «Только дурак пытается вторично обнять горячую печь».

— Вы должны считаться с моим служебным положением. Я не имею права делать заявления без санкции государственного секретаря...

— И все-таки вы его уже сделали. Благодарим вас, господин Гольдшмидт!

Для него это лишь эпизод...

Висбаден — тихий маленький курортный городок Западной Германии, но там есть рулетка, и она вносит азарт в сонную повседневность провинциального местечка. Каждый вечер ровно в 6 часов 8 минут в казино входит пожилой высокий господин (в 6 часов он выходит из дома, через 8 минут входит в казино), садится у игорного стола и внимательно следит за игрой. Сам он играет редко и по маленькой. Это — постоянный посетитель. При его появлении в игорном зале к нему со всех ног бросается официант.

— Что прикажете подать, господин генерал?

Старик заказывает стакан содовой воды: его мучит изжога.

Ганс фон Зальмут (так зовут постоянного посетителя казино) в свое время пожертвовал на Дону десятками тысяч венгров, чтобы прикрыть немецких солдат.

В 1945 году фон Зальмут был взят в плен американцами, а в октябре 1948 года Нюрнбергский суд приговорил его к двадцати годам тюремного заключения за бесчеловечное обращение с партизанами и населением оккупированных восточных территорий. А теперь? Теперь он председатель «Союза немецких солдат»! В этот союз входят семьдесят тысяч гитлеровцев и 79 «солдатских объединений».

Без пяти шесть мы звоним у ворот виллы генерала. Ждем. Генерал — человек пунктуальный, все любит делать вовремя, а в шесть часов он привык выходить из дома и идти в казино. Вот и он, в шляпе и с палкой, на пороге своего жилища.

— Что вам угодно?

— Мы — венгерские журналисты. Под Воронежем вы командовали венгерскими солдатами, и двести тысяч человек попали тогда в страшную катастрофу, вы, конечно, помните?

Ни один мускул не дрогнул на его лице, глаза смотрят так же холодно и бесстрастно.

— Это был всего лишь один эпизод войны. Я не помню.

— Но, господин генерал! Речь идет о двухстах тысячах венгерских солдат, которые входили во вторую немецкую армию, находившуюся под вашим командованием. Об этом вы тоже не помните?

— Русские атаковали с такой силой, на которую мы не рассчитывали... Я нуждался в подкреплениях... Но даже ими я не смог заткнуть прорыв. Ничего не поделаешь: война требует жертв, нам не остается ничего другого, как поминать павших.

Мы хотим задать ему еще несколько вопросов, но генералу некогда — он торопится в казино.

— Я все это уже не раз говорил в публичных выступлениях! — бросает он нам на ходу.

Да, генерал Зальмут, с тех пор как его освободили в июле 1953 года из тюрьмы, а правительство Аденауэра поторопилось возместить ему причиненный судом «ущерб» и назначить приличную пенсию, не раз выступал публично. Несмотря на преклонный возраст генерал Зальмут до сегодняшнего дня является одним из самых неистовых поджигателей и пропагандистов войны. Вот отрывок из речи, произнесенной им совсем недавно на одном из собраний:

«Я прошу теперь всех присутствующих следовать нашему примеру, постоянно держать связь между старыми и молодыми солдатами. Мне известно, что во многих гарнизонах такая связь между представителями старшего и младшего поколения очень крепка. Мы добьемся взаимопонимания с молодыми солдатами только в том случае, если окажем им помощь, передадим им свой опыт. Действуя таким образом, мы сможем достигнуть поставленной перед собой цели и выполнить взятые на себя обязательства...»

Кажется, ясно? Зальмут призывает бывших фашистских генералов и офицеров воспитывать современную молодежь в духе фашистских традиций. Генерал не помнит о катастрофе под Воронежем, для него это всего лишь эпизод. Но венгерский народ не забыл этого «эпизода» и его уроков! Если бы господин генерал почаще вспоминал о Воронеже, он, может быть, спас бы себя и своих сообщников от будущих горьких разочарований.

Майор полиции

Мы сидим в квартире Эрхарда Ольбриха в Мюнхене, Рихард-Штраусштрассе, 7, пятый этаж. Майор полиции города Мюнхена охотно принял нас у себя, после того как мы передали ему привет от его бывшего на-

чальника Винкельмана и коллеги Курта Крумхольца, которые, правду сказать, вовсе нас на это не уполномачивали.

Имя Эрхарда Ольбриха часто встречается в показаниях военных преступников, представших перед венгерским народным судом. Да Ольбрих и не отрицает своей причастности к нилашистскому путчу...

— Венгерская полиция и жандармерия были подчинены нам, орднунгсполицай,— рассказывает он.— Я был адъютантом при командующем, и в нашем распоряжении имелось человек четыреста полицейских, которых мы рассылали по всей стране.

Ольбрих с увлечением перечисляет названия венгерских городов, где находились полицейские гарнизоны.

— И вам хватало такого незначительного количества людей для поддержания порядка?

— Позвольте, я расскажу вам все по порядку... Людей у нас, конечно, было много, но они были разбросаны по всем подразделениям венгерской полиции и держали нас в курсе...

Ольбрих говорит таким бесстрастным голосом, словно читает лекцию в некой полицейской академии.

— Когда румыны изменили нам, то мы сразу позаботились, чтобы в Венгрии не случилось ничего подобного... Начиная с августа к нашим прежним задачам прибавилась еще и эта...

— К прежним задачам?

— Ну конечно. Я находился в Будапеште с мая 1944 года.

— Служили в СС?

— Нет, я был туда только зачислен,— рассказывает он ту же сказку, что его друзья и коллеги.— Я был таким же офицером полиции, как теперь, и носил ту же форму. И чин у меня был тот же, что и теперь,— майор, только тогда говорили не майор, а штурмбаннфюрер... И работа у меня была та же: поддерживать порядок и спокойствие на вверенной мне территории...

— Понятно. Нам известно, что для достижения порядка вы применяли испытанные полицейские методы!

Ольбрих не понимает иронии и восклицает с гордостью:

— А ведь это было не так легко! Мы должны были охранять шоссе и железные дороги, бороться с саботажем. Нам часто приходилось вмешиваться... Но крепкий кулак сделал свое дело...

— Вот именно: крепкий кулак...

Ольбрих опять не чувствует иронии.

— Мы были расквартированы в отеле «Бристоль»,— продолжает он свой рассказ.— У нас было столько работы, что иной раз по неделе не приходилось спать, особенно после того, как румыны вышли из игры и, по нашим сведениям, венгры собирались сделать то же самое. Некоторые считали, что у нас слишком мало людей, но мы умело использовали их. А с приближением фронта нам приходилось работать все больше. Я лично, например, должен был руководить разгромом партизан... Когда произошла смена правительства, меня не было в Будапеште.

Сменой правительства Ольбрих называет нилашистский путч.

— Значит, вы не участвовали в событиях 15 октября 1944 года? Но ведь Салаши наградил вас Рыцарским Крестом.

— Я бы не сказал, что эти события прошли без моего участия. Я выполнил то, что мне поручили,— организовал передачу жандармских частей новому правительству. Практически я сам, правда, ею не руководил, но в этом и не было надобности, план был составлен так хорошо, что его могли выполнить и без моего вмешательства... А мое присутствие в южной Венгрии было необходимо в связи с полученным сообщением о том, что Хорти якобы просил высадки американских и английских парашютистов... Такая высадка могла произойти только в южных провинциях.

— Неужели вы серьезно относились к возможности осуществления такого фантастического плана?

— О нет! — улыбается Ольбрих.— Я мог бы поставить сто против одного, что это невозможно. Но хороший полицейский должен считаться даже с самыми маловероятными возможностями.

— И всегда доставать нужные сведения!

— Разведкой занимались не мы. Мы получали указания для выполнения конкретных заданий, которые нам давали сверху на основании информации разведки...

— Которой руководил господин Хёттль?

— Вы знаете Хёттля? — удивляется Ольбрих.

— Это наш старый знакомый. Как вы думаете, господин Ольбрих, знал ли Хёттль о деятельности Эйхмана? Теперь об этом столько спорят, а вам это, конечно, хорошо известно.

— Конечно знал! — отвечает майор мюнхенской полиции с раздражением (очевидно, он считает этот вопрос идиотским и не ожидал от нас подобной наивности).— Хёттль знал обо всем, что происходило в Венгрии, на то его там и поставили. Как же он мог не знать об Эйхмане?

— А вы?

Ольбрих тут же «застегивается на все пуговицы».

— Я уже упоминал о том, что прибыл в Венгрию в мае, отправка в концлагеря была тогда уже закончена.

— Ничего подобного, многие попали туда в ноябре и декабре.

— Тогда меня уже не было в Венгрии.

Процессом Эйхмана Ольбрих интересуется ничуть не меньше, чем его коллега Крумхольц. Он читает все, что пишут об этом процессе газеты, слушает радиопередачи из зала суда в Иерусалиме.

— Почему вас так интересует этот процесс, господин Ольбрих?

— В какой-то мере я ведь принимал участие в тех событиях. Хочется получить более полную картину. Я читаю также все, что пишут о Венгрии. Часто приходится наталкиваться на знакомые имена...

— Знакомые имена?

— Да... Например, когда после революции 1956 года (разве мог штурмбаннфюрер СС назвать как-нибудь иначе контрреволюционный путч 1956 года?) я услышал имя Янош Кадар, я сразу его вспомнил...

— Почему, господин майор?

— Служба. В 1944 году надо было очень внимательно следить за тем, чтобы кто-нибудь из разыскиваемых нами лиц не ушел в Югославию к партизанам. На поимку Яноша Кадара были посланы за Дунай крупные подразделения. Он был одним из тех, на кого было приказано обратить особое внимание.

(Летом 1944 года товарищ Кадар должен был по поручению партии пробраться в Югославию под вымышленным именем Яноша Луптака. Он был арестован, но гестапо так и не узнало, что под именем Луптака скрывался разыскиваемый повсюду Кадар.)

Ольбрих рассказывает, что после захвата власти нилашистами гестапо не приходилось больше заниматься розыском подпольщиков. Но фронт подходил все ближе.

— Фольксбунд дал нам людей, и мы формировали из них новые подразделения. После ускоренной подготовки их посылали на фронт, создавая при этом обычно смешанные отряды из старых солдат и новобранцев. Русские приближались очень быстро...

— Это были горячие деньки, господин Ольбрих!

— Очень горячие! — вздыхает майор.— Но самое главное, что мы живы...

Ольбрих начинает ругать венгерских солдат, которые после 15 октября 1944 года стали перебегать на сторону советских войск.

— Целые участки фронта оставались оголенными, и нам приходилось затыкать их. Я сам участвовал в боях.

— И попали в плен?

— Да. Но, слава богу, к американцам. Потом они меня передали англичанам: я жил в английской зоне. Мне очень повезло. Они, правда, отпустили меня только в 1949 году, но я могу быть доволен. В немецкой полиции тогда было очень мало специалистов, так что я вернулся как раз вовремя... Федеративная Республика была уже создана... Полиции трудновато приходилось без специалистов... Сначала меня послали в Мангейм, где я пробыл до 1957 года, а затем я понадобился мюнхенской полиции. Мне поручили более ответственную работу. И вот я здесь...

С тех пор Эрхард Ольбрих, военный преступник, бывший штурмбаннфюрер СС, занимает одну из руководящих должностей в мюнхенской полиции. Карьеру свою он начал в 1931 году в СА, в 1935 году уже имел звание фюрера СА. Ольбрих быстро завоевал доверие Далюге — генерала СС, начальника полицейской службы безопасности, стал его адъютантом и получил звание штурмбаннфюрера. В декабре 1941 года Далюге писал Ольбриху:

«Дорогой Ольбрих! Уже много лет, как вы принадлежите к узкому кругу моих ближайших сотрудников... и никогда не обманывали моих ожиданий... Я намереваюсь очень скоро опять призвать вас к себе. Для разработки планов широкой мобилизации в ряды орднунгсполицай мне нужны самые лучшие офицеры, к числу которых принадлежите и вы, дорогой Ольбрих».

Значит, Ольбрих был одним из лучших офицеров Далюге! Вполне понятно, что министр полиции боннского правительства Шрёдер не мог обойтись без такого крупного специалиста!

* * *

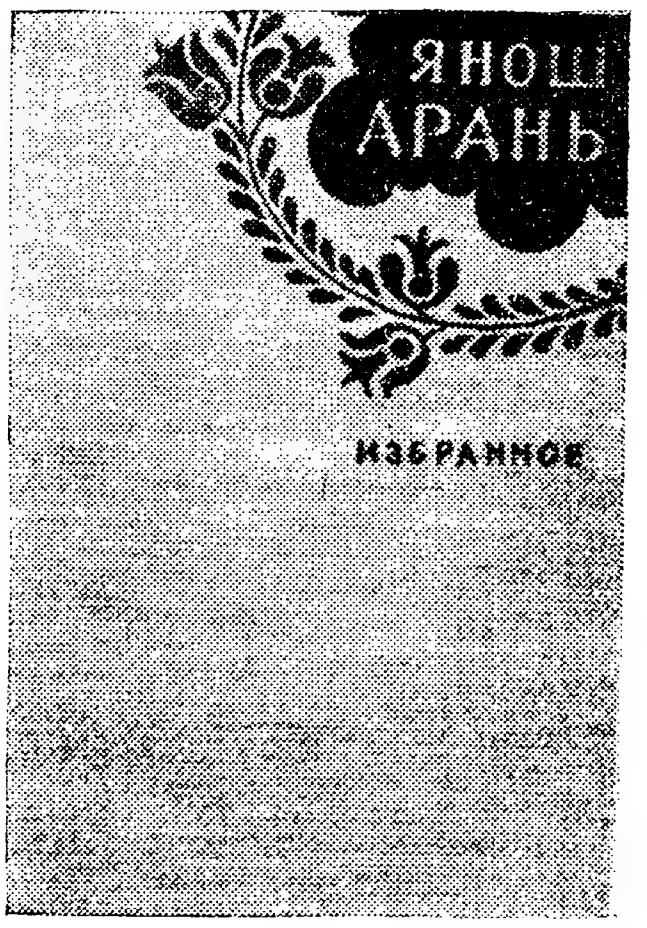
Трудно найти подходящие слова, чтобы подвести итог нашему визиту к военным преступникам, проживающим в Западной Германии, а ведь нам удалось побеседовать далеко не со всеми. Они играют активную роль в государстве Аденауэра, вновь готовят солдат, подстрекают к войне... Однако теперь есть сила, способная остановить руку убийц и вырвать у них смертоносное оружие. Но медлить нельзя.

Перевод с венгерского Е. БОЧАРНИКОВОЙ

Издано в СССР

Поэзия Яноша Араня

Янош Арань. Избранное. Перевод с венгерского М. Исаковского, Л. Мартынова, Д. Самойлова и Н. Чуковского под редакцией А. Кун. Составление А. Гидаша. Предисловие и комментарии Е. Малыхиной. Москва, Гослитиздат, 1960. 319 стр.



Перед нами книга избранных произведений венгерского поэта Яноша Араня.

В то время как его гениальный современник Петёфи уже давно известен советскому читателю по многим переводам и многим изданиям, Янош Арань — если не считать нескольких ранее переведенных стихотворений — появляется на русском языке впервые.

Второе по величине светило венгерской классической поэзии. Арань был связан с Петёфи горячей дружбой. Как и Петёфи, он с детских лет узнал тяжелую нужду, как и Петёфи, он уже в ранней молодости изучил людей и жизнь, странствуя по Венгрии с труппой бродячих актеров. Как и Петёфи, он был плоть от плоти, кость от кости детищем венгерской революции 1848 года, воспитанным и вскормленным в предгрозовой атмосфере двадцатых и тридцатых годов. Но если жизнь Петёфи отсверкала, подобно фейерверку, если ранняя смерть на поле битвы окружила его имя ореолом героизма и мученичества, то жизнь Араня, наоборот, прошла внешне спокойно, вся отданная литературе и педагогическим занятиям в школе.

В противоположность жизнерадостному, озорному и буйному Петёфи, Арань по складу характера был скорее человеком грустным, склонным к печальным философским размышлениям. А крушение революции и гибель близкого друга, потом утрата любимой дочери окрасили его творчество даже в трагические тона. Но поэзия Араня была многогранна. Крестьянин по происхождению, он всем существом своим принадлежал к тому социальному слою, в котором возникли народная песня, народная притча, народный юмор. Элементы фольклора были ему органически близки. Отсюда все то в его творчестве, что роднит и сближает его задумчивую, сдержанную музу с мятежной и блестящей музой Петёфи. То же неукротимое свободолюбие составляет основу поэзии Араня. Те же блестки юмора и шутки, то же умение горячо приветствовать будущее в самых печальных условиях настоящего, та же вера в конечную победу справедливости пленяют нас в его стихах.

В первой половине девятнадцатого века развитие европейской поэзии в различных странах шло схожими путями. Как и повсюду в Европе, в Венгрии господствовала в двадцатых годах романтическая школа, крупнейшим представителем которой был замечательный поэт Михай Вёрёшмарти. Арань также в своих многочисленных балладах отдал дань романтизму. Но не романтические сюжеты как таковые влекли его к жанру баллады. В условиях жестокого цензурного гнета баллада была для Араня той формой, в которой он мог, пользуясь историческими аналогиями, проповедовать национально-освободительные идеи. Верный народной стихии, он умел и своим балладам придавать харак-

тер фольклорных произведений, облекая в романтическую форму глубоко реалистическое восприятие мира.

Арань, как и Петёфи, был тем поэтом, в творчестве которого осуществился исторический поворот венгерской поэзии от романтизма к реализму. Наряду с Петёфи он стал главою новой школы, нового направления. И даже более того: теоретическая разработка идейных проблем в большой мере принадлежала именно Араню. Для него вопросы поэтического мастерства и направления были предметом постоянных размышлений, и в своей публицистике он уделял этим проблемам немалое место.

Новая школа черпала свое содержание в самой гуще обыденной жизни. В поэтических приемах она шла от разговорной речи, от бытовых деталей, от интонаций народной песни. Но если искусство Петёфи заключалось в абсолютной простоте и безыскусственности, в той высшей свободе, при которой мастерство поэта, его владение тайнами своего ремесла становится совершенно незаметным, то Арань, наоборот, поражал современников виртуозностью стиха и блеском формы. Особенно сильно проявились эти качества именно в его балладах.

Слава реформатора венгерской поэзии, венгерского поэтического языка, несмотря на общепризнанное поэтическое первенство Петёфи, прочно утвердилось и за Аранем. В течение долгой жизни, посвященной сосредоточенному труду, он испробовал свои силы в самых различных родах поэзии. Мы находим у него баллады и песни, сложные по сюжету поэмы и лирические миниатюры. Здесь и раздумья о судьбе угнетенных тружеников деревни, и обличительные стихи по адресу правящего класса, и элегии общефилософского характера. Но независимо от сюжета, независимо от поэтической настроенности этих произведений, в них почти неизменно — то приглушенный, как будто смягченный расстоянием, то могучий и грозный — звучит голос гражданина и борца за социальную справедливость. Так основную тему в оркестре перенимает то гремящая медь, то скрипки и виолончели.

Несколько слов о переводе и переводчиках этой книги.

В общем Арань переведен превосходно. Редактор книги Агнесса Кун, уже много лет осуществляющая благородную миссию приобщения русского читателя к богатейшей сокровищнице венгерской поэзии, и на этот раз сумела привлечь талантливых переводчиков, которым удалось проникнуть в дух поэзии Араня, сумела сплотить их несхожие индивидуальности в единое целое.

Книгу перевели три поэта: Леонид Мартынов, Давид Самойлов и Николай Чуковский. Только одним, зато отличным переводом участвует в ней Михаил Исаковский.

Н. Чуковский выдерживает свои переводы в традициях классического русского стиха. Превосходно зная мировую поэзию, он свободно владеет всем разнообразием стихотворных форм, и стихи его, как всегда, отмечены печатью высокой поэтической культуры.

В противоположность ему Л. Мартынов по своей поэтической природе склонен избегать всего традиционного. Не боясь показаться «шершавым», неблагозвучным, он ищет и в ритмах и в лексике остроту и необычность. Иногда это приводит к небрежности в синтаксических конструкциях, иногда — к неточности в выборе слов. Но зато в своих удачных переводах Л. Мартынов умеет «ударить по сердцам с неведомою силой».

Обаятельно дарование Д. Самойлова. Его собственный поэтический голос явственно слышится и в переводах, нисколько не мешая голосу оригинала звучать в полную силу. Переводчик остро чувствует современный строй поэтической речи. Его стихи никогда не выглядят старомодно, и в то же время он не нарушает привычных поэтических норм.

Об отдельных недостатках переводов рецензируемой книги не хотелось бы говорить, настолько хороши эти переводы в целом. Но беда в том, что чем лучше перевод, тем заметнее в нем и мельчайшие огрехи.

Досадно, например, видеть в первом же, открывающем книгу стихотворении такие строки:

Кто к венцу пойдет
под звоном
Колокольным,
похоронным?
(«Швеи». *Перевод Н. Чуковского*)

Можно пойти под звон, но никак не «под звоном».

Сомнительна у Н. Чуковского и другая строка: «Пред распятьем распростертый, хор гремит...» («Витязь Бор»). Трудно себе представить распростертым хор, да еще «гремящий». Переводчик, так хорошо сделавший всю балладу, без труда мог бы улучшить и эту фразу.

Л. Мартынов, при его громадном поэтическом опыте, тоже походя мог бы исправить весьма спорную синтаксическую конструкцию:

Но ни единый бард
Того не спел, чего хотел
Услышать Эдуард.
(«Уэльские барды»)

Элементарна и другая небрежность того же переводчика:

Сплетались песни наши,
спеты,
Как ветви древа одного.
(«Оставлю миру»)

Получается: спеты, как ветви древа.

Аналогичную ошибку сделал и Д. Самойлов, когда написал:

Он запалит трубку,
легкий дым завьется,
И хозяйке доброй мирно
улыбнется.
(«Семейный круг»)

Сколько ни ставь запятых после «завьется», все равно выходит, что хозяйке улыбнется не хозяин, а дым.

Равным образом не могу я согласиться и с такой строфой:

Разве не́ жил я?
Лодчонка
И меня качала та,
В коей малого ребенка
Нянька люлькает
спроста.

(«Взгляд назад». *Перевод Л. Мартынова)*

Тут все искусственно, не говоря уже о «спроста», поставленном исключительно для рифмы.

Не заметили ни переводчики, ни редактор, что в переводах слишком часто попадается слово «пена» и его производные: «к туче пенной», «над моей подушкой пенно-белоснежной», «по пенным гребням», «пучине пенной», «пена грез», «вкруг меня бы пеной облака летели» и т. д.

Все это — мелочи. Но и они нежелательны, тем более что приведенными примерами число их не ограничивается.

Остается еще раз повторить, что в общем «Избранное» Яноша Араня — ценный вклад в нашу переводную поэтическую литературу.

В. Левик

Новая повесть индонезийского писателя

Прамудья Ананта Тур. Это было в Южном Бантене. Драматическая повесть в четырех частях. Перевод с индонезийского В. Шурыгина. Предисловие В. Островского. Москва, Издательство иностранной литературы, 1961. 80 стр.

Прамудья Ананта Тур, пожалуй, самое крупное имя в современной индонезийской прозе. Он больше, чем кто-либо другой, отразил в своих произведениях жизнь индонезийского народа — борьбу, беды, страдания, столь щедро отпущенные ему судьбой.

Мне довелось познакомиться с Прамудьей А. Туром, побывать у него в гостях. Обстановка в доме скромная, точно такая же, как в соседних домах простых джакартских тружеников. Только одно свидетельствует о том, что здесь живет писатель,—книги. Сам Прамудья А. Тур еще молодой человек. Он держится просто, сдержанно. Взгляд его больших темных глаз — это взгляд человека, который много пережил.

В «Рассказах о Блоре», вышедших на русском языке, в таких романах, как «Обессиленные», «Преследование», «Партизанская семья» — еще неизвестных советскому читателю,— как бы переплескивается через край боль писателя за свой народ. Эти произведения, написанные в основном в 40-х годах, отражают тяжелый этап в истории индонезийского народа: времена голландского колониального гнета, японской оккупации, войны против интервентов, стремившихся силой восстановить в Индонезии колониальные порядки.

Положение народа, который после трех с половиной веков рабства вышел на передний край борьбы против империализма, было подчас не просто тяжелым, но отчаянным. Обо всем этом без прикрас рассказал в своих книгах писатель, принявший активное участие в национально-освободительной борьбе, испытавший ужасы японской тюрьмы.

Новая повесть Прамудьи А. Тура «Это было в Южном Бантене», переведенная В. Шурыгиным и снабженная содержательным предисловием В. Островского, посвящена налаживанию жизни в современной индонезийской деревне.

Хотя уже 16 лет прошло со времени провозглашения Индонезийской Республики и более 10 лет со времени передачи ей суверенитета голландским правительством, враги и по сей день не прекратили подрывных действий против молодого государства. Одной из наиболее враждебных новому режиму сил в Индонезии (особенно 3—4 года назад, когда была написана повесть П. А. Тура) является Дарульисламовцев. Герои книги — крестьянин Ранта с женой Иренг, к которым присоединяются такие же бедняки, как они,— преодолев страх перед бандитами, приходят к военному коменданту, чтобы предложить ему свою помощь. Объединение усилий армии и населения сразу дает себя знать: банде нанесен сокрушительный удар. Муса арестован. Крестьянам обеспечена возможность спокойно жить и трудиться. Сообща строят они школу в деревне, роют пруд, обсуждают планы на будущее.

Повесть П. А. Тура полна оптимизма, веры в народ, его счастливое будущее.

Н. Алиева

За революцию я отдал голос свой

Витезслав Незвал. Избранное. Перевод с чешского. Под общей редакцией С. Щипачева. Предисловие Назыма Хикмета. Составитель Н. Николаева. Редакторы Н. Николаева и Б. Шуплецов. Москва, Издательство иностранной литературы, 1960. 703 стр.

За немногие годы, прошедшие после смерти Витезслава Незвала, одного из наиболее ярких современных чешских поэтов, его произведения вышли в свет не только в Чехословакии, но и во многих странах мира. Большой однотомник избранных произведений Незвала издан в Советском Союзе.

Мало кому из поэтов, кто, как и Незвал, начинал свой путь с творческих исканий, смелых экспериментов, удавалось так гармонически, так цельно завершить свой нелегкий, но радостный путь. Незадолго до смерти Незвал писал:

Мой трудный жребий
зависти достоин;
Я коммунист, и дали
мне видны.

Эта коммунистическая убежденность дала возможность Незвалу до конца дней своих сохранить в творчестве свежесть и непосредственность чувств, юношескую страстность и жизнерадостность.

Стихи Незвала в Чехословакии знают от мала до велика. Его вдохновенный гимн человеческому гению поэма «Эдисон» (1927) справедливо считается вершиной чешской поэзии XX века. За поэму «Песня мира» (1950) и за сборник «Крылья» (1957) Витезслав Незвал удостоен Государственной премии. Он — лауреат Международной премии Мира. Его зовущая к борьбе за мир фантастическая пьеса «Сегодня еще солнце зайдет над Атлантидой» (1955) переведена на множество языков. Но немало произведений Незвала еще не оценены и ждут своего исследователя.

Собрание сочинений Незвала насчитывает десятки томов, и из этого обилия произведений нужно было выбрать для советского сборника самое яркое, самое характерное, самое, как говорится, незваловское.

«Избранное» открывается предисловием Назыма Хикмета, в котором он говорит о Витезславе Незвале как об одном из великих поэтов современности, коммунисте и человеке XX века.

Книга снабжена эпиграфом, являющимся кредо поэта.

За революцию я отдал
голос свой,
Я понял роковую
неизбежность счастья,
Я, отвергавший тех, кто
громоздит в уме
Богатства, никому
не раздавая!

Пора отнять их мощь!
Расставить часовых,
чтоб были начеку!

Кто смеет собирать,
копить и прятать!

Я тот, кто ощутил
бесповоротность
счастья,
Я в жизни понял вдруг
простейшие начала
И потому имею право
жить.

За революцию я отдал
голос свой
И в ней прожить имею
право!

(«Мотто». *Перевод Д. Самойлова*)

В сборник вошли 232 стихотворения, взятые из различных книг Незвала, от первой, юношеской — «Мост» (1922) и до предсмертной — «Неоконченное» (1958). Подавляющая часть произведений впервые становится известной советскому читателю. Кроме стихов, в однотомник включены поэмы, среди которых можно назвать такие, как «Эдисон», «Сигнал времени», «Неизвестная с Сены». Книгу заключают две пьесы — «Манон Леско», написанная по мотивам романа Прево, и «Сегодня еще солнце зайдет над Атлантидой».

В сборнике раскрыт богатый поэтический мир Незвала во всем многообразии мыслей, чувств и настроений, во всей яркости его образов. Витезслав Незвал предстает перед нами как коммунист, патриот, интернационалист. Он умеет быть очень мужественным и очень лиричным. Прочтите строки из его стихотворения «Я тоскую» — страстное и нежное признание любящего сердца.

Я тоскую. Я вижу, тебя
вспоминая:
Ты стоишь на балконе
и шлешь мне привет.
Вижу руки твои, слышу
грохот трамвая,
Через уличный шум
улыбаюсь в ответ.

Я тоскую. Мучительно
часто мне снится
Предрассветное небо
в знакомом окне.
И ладоней тепло,
и прогнавшие полночь
ресницы,
И глаза, перешедшие
ночь в тишине.

(Перевод В. Николаева)

А теперь прочтите суровые, полные сдержанного трагизма «Надписи в зале Красной Армии». От имени погибших воинов поэт обращается к тем, кто живет.

Друг мой, бдителен будь
на земле, под которой
я стыну!
Право требовать это
я смертью в бою
заслужил.
Я ушел на войну.
Я убит в день
рождения сына,

Я убит — чтоб он жил.
Я убит — чтоб ты жил.

Человек! Я хочу, чтоб
с войною повенчан ты
не был!
Чтобы кровь моя
самой последнею
кровью была!
Я, объятия раскрыв,
как свобода, летел
к тебе с неба;
Парашют мой сгорел. Но
свобода — пришла!

(Перевод К. Симонова)

Таков Незвал — всегда многогранный, многотемный, но никогда не эклектичный, ибо основные мысли, высказанные в «Мотто» — «За революцию я отдал голос свой» и «Я понял роковую неизбежность счастья»,— гармонично и естественно сочетаются в одном поэте.

Хронологический принцип, легший в основу составления сборника, дает возможность проследить эволюцию поэта, уяснить, как постепенно, год от года творчество его наполнялось коммунистическим содержанием, как мужал и креп талант художника. Этот принцип помогает понять путь Незвала—от абстрактного утверждения революционного переустройства мира, через сочувствие жертвам капитала, к активной революционности, к борьбе против фашизма и войн, к утверждению победы социализма.

Один лишь упрек хочется сделать в адрес составителя. Высоко оценивая в послесловии значение баллад в творчестве Незвала, составитель включил в сборник лишь некоторые из них, а, между тем, в балладах Незвала раскрывается народность поэта, его верность национальным традициям. Жаль также, что в сборник не вошла целиком поэма «Удивительный волшебник», полная действенного оптимизма и революционного пафоса.

Витезслава Незвала переводили поэты разных поэтических поколений, разных устремлений и дарований. Здесь и такие известные советские поэты, как Асеев, Сельвинский, Кирсанов, Симонов, Щипачев, Мартынов, Слуцкий, Самойлов, и поэты молодого поколения— Иванов, Кудинов, Николаев и другие. И все же, несмотря на разные индивидуальности переводчиков, мы чувствуем одного поэта — Незвала. И этот поэт не оставляет нас равнодушным.

В большинстве случаев переводчикам удалось сохранить естественность и простоту Незвала, его богатую метафоричность, неожиданность его поэтических ассоциаций, мелодичность. Чешский критик И. Франек писал в связи с этим: «При чтении советского «Избранного» Незвал звучит сперва как бы издалека, чуточку туманно, так что мы не в состоянии сразу же узнать его голос, хотя он и звучит на очень родственном славянском языке. Но через минуту, когда вслушаешься и встретишься с местами знакомыми и близкими, ты замечаешь, что наш Незвал начинает говорить по-русски так чисто, будто говорит на родном языке».

Отмечая в целом высокий уровень переводов, сделанных с большой любовью к поэту и поэзии, чешские критики вместе с тем говорят и о некоторых недостатках издания. Благинка, например, так же как и Франек, совершенно справедливо считает, что некоторые русские переводчики утратили нарочитую алогичность, свойственную Незвалу в начале 20-х годов, сделали его слишком точным, конкретным и строгим, таким, каким он и стал, но гораздо позднее.

Правильно поступили редакторы, включив в сборник поэму Незвала «Эдисон». Переводчику Д. Самойлову удалось передать внутренний ритмический строй поэмы, выдержать строгую незваловскую соразмерность частей, воспроизвести ее динамичность, усиливающуюся путем нагнетания повторов. Этот перевод очень близок к подлиннику и вместе с тем далек от рабского ему подражания. По сравнению с отрывком из поэмы, опубликованным Д. Самойловым в «Антологии чешской поэзии» в 1959 году, новый перевод поэмы, сделанный им же, стал лучше, ярче, значительнее.

Много работ принадлежит И. Иванову, переводившему непосредственно с оригинала. Ему удалось донести до читателя и обаяние незваловских стихотворений, посвященных природе («В марте», «Февраль», «Майская»), и яркость «Ритурнелей», но жаль, что незваловские белые стихи (например, «Бунт безумия») Иванову не удались. В его передаче они более традиционны, чем в действительности, и нередко несут на себе печать влияния то одного, то другого образца XIX века («Лунатик», «Любимые», «Деметра»).

Удачны стихотворные переводы В. Николаева, такие как «Я тоскую», «Безработный», ранее вошедшие в «Антологию чешской поэзии», а также «Сто сонетов...» и особенно «Прага с пальцами дождя», публикуемое впервые.

Послесловие Н. Николаевой — это первая у нас работа монографического характера о В. Незвале, в которой на большом историко-литературном материале прослеживается творческий путь поэта, рассказывается о его формировании как художника, гражданина и коммуниста. Послесловие написано с большим вниманием и к общим вопросам и к индивидуальности поэта.

Закрываешь книгу, испытывая большое удовлетворение и особую радость. Радость потому, что произошло такое всестороннее знакомство с Незвалом, не только интереснейшим поэтом, но и на редкость интересным человеком, которому есть что сказать читателю. Удовлетворение потому, что трудное дело — представить поэзию Незвала советскому читателю — в целом удалось.

П. Клейнер

Встреча со старым другом

Томас Манн. Собрание сочинений в десяти томах. Под редакцией Н. Н. Вильмонта и Б. Л. Сучкова. Вступительная статья Б. Л. Сучкова. Москва, Гослитиздат, 1959—1961.

Вышел в свет последний, десятый, том собрания сочинений Томаса Манна.

Первое знакомство русского читателя с этим выдающимся немецким романистом состоялось еще в 1903 году. Тогда известный петербургский журнал «Вестник Европы» опубликовал главы из «Будденброков». Вслед за этим в других литературных журналах России появились рассказы Томаса Манна «Платяной шкаф», «Дорога на кладбище», «Тристан», «Тонио Крёгер», «Луизхен», отдельными изданиями вышли роман «Его королевское высочество» и драма «Фиоренца».

В 1910—1915 гг. издательство «Современные проблемы» выпускает первое во всем мире собрание сочинений Томаса Манна в пяти томах. На родине писателя собрание его произведений появилось значительно позже.

После Октябрьской революции произведения Томаса Манна, издаваемые в СССР большими тиражами, нашли нового читателя, которому советская власть открыла доступ к духовным сокровищам человечества. И в то время, когда книги великих гуманистов сжигались фашистскими громилами на площадях немецких городов, в Советском Союзе вышло в свет второе собрание сочинений Томаса Манна.

Советские издания своих произведений писатель впервые увидел в 1939 году на международной выставке в Нью-Йорке. Вместе с женой он посетил тогда советский павильон и в беседе с корреспондентом ТАСС, в частности, сказал: «Экспонаты, выставленные в павильоне, создали у меня полное впечатление о том, что такое сегодняшняя Россия. Меня особенно заинтересовал отдел печати, науки и литературы. Я всегда любил и восхищался русской литературой. В годы юности на меня огромное впечатление произвели произведения классиков русской литературы — Пушкина, Гоголя, Тургенева, Толстого и Достоевского. Я отмечаю с большим удовлетворением, что советское правительство с большой любовью переиздает произведения русских классиков огромными тиражами. Я весьма рад и польщен тем, что вижу здесь и мои работы, прекрасно изданные в СССР».

В годы изгнания и борьбы против гитлеровского господства Томас Манн не раз с неподдельным уважением отзывался о Советском Союзе, о русском народе. «Правда», «Литературная газета», журнал «Интернациональная литература» печатают дышащие ненавистью к фашизму статьи и речи Томаса Манна. За последние годы его книги несколько раз выходили в свет в Москве, Риге, Вильнюсе и других городах.

И вот теперь к многочисленным изданиям произведений этого писателя прибавилось новое собрание сочинений. В него вошла большая часть художественного наследства Томаса Манна, начиная от рассказа «Разочарование», написанного в 1896 году, и кончая «Словом о Шиллере», произнесенным в мае 1955 года, уже незадолго до смерти.

Творческий путь Томаса Манна был сложным. Выходец из бюргерской среды, он до конца дней не смог окончательно порвать со своим классом. Но уже в «Будденброках» — романе-первенце, принесшем ему мировую славу,— он блестяще показал бесперспективность буржуазного мира. Честный художник, он всю жизнь неутомимо искал пути к правильному пониманию общественного развития. «Как писатель,— говорил он,— как психолог и как художник, изображающий все человеческое, я всегда и неизменно был верен правде. Я связан с правдой неразрывными узами. Я люблю ее прелесть, я проникнут сознанием высоких достоинств правды, и я презираю все мерзости неправды».

Томас Манн — один из тех крупных писателей-реалистов нашего столетия, которые сумели увидеть и воплотить в своем творчестве прогрессивные устремления эпохи. События, совершившиеся в мире в тридцатые-сороковые годы, обострили внимание романиста к общественной жизни, повысили чувство ответственности за судьбы человечества, помогли ему глубже осознать необходимость решительной борьбы с реакцией. Томас Манн становится в шеренгу лучших представителей западной интеллигенции, увидевших в фашизме величайшую опасность для цивилизации и открыто выступивших против него. Писатель осознает историческую необходимость борьбы за лучшее, справедливое переустройство жизни, приходит к мысли о том, что социализму суждено великое будущее.

Томас Манн — крупное явление в немецкой литературе. Жизненность художественных образов, глубина мысли, отточенность формы его произведений долго будут привлекать внимание читателей и помогать им лучше понять изображенную писателем эпоху. Вальтер Ульбрихт в речи на похоронах Бехера говорил: «Когда три года назад в Веймаре поэт Иоганнес Бехер, приветствуя великого прозаика Томаса Манна, пожал ему руку, нам было ясно, что это — встреча двух самых выдающихся представителей германской литературы периода перехода от капитализма к социализму, которые, каждый по-своему, отражают в своих произведе-

ниях этот переходный период».

Внутреннюю логику идейно-творческой эволюции писателя хорошо раскрывает Б. Сучков в большой статье, предпосланной новому собранию сочинений. Критик освещает этапы творчества Т. Манна, показывает противоречия его мировоззрения, дает характеристику важнейших произведений.

Кроме уже известных нашему читателю романов и рассказов Т. Манна, в собрание сочинений вошли впервые переведенные на русский язык роман «Избранник», рассказы «Обменные головы», «Закон», «Обманутая».

«Доктора Фаустуса» можно по праву назвать вершиной творчества Томаса Манна, художественным, философским и политическим завещанием писателя. Это прежде всего произведение громадной силы отрицания. Критическая направленность, свойственная всему творчеству писателя, проявилась в нем наиболее глубоко. Сам автор так определил идею произведения: «Это биография композитора, в которой судьбы музыки рассматриваются как частный пример кризиса искусства вообще, кризиса культуры во всех ее направлениях».

В образе композитора Леверкюна Томас Манн создал тип современного декадента. «Новаторство» Леверкюна сводится к формалистическим изощрениям. Его произведения — плод больного воображения сноба — не могут принести людям ни радости, ни пользы.

Тесная связь с жизнью народа, служение его интересам — вот источник, дающий силу и неувядаемость творениям художника. Искусство может быть радостным и целеустремленным, только если оно «прорвется» к народу. К такому выводу подводит нас автор романа. «Доктор Фаустус» — книга не радостная. Это своего рода история болезни буржуазного общества. В ней много скорби и негодования, но это целительная книга. Силою беспощадной правды она содействует возрождению и расцвету великой гуманистической культуры немецкой нации.

Этот роман, как и все творчество Томаса Манна, помогает писателям новой Германии изображать сегодняшнюю немецкую действительность. Известный поэт ГДР Стефан Хермлин недавно в беседе с автором этих строк назвал «Доктора Фаустуса» «ключом к Германии».

Два тома нового собрания сочинений занимают критико-литературные и публицистические статьи. Здесь этюды о немецких, русских, английских писателях, предисловия к книгам, речи, автобиографические заметки. Написанные в разное время, они самым непосредственным образом связаны с художественными произведениями Томаса Манна и помогают лучше понять идейное и эстетическое развитие писателя.

Статья «Бильзе и я», появившаяся в начале творческого пути Т. Манна, говорит о назначении искусства и представляет собой, пусть не совсем последовательный, манифест реализма. Открытое письмо декану Боннского университета (1937 г.), которое немецкие патриоты, размножив на гектографах, нелегально распространяли в гитлеровской Германии, прозвучало страстным обвинением фашизма. А в предисловии к книге «Прощальные письма европейских борцов Сопротивления», изданной уже в пятидесятых годах, писатель предупреждает народы о новой опасности войны: «Мы живем в мире, которому, несмотря на его интеллектуальную и моральную неполноценность, судьба доверила оружие страшнейшей разрушительной силы, и это оружие накапливают безумцы, грозящие, «если уж на то пошло», превратить землю в окутанную ядовитыми парами пустыню».

Томасу Манну не без труда удалось преодолеть ошибочное представление о так называемой нейтральности искусства по отношению к политике. Жизнь рассеяла его иллюзии, и он пришел к убеждению, что политическое, социальное составляет неотъемлемую часть человеческого. «Человек,— говорил он,— который сегодня, как это иной раз можно слышать, заявляет: «Меня политика не интересует», представляется нам очень пошлым. Мы воспринимаем его заявление не только как эгоистичное и далекое от действительности, но как глупый самообман...»

Великий гуманист всеми силами способствовал сближению двух частей Германии, его тревожило возрождение реваншизма на Рейне. Во французском еженедельнике «Экспресс» — это было одно из последних выступлений Томаса Манна — он писал, что в большинстве своем немцы, живущие в ФРГ, «не могут желать войны, но на первый план снова выдвинулись те люди и объединения, которые были справедливо «ликвидированы» при крушении гитлеровского режима».

Литературно-критическую и публицистическую деятельность Томаса Манна обстоятельно анализирует Н. Вильмонт в статье «Художник как критик», помещенной в десятом томе. Следует отметить, однако, что в томах, где собраны критика и публицистика, ощущается существенный пробел. Томас Манн всю жизнь с большим интересом относился к русскому народу, высоко ценил русскую литературу. У него есть немало высказываний о русских писателях, об Октябрьской революции, о Советском Союзе. К сожалению, в собрании сочинений, куда включены лишь большие статьи о Толстом, Достоевском и Чехове, их нет.

Томас Манн откликнулся на смерть В. И. Ленина и назвал его «сказочным витязем героической саги, властителем дум...»

В 1928 году автор «Будденброков» и «Волшебной

горы» прислал письмо М. Горькому, а после его смерти написал такие строки: «В лице Максима Горького от нас ушел великий русский человек, великий гуманист и социалист, достойный уважения, посредник между ценностями прошлого и волей к будущности. Сегодня я мысленно — на Красной площади в Москве, где русский народ прощается со своим сыном, ставшим ему отцом».

В годы Великой Отечественной войны Томас Манн не раз присылал приветствия советскому народу, он обратился с замечательным письмом к Алексею Толстому. В наследии писателя сохранилось несколько десятков писем к переводчику русской литературы на немецкий язык Александру Элиасбергу, в которых содержатся интересные высказывания о творчестве Толстого, Тургенева, Чехова, Достоевского. Обо всем этом нашему читателю было бы интересно узнать.

Новое собрание сочинений, в котором произведения Томаса Манна даны в более совершенных переводах, является самым полным из имеющихся русских изданий. И надо думать, что тысячи советских читателей испытают чувство радости, встретившись со своим старым другом.

И. Голик

Издано за рубежом

Лучшие книги года

A Treasury of Australian Humour. Annotations by Bill Wannan. Sidney, Australasian Book Society, 1960.

Sutton Woodfield. A for Artemis. Burlesque of Big-City Intrique. Sidney, Australasian Book Society, 1960.

Price Warung. Convict Days. Sidney, Australasian Book Society, 1960.

Мне хочется рассказать о лучших книгах, вышедших в Австралии за последнее время. Почти по единодушному признанию нашей критики это — «Сокровищница австралийского юмора», политический роман-памфлет Саттона Вудфилда «Имя на букву «а» и сборник рассказов Прайса Уоранга «Времена каторжников».

Появление такой книги, как «Сокровищница австралийского юмора», приобретает особое значение именно сейчас, когда нашей литературе угрожает поток дешевых американских изданий наихудшего типа, а сосредоточение австралийского издательского дела в руках монополистов привело к катастрофическому уменьшению выпуска книг австралийских авторов.

«Сокровищница австралийского юмора» — первая в истории страны антология юмористических произведений, создававшихся на протяжении всей истории развития австралийского общества со времен первых каторжных поселений 1788 года до наших дней. Здесь представлено большинство крупных имен австралийской литературы, таких как Маркус Кларк, Джозеф Фёрфи (Том Коллинс), Банджо Патерсон, Генри Лоусон, Катарина Сусанна Причард.

Составитель «Сокровищницы австралийского юмора» Билл Уэннан включил в свою антологию произведения наших лучших современных писателей: Алана Маршалла, Фрэнка Харди, Билла Харни, Джона Мэнифолда, Гейвина Кейси.

«Сокровищница австралийского юмора» блестяще доказывает, что у нас есть свой собственный национальный юмор, пусть не богатый историей, но подлинно народный и такой же неповторимый, как австралийская природа. Билл Уэннан, член группы писателей-реалистов Мельбурна, был редактором «Австралийца» — настольной книги австралийского фольклора, сыгравшей в свое время важную роль в пробуждении более глубокого интереса к национальному наследию. Новая работа Билла Уэннана тем более значительна, что наш национальный юмор в последнее время и в театре, и на радио, и на телевидении все больше и больше вытесняется юмором американского происхождения, произведениями антигуманистическими, декадентскими.

Австралийский юмор, а с ним и первые ростки литературы появились в австралийской лесостепи, в так называемой «буш». Оттуда вышли и отправились по стране бесчисленные легенды, рассказы, песни. Погонщики скота, передвигаясь со стадами по огромным неразгороженным равнинам, становились лагерем у водоемов и при свете костра и звезд сочиняли всяческие истории и небылицы. У стригальщиков овец, идущих с одной фермы на другую, у золотоискателей, переходящих с прииска на прииск, у сезонных рабочих, которые собирались в лесных хижинах,— у всех с со-

бой были запасы рассказов, анекдотов и песен. Расстояния и одиночество научили их особенно дорожить товарищем по работе, случайным попутчиком.

Анекдоты, случаи из жизни, истории — то, что австралийцы называют одним словом «ярнз» (yarns),— ценились почти так же, как табак, но в отличие от табака ими делились с ничем не ограниченной щедростью.

У костра и в лесной хижине создавалась новая лексика, которая отражала природу страны и условия жизни. Изобретались такие слова, как «билли» (billy)— небольшой луженый котелок для воды и чая, «свэг» (swag) — два одеяла, скатанные в трубку и перевязанные с двух концов, их носят на спине вместе с остальными вещами, которые обычно укладываются внутрь одеял. Помимо новых словообразований, происходил отбор и переосмысление старых слов. Из двух синонимов выбирался тот, что был проще, грубее. Рождались выразительные идиомы, «соленые» словечки, иронические поговорки и т. д. Все это не только вошло в язык наших писателей, но и стало нашим литературным языком.

Баллады и короткие юмористические рассказы — вот первые и лучшие образцы австралийской литературы. Специфичны для австралийского фольклора и небылицы — короткие рассказы о невероятных победах человека над природой, о необыкновенной преданности его собаки, о неслыханной силе его волов, о невиданной скорости и выносливости его лошадей, о его искусстве объезжать диких жеребцов и т. п. Тогда же появились и знаменитые герои фольклора, такие как Кривой Мик из Спиво, чьи подвиги описаны в рассказе Алана Маршалла, включенном в антологию, а также Мик Почтовый Ящик и Обжора.

* * *

Следующая из трех упомянутых книг, «Имя на букву «а» Саттона Вудфилда,— один из очень немногих в нашей литературе сатирических романов на политическую тему. Изданный «Остралейшн бук сосайети», он был встречен буржуазной критикой ледяным молчанием.

Дело в том, что роман С. Вудфилда направлен прежде всего против большой прессы, которая в Австралии, так же как в Англии и в других капиталистических странах, находится в руках трех-четырех гигантских концернов, тесно связанных с банками и крупнейшими промышленными и сельскохозяйственными монополиями. А газетные магнаты не терпят критики в свой адрес.

Для разоблачения гнусного лица буржуазной прессы трудно найти человека более подходящего, чем Саттон Вудфилд: под этим псевдонимом скрывается хорошо известный писатель и общественный деятель, член парламента от лейбористской партии, проведший много лет в журналистских джунглях.

Вот как он описывает одного из газетных королей: «Стрипс — владелец крупного газетного треста. Он «делает новости» и поэтому считает себя младшим братом самого господа бога. Я уверен, он любил бы бога еще сильнее, если бы был единственным владельцем «Небесных новостей»...»

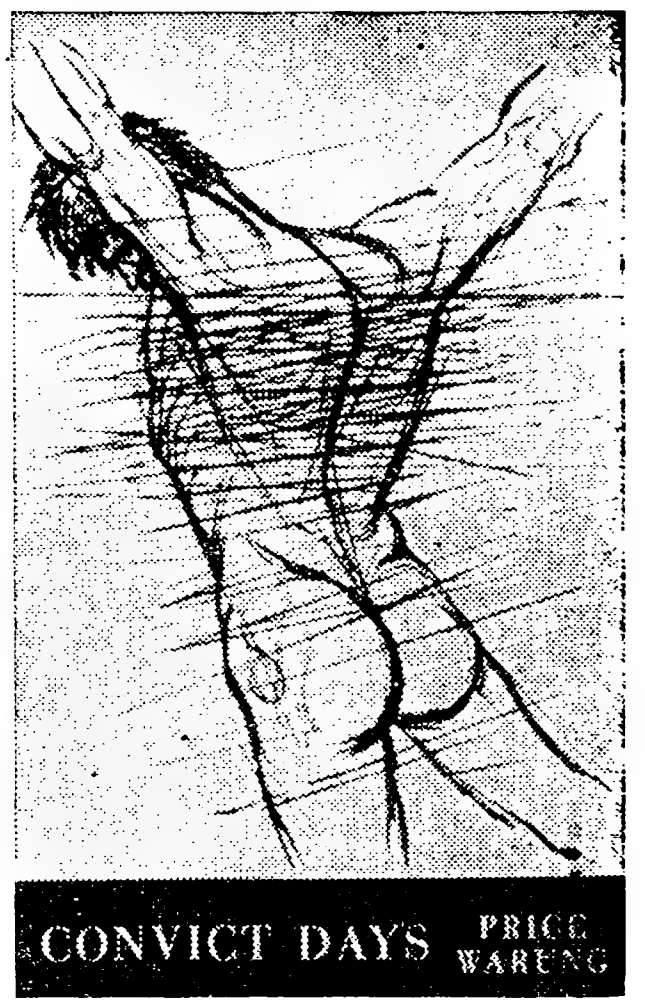
Не щадит Вудфилд и лидера парламентской оппозиции Леверетта, который, как и многие другие праволейбористские деятели, привычно сотрудничает с газетными королями даже тогда, когда последние смешивают его с грязью. Этот, как его называет Вудфилд, «вбок уводитель» — прожженный циник и прислужник капитала.

Подобно всем хорошим сатирическим книгам, роман С. Вудфилда написан с серьезной целью и разоблачает некоторые темные стороны современного капиталистического общества Австралии.

* * *

Сборник рассказов «Времена каторжников» переносит нас в область трагического. Автор сборника Прайс Уоранг повествует о тяжелой судьбе людей, чьим дешевым трудом в первой половине XIX века была создана новая английская колония,— о людях, осужденных английским судом и сосланных на каторгу в Австралию.

Издание книги было оценено в Австралии как литературное событие большой важности, так как рассказы Уоранга (1855—1911), впервые вышедшие в свет в 90-х годах прошлого столе-



тия, в течение последних шестидесяти лет почти не печатались. Издательство «Остралейшн бук сосайети», активный участник борьбы за национальную литературу, сделало большое дело, вернув австралийскому народу его писателя-классика.

Основанные на документальных материалах, рассказы Уоранга раскрывают страшную жизнь каторжников в новой колонии. Большую часть каторжников составляли люди, осужденные за политические преступления. Именно этим людям обязаны мы зарождением демократической традиции, началом борьбы за демократические права, за независимость.

Первыми политкаторжанами, привезенными в Австралию в 1793 году — через пять лет после основания колонии,— были знаменитые «шотландские мученики» во главе с Томасом Мюиром. Это он вел агитацию в Центральной Шотландии среди ткачей и других рабочих, убеждая их читать «Права человека» Томаса Пейна и помогая создавать общества, такие как «Друзья реформы» и «Друзья народа».

Кстати, интересно отметить, что в 1958 году в Шотландии обнаружили документы и письма, свидетельствующие о том, что великий шотландский поэт Роберт Бернс был связан с «мучениками» и подвергался за это преследованиям.

Рассказы Прайса Уоранга, направленные против позорного прошлого, имели и непосредственную политическую цель: борьбу за независимость Австралии, за уничтожение всех остатков колониально-каторжной системы и ограничение власти сказочно богатых землевладельцев-скваттеров, наживших состояния на эксплуатации труда каторжников.

Неудивительно поэтому, что последние шестьдесят лет издатели уклонялись от публикации книги Уоранга. И хотя после того, как Австралия добилась самоуправления, худшие стороны старого режима исчезли, богатые скваттеры, скототорговцы и капиталисты — партнеры английских колонизаторов — остались у власти, и их потомки мстили Прайсу Уорангу, пытаясь предать его имя забвению.

Сегодня, когда официальные историки и критики с удвоенной энергией стараются обелить колониально-каторжный режим, переиздание рассказов Прайса Уоранга особенно знаменательно.

Джуда Уотен
г. Мельбурн

Неблагожелательный нейтралитет

Russland erzählt. Ausgewählt und eingeleitet von Johannes von Guenther. Fischer Bücherei, 1961.

Neue russische Lyrik. Herausgegeben von Johannes von Guenther. Fischer Bücherei, 1960.

В ФРГ вышли два сборника произведений русских писателей: «Новая русская лирика» и антология русской новеллы, озаглавленная «Россия рассказывает», последняя выдержала уже два издания. Составитель и комментатор обеих книг — Иоганнес фон Гюнтер, известный немецкий переводчик и знаток русской литературы. По очевидному замыслу издателей, его имя должно внушить немецкому читателю доверие к литературному и научному качеству обоих сборников.

В предисловии к книге «Россия рассказывает» составитель заявляет, что ему хотелось самим подбором рассказов «показать через утверждение и отрицание тот облик России, который живет и по сей день»; составитель стремился при этом «соблюсти своего рода благожелательный нейтралитет среди различных противоборствующих тенденций». Подобные же декларации содержатся и в предисловии к сборнику «Новая русская лирика», написанном неким Юрием Семеновым (нет ли и здесь расчета завоевать доверие читателя на этот раз русским именем автора?). «Стихотворения, отобранные Иоганнесом фон Гюнтером,— пишет Юрий Семенов,— отражают полвека русской лирики в ее центральных темах, в ее отношениях к миру и к слову». Как видим, и та и другая антология претендует на современность и на объективность. Обе претензии неосновательны.

В сборнике прозы преобладают рассказы, не связанные с современной, то есть советской, Россией ни содержанием, ни временем написания. Даже те писатели, которые действительно заняли виднейшее место в советской литературе, представлены своим ранним, дореволюционным творчеством. У Горького взят «Емельян Пиляй», у А. Толстого и Пришвина — произведения 1910—1916 гг. Среди семнадцати авторов сборника только четыре ныне здравствующих советских прозаика. Но и у них отобраны рассказы, написанные не позже первой половины 30-х годов и действие которых происходит в первые годы революции.

Иоганнес фон Гюнтер обещал читателю показать современную Россию «через утверждение и отрицание». Нельзя сказать, чтобы в книге вовсе не было произведений, утверждающих новую, революционную действительность. Глубоким советским патриотизмом дышит рассказ К. Паустовского «Австралиец со станции Пилево»; задор молодой страны, строящей социализм, своеобразно отозвался в «Альдебаране» Ю. Олеши; подлинно революционной страстью насыщены два донских рассказа М. Шолохова, завершающие книгу («Председатель реввоенсовета рес-

публики» и «Чужая кровь»). Но несравненно больше места уделено «отрицанию». Даже В. Брюсов, так много сделавший для развития советской культуры, представлен ранним слабым, заслуженно забытым рассказом «Республика Южного Креста» — антиреволюционной утопией, написанной тогда, когда автор ее был еще очень далек от народа. Неприкрытая острая ненависть к советскому строю звучит в рассказах Е. Замятина «Дракон» и «Пещера». Растерянно-скептическое восприятие революции, глухая ненависть к ней по-разному сказались и в «Письмах из Тулы» Б. Пастернака, и в рассказе Б. Пильняка «Имение Белоконское». Иной раз в творчестве писателей, органически связанных с Октябрьской революцией, составитель намеренно выбирает рассказы наиболее нейтральные по теме (у И. Бабеля взяты не рассказы из цикла «Конармия», а «Иисусов грех»); иной раз он включает в сборник произведения советской сатиры, которые в общем мрачном контексте книги могут дать неосведомленному читателю одностороннее представление о новой русской действительности, фиксируя внимание на непорядках и неурядицах послереволюционного быта.

Особую функцию выполняют в сборнике примечания составителя. Сочетая правду и вымысел, фон Гюнтер пытается, где может, напустить туману, отыскать трагические обстоятельства там, где их не было, с таинственным видом намекает, например, что Ильф и Петров «реабилитированы решением II съезда советских писателей».

По формальным причинам составитель счел себя вправе вовсе не упомянуть о выдающихся советских романистах, которые не писали или не пишут рассказов,— об А. Фадееве, Л. Леонове. Но как быть с теми видными советскими писателями, талант которых проявился в разных жанрах прозы?

Иоганнес фон Гюнтер сам смутно чувствует, как много явных пробелов в его антологии, и в заключительном примечании как бы извиняется перед читателями: оказывается, К. Федин, Ф. Гладков, В. Иванов, Л. Сейфуллина, Ю. Тынянов не представлены в книге... по недостатку места! Не нашлось места и для П. Павленко, П. Бажова, В. Пановой, Л. Соболева, И. Эренбурга и для более молодых прозаиков, с успехом работающих именно в жанре рассказа, таких, например, как С. Антонов или Ю. Нагибин. Сборник «Россия рассказывает» дает искаженное, обедненное представление и о современной русской прозе и о советской действительности. В этом сборнике у составителя все же хватило такта для того, чтобы не включать произведений писателей-белоэмигрантов. В предисловии фон Гюнтер признает, что творчество советских писателей и «их эмигрировавших собратьев» пошло настолько разными путями, что объединить тех и других в одной книге невозможно. В антологии «Новая русская лирика» составитель отступил от этого верного принципа, выдвинутого им же самим. Стихотворцы-эмигранты заполняют здесь множество страниц. Поэтическая трибуна предоставлена таким более чем сомнительным величинам, как Георгий Иванов, Г. Адамович, Л. Вилкина, И. Одоевцева, Б. Поплавский, В. Набоков. Очень раздут раздел русской поэзии начала XX века — тут и Бальмонт, и Мережковский, и Гиппиус, и Соловьева-Аллегро. А вот в советском разделе нет ни А. Твардовского, ни А. Прокофьева, ни М. Светлова, ни А. Суркова, ни С. Щипачева, ни Л. Мартынова, ни М. Алигер, ни О. Берггольц, не говоря обо всей плеяде молодых советских поэтов, из которых уже многие получили известность за рубежом. Самое позднее по времени написания советское стихотворение здесь — «Жди меня» К. Симонова, безусловно достойное включения в сборник, но написанное два десятилетия назад.

Дело, конечно, не в отдельных именах и не в датах написания отдельных стихотворений. Важнее другое. Сборник «Новая русская лирика» не выполняет обещания, данного в предисловии. Какие уж тут «полвека русской лирики», какие уж тут «центральные темы», если составитель старательно сводит к минимуму то новое, что характеризует русскую поэзию *советской* эпохи! Радость созидания новой жизни, раскрепощение человека под влиянием великого революционного переворота, трудовая гордость советских людей и становление новой морали, патриотическая героика Отечественной войны, интернациональная солидарность с трудящимися всего мира — все эти, действительно центральные, темы и мотивы советской поэзии в сборнике либо приглушены, либо вовсе отсутствуют.

Стихи Э. Багрицкого, Н. Заболоцкого — а тем более стихи С. Есенина — подобраны так, словно бы их создатели и не жили в советское время и ничем не были связаны с советской действительностью. Есть Багрицкий — автор «Птицелова», но нет Багрицкого, написавшего «Смерть пионерки». Есть Есенин «Песни о собаке», но нет Есенина «Руси советской». Весьма примечательно, что на страницах антологии, вышедшей в наши дни в Западной Германии, совершенно обойдена антифашистская тема, занимающая столь важное место в новейшей русской поэзии. В подборке стихов Анны Ахматовой читатель не найдет ни одного из ее широко известных прекрасных стихотворений, посвященных борьбе советского народа с гитлеровскими захватчиками. В подборке стихов Марины Цветаевой мы также не найдем ее пламенной антифашистской лирики — ни одного из «Стихов к Чехии», принадлежащих к наиболее самобытным созданиям ее таланта.

Предисловие Юрия Семенова к сборнику «Новая русская лирика» изобилует самыми неожиданными открытиями. Оказывается, Сергей Есенин «воспринимал родину как часть бытия, не занимая никакой политической и культурной позиции». Оказывается, Маяковский не был поэтом революции. Он был, если верить Ю. Семенову, «только поэтом» (уж не сам ли о себе написал Маяковский сатирическое стихотворение «Птичка божья»?). «Самым жизнеутверждающим» из русских лириков Семенов называет Б. Пастернака — такая характеристика удивит, пожалуй, и почитателей его поэтического мастерства. В Советском Союзе, утверждает автор предисловия, «страх перед эротическими темами» доходит до того, что «ни «Цыганы» Пушкина, ни «Герой нашего времени» Лермонтова не были бы напечатаны в СССР». Это уже вовсе из области фантастики, а с фантастикой не спорят.

Склонность Ю. Семенова к самым поразительным утверждениям сказывается и в той оценке, которую он дает переводческой деятельности Иоганнеса фон Гюнтера. Ю. Семенов приравнивает эту деятельность к творческому подвигу В. А. Жуковского, как переводчика немецких поэтов.

Действительно, за свою долгую жизнь И. фон Гюнтер перевел очень много произведений русской поэзии и прозы. Антология «Новая русская лирика» дает возможность судить о сильных и слабых сторонах его как стихотворца-переводчика. Иоганнес фон Гюнтер переводит русских поэтов разных поколений, предельно непохожих друг на друга по творческой манере. Надо иметь очень большую уверенность в своих силах, чтобы перелагать на немецкий язык и Гумилева, и Исаковского, и Андрея Белого, и Веру Инбер! Переводы Гюнтера выполнены с большим старанием. В каждом отдельном случае соблюдено все, что полагается,— и размер, и порядок рифм, и количество строк, и словарная точность. Но во многих случаях исчезает нечто неуловимое и очень существенное: душа поэзии, неповторимость интонации, лирическое настроение.

Чем выразительнее текст оригинала, тем в большей мере сказывается присущий переводчику недостаток поэтического слуха. Нагромождения согласных, разрушающие музыку стиха, инверсии, механически перенесенные из подлинника в перевод, лишние, паразитические слова, вставленные для размера или для рифмы,— все это портит подчас и такие стихотворения, которые переведены по смыслу безукоризненно точно. Начало «Романса без музыки» Иннокентия Анненского — «В непроглядную осень туманны огни и холодные брызги летят...» переведено так:

Undurchdringlicher Herbst-
Lichter neblig und klein,
Und nur Dunstfetzen fliegen
nasskalt...

От благозвучия подлинника ничего не остается! Такое же сочетание скрупулезной смысловой точности с равнодушием к музыкальному звучанию подлинника и в немецком тексте блоковской «Незнакомки», и во многих других текстах антологии.

Особенно не повезло Маяковскому. Ему уделено меньше места, чем Ф. Сологубу или Вячеславу Иванову; небольшая подборка его стихотворений включена в книгу в качестве единственного образца советской политической лирики. Но именно эти стихотворения больше других пострадали от ремесленного, равнодушно-буквального перевода. Строки из «Разговора с товарищем Лениным» —

Должно быть,
под ним
проходят тысячи...
Лес флагов...
рук трава...
Я встал со стула.
радостью высвечен,—
хочется
идти,
приветствовать,
рапортовать!

переведены так:

Es scheint, unter ihm
ziehn Tausende vorüber
jetzt...
Wald von Fahnen...
Arme wie Gras...
Ich erhob mich vom Stuhl,
froh erleuchtet darüber —
ich will gehn, ihn
begrüssen, ihm melden was!

Убогая рифма «vorüber» — darüber», плохо подправленная лишним «jetzt», еще одно ненужное слово «was» в качестве ударного рифмообразующего слога — все это уничтожает героическое и свободное звучание подлинника.

Подобных примеров можно привести немало.

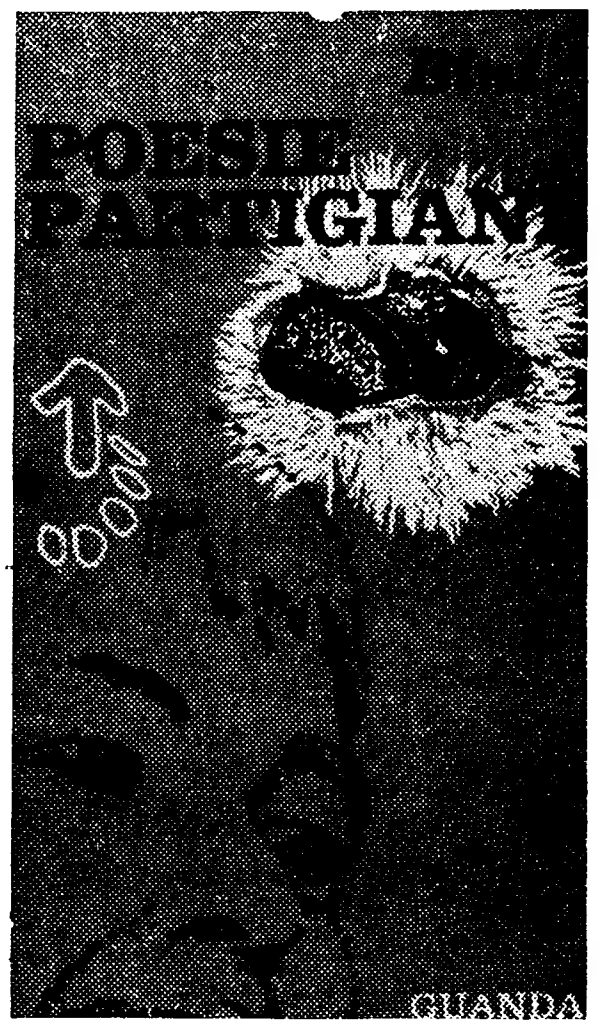
Сборник «Новая русская лирика», как и сборник «Россия рассказывает», подбором материала и комментариями к нему показывает в ложном свете и советскую действительность, и современное состояние советской литературы, и пути ее развития. Помимо этого, антология лирики дает обедненное представление и о художественных качествах современной русской поэзии, не передает самобытности, творческого обаяния даже тех немногих советских поэтов, которые в нее включены. Тот западногерманский читатель, который отнесется к этим книгам с доверием, впадет в заблуждение. Тень холодной войны незримо лежит на них.

Т. Мотылева

Горячее сердце поэта

Bini. Poesie partigiane. Con una lettera di Francesco Flora e una testimonianza di Boris Slutski. Parma, Guanda editore, 1961.

Советскому читателю имя итальянского поэта-коммуниста Бини (Джованни Сербандини) знакомо: часть стихов, вошедших в сборник «Партизанские стихи», были опубликованы в течение последних лет



на страницах наших газет и журналов.

Литературную деятельность Бини начал в тридцатых годах, но вскоре был вынужден прервать ее: фашистский особый трибунал приговорил его за подпольную работу к четырехлетнему тюремному заключению. Затем последовали годы, потребовавшие еще большего напряжения сил: Бини был одним из организаторов и руководителей итальянского Сопротивления, а после войны — главным редактором лигурийского издания «Униты», депутатом парламента, заместителем председателя Ассоциации итальянских партизан.

Выход в свет сборника Бини с предисловием известного итальянского литературоведа Франческо Флора и советского поэта Бориса Слуцкого было горячо встречено в Италии.

«Среди множества трудно читаемых, вялых стихов, смысл которых сокрыт (а быть может, и вовсе отсутствует), вдруг появились простые и ясные «Партизанские стихи» Бини... Их немного, но они представляют собой подлинный образец реалистического искусства»,— писала газета «Аванти».

Франческо Флора точно определил главное достоинство стихов Бини: «...на них — неизгладимый след правды, чего нельзя добиться никакими ухищрениями».

Стихи Бини волнуют читателя потому, что они искренни: поэт пишет кровью сердца, пишет о том, что пережил, перечувствовал, выстрадал, пишет горячо, страстно, облекая мысль в четкую, лаконичную форму.

Простота и правдивость поэтической интонации достигается Бини тщательным отбором словесного материала, упорной работой над словом.

Таким Бини предстает перед нами уже в ранних произведениях, написанных в годы фашизма. Франческо Флора вспоминает, что впервые познакомился с Бини в 1936 году, будучи председателем жюри одного литературного конкурса. Несмотря на весьма пестрый состав жюри, стихи молодого поэта понравились всем своей простотой и искренностью, столь противоречившей господствовавшему в ту пору приспособленчеству, и получили высокую оценку.

Таков же Бини-журналист. В период Сопротивления он выпускал партизанскую газету «Иль партиджано». Рожденный в обстановке суровых партизанских будней журналистский стиль Бини, сдержанный, мужественный, прозвучал — после трескучей декламации и демагогии фашистских газетчиков — как откровение; впоследствии именно таким стал стиль всей передовой итальянской журналистики.

Вернувшись после долгого перерыва к поэтическому творчеству, Бини начал со стихов о Сопротивлении, о людях, с которыми прожил самые трудные и вместе с тем самые яркие дни своей жизни. Он пишет о Сопротивлении не только для того, чтобы вспомнить боевые дни, почтить память павших героев, отдавших жизнь за освобождение родины от позорного фашистского рабства: все лучшее, что имеется сегодня в итальянской культуре, прямо или косвенно обязано своим появлением животворному влиянию Сопротивления.

Рассказывая о семи сыновьях папаши Черви, о священнике — друге партизан доне Боббио, о парнишке-связном, поэт подчеркивает прямую преемственность, существующую между их подвигами и тем сопротивлением, которое оказывает сегодня власть имущим, «ворам, укравшим у народа лучшие годы», новая Италия, итальянский рабочий класс, два миллиона итальянских коммунистов, итальянская молодежь — «полосатые майки» — все, кто летом 1960 года преградили путь неофашистам.

...Мы лишь о том жалеем,
Что нас враги убили
слишком рано,
Что мы в последних
схватках не сражались!
— Неправильно, товарищи,
неверно!
Вы вместе с нами с этих
гор спустились
И, мертвые, сражались,
как живые...

(«Мы сделали это». *Перевод Б. Слуцкого*)

Лейтмотив стихов, написанных в Москве, куда в 1956 году Бини приехал для лечения («Больница в Москве», «Федор», «Письмо», «На смерть Джерманетто»),— дружба народов, призыв к совместной борьбе за мир, за счастье людей.

К этой мысли он возвращается снова и снова. В «Открытом письме президенту Италии Гронки», опубликованном в «Известиях» 6 февраля 1960 года, Бини писал, что там, в лигурийских горах, была на деле доказана возможность и необходимость мирного сосуществования людей с разным мировоззрением.

Ю. Добровольская

ПАМЯТИ МИХАИЛА САДОВЯНУ

Мировая литература понесла тяжелую утрату: в октябре нынешнего года скончался Михаил Садовяну. Крупнейший румынский писатель, автор более 100 книг — романов, повестей и рассказов, переведенных на многие языки,— Садовяну был выдающимся борцом за мир и другом Советского Союза — страны, которую он еще в 1920 году назвал «глашатаем мира». На рабочем столе Садовяну осталась незаконченная рукопись книги о Советском Союзе. По словам писателя, она должна была стать «мостом, перекинутым в завтрашний день».

Имя замечательного писателя, лауреата международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» Михаила Садовяну пользуется глубоким уважением в Советском Союзе. Его книги, издающиеся у нас огромными тиражами, читают и будут читать миллионы советских людей.

Эуджен Жебеляну

СИЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СЛОВА

Умер Михаил Садовяну. Умолк не голос, а сонм голосов, оборвалась не песня, а мощный хорал, в котором темы минувших веков и нашего времени сплетались воедино с волнующей симфонией румынской природы.

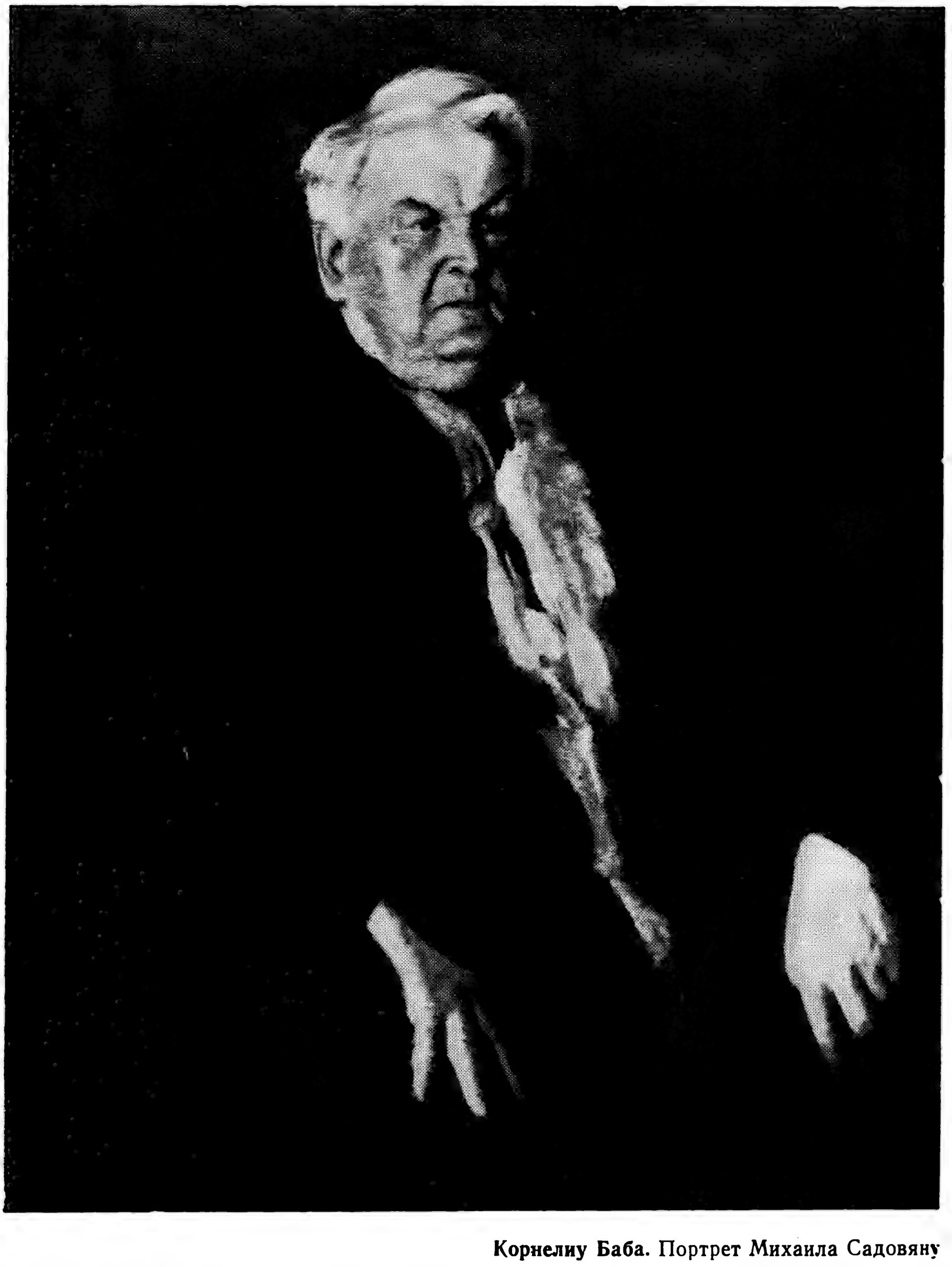
Любимый наставник наших писателей, он жизнью своей и творчеством показал, каких вершин может достичь художник. Он показал, что истинно великим может стать лишь народный писатель. Румынская литература не знала более достойного, более блестящего представителя. Мало кто из наших писателей так ясно понимал, какое место занимает в жизни народа песня, зовущая мечта, труд свободного художника, осознавшего свое высокое назначение.

Он был не только выдающейся личностью. Он был художником, запечатлевшим духовную мощь народа, его прошлое, настоящее и становление на путях новой жизни. В его книгах, охватывающих огромный период истории румынского народа — от XVI века до наших дней, от Никоарэ Подковы до Митри Кокора,— слышится поступь веков.

В гордости его не чувствовалось ничего надменного. Она являлась выражением тех высоких полномочий, которыми народ удостаивает верных ему писателей. Его сдержанность и глубина заставляли вспомнить о мудрости летописцев. Он был мечтателем и энтузиастом, но энтузиазм его — плод ясновидения, уверенности в том, что «свет идет с востока», как он сам заявил после 23 августа 1944 года. Имя его окружала глубокая любовь в Румынии и за ее пределами. Немногие художники оправдали с такой честью звание писателя.

Он возделывал свое поле собственной мотыгой, окропляя его потом, и этим полем служила ему вся румынская земля. Он признавал одного-единственного хозяина — народ, тружеников, простых людей,— тех обиженных и оскорбленных, которые в конце концов под водительством своей партии пришли к победе.

Он был рядом с крестьянами и рабочими



Корнелиу Баба. Портрет Михаила Садовяну

в дни восстания 1907 года. Он был с ними и в тяжкий 1916 год, год вступления Румынии в империалистическую войну. Он был со своим народом и его партией в час окончательной победы 23 августа 1944 года. Его большое сердце всегда билось в унисон с сердцами миллионов. С глубоким волнением перечитываешь ныне строки

написанные Садовяну в 1916 году: «В сизой дымке расстояний и веков я видел, словно в черном ободке окуляра, еле различимый силуэт пахаря, склонившегося над сохой...

Я видел внутренним взором, как он шел ко мне из глубины веков в голубоватом сумеречном сиянии. Он погонял быков, и бескрайнее поле покрывалось черными бороздами. Иногда он останавливался, рукавом вытирая пот со лба. Так пересекал он пространство и время. Все тяжелей становился плуг, все мучительней напрягались быки, все печальней горели глаза пахаря, словно застланные слезой. Он брел из тьмы веков, склоняясь над бороздою. И вдруг мне почудилось, что он остановился передо мной в неясных сумерках, измученный, бледный... Быки тяжело дышали. Жестом, исполненным трагизма, пахарь поднес руку ко лбу и устремил усталый взгляд на солнце, погружавшееся в кроваво-красную пучину».

Михаилу Садовяну выпало счастье увидеть и изобразить сыновей и внуков этого бредущего в сумерках горемыки-пахаря. Он создал образ Митри Кокора, труженика, озаренного сиянием новых времен.

Он и сам был великим тружеником. Собрание его сочинений — это целый материк. В стране, где язык был оружием в руках политических дельцов, он утвердил силу человеческого слова. Он показал, что литература — не пустая забава господ, что она призвана служить народу, что она необходима народу. Он доказал, и доказал блестяще, что творчество писателя есть самая высокая форма выражения мыслей, чувств и чаяний народа.

Суан Зьеу

ВЕЛИКИЙ ПОЭТ ВЬЕТНАМА

В Демократической Республике Вьетнам народ высоко чтит память основоположника вьетнамской классической литературы — поэта-патриота, видного государственного деятеля и полководца Нгуен Чая (1380—1442).

Недавно опубликованный сборник стихотворений Нгуен Чая содержит первые из дошедших до нашего времени значительных поэтических произведений на вьетнамском языке.

Читая стихи Нгуен Чая, размышляя о его жизни, я думаю о горных вершинах — очень высоких и очень зеленых,— над которыми проплывают громады облаков. Они вечно молоды, эти древние горы, как вечно молод в памяти вьетнамского народа облик Нгуен Чая. И рядом — другой образ: горы, пораженные молнией. Это — трагедия Нгуен Чая, трагедия известного государственного деятеля, павшего от меча жестокого тирана.

Политическая, военная, творческая деятельность Нгуен Чая заслужила чрезвычайно высокое признание современников: «в истории Вьетнама не было еще такого человека», «его талант делает страну прекрасной», «такого таланта раньше мы не знали» — эти строки написаны о нем.

Он был выдающимся политиком и стратегом, героем борьбы вьетнамского народа за независимость против китайских феодалов династии Мин, участником восстания, которое поднял против захватчиков будущий король Вьетнама Ле Лой.

Нгуен Чай блестяще выступал в жанре военной публицистики. О его открытых письмах, обращенных к врагам, говорили, что каждое из них не уступало по своей силе боевому отряду. От имени короля он пишет «Великий призыв уничтожить феодалов Нго». Этот документ, летопись десятилетней борьбы народа за независимость,— ценный литературный памятник, оригинальнейший по ритмике, образной структуре, музыке языка.

После восстановления независимости страны Нгуен Чай живет при дворе короля. Он становится видным государственным деятелем. В эти годы им создается «География Вьетнама».

При дворе Нгуен Чай чувствовал себя чужаком — его не любили за откровенность и прямоту. Он хорошо знал, что двор — это место, где ведется борьба за должности, где люди без сердца выставляют напоказ перед королем свои мнимые заслуги, и их, этих людей, так много, что не пересчитаешь, как не пересчитаешь травинки на лугу. «Душа его не могла войти в дверь власти». Его взгляды, характер, устремления — все восставало против самого духа феодальных установлений. Эта драма глубоко запечатлена в творчестве Нгуен Чая.

Через несколько лет он ушел в отставку и поселился в горах Кон-Шон, но вскоре был снова вызван ко двору. К тому времени Ле Лой уже умер. Страной правил его сын Ле Тхай Тон. В 1442 году двадцатилетний король Ле Тхай Тон отправился проверять сооружения вблизи Кон-Шона, и Нгуен Чай пригласил его в свой дом в Кон-Шон. На обратном пути в столицу король скоропостижно скончался. Враги Нгуен Чая обвинили его в причастности к гибели короля. 19 сентября 1442 года на-

циональный герой и его семья были казнены.

Прошло уже более пяти веков, с тех пор как умер поэт, но слово его и сегодня находит живой отклик в сердцах вьетнамцев. И сегодня оно дышит живым огнем любви к родине, к народу, сочувствием к его стремлениям, протестом против несправедливости. Глубокая горечь звучит в строках его стихов:

Маленький шалаш в углу Южной крепости.
Сыты водой, но не хватает риса.
Служанка ушла, и никто не может ее найти.
Тощие лошади, у них нет пастуха.
Тесный пруд, тут не прокормится даже рыба.
Бедны так, что не могут накормить даже собаку.
Ночи напролет она лает и не дает заснуть.

Нгуен Чай всегда чувствовал себя в долгу перед народом, перед родиной. Однажды король попросил его высказать свои суждения по поводу музыки. Нгуен Чай заявил королю: «Мир — это основа музыки... Прошу вас любить народ и руководить так, чтобы ни в одном уголке страны не было ни одного звука страдания. Тогда основа музыки сохранится». «Уничтожить яд, уничтожить зло, сделать, чтобы не осталось жаждущих. Стремиться быть благородным, мудрым, храбрым»,— так говорил он о цели жизни.

Стихи Нгуен Чая глубоки по мысли, легки и изящны по стилю. Лиричны его описания природы родного края. Природа словно вторит его мыслям и чувствам.

Гора — это моя соседка, птица — мой друг,
Облако — мой гость, луна — сестра моя.

Или:

Лунной ночью пьешь из чаши лунный свет,
А тихим днем поднимаешь букет и рассматриваешь цветы.

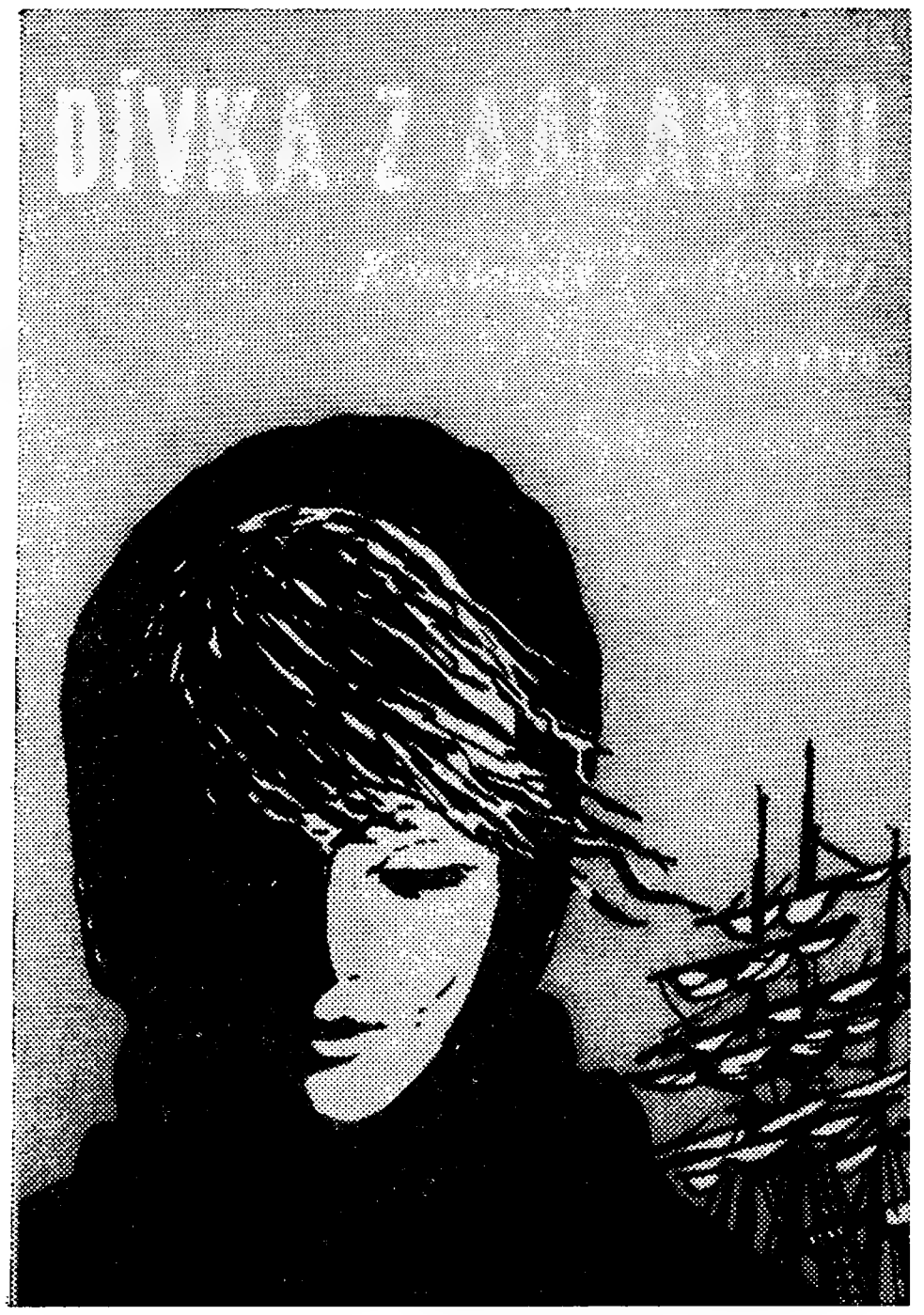
Ветер, вода, птицы, цветы, трава — это его братья, и поэт как бы одухотворяет их.

Рукопись сборника, в который вошли 254 стихотворения Нгуен Чая, была утеряна несколько сот лет назад и найдена совсем недавно, в 1957 году. Вьетнамский народ вновь обрел великого поэта.

Лодка стихов Нгуен Чая переплыла бурное море времени и пристала у берегов Демократической Республики Вьетнам, она никогда больше не подвергнется опасности: свет великих мыслей певца вьетнамского народа будет всегда озарять наши сердца

г. Ханой

НА ВСЕХ языках



«Северная повесть» Константина Паустовского была издана в чехословацком издательстве «Свет Совету» под названием «Девушка с Аландов».

Кубинское государственнсе издательство «Импренса насьональ де Куба», по сообщению газеты «Революсьон», выпустило в свет книгу М. Горького «Детство».

□

«Мои университеты» М. Горького вышли в лиссабонском издательстве «Эштудиуш Кор» на португальском языке под названием «Зарабатывая мой хлеб». Сообщая об этом, журнал «Ливруш ди Португал» пишет: «Максим Горький, знаменитый русский писатель, книги которого переведены во всем мире, написал «Зарабатывая мой хлеб» — волнующее свидетельство того, кто был певцом жизни русского народа...»

Итальянское издательство «Эдитори риунити», как сообщает журнал «Ринашита», начало выпуск новой серии произведений русской и советской литературы за последние полвека. Среди уже вышедших в свет книг — «Бронепоезд 14-69» Всеволода Иванова и «Алые паруса» Александра Грина.

По сообщению еженедельника «Вие нуове», в этом же издательстве вышли следующие книги: «Продолжение легенды» Анатолия Кузнецова, повесть Виктора Некрасова «Кира Георгиевна» и две пьесы Евгения Шварца «Голый король» и «Дракон».

«Продолжение легенды» — первое произведение молодого писателя, пишет рецензент, посвящено новому поколению советской молодежи, его взглядам и убеждениям. Автор утверждает непоколебимость социалистических принципов и критикует явления, противоречащие этим принципам.

□

По сообщению еженедельника «Политика», в переводе на польский язык Р. Енджеевича издана ранняя повесть Константина Паустовского «Романтики».

□

Рецензируя вышедший в издательстве «Эдитёр франсе реюни» роман Леонида Соболева «Капитальный ремонт», Андре Стиль на страницах газеты «Юманите» отмечает, что перевод Мадлен Перюс передает все оттенки стиля большого писателя.

В своей рецензии Андре Стиль рассматривает романы «Капитальный ремонт» Леонида Соболева, «За власть Советов» Валентина Катаева и «Московские зори» Льва Никулина. По словам Андре Стиля, «в этих трех романах, как во всей советской литературе, выражены любовь к народу, пламенное сочувствие его борьбе, вера в определенный ход исторических событий, без чего не может быть в нашу эпоху вдохновенного и ясного видения...»

□

В берлинском издательстве «Ферлаг дер национ» (ГДР), как сообщает еженедельник «Зоннтаг», вышла лирическая хроника Веры Инбер — «Место под солнцем».

□

До сих пор В. Солоухин был известен в Чехословакии как прозаик, пишет рецензент еженедельника «Литерарни новины». С поэтом Солоухиным чешского читателя знакомит вышедший недавно в переводе И. Шотолы поэтический сборник «Как пьет солнце».

Любовь к природе, к родине, к человеку — творцу прекрасного, по словам рецензента, звучит в новых стихотворениях В. Солоухина. В сборнике «воплощено отношение автора к действительности. Это — вклад писателя в дело познания сегодняшнего мира, его материалистического понимания».

□

В издательстве «Ауфбау» (ГДР) вышел роман Михаила Жестева «Золотое кольцо». В этом романе много от репортажа, отмечает критик еженедельника «Зоннтаг». Жестев сочетает в своей писательской манере актуальность публициста и мастерство художника.

□

Еженедельник «Литературен фронт» сообщает об издании на болгарском языке повести Николая Чуковского «Последняя командировка» в переводе Лиляны Дамяновой.

□

Софийское издательство «Народна култура» выпустило в свет роман Анатолия Иванова «Повитель» в переводе на болгарский язык Сидера Флорина.

В переводе Р. Тренкова на болгарском языке вышла книга Абдуллы Каххара «Птичка-невеличка».

□

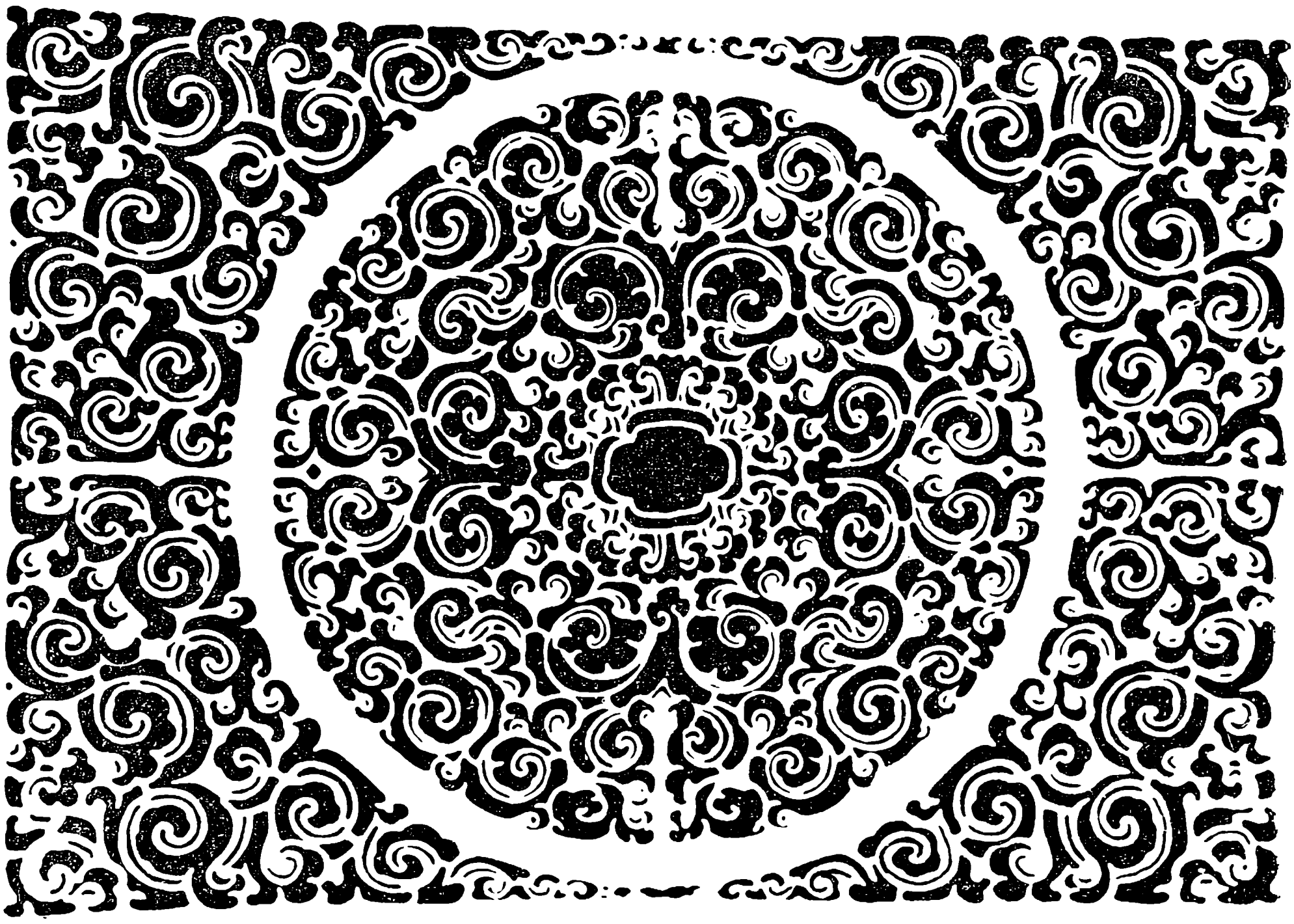
Как сообщает будапештский бюллетень «Тайекозтато», в издательстве «Сэпиродалми киадо» вышел в свет на венгерском языке сборник рассказов Юрия Казакова.

□

Венгерский журнал «Надь вилаг» опубликовал подборку стихов Евгения Винокурова.

□

В ежеквартальном французском журнале «Стендаль клюб», издаваемом в Гренобле, опубликована рецензия на работу Я. Фрида «Стендаль. Очерк жизни и творчества». Отметив, что книга советского литературоведа «представляет собой серьезное научное исследование», рецензент пишет: «Для советских литературных критиков Стендаль особенно интересен своими революционными воззрениями».



Лубсанжамц. Орнамент

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

В. Клюева

СЕРЕБРЯНОЕ ДЕРЕВО И ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ЛЕТ СЧАСТЬЯ

(Таланты народной Монголии)

Изобразительное искусство Монголии имеет многовековую историю, и, только познакомившись с ней, можно говорить о его современном развитии.

В феодальный период изделия народных мастеров украшали быт и употреблялись в буддийских храмах для совершения треб Украшения одежды, орнаменты на ширдэг — войлочных подстилках, резьба по серебру, расписные двери в юртах, юртовые сундуки (авдар), украшенные орнаментом, резные чаши (пиалы) — все это отражало вкусы народа и свидетельствовало о высоком чувстве прекрасного. Буддийские монастыри также сыграли немалую роль в развитии живописи и скульптуры. При них существовали живописные и литейные мастерские, где изготовлялись образа на холсте и шелке, а также литые статуи (бурханы) и другие предметы культа.

Искусство Монголии теснейшим образом связано с культурой Индии, Тибета, Китая и Среднего Востока. Археологическая экспедиция Академии наук СССР, возглавляемая С. В. Киселевым, нашла при раскопках древней столицы Монголии Каракорума орнаменты на посуде, пришедшие с далекого запада. Профессор Ринчен пишет об этой преемственности культуры: «...народный декоративный орнамент до сих пор хранит преемственность старинных связей с древними культурными народами. Например, животный орнамент на изделиях из металла, в аппликациях и вышивках, исполненных гобийскими умельцами XIX — начала XX века, поразительно напоминает так называемый скифский стиль находок из курганов».

Путешественники XIII века, побывавшие в Каракоруме, рассказывали о необыкновенно пышной отделке ханского дворца, упоминали о чудесном серебряном дереве, из веток которого по желанию можно было нацедить любые вина.

Для искусства Востока характерна символика; она сказалась и в произведениях монгольского искусства. Орнаменты говорили языком символов. Один из любимых орнаментов Монголии — ульзи — символизировал вечное счастье, а орнамент тумун жаргалан сулил десять тысяч лет счастья

Н. Жамба. Укрощение скакуна

Г. Одон. После работы

Ядамсурэн.
Арат в зимней одежде

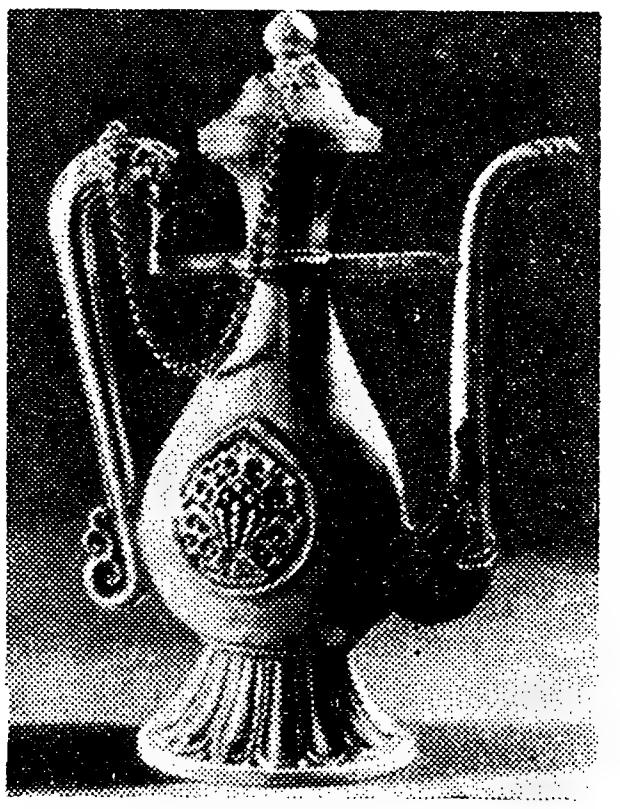
(традиционное монгольское пожелание).

Соответственно и чеканка на стремени и на седле выражала пожелание удачи всаднику, быстроты и неутомимости коню. Старинные ковры, висевшие над входом в юрту, расшифровывались теми, кто знал этот язык символов. Подробную расшифровку одного ковра приводит профессор Ринчен: «Пусть никогда не угаснет огонь очага в этом доме, а сердца его обитателей да будут чисты, как лепестки лотоса, корнями уходящего в ил, но свободного от донной грязи!»

Ковер с драконами, заимствованными из Китая, означал счастье и благополучие. Таким же символическим был национальный знак Монголии — соёмба.

Помимо прекрасных орнаментов, старая Монголия знала и живопись на холсте — это изображения будд райской страны диваджина, мучений грешников и т. п. Удивительны нестареющие краски этих картин, где превалируют ярко-зеленые и синие тона. Маслом монголы тогда не писали, а приготовляли краски особым способом, напоминавшим палехский.

В Новый год (Цаган Сар) ламы в монастырях устраивали целые представления, вырезая из замороженного масла различные фигурки. Много нужно было и умения и терпения для того, чтобы



Серебряный кумган

при этом достигать сходства с изображаемым оригиналом.

Знали монголы и искусство миниатюры. В краеведческом музее Улан-Батора висит полотно, на котором в миниатюрах изображен весь быт монгола: его жизнь в юрте, свадьба, охота, караванное передвижение, выпас скота в степи. Удивительна реалистичность и яркость этих произведений.

Народные традиции во многом определили современное искусство Монголии — его верность жизни, чет-

Н. Цултум. Зимний вечер

О. Мягмар. Полдень

кость линий, взятую от орнамента, прекрасное чувство скульптурной формы. Современная монгольская живопись знает два стиля: старый, идущий от орнамента, так называемый монгол дзуруг (монгольский рисунок), и стиль, усвоенный от лучших художников-реалистов других стран. Модернистский стиль живописи совершенно чужд монгольским художникам.

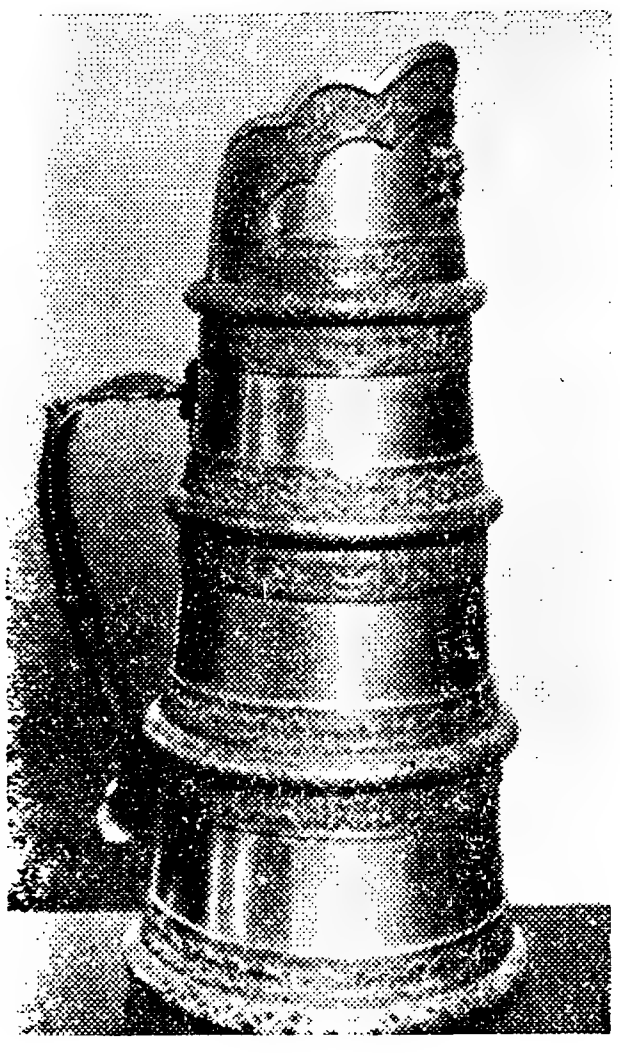
Живопись первых лет революции представлена плакатами, изданными ЦК Монгольской народно-революционной партии в 1922 — 1923 годах. Они носили политический характер и были посвящены вопросам международного и внутреннего положения. Однако по манере выполнения эти плакаты были тесно связаны с народной традицией.

Очень часто обращались монгольские художники к образу Владимира Ильича Ленина. В изобразительном искусстве нашло отражение замечательное событие, оказавшее огромное влияние на судьбу монгольской революции,— встреча Сухэ-Батора с В. И. Лениным. Художник Чойдон запечатлел на полотне Ленина в Кремле, разговаривающего с Сухэ-Батором. В 1952 году к этой же теме вернулся художник Ядамсурэн, разрешив ее в духе старой монгольской живописи. Художник Марзан Шарав в своеобразной манере изобразил Владимира Ильича на митинге. Очень удачен был плакат этого художника «Лампочка Ильича». Он же написал портрет Ленина с любимым священным орнаментом монголов из лянхуа (лотоса).

В 1943 году в Монголии была создана творческая организация художников «Монголизо»; в Улан-Баторе существует художественная школа. Среди деятелей искусства Монголии немало окончивших высшие художественные учебные заведения в Советском Союзе.

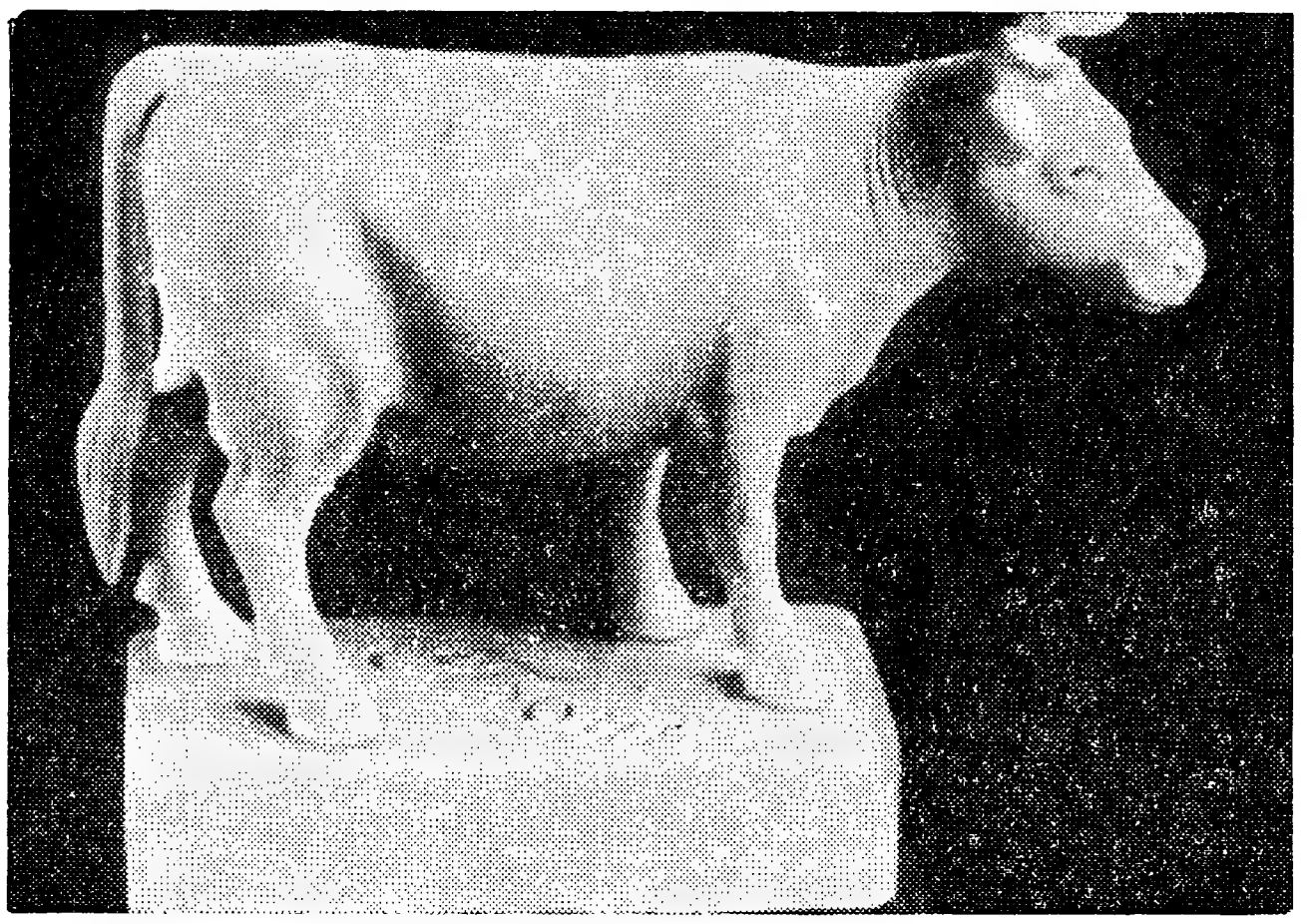
Говоря о художниках Монголии, следует прежде всего назвать имя Д. Манибадара, который недавно от-

Кувшин для чая

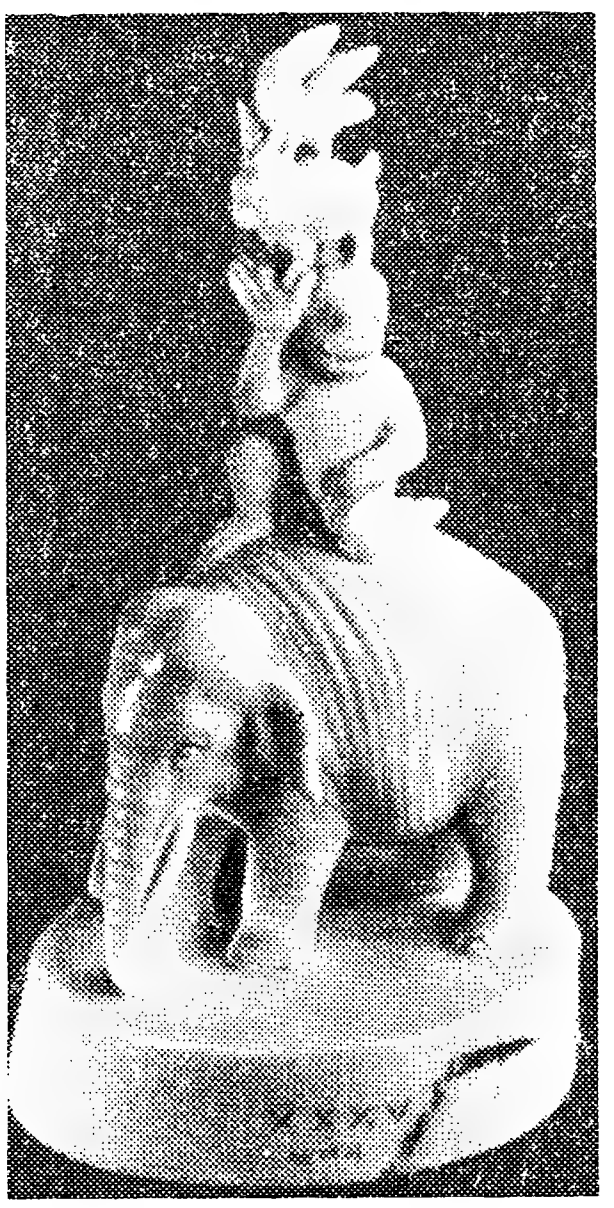


Ядамсурэн. Девушка-аратка

Доржи. Доярки *(слоновая кость)*



Гебши. Корова *(слоновая кость)*



Сенге.
Четверо дружных
(слоновая кость)

метил свое семидесятилетие. Это старый мастер, вышедший из школы иконописцев. Он рассказывает, что перенял от брата профессии кузнеца, столяра, резчика по дереву, ювелира и художника. Лауреат премии Чойбалсана и великий мастер орнамента, он собрал до тысячи его образцов. Очень интересны также портреты работы Манибадара, созданные в оригинальной манере

О. Цэвэгжав. Доярка

Гебши. Шахматы из слоновой кости

Доржи. Лоси *(слоновая кость)*

и обрамленные орнаментом. Он работал в самых разных жанрах: резал по дереву и кости, чеканил на серебре, делал статуэтки и маски из папье-маше, составлял композиции из орнаментов для росписи плафонов и стен, расписывал переплеты древних рукописей.

Его кисти принадлежат расписные плафоны в залах музея Сухэ-Батора и Чойбалсана и роспись некоторых залов в Государственном театре. Он создал получившие широкую известность плакаты «Монголия» и «Голубь мира».

Мани. Верблюд

Н. Цултум. Юрты в степи

Большой популярностью пользуются картины известного художника Цэвэгжава «Нападение волков на стадо», «Возвращение после войны», «Подвиг героев». Признанным мастером портрета является Ядамсурэн. Художник Намхайцэрэн работает в области батальной живописи. Известны его картины «Взятие Кяхты» и «Партизаны в бою». Художник Гава, учившийся в Советском Союзе, завоевал признание как прекрасный декоратор. Ему принадлежит оформление спектакля «Отелло» и балета «Бахчисарайский фонтан», поставленных в Улан-Баторе.

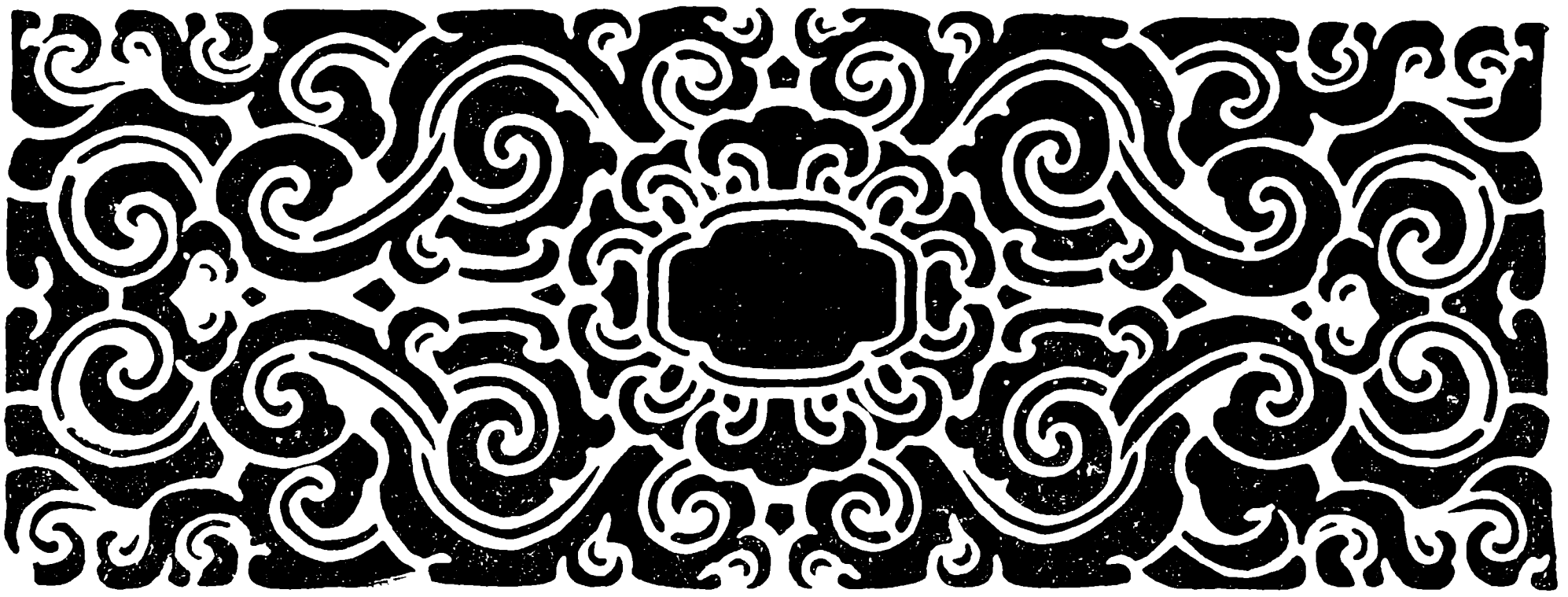
Значительное развитие получила скульптура. Улицы и площади столицы Монгольской Народной Республики украшены памятниками работы отечественных скульпторов. На центральной площади города стоит памятник Сухэ-Батору работы талантливого скульптора Чоймбола. Его резцу принадлежит также скульптура Чойбалсана, установленная около университета. Оригинальную скульптуру «Укрощение скакуна» создал ваятель-самоучка Жамба.

Любители искусства в Советском Союзе имели возможность знакомиться с искусством Монголии на нескольких выставках. Здесь экспонировались живопись, графика, скульптура и прикладное искусство. Кроме работ Манибадара, привлекли общее внимание зимний пейзаж с лиловым фоном гор кисти Одона, «Река Тола», акварель в голубых тонах Дондога, «Река» (масло) и «Верблюды в степи» (масло) Цултума. Интересны также декорации молодого художника Махвала к спектаклю «Далан Худалч» и к опере «Три печальных холма».

Монгольский народ любит и ценит свое изобразительное искусство. В каждой семье можно увидеть предметы, искусно вырезанные из камня, дерева или кости, гравюры, вышивки и аппликации.

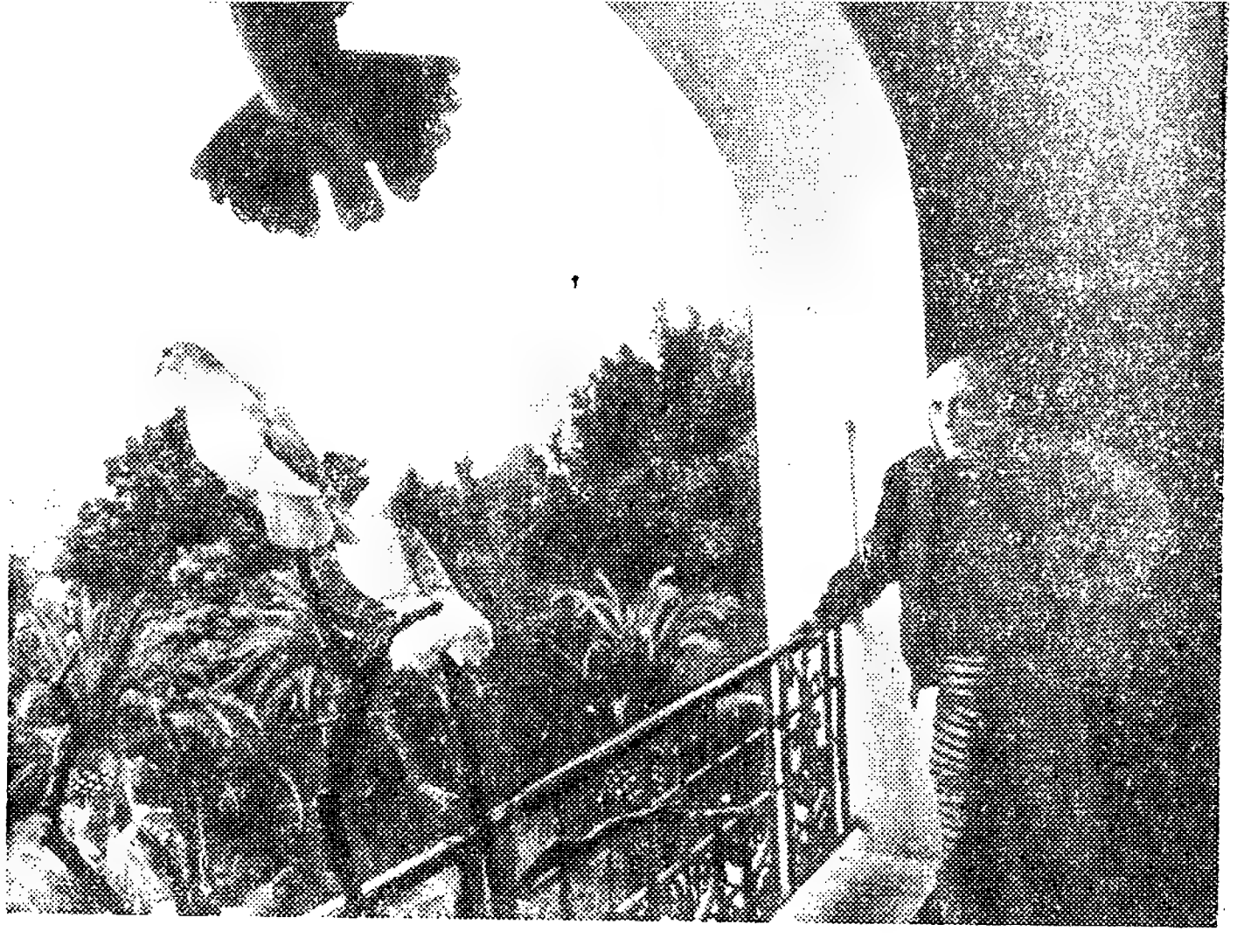
За годы революционной власти народ получил широкую возможность развивать свои таланты. Искусство в Монголии воистину принадлежит народу, создается на подлинно национальной основе.

Лубсанжамц. Орнамент



В этом году художественная общественность всех стран отмечает восьмидесятилетие Пабло Пикассо — знаменитого художника и неутомимого борца за мир. Как творчество Пикассо — сложное и во многом противоречивое, но всегда вдохновенное и глубоко человечное в своих истоках,— так и его общественная деятельность получили мировую известность.

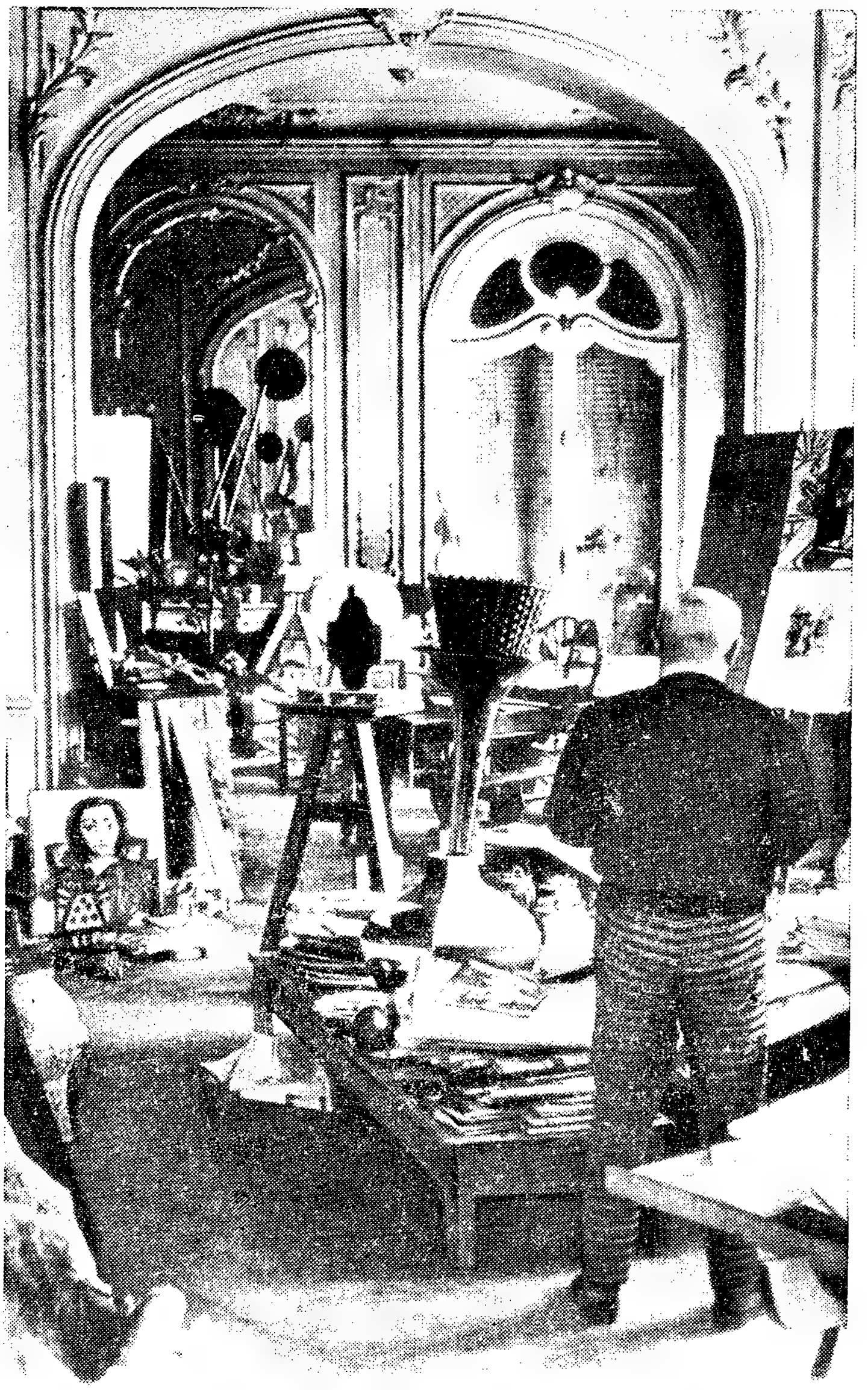
Ниже мы печатаем фрагменты из книги американского фоторепортера Дэвида Дугласа Дункана «Пикассо у себя дома».



Дэвид Дуглас Дункан

ПИКАССО У СЕБЯ ДОМА

Фрагменты из книги



В основу этой книги положено несколько сот фотографий, которые я отобрал из более чем 1000 снимков, сделанных мной в доме Пикассо. Я познакомился с Пикассо, когда ему уже исполнилось семьдесят четыре года, и в течение трех месяцев, пока я гостил у него, он все время, с утра до позднего вечера, был под прицелом моего аппарата. Он никогда не позировал для меня и никогда не мешал мне снимать все, что я хочу. Все мои снимки сделаны при естественном освещении и в той обстановке, в которой живет и работает великий художник.

Уже перед отъездом я подумал, что, может быть, некоторые из фотографий Пикассо не захочет увидеть в книге, и спросил его об этом. Он был поражен. «Как это могло прийти вам в голову? Это **ваша** книга. Вы показали меня таким, каким видели... Ваши снимки правдивы».

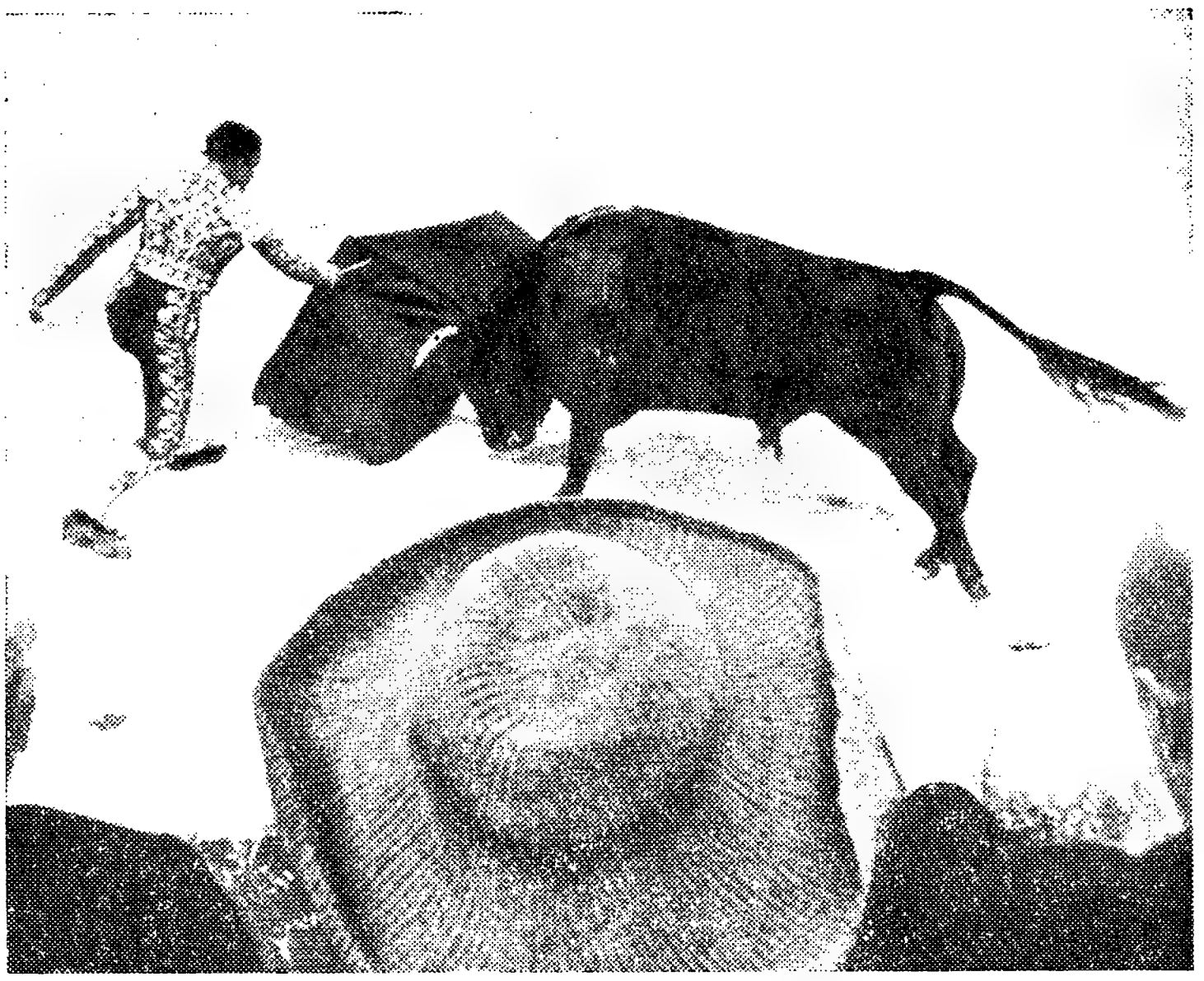
...Пикассо почти никогда не покидает своей виллы. Он уклоняется от всех приглашений на торжества и приемы и редко присутствует даже на открытии выставок своих собственных работ. Но есть зрелище, ради которого он готов оторваться от дел Это бой быков в Арле — южном французском городке, где другой художник, Винсент Ван-Гог, когда-то рисовал палящее солнце, в конце концов погубившее его.

Пикассо старается каждый год бывать, по крайней мере, на одной корриде.

Испанцы, живущие в Арле, принимают его как легендарного героя. Я видел, как за ним следовала толпа поклонников, когда он под руку с Жаклин* проходил по улицам города. Рядом с Пикассс шел его 37-летний сын Поль, приехавший сюда из Парижа,— высокий, широкоплечий мужчина. Мы знаем его мальчиком на портретах, трогающих сердца миллионов людей. Когда художник направился к цирку, перед ним, словно из под земли, выросли безмолвные телохранители, чтобы проложить маэстро путь через толпу. На многих корридах он был «почетным гостем». В свою очередь, Пикассо, который ненавидит парадные костюмы и не расстается со своими брюками в черно-белую поперечную полоску и с грубой рыбацкой блузой, на этот раз облачился в темно-синий костюм, белую рубашку и галстук — атрибуты, предназначаемые лишь для самых торжественных случаев. Никто в Арле даже и не догадывается, чего стоит ему этот жест.

---

* Жена художника.



Начался бой быков. Развевающиеся знамена, звуки труб, пышность и великолепие... Взмыленные лошади, нацеленные бандерильи, разлетающиеся плащи, все нарастающий неистовый рев... И вдруг — жуткая тишина... Толпа затаила дыхание... Смерть.

Пикассо сидел неподвижно, опустив руки и не произнося ни слова, отчужденный от всех. Лица его не было видно. Но, конечно, в эти минуты в его глазах не отражалось ничего, кроме движений быка и матадора.

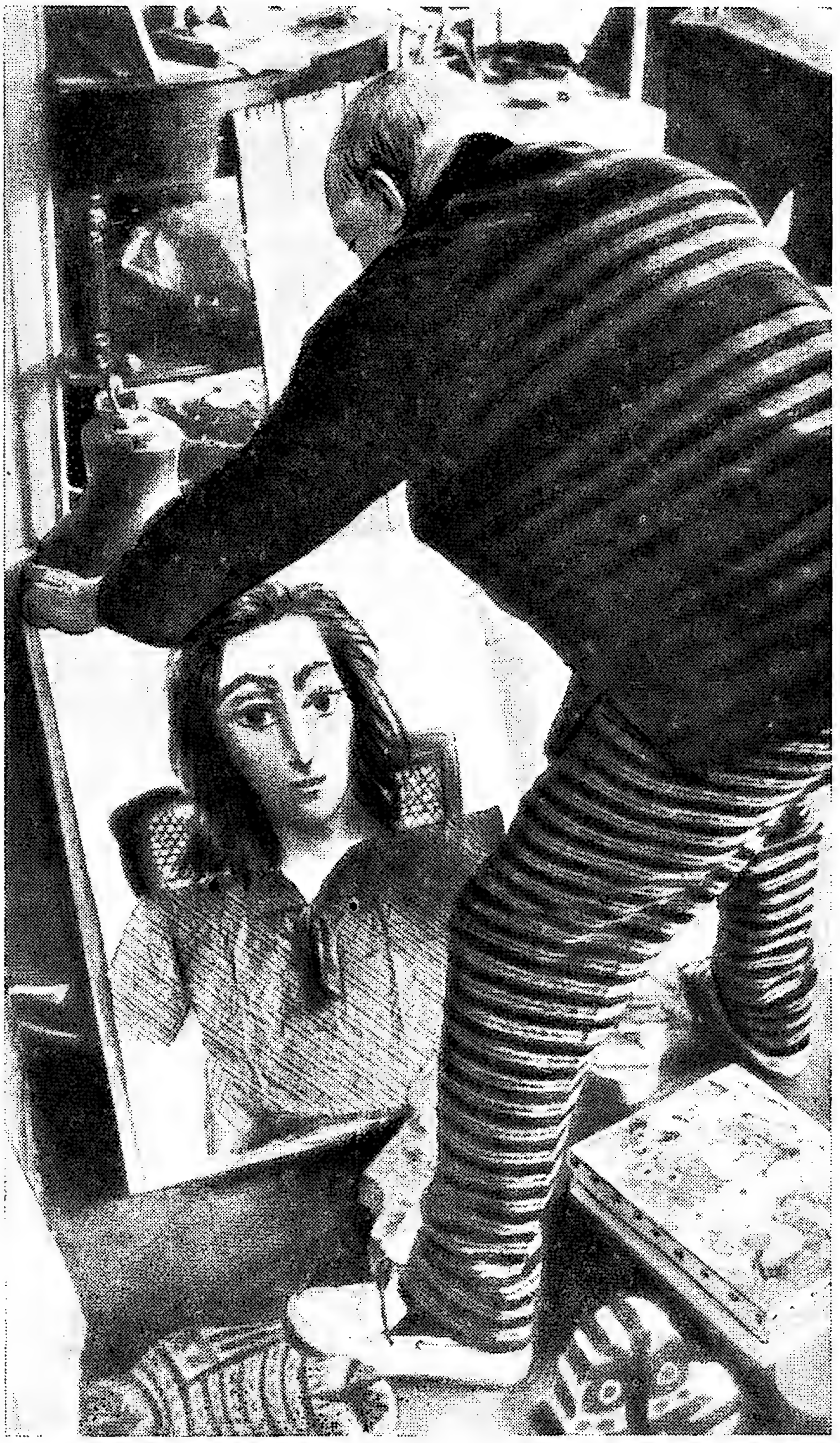
...Несколько дней спустя, стоя за спиной у художника, я увидел нечто поистине великолепное. Пикассо изобразил испанский бой быков, весь его ход, от первого сигнала трубы до последнего смертельного удара. На протяжении трех часов передо мной вновь оживала арльская коррида. И в то же время это было воплощение корриды вообще, любой корриды. Пикассо, макая тонкую кисточку в темный сахарный сироп, рисовал на блестящих медных тарелках. И по мере того как он рисовал, я снова видел, как на гарцующих лошадях выезжают на арену матадоры и пикадоры. Первый бросок быка... Изящные, почти женственные движения бандерильеро, совершающих свои пируэты у самых рогов... Смертельно раненное, но все еще гордое животное, готовое даже в эту последнюю минуту достойно встретить противника... И наконец традиционное торжественное прощание, когда матадор и все участники боя почетным караулом стоят вокруг умирающего быка, который медленно опускается на песок.

Пикассо рисовал спокойно и неторопливо. Его рисунки шли слева направо. Он был похож на средневекового летописца, излагающего романтическое сказание, только вместо витиеватых строчек из-под его руки появлялись взметнувшиеся пики, растерзанные кони и опьяненные жестокой радостью люди. Одно движение кисти рождало законченную фигуру. На каждую тарелку уходило не более 2—3 минут. Когда кисточка отрывалась от медной поверхности, рисунок был закончен, и художник больше не прикасался к нему.

Только один раз он внес поправку. Отодвинув в сторону тарелку с изображением стремительной атаки, он снова придвинул ее к себе и кончиком носового платка стер изображение матадора. Потом, подняв на меня глаза, но не замечая меня, Пикассо пробормотал: «Он допустил ошибку». Матадор допустил ошибку. И Пикассо заново нарисовал его — на этот раз тореро взлетел высоко вверх, подброшенный рогами разъяренного быка. Да, ошибка была очевидна! Разыгрывавшаяся перед нами драма целиком захватила художника, хотя он сам был ее автором и ход событий зависел только от него.

...Пикассо начал доставать из угла сваленные там картины, отбирая холсты, которые он хотел послать на выставки своих работ в Нью-Йорк, Чикаго и Филадельфию...

Один за другим появлялись портреты Жаклин: турчанка с миндалевидными глазами, сфинкс с длинной лебединой шеей и наконец просто Жаклин, в черной шали и черном свитере.



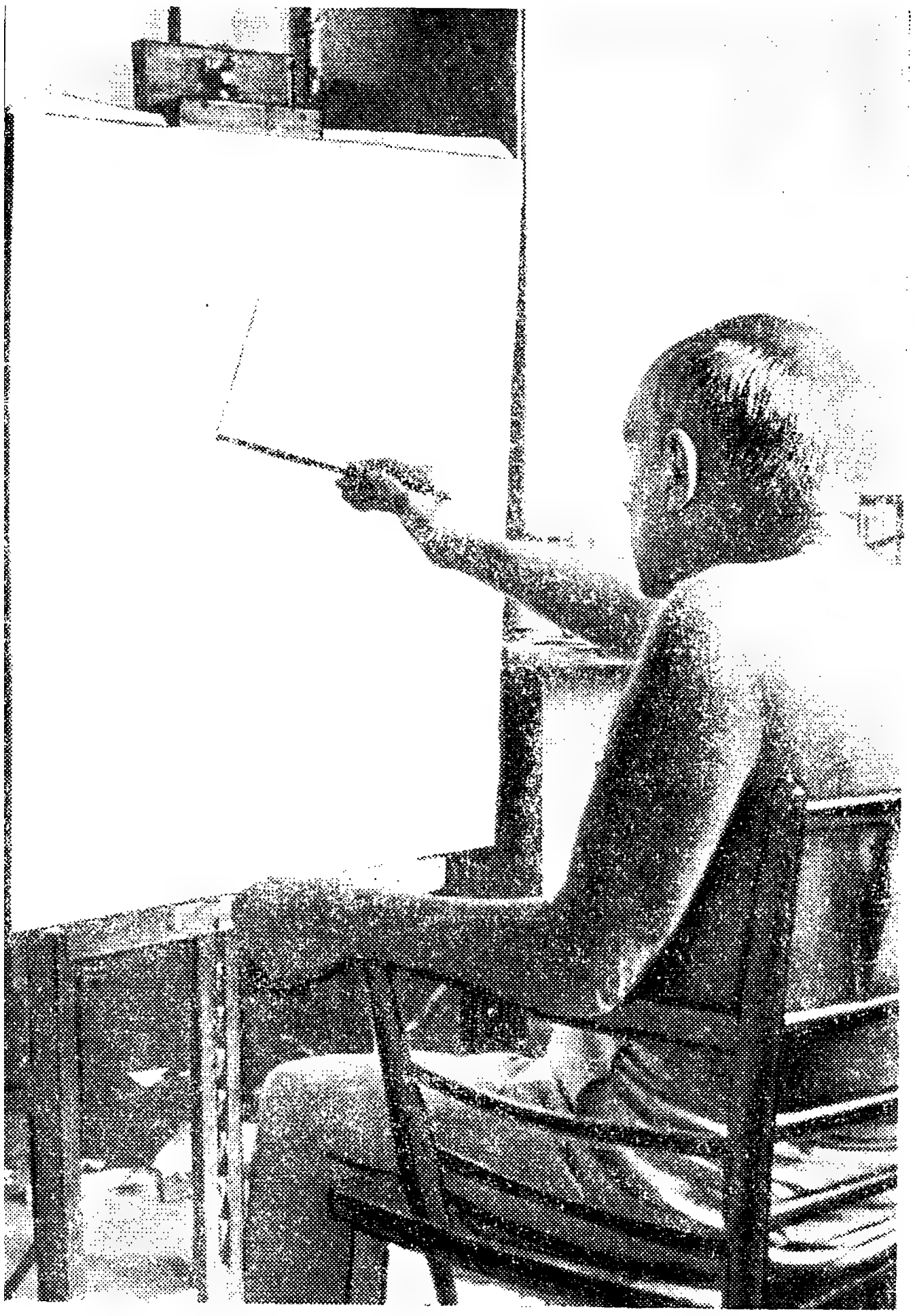
Когда Пикассо на мгновение остановился позади последнего портрета, глядя на меня своими темными, горящими глазами, мне захотелось узнать, о чем он сейчас думает,— ведь этот опоэтизированный образ женщины, исполненный душевного покоя, еще никто никогда не фотографировал и не видел за пределами студии.

...Иногда Пикассо охватывает тоска по родине.

С того времени, когда гражданская война в Испании окончилась победой франкистов, республиканец Пабло Пикассо ни разу не приезжал к себе на родину. И, конечно, разлука со своей страной дается ему нелегко. Ведь Пикассо — истинный испанец. Это проявляется во всем: и в его простом и чистосердечном гостеприимстве, и в глубокой привязанности к дому, и в неизменной любезности по отношению ко всем, даже к людям, докучающим ему, и в самом его облике, и в том, что он чужд холодной рассудочности и нередко становится на сторону слабого из чисто эмоциональных побуждений, и в его фанатичной любви к тем местам, где он родился, хотя он с гордым упорством отказывается посетить родной город, выражая таким образом свой протест против франкистского режима.

Я понял, что Пикассо тоскует по Испании, когда увидел его в накинутом на плечи плаще матадора и очень прямо надетой шляпе с жесткими полями. Жаклин он закутал в прозрачную мантилью, мягко уложив кружевные складки. В эту минуту он мысленно был у себя на родине. Но когда я заглянул ему в глаза, мне стало очень грустно.

Я мог часами с неослабевающим интересом смотреть, как работает Пикассо. Склонившись над столом или гончарным кругом, он, казалось, забывал обо всем на свете.



...Не говоря ни слова и без каких бы то ни было театральных приготовлений, художник взял кисть и одним движением руки провел прямую черную линию по белому холсту. Незыблемый запрет в кодексе современного искусства был нарушен — в своей собственной студии Пабло Пикассо рисовал под наведенным на него объективом фотоаппарата.

Сидя в своем любимом старом кресле-качалке, Пикассо усердно крутил веревку, стараясь попадать в такт с Паломой. Клод прыгал.

Я стоял в противоположном углу комнаты и смотрел на эту сцену: мальчик, прыгающий через веревку; взбудораженная девчурка и сосредоточенный взрослый мужчина, следящие за полетом веревки и одинаково увлеченные игрой; вместо задника — написанный углем пляж в Гарупе. И вдруг я понял, в чем истинное величие Пикассо и что он хочет сказать своим современникам и всем людям вообще, неважно, в какой форме — с помощью холста и красок, угля или акварели, глины или бронзы. Это ежечасный, безмолвный, ликующий возглас «Es una cosa muy гага!» * в ответ на все наши тайные размышления о том, что же такое жизнь.

---

* Это замечательная штука *(исп.)*.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

ПИСАТЕЛИ БЕЗ ИЗДАТЕЛЕЙ

«Писателям нужны издатели... Будущее австралийской литературы под угрозой!» — говорится в обращении, подписанном сорока двумя прозаиками и поэтами Австралии, среди которых — Катарина Сусанна Причард, Мэри Гилмор, Алан Маршалл, Фрэнк Харди, Джон Моррисон, Джуда Уотен, Гэвин Кейси, Димфна Кьюсэк, Ф. Б Викерс.

«Издание художественных произведений австралийской литературы упало, согласно данным официальной статистики, с 354 названий в 1946 году до 94 в 1958 Труд многих писателей пропадает зря Новые таланты не находят поддержки... Такова обстановка, в которой работают писатели...»

Литераторы, подписавшие обращение, выпущенное в виде листовки, предлагают различные пути оказания помощи национальной литературе и, в частности, призывают читателей всячески содействовать кооперативному издательству «Остралейшн бук сосайети» За последние восемь лет это издательство выпустило 27 книг австралийских авторов, из них 11 принадлежат начинающим писателям.

Выдающийся австралийский писатель Генри Лоусон явился главным героем пьесы показанной сиднейским Новым театром на ежегодном фестивале памяти Лоусона. Спектакль представляет собой инсценировку лучших рассказов этого писателя сделанную Ориэл Грей. Действующие лица спектакля — Генри Лоусон и его друзья — комментируют происходящее на сцене, знакомят зрителей с появляющимися персонажами объединяют сюжетные линии Газета «Трибюн» дает высокую оценку талантливой работе Ориэл Грей, завоевавшей широкую известность своей пьесой «Семья Торрентов» (см. «Иностранную литературу» № 5 1958). На снимке: Сцена из спектакля «Генри Лоусон»

(Газета «Трибюн»)

«ПО ДОРОГАМ СТРАНЫ»

Под таким названием вышел в свет второй сборник рассказов австралийских писателей. Первый появился в 1953 году и считался лучшей антологией австралийского рассказа. Новый сборник, составленный Джоном Бизли, отражает, по словам книжного обозревателя газеты «Трибюн», рост прогрессивной литературы, развитие демократических традиций в современной прозе.

В сборнике 23 рассказа, в том числе удостоенные премии имени Мэри Гилмор рассказы Дороти Хьюэтт «Джойи» и Веры Дикон «Прием у мэра».

«Эта великолепная антология,— пишет критик Р. Уильямс в журнале «Риэлист райтер»,— дает яркое представление о самых разнообразных и типичных сторонах сегодняшней жизни австралийских трудящихся: профсоюзная борьба и пролетарская солидарность, проблема аборигенов, судьба так называемых «новоавстралийцев» — иммигрантов из Европы».

Несмотря на непрекращающуюся в течение семи лет мужественную борьбу алжирского народа за свою независимость и свободу, культурная жизнь Алжира не замирает. С целью пропаганды народного искусства был создан Алжирский национальный ансамбль, который, по словам его руководителя Мустафы Катеба, будет напоминать, что алжирский народ миролюбив, любит петь, танцевать, смеяться, одним словом — любит жить. Спектакли ансамбля знакомят зрителей с народным творчеством различных районов Алжира. Герой первого спектакля — молодой боец, попавший в плен к французским колониалистам. В камере, где он заключен, ему снится сон: он видит свою мать, слышит ее голос, возникают отдельные сцены жизни его деревни. Финал спектакля возвращает к действительности: «Сегодня алжирцы не танцуют и не поют, им приходится сражаться...» В составе ансамбля — бойцы Фронта национального освобождения Алжира. На снимке: Момент выступления ансамбля.

(Газета «Африк аксьон»)

АВСТРИЯ

ДИСКУССИЯ О ПУТЯХ ТЕАТРА

«Институт театроведения при венском университете провел семинар на интересную тему — «Образ человека и театральные формы его изображения в атомный век». В семинаре приняли участие драматурги, критики, режиссеры и другие деятели театра Австрии и Западной Германии»,— сообщает газета «Фольксштимме».

Профессор Гейнц Киндерман в своем докладе «Смысл и необходимость театра в наше время» поставил такие вопросы: отражает ли театр насущные проблемы современности, является ли он органом критики и осуществляет ли борьбу за мирное существование человечества?

Австрийский драматург Фриц Хохвэльдер говорил о неоправданном отказе современного театра от драмы. Развивая эту тему, Хохвэльдер особое внимание уделил необходимости борьбы против бульварных пьес и призывал к созданию драматических произведений на актуальные темы. По его мнению, именно в драме наиболее полно можно отразить идеалы человечества.

Развернувшаяся оживленная дискуссия показала стремление прогрессивных австрийских и западногерманских театральных деятелей вернуть театр в лоно подлинного художественного искусства. По оценке газеты, дискуссия была «полезной и очень нужной».

АЛЖИР

НОВАЯ КНИГА МАЛЕКА ХАДДАДА

...Алжирский писатель Халед приезжает в Париж. Здесь на Кэ-о-Флер живет его старый друг Симон, тоже алжирец. Но ошибся Халед. Нет больше дружбы, и Симон уже не считает себя алжирцем: он начал забывать, что его родина — вовсе не Франция. «Кэ-о-Флер больше не отвечает»— так называется новый роман Малека Хаддада, выпущенный издательством «Жюллиар».

Потерял герой романа друга — есть жена, Алжир. Есть еще прекрасный город Париж. Халед мечтает о том времени, когда он приедет сюда вместе с женой. Война тогда кончится. Полицейские будут ловить лишь преступников. В глазах людей исчезнет страх. Все будет радовать сердце — и Сена, и веселое чириканье воробьев, и голуби на асфальте. А Париж может стать свободным и счастливым только тогда, когда Алжир получит свободу...

По мнению рецензента еженедельника «Леттр франсез», ничем не оправданная измена жены Халеда, уби-

той патриотами вместе с любовником — французским военным,— превращает роман Малека Хаддада «в какой-то крик боли и отчаяния».

АНГЛИЯ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ДЖОНА ОСБОРНА

Писатель Джон Осборн опубликовал в лондонском еженедельнике «Трибюн» присланное им из Франции открытое письмо, в котором содержится резкая критика политики, проводимой Макмилланом и Гейтскеллом.

«Это письмо наполнено чувством ненависти. И оно адресовано вам, мои сограждане,— пишет Джон Осборн.— Я имею в виду тех граждан моей страны, которые осквернили ее. Тех людей, чьи немощные руки ведут мою слепую, ослабевшую и ими же преданную родину к гибели. Вы — убийцы, и в моем мозгу почти ничего не осталось, кроме мыслей о том, что вы должны были бы быть уничтожены.

Я даже не могу начать мое письмо обращением «дорогие», так как одним этим словом я согрешил бы против своей ненависти».

«Я с удовольствием наблюдал бы, как вы умираете за Запад,— продолжает далее Осборн,— если бы только я мог сохранить для себя хоть минимальный кусочек этого Запада. А вы можете себе умирать за Берлин, за Демократию... За все, что вам понравится. В течение тридцати лет вы взращивали во мне мою ненависть. Постепенно вы ее усовершенствовали на свой лад и превратили в тот тупой и изношенный инструмент, каковым она является сейчас. Я надеюсь, что эта ненависть поможет мне устоять на ногах... А пока— проклятие тебе, Англия! Ты уже гниешь и очень скоро исчезнешь совсем. Моя ненависть переживет тебя — хотя бы только на несколько секунд. А мне хотелось бы, чтобы ненависть моя существовала вечно...

Я пишу это письмо из другой страны, и в душе моей жажда убийства, а в сердце моем — нож для каждого из вас. Я не одинок. Если бы МЫ были достаточно принципиальными и смелыми, мы нанесли бы вам удар сейчас, прежде, чем вы успеете от нашего имени совершить святотатство против человечества. Я отдал бы все за то, чтобы кровь ваша пала на мою голову.

Но все, что я могу предложить вам,— это свою ненависть. А она не произведет на вас впечатления, так как вы слишком толстокожи. Толстокожи, глухи, неуязвимы».

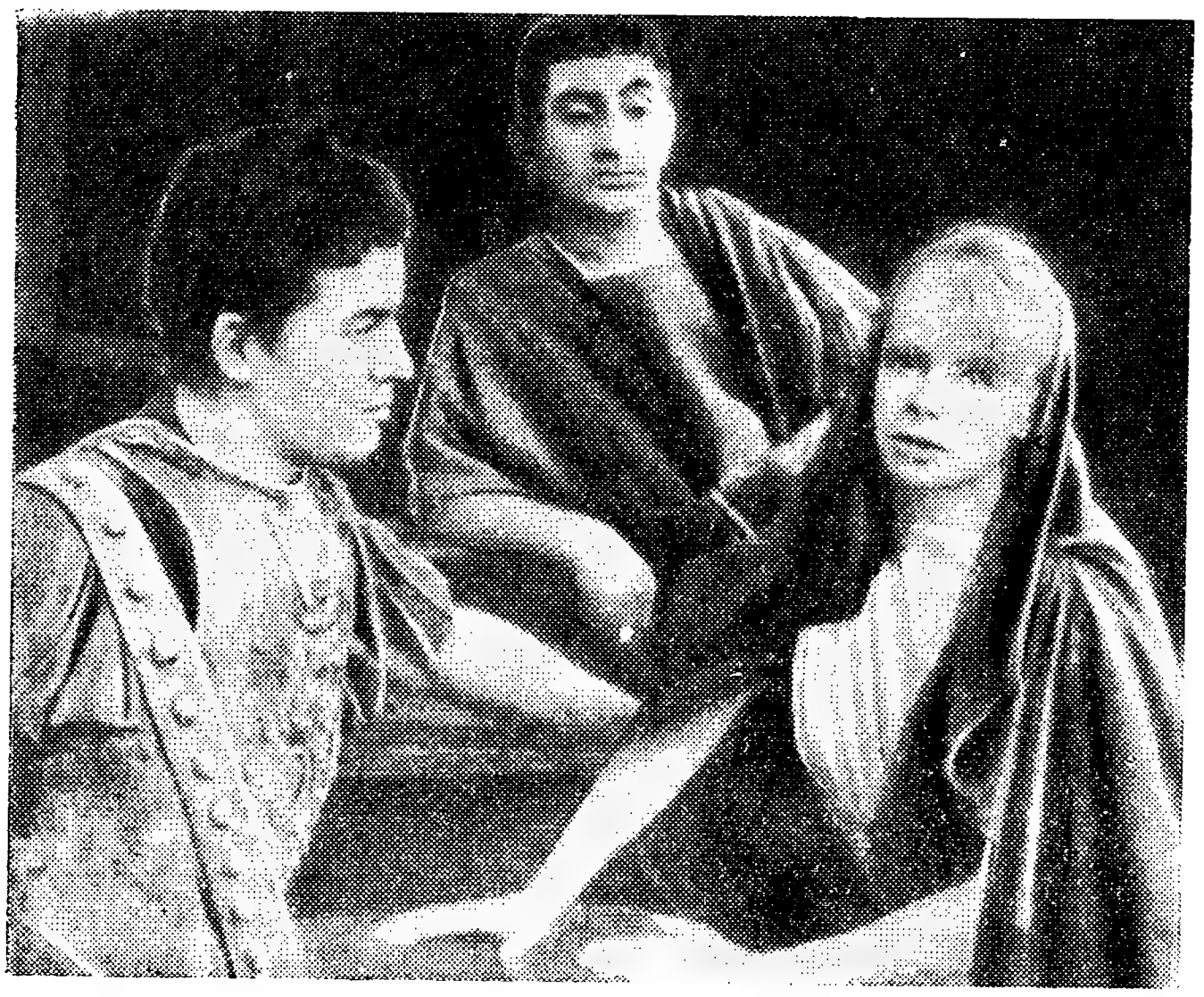
Письмо Джона Осборна вызвало бурные отклики и комментарии в печати. Авторы некоторых писем порицают Осборна «за резкость», большинство же, однако, выражает сочувствие его выступлению, высказывая аналогичные мысли.

«Я был поражен и возмущен язвительным письмом Джона Осборна. Кем бы ни были Гейтскелл и Макмиллан — они все-таки английские джентльмены, и как таковые — благородные люди»,—утверждает некий Аллен Данн из Ноттингэма. Однако идея непорочности «английского джентльмена», ведущего страну к термоядерной войне из соображений «благородства», не понравилась английскому читателю.

«Слава богу, что имеется Джон Осборн!» — заявил Дж. Ф. Хип из Тэгфорда. «Спасибо, Джон Осборн. Я уверен, что Ваше письмо является эхом многих тысяч голосов. Мне оно согрело сердце Продолжайте борьбу. С Вами многие. Вы своим письмом пристыдили

В рецензиях на постановку в Мермейд-театре комедии Бернарда Шоу «Андроник и лев» английская прогрессивная критика подчеркивает актуальность поднятых в пьесе проблем. Так, рецензент газеты «Дейли уоркер» Майк Майсон, приведя слова автора пьесы: «Христианина бросали львам не потому, что он был христианином, но потому, что он был не таким, как все», — пишет: глядя на сцену, думаешь о преследовании инакомыслящих в Англии наших дней, вспоминаешь недавнюю демонстрацию против атомного вооружения на Трафальгар-сквер или кампанию правых тред-юнионистских лидеров против прогрессивного руководства союза электриков. На снимке: Сцена из спектакля «Андроник и лев».

(Газета «Дейли уоркер»)



своих коллег-писателей, которые скрываются где-то на задворках»,—пишет Ф. Бэрри из Хэлденбриджа.

«Я аплодирую письму Джона Осборна,— заявляет В. Ричардс.— Оно явилось очень нужным, страстным призывом к стране отбросить инертность и выступить против соскальзывания к войне и уничтожению... Мы еще не проиграли битву за мир. Мы можем победить. Более того, мы должны победить».

МИСТЕР КОКШУТ И ДИККЕНС

Весь мир знает, кто такой Чарльз Диккенс, но мало кому известно имя мистера Кокшута. А вот мистер Кокшут, решив написать научно-исследовательский труд о Диккенсе, поставил перед собой задачу... развенчать великого английского писателя.

«Диккенс был вульгарен... У Диккенса был грубый ум... Диккенс был фарисей и сноб... Для Диккенса не было ничего святого... Диккенс был просто-напросто невеждой», и, наконец, для Диккенса «был невозможен путь духовного и интеллектуального развития»...

Все эти и подобные им утверждения содержатся в книге Кокшута «Творчество Чарльза Диккенса», недавно изданной в Англии.

Чем же вызваны столь поразительные литературоведческие открытия мистера Кокшута? По его же словам, Чарльз Диккенс «смолоду был одержим нездоровым интересом к тюрьмам, нищете, насилию, деньгам и к народу». Вот где собака зарыта! Мистера Кокшута не устраивают подчас жестокие и обличительные, но правдивые картины быта и нравов буржуазного общества Англии, нарисованные великим писателем. В заключение, видимо желая показать свою «объективность», Кокшут соблаговолил написать, что Диккенс, несмотря ни на что, был «хорошим журналистом, умел развлекать всех, а также был одаренным артистом».

Можно лишь удивляться тому, что английское издательство Коллинс сочло возможным опубликовать «изыскания» Кокшута, о которых сообщает еженедельник «Таймс литерари саппл-мент».

АРГЕНТИНА

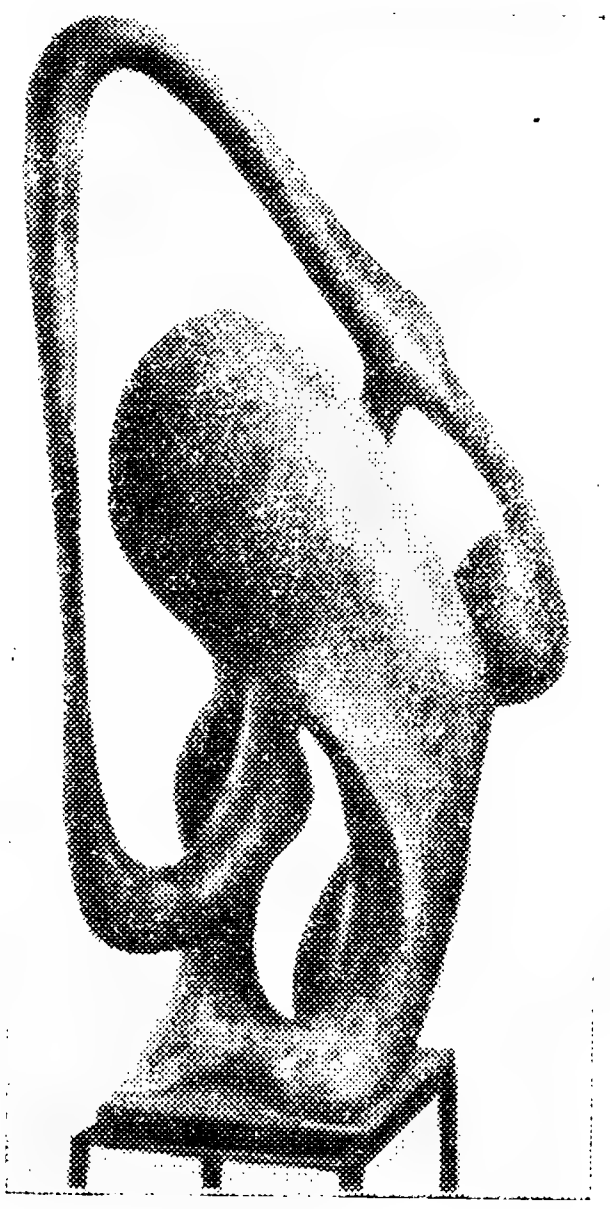
В ТУПИКЕ

Национальный салон изобразительных искусств в пятидесятый раз открыл в Буэнос-Айресе ежегодную художественную выставку. Какими же достижениями в области живописи, скульптуры и графики Национальный салон отметил свой юбилей?

По мнению критика газеты «Кларин» Эдуарда Балиарля, экспонированные в салоне произведения заставляют сделать весьма печальные выводы о положении в изобразительном искусстве Аргентины.

И этой уродине присуждена первая премия на выставке в Национальном салоне изобразительных искусств в Буэнос-Айресе!..

(Газета «Кларин»)



При всем желании оправдать серость, невыразительность и банальность большей части художественных произведений, Балиарль не может не признать почти полного провала Национального салона.

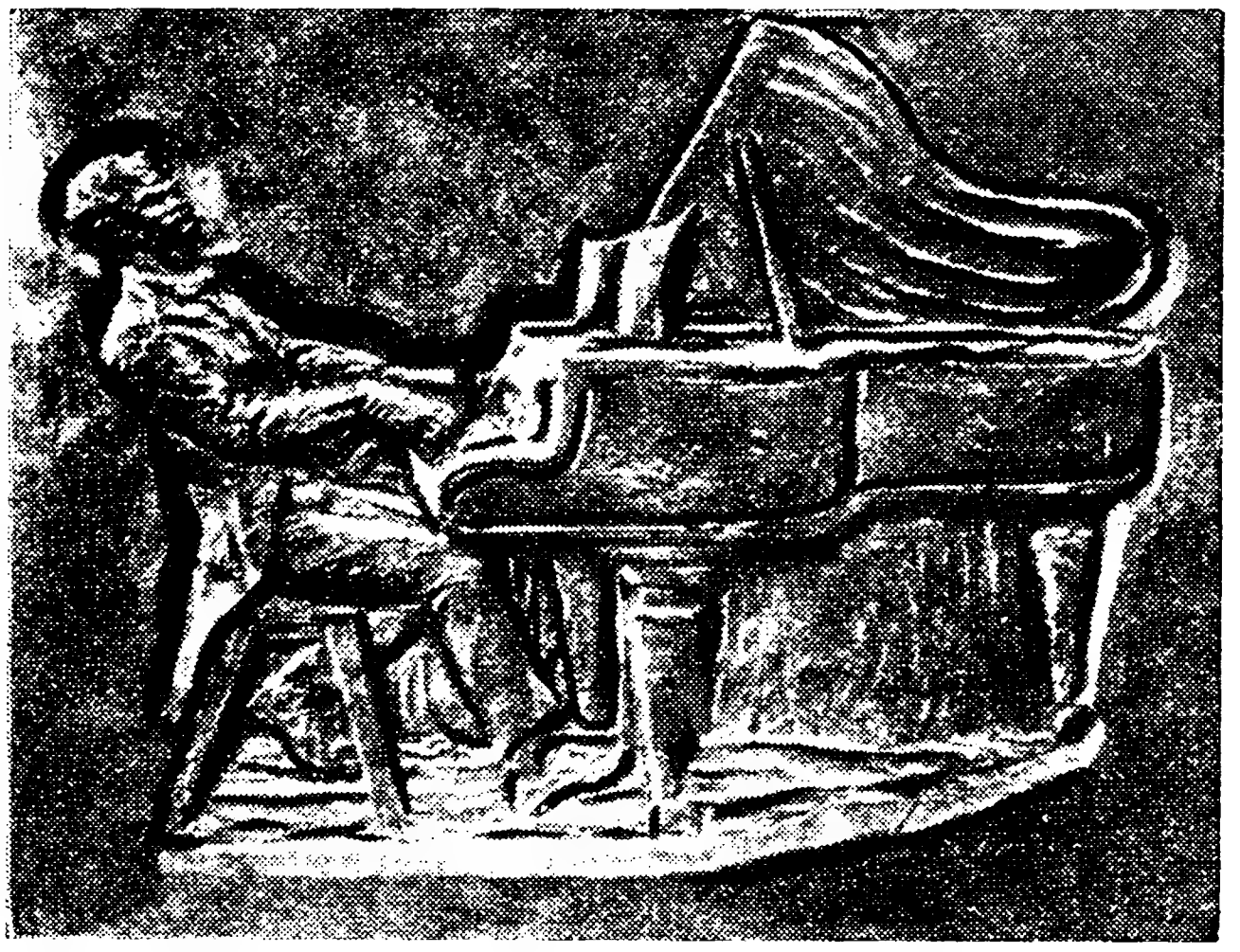
Раздел живописи представлен двумястами десятью работами, из которых, по словам критика, лишь очень немногие могут представить интерес. На выставке отсутствуют «произведения большого искусства». Из работ художников, уже получивших известность — «традиционных», как их называет автор статьи,— заслуживают внимания два-три полотна. На всем остальном лежит печать «ограниченности, отсутствия мысли и художественного порыва», печать «подражания и самолюбования».

Балиарль пишет, что художник Аймэ «ограничен в своем выражении», а художник Теруэло, «стремясь к оригинальной форме, потерпел полное поражение». Одним картинам присущ «фальшивый метод выражения», другим — пошлость, характерная для «пейзажистов почтовых открыток». Художник Амикарелли выступил со своей «абсурдной и плачевной композицией», надеясь «завладеть патентом на звание модерниста». И критик замечает: «Непонятно, почему только были приняты его работы в салон». Трудно разобраться в творениях Кастаньо и Лойеса-Грелы, «заблудившихся в лабиринте техники». Произведение художника Каскалеса — это лишь «бессмысленные мазки». Торрадо и Раканелли «писали свои картины бездумно, рассчитывая на безнаказанность в условиях нынешнего замешательства».

Отметив, что отделы скульптуры и графики более удачны по сравнению с отделом живописи, автор статьи в «Кларин» все же указывает, что многие произведения абстрактной скульптуры не имели успеха. Так, например, «Чу-

довище космоса» Романо «не имеет ничего общего со скульптурой», а «Бык» Пабло Эдельстейна—«это лишь груда металлических пластин». Для значительной части графических работ характерны, по словам Балиарля, «претенциозность, бессодержательность, ненужное нагромождение линий, запутанный сюжет». О художнике Эльгорте, например, критик отзывается так: «Он не знает, что хочет сказать».

Засвидетельствовав, что изобразительное искусство зашло в тупик, критик буржуазной газеты «Кларин» все же не нашел мужества указать причины столь плачевного состояния: формализм пользуется официальным покровительством.



«Бронзовой мелодией» венгерская критика назвала барельеф Лиллы Кунвари, изобразившей момент игры советского пианиста Святослава Рихтера.
(Журнал «Нёк лапья»)

БОЛГАРИЯ

В НОВОМ ТЕАТРАЛЬНОМ СЕЗОНЕ

Что включили в свой репертуар болгарские театры в новом театральном сезоне? Как сообщает «Литературен фронт», софийский народный театр имени К. Сарафова ставит восемь новых пьес, в числе которых — «Третья патетическая» Н. Погодина, «Четвертый» К. Симонова, «Живой труп» Льва Толстого. Из произведений болгарских драматургов включены пьесы Г. Караславова «Глас народный», Л. Стрелкова «Встреча», Д. Димова «Виновный».

Молодежный театр поставит «Униженные и оскорбленные» Ф. Достоевского в драматизированной обработке В. Цанкова, «Проводы белых ночей» В. Пановой, «Непримиримость» А. Арбузова.

В репертуар Театра сатиры включены инсценировка рассказов Марка Твена, «Смерть Тарелкина» Сухово-Кобылина, пьесы болгарских, румынских, чешских и немецких авторов.

Театр Народной Армии покажет пьесу А. Штейна «Океан».

ВАПЦАРОВ НА ФЛАМАНДСКОМ

Вечно живая поэзия Николы Вапцарова приобретает все больше друзей в близких и далеких странах. Недавно гостем Болгарии был Огюст Плови, мэр небольшого бельгийского городка Бреден. Сам поэт и участник бельгийского Сопротивления, Плови познакомился со стихами Вапцарова во французских переводах и почувствовал, как он сказал в дружеской беседе в редакции еженедельника «Литературен фронт», глубокую внутреннюю связь с болгарским поэтом-патриотом.

Плови перевел на фламандский стихи Вапцарова, вышедшие отдельной книжкой. Сборник стихов сопровождается краткой биографией поэта.

ВЕНГРИЯ

ПИСАТЕЛИ О СВОЕЙ РОДИНЕ

В издательстве художественной литературы («Сэпиродалми киадо») вышла интересная книжка под наречием старомодным названием «Зеркальце нашей родины». В ней собраны очерки, репортажи, статьи, написанные известными писателями, в том числе Ласло Неметом, Ференцем Янковичем, Дьюлой Ийешем, Палом Сабо, Белой Иллешем, Яношем Фельдеаком, Гезой Молнаром, Лайошем Мештерхази, Шандором Татаи.

Тема сборника — люди и события. Действие развертывается в самых разных уголках страны: в Затисском и Задунайском крае, Междуречье, на Севере, в Будапеште и его окрестностях. Время действия — первая половина прошлого года.

Большая часть работ, помещенных в сборнике, посвящена деревне, ее изменившейся жизни — да это и понятно, в деревне завершаются революционные преобразования. Много внимания авторами уделено и рабочему классу, бурному росту промышленности в городах. Но кто бы из писателей и о чем бы ни писал — будь то впечатления Дьюлы Ийеша о своем пребывании в родном селе Рацегреш или увлекательный рассказ поэта Белы Чепели Сабо о прославленном Чепеле,— писателей интересует одно—

диалектика человеческих душ.

В статье, посвященной выходу в свет томика «Зеркальце нашей родины», рецензент журнала «Кортарш» пишет: «Эта книга не только сборник социологических работ, но и своего рода литературная антология. В ней сколько произведений — столько голосов, сколько писателей — столько жанров».

«Нужно подчеркнуть, — говорится далее в статье,— что произведения этой антологии посвящены не только настоящему, но и устремлены в будущее, раскрывая его широкие перспективы. Все проблемы, которые затрагиваются в произведениях, тесно связаны с заботой о народе».

«Мы защищаем республику» — гравюра на дереве молодого художника Роберта Дидрихса из Карл-Маркштадта.
(Газета «Нейес Дейчланд»)

КНИГУ — КАЖДОМУ

Недавно венгерские издатели отметили своеобразный юбилей: вышел в свет 350-й выпуск «Общедоступной библиотеки» и одновременно общий тираж ее достиг 20 миллионов. Таким образом, на каждого жителя страны приходится по две книжки «Общедоступной библиотеки».

Серия эта, издание которой началось в 1954 году, по оценке газеты «Непсава», займет почетное место в истории культурной революции в Венгрии. Она впервые дала в руки массовому читателю сокровища национальной и мировой литературы.

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ГЕРБЕРТ НАХБАР БЕСЕДУЕТ СО СВОИМ ГЕРОЕМ

Герои публикуемого нашим журналом романа Герберта Нахбара «Свадьба на Леннекене» активно участвуют в строительстве новой жизни в ГДР. И, пожалуй, нет ничего удивительного в том, что с одним из героев своего романа, Хеннингом Грабе, писатель как-то встретился лицом к лицу. Вот что рассказывает Герберт Нахбар в новелле, опубликованной в газете «Нейес Дейчланд».

«По узкой тропинке ехал на велосипеде какой-то человек. Это оказался Хеннинг Грабе. Да, тот самый Хеннинг Грабе из моего романа «Свадьба на Леннекене», славный сын Адмирала. Мог ли я не удивиться такой встрече? Писатель создает свои образы, не фотографируя жизнь, но каждое действующее лицо— собирательный образ, результат многих наблюдений и заключений. Так в одном и том же образе уживается множество людей, существующих в действительности...

Заговорив о мирном договоре и о мероприятиях в Берлине, Хеннинг сказал:

— Считаю, время для этого приспело... Чего мы хотим? Мы хотим спокойно жить и работать. Мы хотим мирного договора, потому что нам нужен порядок. Беспорядок дергает людей, выбивает их из колеи, лишает рассудка. И у нас есть такие, что вечно брюзжат. Ты, конечно, представляешь себе, кто эти люди, Король, и Адмирал, и Август Бекман, но ведь они—люди не сегодняшнего дня. Я считаю, что мы должны делать свое дело так хорошо и добросовестно, как только можем, этим мы укрепляем наше государство. Тот, кто позволяет сбить себя с толку, работает плохо. А работая плохо, наносит вред государству и, следовательно, самому себе. Наступил последний час и Брандту — вроде так он зовется,— мы должны преградить ему все пути. Если здесь, на нашем лугу, обнаружится болото, то я, когда у меня лопнет терпение, разумеется, осушу его. Право же, надо окончательно потерять рассудок, чтобы не сделать этого.

— Да, Хеннинг Грабе, но те, на Западе, говорят, что мирный договор для них якобы угроза, как и наше решительное желание избавиться на своем лугу от болота.

Хеннинг Грабе тихо рассмеялся, покачал головой и вдруг сказал:

— А кто там на Западе бушует? Охмурители и толстосумы. Они сеют раздоры, как, впрочем, делали это всегда. Мы хотим мирного договора, и это называется угрозой! Ты только подумай, какой вздор! Ну кто

поверит им в нашем кооперативе?

Мы посидели несколько минут молча. Вокруг всеми красками переливался ландшафт нашей родины, которой принадлежим мы оба, как она принадлежит нам».

ПОВЕСТЬ О ТРУДОВЫХ БУДНЯХ

Бригитта Рейман, автор известной в ГДР книги «Женщина у позорного столба», живет и творит на комбинате по добыче бурого угля «Шварце пумпе». Поэтому, по словам газеты «Юнге вельт», ей близко знакома среда, в которую окунулись три выпускника средней школы, проходившие годовую производственную практику на комбинате. Трое юношей — герои ее новой повести «Будни».

В характере каждого молодого героя писательница находит присущие ему черты. Николаус, сын рабочего, хочет стать художником, но он не чурается и физической работы на комбинате. Девушка Рсха — воспитанница интерната, будущий архитектор, воспринимает непривычную для нее обстановку как романтику. Сын старого антифашиста Курт привык к другой жизни. Его родители, крупные общественные деятели, проглядели, как из Курта вырос молодой сноб, которому представляется, что все трудности жизни могут быть разрешены с помощью авторитета и кошелька отца.

Все трое попадают в бригаду социалистического труда. Рабочие комбината помогают молодым выпускникам преодолеть недостатки и стать достойными строителями новой жизни.

«Зрелые и убедительные образы героев, красочный язык повести, удачное сочетание содержания с выбранной автором формой выдвигают новое произведение Бригитты Рейман на одно из первых мест в современной немецкой литературе о молодежи»,— заключает рецензент газеты «Юнге вельт».

Бригитта Рейман.

(Еженедельник «Нейе берлинер иллюстрирте»)

ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВИНКИ

«Все труднее стало удовлетворять растущие запросы трудящихся республики в художественной литературе»,— пишет газета «Нейес Дейчланд», публикуя пространное сообщение о планах издания художественных произведений.

По сообщению газеты, в ближайшее время выходит роман Альфреда Куреллы об эмиграции — «Маленький камень в большой игре» (издательство «Ауфбау-ферлаг»).

Издательство «Миттельдейтчер ферлаг» готовит к выпуску роман Бернгарда Зегера «Осенний хмель».

Издательство «Культур унд фортшритт» выпустит роман молодого автора Рудольфа Шмаля «Свежестью веет от каждого утра».

«Ферлаг дер национ» подготовило к печати автобиографический роман бывшего полковника гитлеровской армии Рудольфа Петерсхагена под названием «Жизнь — не игра в кости».

Новый роман Гарри Тюрка «Засохший жасмин» выйдет в веймарском издательстве «Фолькс-ферлаг».

Издательство «Трибюне» подготовило к выпуску новую книгу Ганса Мархвицы «В Америке». «Диц-ферлаг» выпустит роман Вернера Эггерата «Казачий генерал».

По мотивам автобиографической книги бывшего полковника гитлеровской армии Рудольфа Петерсхагена телевидением ГДР был поставлен «телевизионный роман» «Восстание совести». «Документальный рассказ о судьбе бывшего полковника и бывшего кавалера ордена Рыцарского Креста, названного в телефильме Эберсхагеном, одного из немцев, понявших после битвы на Волге преступность гитлеровской авантюры, рассказ о его сомнениях и переживаниях, о его решении служить делу строительства мирной Германии глубоко взволновал миллионы телезрителей обеих частей страны»,— пишет газета «Берлинер цейтунг». Будучи в конце войны комендантом города Грейфсвальд, полковник Эберсхаген вопреки приказу гитлеровского командования сдает город советским войскам без боя. Вернувшись из плена в Западную Германию, Эберсхаген сталкивается с людьми, готовящими новую военную катастрофу. В конце концов он принимает решение переехать в ГДР... По сообщениям печати, создано актуальное, большой художественной силы произведение. Помещаем кадр из этой телевизионной постановки.

(Еженедельник «Вохенпост»)

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

ПИСЬМО БЁЛЯ

Газета «Вельт» выступила со статьей, в которой выражается сожаление по поводу молчания ведущих западногерманских писателей «в связи с событиями 13 августа и их последствиями». Апеллируя к писателям, газета попыталась

спровоцировать их на резкости в адрес правительства ГДР, принявшего меры по укреплению границ республики.

В ответ на эту статью Генрих Бёль обратился в редакцию с письмом, в котором определил свое отношение к политике боннского правительства и к требованию «Вельт». «Высказывания писателей по политическим вопросам имеют в Федеративной Республике диковинную судьбу, — пишет Генрих Бёль.— Так, высказывания против атомных бомб, против «второго телевидения» (имеется в виду бойкот, объявленный многими писателями второй правительственной программе телевидения.— *Прим. ред.)*, против нажима на французских писателей со стороны государства расценивались, как показала реакция прессы и иронические комментарии, в лучшем случае как проявление политического дилетантства. Меня удивляет, какой кредит вы вдруг отпускаете этим дилетантам, какое значение им придаете».

Сегодня в Федеративной Республике необходимо иметь достаточно мужества, подчеркнул далее Бёль, чтобы публично сказать о том, как это «дошло до того, что через Берлин протянута стена»,— стена, которой могло бы не быть при политической сговорчивости Запада. Политика западных держав привела к тому, что «условия для переговоров с Советским Союзом стали гораздо менее благоприятными, чем в прошлые годы».

В этом письме Бёль, однако, счел возможным сделать недопустимые выпады против ГДР.

В ПОИСКАХ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Политика Бонна, толкающего Западную Германию на путь дальнейшей милитаризации, заставляет задумываться все более широкие круги западногерманских писателей. Издательство «Ровольт» выпустило составленный Мартином Вальсером сборник «Альтернатива, или Нужно ли нам новое правительство?». В нем собраны высказывания двадцати известных писателей, в том числе Эриха Куби, Ганса Вернера Рихтера, Пауля Шаллюка, Гюнтера Грасса, Ганса Магнуса Энценсбергера.

Стремлением найти выход, тревожными раздумьями литераторов проникнута эта небольшая книжка, о которой еще до ее выхода в свет заговорили газеты и журналы ФРГ. «Произошло нечто удивительное, — пишет газета «Вельт» в связи с появлением этой книжки.— Произошло то, что противоречит всем нашим политическим традициям: двадцать немецких писателей, и среди них несколько самых популярных и самых лучших, открыто, наступательно и вызывающе высказались по самой актуальной проблеме внутренней политики...»

Мартин Вальсер писал, что авторов объединило «беспокойство за положение демократии». Так родилась книжка двадцати. «И читатель получил здесь возможность проследить,— пишет в предисловии составитель сборника,— как через многообразие путей и с самым различным темпераментом все-таки можно прийти к единому ответу». Этот ответ гласит: Западной Германии необходимо новое правительство.

Отметив, что авторы, несомненно, выступают против антикоммунизма и за нейтрализацию ФРГ, журнал «Вельтбюне» пишет: «Сборник является значительным симптомом того, что процесс переосмысливания и переоценки в Западной Германии уже необратим».

ГВИНЕЯ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА ЖУРНАЛИСТИКИ

Важным событием в жизни Гвинейской республики и других стран Африки яв-

лось основание в Конакри первой на континенте школы журналистики. Школа будет готовить национальные кадры журналистов для агентства печати и радио Гвинеи. Руководство школой поручено известному гвинейскому литератору, директору агентства печати Диалло Альфа.

ИНДИЯ

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ

За последнее время все чаще радуют индийского зрителя фильмы, посвященные людям сегодняшней Индии. Отодвигая на задний план мифологию либо чисто развлекательные сюжеты, многие индийские режиссеры и сценаристы обращаются в своем творчестве к современным темам.

К разряду таких произведений индийская пресса относит картину «Разбитая мечта», поставленную на студии «Филмюг». Это — дебют молодого режиссера и сценариста Мохана Кумара.

...Окончив школу, юноша стремится избрать такой жизненный путь, который соответствовал бы его идеалам. Он хочет служить в ар-

Раджендра Кумар в кинофильме «Разбитая мечта». *(Журнал «Филмфэр»)*

мии — в этом видит свой долг перед родиной. Но его отец готовит ему карьеру чиновника и деспотически требует подчинения своей воле. Однако молодой человек и его подруга, несмотря на тяжелые испытания, которые посылает им судьба, не желают отказываться от своих идеалов и надежд. Конфликт между двумя поколениями и лег в основу картины.

По сообщению кинокритика индийского журнала «Филмфэр», известный актер Раджендра Кумар «убедительно и искренне играет роль серьезного и волевого юноши».

ИСПАНИЯ

ГОЛОС МИГЕЛЯ ЭРНАНДЕСА

Французское издательство «Сегер» выпустило в свет сборник стихотворений в прозе «В мире красок» выдающегося испанского поэта-антифашиста Мигеля Эрнандеса, погибшего во франкистской тюрьме. Этот сборник включает неизвестные стихи поэта, написанные им, когда ему был 21 год.

«Здесь — небольшие картины, короткие сценки, наброски, сюжеты которых взяты из деревенской жизни, из мира обездоленных: прачка, развешивающая белье, слепые, беззубые ребятишки, деревенские колодцы, миндальное дерево в цвету...— пишет рецензент газеты «Монд».— Их точное и конкретное описание, идущее от свежего и безошибочного чувства, воспроизводит живое существо или предмет, краски или настроение дня, природу во всем ее утонченном очаровании... Человеческим состраданием и жаждой чистоты пронизаны эти произведения поэта».

РОМАН, ЗАПРЕЩЕННЫЙ ЦЕНЗУРОЙ

Роман Хуана Гойтисоло «Хроника одного острова» был запрещен франкистской цензурой. Он вышел во Франции.

Хуан Гойтисоло.

(Еженедельник «Франс-нувель»)

Герои книги, испанцы и американцы,— богатые бездельники, потерявшие человеческий облик. Писателю удалось показать бессмысленность существования этих людей, как отмечает еженедельник «Франс-нувель», «уставших жить в стране, изолированной, будто остров, от внешнего мира». Чтобы забыться, эти люди пьют, развлекаются, но их никогда не покидает мысль: «А что же дальше?» На этот вопрос они не могут найти ответ.

«Хроника одного острова» — роман о деградации общества во франкистской Испании. Естественно, что такую книгу не пропустила испанская цензура.

И ПЕСНИ—ПРОТИВ ФРАНКО

Три итальянских литератора — С. Либеровичи, М. Страньеро и М. Галанте-Гарроне — недавно посетили франкистскую Испанию с целью собрать испанские народные песни, посвященные борьбе против диктатуры Франко. На огромном собранном ими материале они написали интереснейшее исследование «Песни испанского Сопротивления с 1940 по 1961 год». В этой работе, сообщает газета «Унита», приводятся многие песни, как родившиеся во время войны за свободу Испанской республики, так и сложенные в послевоенные годы, в частности и в самое последнее время. Одни из них — страстный протест против угнетения, другие проникнуты надеждой на освобождение. Некоторые песни представляют собой сатирические и пародийные куплеты, которые распевают на мотивы популярных песенок из кинофильмов.

Чувства, пронизывающие все эти песни борьбы, ярче всего выражены в словах одной из них: «Все руки готовы подняться и сжаться в мощный кулак».

ИТАЛИЯ

ПРЕМИЯ ВИАРЕДЖО 1961 ГОДА

Премия Виареджо—крупнейшая из ежегодных литературных премий в Италии—присуждена роману Альберго Моравиа «Скука» (см. «Иностранную литературу» № 3, 1961 г.). Широко обсуждая решение жюри, печать подчеркивает, что премии удостоен не столько этот вызвавший в свое время острую полемику роман, сколько сам Моравиа за все свое многолетнее творчество и общественную деятельность. Если относительно «Скуки» мнения критиков и даже членов жюри могли расходиться, указывают газеты, то в отношении ее автора царило полное единодушие.

Признание заслуг Моравиа и весьма запоздалое присуждение одному из его произведений премии Виареджо, отмечает печать, возможно, преследует также некоторые определенные цели: во-первых, поддержать несколько пошатнувшийся за последние годы престиж

самой премии Виареджо как в Италии, так и за ее пределами, во-вторых, усилить популярность Моравиа за границей, чтобы таким образом содействовать присуждению ему Нобелевской премии, которую писателю уже давно прочат в итальянских литературных кругах.

Роман «Скука» имел также значительный коммерческий успех — продано 85 тысяч экземпляров книги, что для Италии немало. Среди произведений последнего года в итальянской литературе не было достаточно ярких романов, которые по своим художественным достоинствам, по авторскому мастерству могли бы соперничать со «Скукой», и победа Моравиа была предрешена.

Премия Виареджо этого года за первое произведение присуждена молодой писательнице, занимающейся также кинорежиссурой,— Лоренце Мадзетти за роман «Обрушившееся небо», в котором повествуется о злоключениях двух итальянских девушек в бурные дни 1943 года.

Прогрессивная печать одобряет решение отметить премией творчество Моравиа, остающегося самым крупным романистом Италии, хотя его последний роман и может быть принят с рядом оговорок. Жюри критикуют за то, что оно в этом году не рассмотрело ряд талантливых работ по истории литературы, по эстетике и социологии.

КТО АВТОР РОМАНА «ТАЙНА»?

«Иностранная литература» уже сообщала об успехе романа «Тайна», написанного «анонимным триестинцем» (см. № 10, 1961 г.).

Автором этого романа, как стало теперь известно, является умерший два года назад преподаватель математики из Триеста Гвидо Вогера, желавший, чтобы роман был опубликован только после его смерти и без указания его фамилии. По сообщению газеты «Паэзе сера», тайна автора «Тайны» была «выдана» его сыном — профессором Джорджо Вогера Фано (которого некоторые ошибочно считали автором книги) в связи с тем, что роман был выдвинут на соискание премии Виареджо этого года.

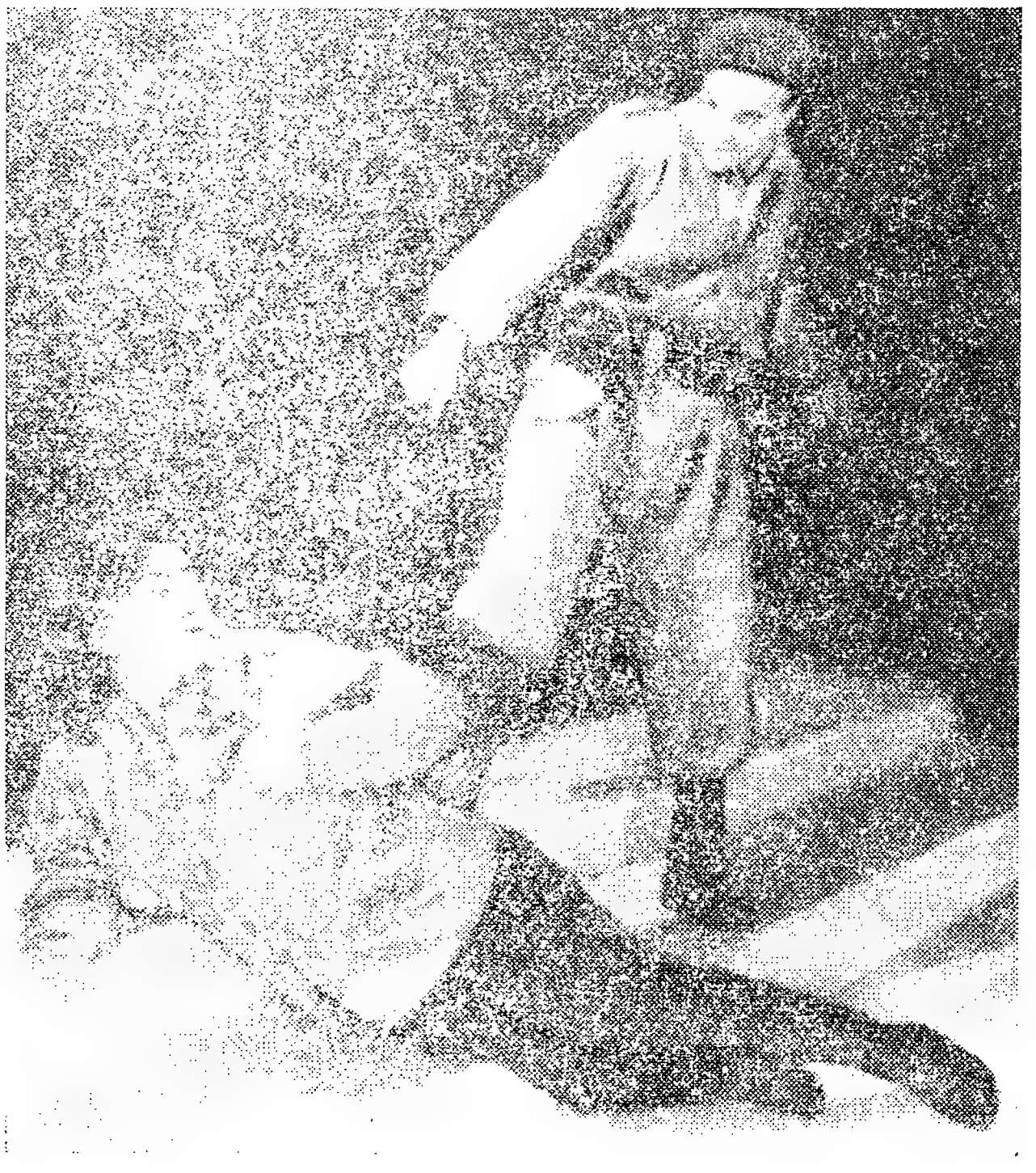
«ЖАННА ИЗ НАРОДА»

Известный итальянский прогрессивный режиссер Марчелло Сартарелли вместе с драматургом Альдо Николаи написали пьесу о борьбе алжирского народа против французских колониалистов. Рассказанная в пьесе «Жанна из народа» история алжирской девушки перекликается с историей Жанны д'Арк.

Героиня — молодая алжирка, которая училась во Франции. По своей культуре, мышлению это европейская девушка. Но, возвратясь из Парижа в Алжир, она постепенно осознает положение своего народа и активно включается в освободительную борьбу. Следуют арест, пытки в застенках французских фашистов, затем судебный процесс и казнь — сожжение на костре. История алжирской Жанны д'Арк (например, перипетии процесса) заставляет вспомнить о суде в Руане, однако дух пьесы, характеры героев, их психология — глубоко современны. Авторы, по сообщению газеты «Унита», тщательно изучили подлинные документы о борьбе в Алжире в последние годы, собрали большой материал о жестокости французских колониалистов и о героизме алжирцев.

Премьеру пьесы ожидали на театральном фестивале в городе Понтедера, а затем она должна была идти на сцене римского театра «Квирино». Однако итальянская цензура, как указывают газеты, под давлением фран-

Сцена из спектакля «Жанна из народа».
(Газета «Унита»)



цузского посольства в Риме запретила постановку пьесы и в последнюю минуту потребовала ее коренной переработки. Полиция разогнала ничего не знавших зрителей, пришедших на премьеру, и арестовала тех, кто выражал свое возмущение полицейским произволом. Коммунисты депутаты внесли в парламенте запрос правительству в связи с незаконным и немотивированным запретом пьесы и полицейскими насилиями в Понтедере.

КАНАДА

ДИВЕРСИЯ ГЕНРИ ЛЮСА

Журнальная «империя» Генри Люса, владельца «Тайма», «Лайфа» и «Форчюна», широко известна. Тесные связи Люса с банковским концерном Моргана, представлявшим в свое время кредиты фашистским режимам Гитлера и Муссолини, также не являются тайной. Менее известны всякие «тихие» махинации Генри Люса, и в частности его последняя диверсия против Канады.

В течение 1961 года Канада была наводнена «канадским» изданием журнала «Тайм». Это якобы «канадское» издание мистера Люса стало деятельно вытеснять действительно канадские издания, перетянуло к себе более сорока процентов реклам и объявлений канадских компаний (что, как известно, является основным источником доходов капиталистической печати).

Так называемый «канадский» материал делался и редактировался в Нью-Йорке, тираж печатался в Чикаго, и из Чикаго журнал рассылался канадским подписчикам, таким образом и почтовые доходы шли в американскую казну.

Канадские коллеги Люса взволновались и пошли в бой, пытаясь изгнать из пределов своей страны «канадское» издание журнала «Тайм» и вернуть прибыльную рекламу в лоно национальных журналов. «Оттава джорнэл» опубликовала передовую под названием «Как бы поступили американцы?» Газета спрашивает, как бы поступили американцы, если бы три из каждых четырех журналов, читаемых американцами, импортировались из Канады; если бы в течение года американцы купили бы 147 миллионов экземпляров канадских журналов и только 45 миллионов экземпляров своих американских; если бы «американское» издание канадского журнала забирало более 40 процентов реклам и объявлений, ранее печатавшихся в американских журналах?..

Схватка с Люсом еще раз показала, что терпение северных соседей США истощается.

КИТАЙ

НОВОЕ В ЖИЗНИ НАРОДА

Популярны в Китае рассказы писательницы Жу Чжи-цзюань. О ее творчестве рассказывает литературный критик Си Янь в журнале «Вэньи бао». По словам Си Яня, писательница за последние годы создала около тридцати произведений. Темы ее рассказов разнообразны. Так, «На берегах реки Дэнхэ», «Трое едут в город Яньчжуан», «Цветет лилия» воспроизводят эпизоды освободительной борьбы китайского народа. «Во фруктовом саду», «Высокая сосна», «Этап», «Родильный дом», «А Шу», «Среди друзей» посвящены мирному созидательному труду народного Китая.

В произведениях Жу Чжи-цзюань, пишет критик, действуют на первый взгляд ничем не примечательные, даже неказистые внешне герои. Но в них живет большая любовь к труду, это люди вдохновенных помыслов, благородных стремлений, чистого сердца и большой души. Занимая подчас очень скромные посты, они тем не менее делают для людей и для общества очень многое. Что же определило успехи в творчестве писательницы? Прежде всего ее богатый жизненный опыт, великолепное знание жизни. Писательница когда-то служила в Новой Четвертой армии, делила с бойцами тяготы походов, вместе с ними шла по фронтовым дорогам. В гуще народа она работает и сейчас.

Для творчества писательницы характерно умение в малом увидеть большое, через подчас незначительное, мелкое раскрывать крупное. И самое главное—Жу Чжи-цзюань умеет ярко показать новое в жизни народного Китая.

ИНТЕРЕСНАЯ ДИСКУССИЯ

«Критически воспринимать теоретическое наследие древнего Китая в области литературы и искусства» — на эту тему в Китае была недавно проведена дискуссия. Материалы дискуссии опубликованы на страницах журнала «Вэньи бао».

Если подойти умело к освоению богатейшего наследия в области теории литературы и искусства, пишет редакция «Вэньи бао», то это может способствовать — и несомненно будет способствовать — дальнейшему развитию современной литературы и искусства.

В своем выступлении на дискуссии театровед Мэн Чао остановился на значении правильного освоения литературного наследия для творческой практики писателей народного Китая. Конечно, пишет Мэн Чао, мы не должны отрицать того, что в нашем литературном наследии далеко не все полноценно, но, как бы там ни было, недопустимо пренебрегать либо вовсе игнорировать литературное наследие.

Для того чтобы правильно и критически освоить литературное наследие прошлого, по мнению Мэн Чао, необходимы не год и не два, а десятки лет. Эту работу

следует проводить не спеша, анализируя каждый шаг и следя за тем, чтобы из литературного наследия прошлого отсеивалось ненужное и вредное, а прогрессивное, передовое оставалось.

РОМАН ЧЖАО ШУ-ЛИ ВО ФРАНЦИИ

По сообщению газеты «Гуанмин жибао», во Франции вышел перевод романа известного китайского писателя Чжао Шу-ли «Перемены в Лицзячжуане».

ЛИВАН

ЧЕСТВОВАНИЕ ПОЭТА

Недавно общественность Ливана и других арабских стран, как сообщает журнал «Аль-Джадид», отметила пятидесятилетний юбилей литературной деятельности выдающегося ливанского поэта Бешары аль-Хури, выступающего под псевдонимом аль-Ахталь ас-Сагир.

ЖОРЖУ ХАННА — 70 ЛЕТ

Прогрессивному ливанскому писателю, ученому и общественному деятелю Жоржу Ханна исполнилось семьдесят лет. Юбиляр, как сообщает ливанский журнал «Аль-Адиб», получил множество поздравительных телеграмм от своих соотечественников и от читателей из других стран.

МАРОККО

СЪЕЗД ПИСАТЕЛЕЙ МАГРИБА

В столице Марокко, Рабате, состоялся первый съезд Союза писателей Магриба. В съезде приняли участие прозаики и поэты Ливии, Туниса, Алжира и Марокко.

В интервью с корреспондентом бейрутского журнала «Аль-Адиб» председатель Союза доктор Мухаммед Азиз аль-Хаббани рассказал об истории создания этого писательского объединения, о его целях и задачах. Он подчеркнул значение Союза в деле достижения культурного единства стран Магриба.

Аль-Хаббани заявил, что Союз писателей Магриба будет осуществлять культурное сотрудничество с писателями других арабских стран, а также с писателями стран Черной Африки.

В «Общей резолюции», принятой съездом, говорится: «Съезд Союза писателей Магриба склоняется перед теми алжирскими литераторами, которые пали в борьбе, и перед теми, кто переносит муки в тюрьмах и концентрационных лагерях во имя торжества правды и справедливости.

Он верит в необходимость продолжения борьбы за ликвидацию колониализма на африканском континенте и в остальных частях мира, рассматривая колониализм во всех его видах как препятствие на пути развития и прогресса молодых народов».

МЕКСИКА

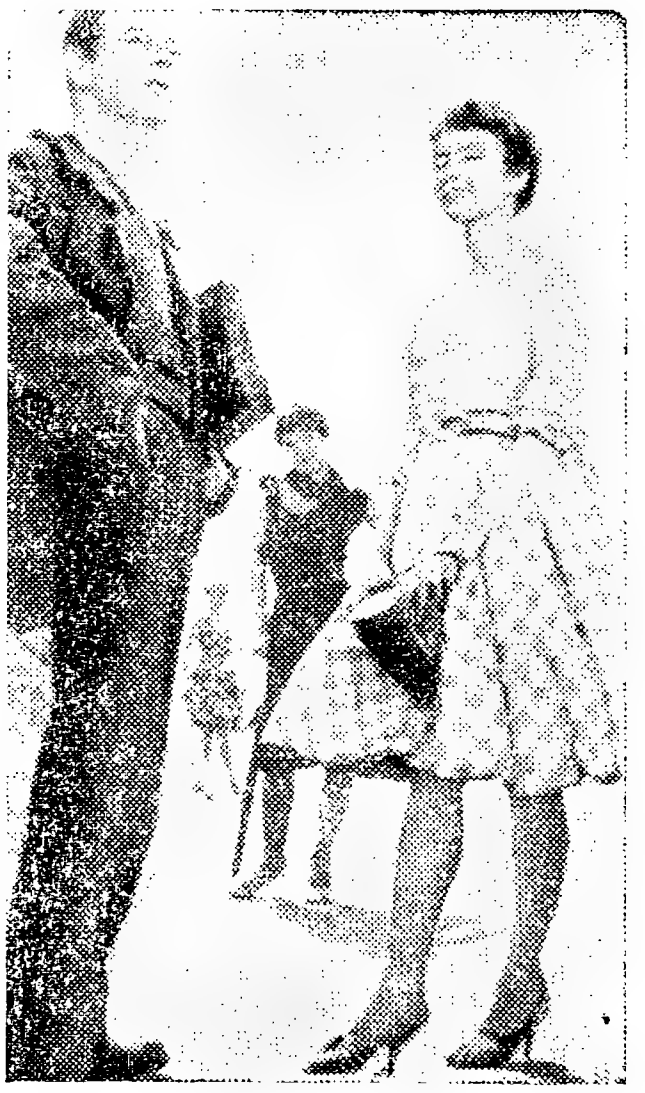
СВОБОДУ СИКЕЙРОСУ!

Группа виднейших прогрессивных представителей итальянской культуры опубликовала открытое письмо с решительным требованием освободить выдающегося художника современности, борца за дело мексиканского народа Давида Альфаро Сикейроса.

Авторы письма указывают, что Сикейрос, уже более года томящийся в ожидании судебного процесса в тюрьме города Мехико, стар, тяжело болен, лишен возможности лечиться.

Обращение подписали писатели Моравиа, Витторини, Леви, Унгаретти, Пазолини, Дзаваттини, художники Гуттузо и Кальи, кинорежиссеры Висконти и Де Сантис, а также французский писатель Сартр.

ПОЛЬША



Современной польской действительности, строительству большого энергетического комбината в Турошове, людям этого строительства посвящен новый фильм Войцеха Хаса «Золото». Автор сценария — писатель Богдан Чешко. В роли парня, приехавшего на строительство, снимался актер Владислав Ковальский. На снимке рядом с ним — актриса Эльжбета Чижевская в роли Дороты, участницы коллектива художественной самодеятельности.

(Журнал «Экран»)

«ВОСПОМИНАНИЯ ДЕКАБРИСТОВ»

О героическом выступлении русских революционеров 1825 года против царского самодержавия рассказывает трехтомное издание «Воспоминаний декабристов», вышедшее недавно в Варшаве под редакцией известного литературоведа и библиофила Вацлава Завадского.

Первый том этого издания включает «Воспоминания Бестужевых», во втором помещены записки декабристов Якушкина, Горбачевского, Лунина, воспоминания Марии Волконской и Полины Анненковой.

Наибольший интерес для читателя представляет третий том, в котором собраны

записки польских участников декабристского движения, воспоминания польских ссыльных, а также материалы и документы о революционных событиях в Польше, тесно связанных с движением декабристов.

Трехтомник выпущен Государственным издательским институтом в серии «Библиотека польских и зарубежных мемуаров». Варшавский журнал «Столица» подчеркивает, что издание «Воспоминаний декабристов» будет «способствовать более широкому ознакомлению польского читателя со славной страницей в истории обоих народов».

СЕНЕГАЛ

СБОРНИК СТИХОВ СЕНГОРА

Вышел в свет сборник стихов президента республики Сенегал известного поэта Леопольда Сенгора. «Ноктюрн» — так называется сборник — четвертая книга стихов Сенгора. Его книга «Антология негритянской и мальгашской поэзии» вышла с предисловием Жан-Поля Сартра и была переведена на несколько языков.

Стихи из последнего сборника Сенгора, как пишет газета «Журналь д'Экстрем-Ориан», носят глубоко национальный характер, свидетельствуют о горячей любви автора к Африке и ее народам.

СИРИЯ

ПЯТЬ ПОЭТОВ

«Институт высшей арабистики» при Лиге арабских стран предпринял издание серии исследований, посвященных современной арабской поэзии. В этой серии уже вышли книги, посвященные поэзии Ирака, Судана и Ливии.

Одна из последних книг серии, посвященная поэзии Сирии, включает курс лекций, прочитанных членом Академии арабского языка в Дамаске доктором Сами ад-Дахханом.

В книге рассматривается творчество пяти крупнейших поэтов Сирии — Мухаммеда аль-Базма, Халиля Мардам-бека, Хайра ад-Дина аз-Заркали, Шафика Джубры и Амара Абу-Риши.

Литературовед Ахмад аль-Джинди на страницах «Журнала Академии арабского языка в Дамаске» дает высокую оценку книге ад-Даххана.

США

ГЕРОИ СЭЛИНДЖЕРА

Вышедший в США новый томик произведений Дж. Сэлинджера «Фрэнни и Зуйи» встречен американской критикой весьма живо (в «Иностранной литературе» № 11 за 1960 г. был опубликован роман этого писателя «Над пропастью во ржи»).

В новой книге — два рассказа, точнее две повести, которые были напечатаны в журнале «Нью-Йоркер» в 1955 и в 1957 годах. «Фрэнни» и «Зуйи» написаны позднее, чем роман «Над пропастью во ржи», и, по мнению критики, являются более зрелыми.

Герои обоих произведений — все та же разочарованная, не принимающая «американского образа жизни» молодежь, ищущая выхода в психологических экскурсах в мир подсознательного.

Убеждение Сэлинджера, что внутренняя жизнь человека значит очень много, пишет романист Дж. Апдайк в газете «Нью-Йорк таймс», свидетельствует о том, что писатель воспевает ту Америку, где большинство из нас не может найти себе настоящего дела и погружается в мир чувств.

Холден Колфилд, герой романа Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» — рисунок художника Рассела Хобена.

(Журнал «Тайм»)

ДРАМАТУРГ В ТИСКАХ

«Где же нынешние драматурги?» — этот вопрос задает в заголовке своей статьи в газете «Нью-Йорк геральд трибюн» критик Дон Росс.

«Где,—вопрошает автор,— нынешние многообещающие Артуры Миллеры, Тенесси Уильямсы и Лилианы Хелльман?» Дон Росс подчеркивает, что речь идет не о нехватке новых пьес. Наоборот, пьес даже слишком много, однако среди них нет по-настоящему талантливых произведений. Известный бродвейский продюсер Кермит Блумгарден заявил недавно, что в течение года он прочитывает не менее ста пятидесяти новых пьес, кроме того, у него есть специальный сотрудник, читающий пьесы и ежегодно просматривающий еще несколько сот драматических произведений. И все-таки приходится признать, продолжает Блумгарден, что теперь не встречаются произведения, написанные хотя бы на том уровне, на котором писали раньше. По словам продюсера, «причина кроется в том, что экономика бродвейских театров душит творческое начало. Начинающий драматург задается целью написать пьесу, постановка которой обошлась бы дешевле. Такая пьеса обычно ограничивается одним актом и че-

тырьмя или пятью действующими лицами. Начинающий драматург знает, что при нынешней дороговизне театральных постановок единственный шанс пробиться на Бродвей — это предложить пьесу, на которую не надо затрачивать много средств». Ставя перед собой такую цель, драматург, естественно, ограничивает себя творчески.

Многие молодые писатели уходят работать в кино и телевидение. Автор статьи высказывает предположение, что если бы в те времена, когда Тенесси Уильямс ценой невероятного труда и мучений пробивался со своими пьесами на Бродвей, существовала бы широкая телевизионная сеть, весьма возможно, что и он поступил бы так же, как сейчас делают молодые драматурги.

КОНЕЦ «НАДУТОГО ПАВЛИНА»

Книга американского писателя Ричарда Кондона «Разгневанный ангел», по мнению прогрессивной критики, обличает современное американское общество и американские нравы.

Репортер Дэн Дайамат — герой романа — лишен каких бы то ни было моральных устоев, любой ценой он стремится завоевать себе «место наверху». Женившись на дочке своего босса, он добивается руководящей роли в газете «Дейли пресс», которой владеет его тесть.

Грязные политические махинации, беспорядочные связи с женщинами, безмерная жажда денег и власти губят Дэна. Его жалкая карьера «надутого павлина», любующегося своим пестрым хвостом, рушится: он уже ютится на задворках газеты в качестве «советника» по любовным вопросам. Его ответы на письма всяческих «разгневанных ангелов», как он называет своих корреспонденток, дают писателю возможность зло посмеяться над американской бульварной печатью, в которой процветают подобные разделы с готовыми «рецептами».

ТУНИС

КНИГА О НАРОДНОМ КИТАЕ

«Всеобщим союзом трудящихся Туниса» выпущена книга «Современный Китай».

Автор книги — прогрессивный тунисский писатель и общественный деятель Тахар Гига, посетивший Китайскую Народную Республику. Автора, пишет рецензент журнала «Институт арабской литературы», интересовало все. И эта работа, «оригинальная по своей литературной форме и по живости стиля, написанная легко и интересно, представляет собой ценное свидетельство очевидца».

ТУРЦИЯ

ВЫСТАВКА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Передовая турецкая общественность серьезно обеспокоена ростом разлагающего влияния западной и особенно американской бульварной литературы на турецкую молодежь. «Боевик вытесняет национальную литературу»,— об этом все чаще пишут с тревогой турецкие газеты и журналы. Правительство Мендереса, готовившее из турецкой молодежи ландскнехтов НАТО, в течение ряда лет оболванивало ее «боевиками».

Некоторые представители турецкой общественности теперь стараются пробудить у молодежи интерес к национальной литературе, к национальным традициям.

С этой же целью в Стамбуле была проведена выставка сборников турецкого фольклора.

«Народное творчество имеет большое значение для воспитания молодого поколения,— заявил в беседе с корреспондентом журнала «Еди тепе» организатор выставки библиограф Атлан Кайнардаг. — Необходимо собирать образцы фольклора и знакомить с ними новые поколения. В этом направлении большую работу проводили народные дома, созданные по инициативе Ататюрка и разогнанные Мендересом. Надо возродить эту деятельность. Следует помнить, что как крупнейшие турецкие писатели, так и классики мировой литературы постоянно обращались к фольклору».

ФРАНЦИЯ

В парижском театре Тертр режиссер Поль Дюпарк поставил пьесу Н. В. Гоголя «Женитьба». Четыре года назад этим же режиссером была поставлена инсценировка повести Гоголя «Нос». На снимке: Сцена из «Женитьбы». В главных ролях — Франсуаз Данель и Рожэ Пеллетье.

(Газета «Либерасьон»)

ПЬЕСА — РАЗОБЛАЧЕНИЕ

Французская печать, в том числе и правая, посвящает много статей «крупнейшему событию в театральной жизни Франции» — премьере пьесы Армана Салакру «Бульвар Дюрана» (см. «Иностранную литературу» № 7, 1960 г.). Премьера состоялась в Гавре — в городе, где пятьдесят с лишним лет назад разыгралась трагедия, и как раз в том зале, где руководитель портовых рабочих Жюль Дюран выступал на митингах. Пьеса поставлена Северным драматическим центром, руководимым Андре Рейбазом.

В беседе с корреспондентом газеты «Юманите» Андре Рейбаз сказал: «Провинциальный драматический центр — это совсем не театр в обычном понимании этого слова. У нас нет определенного здания театра. Мы кочуем с места на место со всеми декорациями. Иногда выступаем в совершенно не подходящих для этого помещениях. Цель нашего драматического центра — привлечь в театр рабочий класс. Одно из важнейших средств для этого — подбор репертуара. Вот почему мы решили поставить «Бульвар Дюрана».

На премьере присутствовали адвокат Дюрана Рене Коти, который впоследствии стал президентом Франции, и дочь Дюрана — Жюльетта.

«Необычность положения состоит в том,— пишет газета «Юманите»,— что на глазах у представителя голлевского министра (в зале присутствовал представитель министерства культуры), а также реакционных политических деятелей и монополистов оказалось возможным показать сцены митингов, развевающиеся красные флаги, рабочих, поющих «Интернационал». В результате бурная овация взволнованного до слез зрительного зала». Кстати, корреспондент газеты «Монд» сообщал, что зрители — трудящиеся Гавра — пели «Интернационал» вместе с актерами.

— Публикуя пьесу,— заявил Арман Салакру представителям печати.— я никак не думал, что исполнят ее как раз в том зале, где развертывалась борьба Жюля Дюрана за освобождение рабочих. Если этим произведением я чем-то помог движению за освобождение — значит, моя жизнь не была бесполезной... Впервые в моей жизни писателя я чувствую, что написал именно то, что хотел написать.

(Газета «Юманите»)

«Еще ни одна пьеса не разоблачала с такой ясностью и глубиной капиталистическую эксплуатацию, как «Бульвар Дюрана»,— пишет «Юманите».— Этот спектакль заслуживает восхищения всех тех, кто борется за социальную справедливость, а также тех, кто добивается создания поистине народного театра».

ПРОТЕСТ ПИСАТЕЛЕЙ

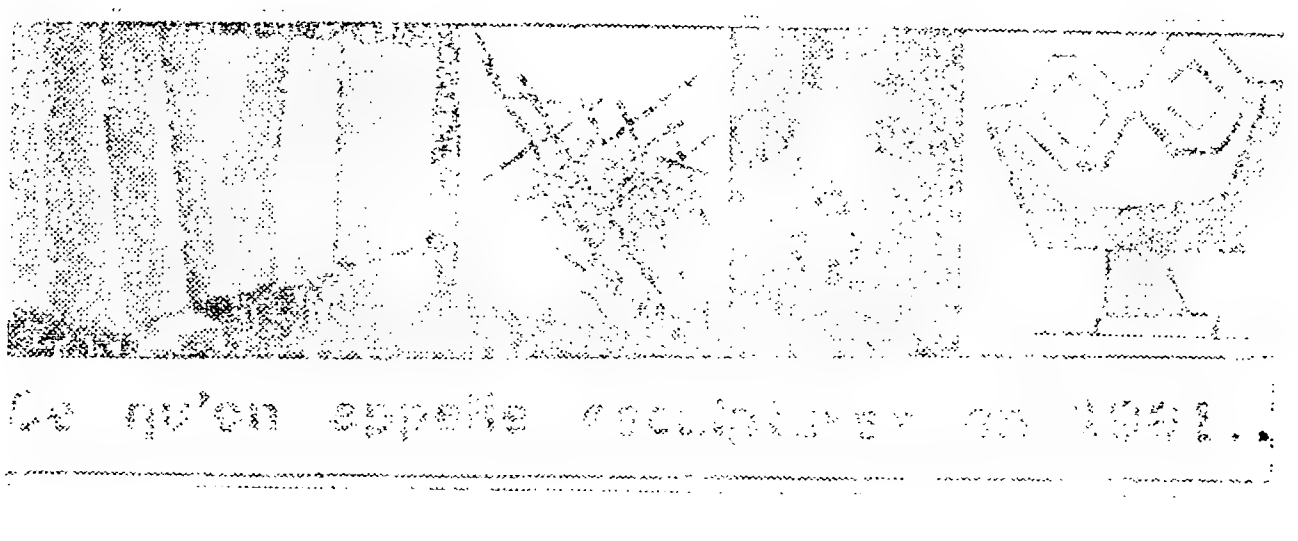
Национальный комитет французских писателей опубликовал протест против решения властей о ничем не оправданной высылке писателя Эдуара Глиссана с острова Гваделупа. В протесте, как сообщает еженедельник «Леттр франсез», говорится: «До сих пор высылка из страны считалась во Франции позорным наказанием за тяжкие преступления. В данном же случае эта мера явилась попранием элементарных демократических свобод».

ОСКОРБЛЕНИЕ РОДЕНА

Под таким заголовком газета «Либерасьон» опубликовала статью против устройства выставки современной абстрактной скульптуры в музее Родена.

Газета пишет, что выставлять на территории музея булыжник, плохо обработанный песчаник, куски металла, огромные и непонятные сооружения значит оскорблять память Родена, любое произведение которого потрясает своим мастерством. Так называемые новаторы, продолжает газета, могли бы прийти сюда поучиться хотя бы кузнечному делу: решетка каждого балкона музея — недосягаемый для них пример мастерства. Газета отмечает, что не было нужды тратить так много времени и денег на перевозку из 27 стран изделий абстракционистов. Подобное предприятие может порадовать лишь невежественных шарлатанов и спекулянтов, извлекающих из него выгоду.

Эта выставка настолько нелепа, пишет в заключение «Либерасьон», что даже те, кто хотел поддержать от-



«Это — то, что называется «скульптурой» в 1961 году...» Такой подписью газета «Либерасьон» сопроводила публикуемые снимки.

дельных новаторов, приходят в ужас, понимая, что искусство скульптуры находится под угрозой вырождения.

не картина, а что-то другое, в лучшем случае более или менее любопытная декорация или просто орнамент.

В салоне абстракционистов Лильевалч, пишет Бергмарк, собраны все варианты дозволенных нелепостей: живопись кирпичом, живопись клеем, живопись разбрызгиванием, живопись выкалыванием, живопись лоскутная и живопись монохроматическая, бесформенная.

«Все беспомощные потуги творцов всего этого,— пишет критик,— вызывают лишь одно: ощущение пустоты и бесплодия».

А может быть, и нужен такой салон, заключает Торстен Бергмарк, нужен для того, чтобы посетитель, выйдя после его осмотра на свежий воздух, мог бы с полным правом сказать: «Вы говорите — абстрактное искусство? Такого нет!»

ШВЕЦИЯ

ТРЕЗВЫЙ ГОЛОС КРИТИКА

Среди рецензий и монографий, восхваляющих в Швеции абстракционизм, прозвучал и трезвый голос критика Торстена Бергмарка.

«Абстрактное искусство — а оно существует?» — спрашивает Бергмарк читателей газеты «Дагенс нюхетер» в связи с открытием первого в Швеции салона абстракционистов.

Работы, выставленные в салоне, не отбирались жюри, а просто всем участникам была предоставлена возможность выставить по два произведения. Единственным и непременным условием было только то, что эти произведения «должны быть абстрактными».

По мнению Бергмарка, сам по себе термин «абстрактная живопись» содержит внутреннее противоречие. Этот термин в значительной степени утратил свое первоначальное содержание, означавшее в свое время разрыв со старыми традициями. Картину можно считать абстрактной, если невозможно понять, что же она выражает, то есть когда на самом деле это уже

ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

РАССКАЗЫ ПИСАТЕЛЯ-БОРЦА

Своими выступлениями против царящего в Южно-Африканской Республике апартеида писатель Эзекайл Мпашлеле навлек на себя ненависть расистского правительства и был вынужден эмигрировать. Свыше четырех лет писатель живет в Нигерии, работает преподавателем университетского колледжа в Ибадане, активно сотрудничает в местной печати.

Но и находясь в Нигерии, Мпашлеле не прекращает борьбы против расизма, господствующего у него на родине. Об этом свидетельствует его новая книга «Живой и мертвый, и другие рассказы».

Познакомившись с этой книгой, читатель, по словам рецензента газеты «Уэст африкен пайлот», получит точное представление о том, что происходит в Южной Африке, где чернокожие лишены всех прав.

Книга иллюстрирована южно-африканским художником Питером Кларком.

Газета приветствует инициативу министерства просвещения Нигерии, издавшего эту книгу в Ибадане в качестве приложения к литературному журналу «Блэк Орфьюс».

АНТИРАСИСТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ

«Крушение надежд молодого негра» — так называется новый музыкальный спектакль, поставленный недавно в Иоганнесбурге. Написанный в форме джаз-оперы, очень популярной среди африканского населения страны, он, по мнению рецензента прогрессивной газеты «Нью эйдж», выражает «резкий протест против бесправия черных в Южной Африке».

В спектакле рассказывается о том, как правящие круги страны, проводящие политику апартеида, стремятся задушить любую попытку африканцев добиться улучшения своего положения.

Отмечая роль автора Годфри Скосаны и режиссера Джулиуса Дамбузы в постановке спектакля, рецензент газеты особо выделяет как впечатляющую сцену судебного заседания, когда адвокату не разрешают защищать своих клиентов только потому, что он — черный.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Андрей Плавка — Andrej Plàvka (род. в 1907 г.) — словацкий поэт и прозаик. Ему принадлежат сборники стихов «Ветер над дорогой» («Vietor nad cestou», 1940), «Зеленый побег» («Zelená ratolest», 1950), «Моя родина» («Domovina moja», 1951), «Слава жизни» («Sláva Života», 1951). А. Плавка — автор романа «Обращение Павла» («Obrátenie Pavla», 1941), сборника рассказов «Седьмой» («Siedmi», 1952).

Публикуемые стихи взяты из сборника «Признание» («Vyznani», 1960).

Ярмила Урбанкова — Jarmila Urbànkovà (род. в 1911 г.) — чешская поэтесса, автор стихотворных сборников «Разбитое зеркало» («Rozbitè zrcadlo», 1932), «Время ветра» («Větrný čas», 1937), «К утреннему источнику» («K jitřnímu prameni», 1955) и др.

Стихи, напечатанные в этом номере, взяты из еженедельника «Литерарни новины» № 32 за 1961 г.

Вилем Завада — Vilém Závada (род. в 1905 г.) — чешский поэт, автор поэтических сборников «Стихи» («Basně», 1954), «Полевые цветы» («Polni kvítí», 1955), «Дорога, пройденная пешком» («Cesta pěšky», 1961).

Напечатанные в журнале стихи взяты из сборника «Полевые цветы».

Иван Скала — Ivan Skála (род. в 1922 г.) — чешский поэт. Известны сборники его стихов «Огниво» («Křesadlo», 1946), «Через порог» («Přes práh», 1948), «Май земли» («Máj země», 1950), «Утренний поезд надежды» («Ranní vlak naděje», 1958) и другие.

Публикуемые стихи взяты из книги «Утренний поезд надежды».

Иржи Шотола — Jiří Šotola (род. в 1924 г.) — чешский поэт. Ему принадлежат поэтические сборники «Завершенное время» («Čas dovršený», 1946), «Красный цветок» («Červený květ», 1955) и др. Опубликованные в номере стихи взяты из сборника «Весь наш мир» («Svět naš vezdejší»).

Штефан Жарый — Štefan Žáry (род. в 1918 г.) — словацкий поэт, автор сборников стихов «Меч и лавры» («Meč a vavrín», 1948), «Дорога» («Cesta», 1952), «После меня другие» («Po mne iní», 1957).

Стихотворение «Оружие» взято из сборника «Словацкая весна» (1955).

Мирослав Флориан — Miroslav Florian (род. в 1931 г.) — чешский поэт, автор поэтического сборника «Открытый дом» («Otevřený dum», 1957). В № 2 за 1959 г. нашего журнала печаталось его стихотворение «Красноармейцы».

Публикуемые стихи взяты из сборника «Открытый дом».

Иржи Гавел — Jiří Havel (род. в 1924 г.) — поэт, автор книги стихов «Солнцестояние» («Slunovrat», 1960). Стихотворение «Вам есть у кого спросить» было опубликовано в «Антологии чешской поэзии» (1959).

Веселин Ханчев (род в 1919 г.) — болгарский поэт. Автор поэтических сборников «Испания на кресте» («Испания на кръст», 1937), «Смена» (1948), «Знамя дружбы» («Знаме на дружбата», 1952) и многих других.

Публикуемое стихотворение взято из сборника «Лирика» (1960).

Богомил Нонев (род. в 1920 г.) — болгарский публицист и литературовед. Автор книг «Города и люди» («Градове и хора», 1955), «Жанры и художественное мастерство» («Жанрове и художествено майсторство», 1956), «Хорошие пути» («Добрите пътища», 1957), «Переход через время» («Брод през времето», 1960).

Публикуемая статья получена в рукописи.

Франтишек Кубка — František Kubka (род в 1894 г.)—чешский писатель и публицист. Автор книг «Скифский наездник и другие повести» («Skythský jezdec a jiné novely», 1941), «Собственными глазами. Заметки о моих современницах» («Na vlastní oci. Pravdivé malé povídky o mych současnících», 1959).

Статья об Александре Фадееве взята из книги воспоминаний «Голоса с востока» («Hlasy od východu», 1961) и печатается с небольшими сокращениями.

Гордон Шаффер — Gordon Shaffer (род. в 1905 г.) — английский публицист и общественный деятель, член Всемирного Совета Мира, автор книги о Советском Союзе «Россия сегодня» («Inside Russia Now», 1947).

Публикуемая в этом номере статья прислана автором в рукописи.

Эуджен Жебеляну — Eugen Jebeleanu (род. в 1911 г.) — румынский поэт, лауреат Государственной премии, автор книг «Щит мира» («Scutul păcii», 1949), «Поэмы мира и борьбы» («Poeme de pace și luptă», 1950), «В селе Сахии» («În satul lui Sahia», 1952), «Бэлческу» («Bălcescu», 1952), «Песни молодого леса» («Cîntecele pădurii tinere», 1953), «Улыбка Хиросимы» («Surîsul Hirosimei», 1958), «Стихи» («Poezii», 1959), «Оратория Освобождения» («Oratoriul Eliberării», 1960).

Статья о Михаиле Садовяну перепечатана из еженедельника «Газета литерарэ» № 44 за 1961 г.

Суан Зьеу — Xuan Dieu (род. в 1917 г.) — вьетнамский поэт и литературный критик, автор поэтических сборников «Стихи» (1938), «Запахи, которые приносит ветер» (1945), «Один и все» (1960). Суан Зьеу — автор книги критических статей «Три великих национальных поэта» (1959). Статья «Великий поэт Вьетнама», публикуемая в этом номере, прислана автором в рукописи.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ЗА 1961 ГОД (№№ 1—12)

К 91-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

Анисимов, И.— Ленин и новые горизонты всемирной литературы, № 4.

Шеридан, Клэр — Неприкрашенная правда (Послесловие Аллы Любарской), № 4.

Яковлев, Б.— Великая школа (Замегки о ленинских переводах), № 4.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПИСАТЕЛИ О ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ

БОРЬБА ЗА МИР — НАШ БЛАГОРОДНЫЙ ДОЛГ (Деятели культуры о Заявлении Совещания представителей коммунистических и рабочих партий и Обращении к народам всего мира), № 1.

Барабаш, Тибор — Знамя мира и социализма.

Беллами, Рональд — За мир без войн и колониальной эксплуатации.

Димитров-Гошкин, Г. — Коммунистический манифест современности.

Лопес, Рафаель — Призыв к умам и сердцам.

Стиль, Андре — Вера в судьбы человечества.

БЬЕТ ПОСЛЕДНИЙ ЧАС КОЛОНИАЛИЗМА! (Деятели культуры о Заявлении Совещания представителей коммунистических и рабочих партий и Обращении к народам всего мира), № 2.

Депестр, Рене — Долг литераторов.

ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗЫ КОММУНИСТОВ (Говорят зарубежные писатели), № 10.

Кауль, Фридрих — Обломки и наследники третьего рейха.

Лу Синь — Литература разных чувств.

Наш друг, боец, коммунист (Неизвестные письма Джона Рида).

Питтман, Джон — Рука друга.

Фрис, Тойн де — Битва за будущее.

ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ ЖИВЕТ В НАШЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ (Зарубежные писатели о проекте Программы КПСС), № 10.

ДОКУМЕНТ, ОКРЫЛЯЮЩИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО (Зарубежные писатели о проекте Программы Коммунистической партии Советского Союза), № 9.

КОММУНИЗМ — ЭТО НАДЕЖДА НАРОДОВ, ИХ ЛУЧЕЗАРНОЕ БУДУЩЕЕ! № 12

Нонев, Богомил — Во имя человека.

Плугарж, Зденек — Светлый путь.

Темпест, Питер — Мечта — предвидение — план.

Штриттматтер, Эрвин — Преобразуем мы планету нашу Землю!

ПРОГРАММА КОММУНИЗМА, ПРОГРАММА МИРА (Зарубежные писатели о Программе Коммунистической партии Советского Союза), № 11.

СВЕРШИЛОСЬ ВЕЛИКОЕ СОБЫТИЕ. ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕК ОСУЩЕСТВИЛ ПОЛЕТ В КОСМОС (Вкладка), № 4.

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА (Отклики зарубежных деятелей культуры на триумфальный полет советского человека на космическом корабле вокруг Земли), № 5.

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ

Аббас, Ходжа Ахмад — Черное солнце (Легенда наших дней), № 10.

Бети, Монго—Завершенная миссия (Роман), №№ 9, 10.

Болстад, Эйвин — Тень между ними. Без маски (Рассказы), № 6.

Борхерт, Вольфганг — Биллбрук (Рассказ), № 4.

Бржезовский, Богуслав — Железный потолок (Роман), №№ 5, 6, 7, 8.

Висконти, Лукино — Рокко и его братья (Киносценарий), № 8.

Галамбош, Лайош — Терпкая лоза (Роман), № 10.

Гойтисоло, Хуан — Прибой (Роман), № 6.

Диб, Мухаммед — На холмах (Рассказ), № 7.

Добози, Имре — Авария. Ливень (Рассказы), № 1.

Дюрренматт, Фридрих — Авария (Одна из еще возможных историй), № 7.

Ивашкевич, Ярослав — Девушка и голуби (Маленькая повесть), № 1.

Карнес, Луиса — Дома. Партия в домино (Рассказы), № 7.

Кемаль, Орхан — Братская доля (Рассказ), № 9.

Кемаль, Яшар — Коза (Рассказ), № 9.
Коджагёз, Самим — Смерть старого вола (Рассказ), № 9.
Марек, Иржи — Жить среди людей (Рассказы), № 4.
Нахбар, Герберт — Свадьба на Леннекене (Роман), №№ 11, 12.
Нейхауз, Вольфганг — Украденная юность (Роман), №№ 2, 3.
Ногами, Яэко — Шхуна «Кайдзин-мару» (Повесть), № 4.
Понс, Морис — Ночной пассажир (Повесть), № 1.
Рединг, Иозеф — Устаревшие перспективы Перестройка производства. Репетиция. Одного цвета. По эту сторону цензуры. Объединение в Миссисипи (Рассказы). № 11.
Сигал, Роналд — Токолош (Повесть), № 5.
Стиль, Андре — Обвал (Роман), №№ 4, 5.
ТУРЕЦКАЯ НОВЕЛЛА, № 9.
Уилсон, Митчел — Встреча на далеком меридиане (Роман), №№ 1, 2, 3, 4.
Фолкнер, Уильям — Особняк (Роман). №№ 9, 10, 11, 12.
Хемингуэй, Эрнест — Опасное лето (Главы из новой книги), № 2.
Ямач, Зия — В сапогах (Рассказ), № 9.

СТИХИ

Абад, Америко — Хозяйка дома, № 9.
Албу, Флоренца — В ногу с Человеком. № 10.
Аполлинер, Гийом — Стихи разных лет. № 1.
Бехер, Иоганнес — Да будет свет! № 5.
Боген, Луиз — Песня поезда, № 8.
Божилов, Божидар — Есть такая профессия! № 9.
Босев, Асен — Детям Лумумбы, № 3.
Вэй Вэй — В час отлива, № 10.
Гавел, Иржи — Вам есть у кого спросить. № 12.
Гараи, Габор — Крановщик, № 7.
Гинсберг, Аллен — Рынок в Калифорнии, № 8.
Го Мо-жо — Навек этот день нам подарен! № 5.
Гонз, Вацлав — Памяти героя, № 3.
Го Сяо Чуань — Воспеваю дружбу нашу, № 10.
Гу Гун — К высоким вершинам шагаем мы в ногу, № 10.
Да Круш, Вириату — Поэма, № 1.
Дамянов, Дамян — Мужество, № 3.
Дашдэндэв, С.— Хорошо! № 7.
Диб, Мухаммед — Заря наступает, № 10.
Динь-динь-доллар! (Перевод С. Маршака). № 10.
Ди Оливейра, Мариу Антониу Фернандес— Безработный. Субботний вечер, № 1.
Джаррел, Рэндол — Потери, № 8.
Джастис, Дональд — Сумасшедший дом, № 8.
Доржпалам, Сухийн — Русские — в космосе! № 6.
Жарый, Штефан — Оружие, № 12.
Завада, Вилем — Облокотясь на выси гор... № 12.
Ивашкевич, Ярослав — Дочерям Юрия Гагарина, № 6.
ИЗ КИТАЙСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН. Трубы Кто украсил землю. Нагружаю корзину. № 7.
Иоанниду-Белоянис, Элли — Подпольщик идет по Афинам, № 11.
Караангов, Петр — Программа — поэма, № 10.
Копс, Бернард — Юрию Гагарину, № 9.
Коулмен, Анита Скотт — Колорист. № 8.
Крус, Роберто — Герману Титову, № 9.
Ленгленд, Джозеф — Война, № 8.
Лог, Кристофер — Три стихотворения, № 2.
Лоуэнфелс, Уолтер — Новый полет Леонардо, № 9.
Лхамсурэн, Ч. — Счастье, № 7.
Мак-Грат, Томас — Против ложного волшебства, № 8.
Майореску, Тома Джордже — Разговор космонавта с богом, № 11.
Микайя, Лилинью — Мы не забудем, № 1.
МОЛОДЫЕ ПОЭТЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ, № 9.
Мюллер, Юпп — Пой вместе с нами, ветер! № 7.
Нирала, С. Т.— Лирика (Предисловие Сергея Северцева), № 2.
Нэш, Огден — Страшные люди, № 8.
Перес, Сауль — Человек-город (Отрывки), № 9.
Пиларж, Ян — Страны Советской сыну, № 8.
Плавка, Андрей — К коммунизму движется земля! № 12.
Порумбаку, Вероника — Новой эры возвестив начало, № 11.
Родригес, Феликс Пита — Винтовка № 5764 № 6.
Ружевич, Тадеуш — Строки воспоминаний, № 2.
Сенак, Жан — Я говорю, чтобы все узнали мой край, № 5.
Сильвайн, Хулио Сесар—Сегодняшний день. Блюз о моей собаке, № 9.
Скала, Иван — Неоконченное стихотворение, № 12.
СОВРЕМЕННЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ ПОЭТЫ. № 8.
Стивенс, Уоллес — Открытка с вулкана. № 8.
СТИХИ АФРИКАНСКИХ ПОЭТОВ, № 1.
СТИХИ, НАПИСАННЫЕ КРОВЬЮ
Го Мо-жо, Ли Да-чжао, Ся Мин-хань, Хэ Цзинь-ци, Инь Фу, Дэн Чжун-ся, Цюй Цю-бо, Лю Бо-цзянь, Фан Чжиминь, Е Тин, Чэнь Жань, № 6.
Струмф-Войткевич, Ст.— Баллада о кружке, № 8.
Темпест, Питер — Вскипает свободы прибой! № 11.
Тенрейру, Франсиску Жозе — Я родился в этом глухом краю.. Песня зеленого леса. № 1.

Уаси, Хулио — Сын народа. Поэт снова на лоне природы, № 9.
Уильямс, Уильям Карлос — Псу, раздавленному на улице, № 8.
Уитмор, Рид — Прогноз, № 8.
Урбанкова, Ярмила — Для тебя! № 12.
Фан Цзи — Чанцзян, № 7.
Фёльдеак, Янош — Я видел Ленина, № 4.
Флориан, Мирослав — Недописанное, № 12.
Фонсека, Агиналду — Разделение труда. Таверна в порту. В квартале бедняков, № 1.
Ханчев, Веселин — Урок бесстрашия, № 12.
Хельман, Хуан — Речь в защиту Кубы, № 9.
Хуушаан, Л. — Возвращение на родину, № 7.
Циммеринг, Макс — Человек — земли владыка, № 9.
Ширчинсурэн, М. — Затянула дымка голубая... № 7.
Шотола, Иржи — «Что бы ты сам себе пожелал?..» № 12.
Эберхарт, Ричард — Дэм Нэк, штат Вирджиния, № 8.
Янь И — Неугомонный, № 10.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

КИТАЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ, № 11.
Тао Юань-мин, Юань Чжэнь.
МИНУВШЕЕ ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ! (Стихи немецких поэтов времен Тридцатилетней войны 1618—1648), № 4.
Поэт-патриот (К 400-летию со дня рождения Пак Ин Но).
Пак Ин Но — Песня о пахоте, № 12.
ПЯТЬ ПОЭТОВ РИСОРДЖИМЕНТО (К столетию объединения Италии), № 7.
Гарибальди, Джузеппе — Лодочник с острова Капрера.
Гаццолетти, Антонио — В тюрьме.
Даль Онгаро, Франческо — Кнут.
Карбоне, Доменико — Новарский барабан.
Меркантини, Луиджи — Гимн Гарибальди.

Чаплин-младший, Чарльз — Мой отец Чарли Чаплин, №№ 6, 7.

КРИТИКА

Ара, Масахито — Писатели вышли из своих кабинетов, № 9.
Балашов, Н. — Гийом Аполлинер и современность, № 1.
Балашов, П. — Единство лирического и эпического (О художественном новаторстве Шона О'Кейси), № 3.
Бажан, Микола — Рисорджименто и литература, № 11.
Бурианек, Франтишек — Перед новыми горизонтами (Заметки о современной чешской литературе), № 1.
Голик, И. — Искусство новых горизонтов, № 9.
Днепров, В. — О фрейдистской психологии и реалистическом романе, №№ 7, 8.
Егоров, О. — Во имя свободы и братства. № 11.
Елистратова, А. — Неприятная правда об одной «приятной» прогулке, № 4.
Житомирская, З. — «Новый» Травен, № 8.
Зегерс, Анна — О глубине и широте в литературе, № 9.
Зелинский, К. — Мир сегодня и проблемы национальных литератур (Несколько мыслей в связи с выступлениями журнала «Сервей»), № 12.
Ибаньес, Хаиме — Человек и земля в колумбийском романе, № 2.
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ, № 9.
Кеттл, Арнольд — Поиски пути (Заметки о современной английской литературе), № 8.
Кирилюк, Е. П. — Т. Г. Шевченко в славянских литературах (К 100-летию со дня смерти), № 3.
Кожевников, Ю. — В борьбе за социалистические идеалы, № 12.
Козлова, Н. — Поставлен вопрос о счастье. № 7.
Кораллов, М. — Роза Люксембург — литературный критик, № 3.
Леонтьев, Б. — «Быстрее, быстрее идти вперед!», № 5.
Лоусон, Джон Говард — Уильям Фолкнер. № 9.
Мушиете, Поль — Вчера и завтра конголезской литературы, № 8.
Неделин, В. — «Возлюбившие войну» и их жертвы, № 7.
Нонев, Богомил. — В ответе за судьбы эпохи (Заметки писателя), № 2.
О романе Уилсона «Встреча на далеком меридиане», № 5.
Самарин, Р. — На переднем крае, № 5.
Сантакреу, Хосе — Оружие народа (Стихи Бласа де Отеро), № 9.
Симонов, Константин — В интересах своего народа, № 5.
СЛОВО БОЛГАРСКИХ ДРУЗЕЙ (Обсуждение журнала «Иностранная литература» на читательской конференции в Софии), № 3
Стиль, Андре — Горький и авангард, № 6.
Топер, П. — По ту сторону фронта (Заметки об антивоенной немецкой литературе). № 6.
Трущенко, Е. — Глиняная плошка или светильник разума (Деятели французской культуры о назначении художественного творчества), № 5.
Тураев, С. — Навстречу будущему, № 2.
Уилсон, Митчел — После первых читательских откликов, № 9.
Шерлаимова, С. — Живые, не забудьте! № 6.
Эльсберг, Я. — Куда идут человек и литература, № 4.
Этó, Дзюн — Молодые писатели Японии. № 4.
Юркович, Марьян. — Поэт-партизан, № 6.

СРЕДИ КНИГ
ИЗДАНО В СССР

Адамович, Александр — Их подвиг бессмертен, № 6.
Агапов, Борис — Грустные свидетельства, № 6.
Алиева, Н. — Новая повесть индонезийского писателя, № 12.

Белиловская, М.— Поэт восточной Бенгалии, № 2.

БИБЛИОГРАФИЯ НОВЫХ ИЗДАНИЙ, №№ 2, 3, 4, 5, 7.

Борзенко, С.— Они отстояли свободу, № 6.
Борщаговский, Александр — Бертиль Булсон без грима, № 8.
Брескина, Ф.— Голос подлинной Франции, № 3.
Ваксмахер, М.— Радость открытия большого поэта, № 7.
Габинский, Николай — Трагедия трех поколений, № 9.
Галанов, Б.— Это было в Праге, № 6.
Геевский, И.— Новая книга Альберта Кана, № 3.
Гиленсон, Б.— Сборник произведений Синклера Льюиса, № 8.
Гиленсон, Б.— Сборник эфиопских сказок, № 2.
Гиллер, А.— Выбор адвоката Бергера, № 5.
Голик, И.— Встреча со старым другом, № 12.
Друнина, Ю.— Филиппины в огне, № 6.
Жуков, Д.— Рассказы боснийского писателя, № 3.
Зонина, Л.— Романы Жоржа Сименона, № 8.
Зонина, Л.— Сатира Ханса Шерфига, № 1.
Иванова, В.— В огне испытаний, № 4.
Инбер, Вера — Коротко и прекрасно, № 8.
Кассиль, Лев — Жизнь, отданная детям, № 6.
Кишкин, Л.— Культура должна служить народу, № 5.
Клейнер, П.— За революцию я отдал голос свой, № 12.
Кораллов, М.— Человечность и социальность, № 9.
Левик, В.— Поэзия Яноша Араня, № 12.
Левонтин, Эзра — Леконт де Лиль в новом переводе, № 4.
Лисевич, И.— Он отдал сердце своему народу, № 4.
Лисевич, И.— Рожденная в огне революции, № 1.
Мартынова, А.— Исповедь пламенного сердца, № 3.
Марцина, И.— История одной жизни, № 7.
Магусевич, Вл.— Новое издание «Саги о Фритьофе», № 2.
Миловидова, Н.— Воспоминания Фернана Гренье, № 5.
Миловидова, Н.— Страна горя, № 11.
Мотылева, Т.— Театр Брехта, № 9.
Наровчатов, С.— Застывшая скорбь, № 11.
Неделин, В.— Роман, бьющий тревогу, № 2.
Никифорова, И.— Непокорившаяся земля, № 1.
Рабинович, Г.— Рассказы Станислава Лема, № 7.
Россиянов, О.— Почти полвека, № 7.
Русакова, А.— Роман о немецком Сопротивлении, № 6.
Семанов, В.— Великий писатель Китая, № 9.
Скороденко, В.— Грустная и правдивая история, № 3.
Слуцкий, Борис — Первая заповедь, № 4.
Стазу — От имени двух континентов, № 11.
Стальский, Н.— Величие наших дней, № 8.
Суровцев, Ю.— День побеждает, № 11.
Таманцев, Н. — Настольный справочник литературоведа-зарубежника, № 3.
Тишков, А.— О бескорыстном и самоотверженном человеке, № 3.
Тушнова, Вероника—Крылатая поэзия, № 1.
Чернявская, И.— Поэзия детства, № 2.
Числов, М.— Постоянство, № 5.
Ясный, В.— Гнев и боль художника, № 5.
Яхонтова, М.— Пути развития современного реализма, № 10.

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Балашова, Т.— Рассказывают друзья... № 1.
Белоусов, Р.— Летопись больших перемен, № 10.
Белоусов, Р. — Молодые рассказчики Китая, № 1.
Бержерон, Режи — «Дневник» братьев Гонкур, № 7.
Биркан, П. — Новые материалы о Бехере, № 8.
Богданов, Ю.— Голос народа, № 10.
Вершинин, Л.— Оправдавшиеся ожидания, № 1.
Волевич, И., Шатков, Г.— Боевой орган фламандских литераторов, № 5.
Востокова, С.— Наследие великого сатирика, № 7.
Гальперина, Е.— Дорогами Европы? № 7.
Гальперина, Е.— Поэзия и правда гаитянского народа, № 2.
Гераскина, А.— Африка, твоя судьба решается... № 5.
Грюнвальд, Леопольд — Когда молчание нарушено, № 6.
Дашкевич, Юрий — Путь кубинской литературы, № 3.
Диденко, Б.— Самое дорогое имя, № 4.
Добровольская, Ю.— Горячее сердце поэта, № 12.
Ерихонов, Л.— Живые связи, № 9.
Злобин, Г.— В лесах Конго, № 1.
Злобин, Г.— Черное пламя разгорается ярче, № 3.
Злыднев, В.— О любви, о дружбе и трудовых буднях, № 2.
Кокурина, Т., Тюрина, Л.— Греция борется, № 8.
Копелев, Лев — Русская и советская поэзия на немецком языке, № 4.
Ларин, С.— Размышления у бронзовых врат, № 4.
Левидова, И.— «Четырехпалубный корабль в стоячих водах, № 4.
Мандель, Е.— Начало нового пути, № 3.
Мотылева, Т.— Неблагожелательный нейтралитет, № 12.
Наумов, К.— Сказка о будущем, № 5.
Никифорова, И.— Путь к рассвету, № 11.
Орлова, Р.— Правда невероятного, № 5.

Певцов, Ю.— В борьбе за свет, № 3.
Приемский, Д.— Они нашли свое счастье в борьбе, № 10.
Прожогина, С.— Горячий ветер пустыни, № 11.
Россиянов, О.— Героическое начало, № 10.
Самарин, Р.— Молодость побеждает, № 10.
Скороденко, В.— Прозревающие во тьме, № 6.
Соколовская, Н.— Романтика созидания, № 10.
Тимофеева, О.— Поэты сражающегося Алжира, № 11.
Топер, П.— Сыновняя ненависть, № 8.
Тотев, Петко — Болгарские подснежники человеку-звезде, № 10.
Уотен, Джуда — Лучшие книги года, № 12.
Федосеев, Г.— За колючей проволокой, № 9
Фиников, В.— Клод Оливье покидает мир авантюристов, № 9.
Фрид, Я.— Киносценарии—художественная литература, № 2.
Харламова, Л.— Сквозь тюрьмы и пытки, № 11.
Чернышев, В.— Певец индийской деревни, № 3.
Юнгман, М.— Не было безымянных героев, № 10.
КНИГИ О ВОЙНЕ, КНИГИ ПРОТИВ ВОЙНЫ, № 6.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РАБИНДРАНАТА ТАГОРА

Халдар, Гопал — «Все, что я вижу,— чудесно» (Тагор о Советском Союзе), № 5.

К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. А. ФАДЕЕВА

Кубка, Франтишек — Воспоминания о друге, № 12.

ПАМЯТИ МИХАИЛА САДОВЯНУ

Эуджен Жебеляну — Сила человеческого слова, № 12.

ОБЗОРЫ

Алексис, Жак Стефен — Дорогой живых традиций, № 2.
Юн Се Пхён — Литература освобожденного народа, № 2.

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обозрение зарубежной прессы, №№ 1—9, 11, 12.

ПОЛЕМИКА

Вигдорова, Ф.— Об «опасных» школьниках и тенденциозных критиках, № 4.
Макаров, А.— Несостоявшиеся открытия господина Гибиана, № 5.
Перцов, В.— Как изучают Маяковского в Гарвардском университете, № 1.
Сурков, Алексей — Политические причины и эстетические следствия, № 6.
Юрьев, Ю.— Если придерживаться фактов, № 9.

ПУБЛИЦИСТИКА

Виц, Игнацы — Приметы будущего мира, № 4.
Дэвидсон, Бэзил — Африка пробудилась, № 6.
Дюкрок, Альбер — На пороге великих открытий, № 4.
Ледда, Романо — Герой Африки (Встречи с Патрисом Лумумбой), № 5.
Линдсей, Джек — Силы, преобразующие мир (Письмо советскому коллеге), № 3.
Монбуйран, Лео — Преступление совершается в Бонне... № 9.
Норт, Джозеф — Эрнест Хемингуэй (Из воспоминаний), № 8.
Пинтер, Иштван и Сабо, Ласло — Интервью с палачами, №№ 11, 12.
Полл, Айрин — На островке Мегано, № 11.
Путик, Ярослав — Совесть (Дело профессора Оппенгеймера), №№ 1, 2.
Сартр, Жан-Поль — Наемники против Кубы, № 8.
СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ (Фотоочерк), № 8.
Фрей, Бруно — После венской встречи, № 8.
Фрис, Тойн де — По ту сторону Луны... № 4.
Царство молчания, № 9.
Шаффер, Гордон — Вопрос жизни и смерти, № 12.
Энжес, Пьер — Великий взлет, № 11.

90 ЛЕТ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ, № 3.

Творец бессмертного «Интернационала».
Данилин, Ю.— Говорит поэт революции.
Гатов, Александр — В думах об Эжене Потье.
Потье, Эжен — Речь, произнесенная 18 марта 1878 года.

ОЧЕРКИ

Оттьери, Оттьеро — Доннарумма идет на приступ, № 9.
Солсбери, Гаррисон — Выбитые из седла (Главы из книги), № 7.
Хатчинсон, Элфред — Путь в Гану, № 3.

ДОКУМЕНТЫ

Гильен, Николас — Массам — лучшие плоды нашего творчества, № 12.
Дортикос, Освальдо — Революция требует ваших усилий, № 12.
Ибаррури, Долорес — Они пали непобежденными, № 7.
Кастро, Фидель — Мы — семена грядущего, № 12.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА — ДЕЙСТВЕННОЕ ОРУЖИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ, № 6.
Лорка, Федерико Гарсиа — О себе, о жизни, об искусстве, № 8.
ПИСЬМА ИСПАНСКИХ ПАТРИОТОВ, № 7.
ТВОРИТЬ ДЛЯ НАРОДА (Конгресс деятелей культуры революционной Кубы), № 12.

ДНЕВНИКИ И ПИСЬМА

ЗАВЕЩАНИЕ ЖИВЫМ (Дневник чешской патриотки Марии Кудержиковой, казненной фашистами. (Публикация и вступительная статья Моймира Грыгара), № 1.

КНИГИ, ЗАМЫСЛЫ, ТЕМЫ

ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ, №№ 5, 7.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Реформатская, Н. В.— Французские художники и Маяковский, № 3.

СОБЫТИЯ И ДАТЫ

Борисов, Б.— Славный сын филиппинского народа (К 100-летию со дня рождения Хосе Рисаля), № 6.

Орлова, Р.— Искатель правды (К 25-летию со дня смерти Линкольна Стеффенса), № 9.

Пиотровская, А.— Певец шахтерской Силезии (К 70-летию со дня рождения Густава Морцинека), № 9.

Суан Зьеу — Великий поэт Вьетнама, № 12.

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Чугунов, К.— Перед конференцией в Каире. № 8.

РЕПОРТАЖ

Феррейра, Пинту — Одиссея «Санта-Марии», № 5.

НАШИ ГОСТИ

Дашкевич, Юрий — Из окопов, где защищают культуру, № 7.

ДИАЛОГ О СОВРЕМЕННОМ ТЕАТРЕ, № 2.

НГУЕН КОНГ ХОАН РАССКАЗЫВАЕТ... № 4.

ПОСЛАНЦЫ ФИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, № 8.

ПАМЯТИ М. О. АУЭЗОВА, № 8.

ИЗ ПУТЕВОГО АЛЬБОМА

Горяев, В.— На Цейлоне, № 3.

Кокорин, А.— В гостях у немецких друзей, № 1.

Преображенский, Б.— В независимой Гвинее, № 6.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Горяев, Виталий — Фред Эллис, № 4.

Дункан, Дэвид Дуглас — Пикассо у себя дома (Фрагменты из книги), № 12.

Клюева, В.— Серебряное дерево и десять тысяч лет счастья (Таланты народной Монголии), № 12.

Ренн, Людвиг — Заказчик — рабочий класс (Фреска Вольфганга Франкенштейна), № 9.

Силич, М.— Камни кричат, № 6.

Херсонская, Е.— Итальянские художники в борьбе за мир, № 11.

ЗАРУБЕЖНАЯ КАРИКАТУРА

Сине — Роман про любовь (Вместо рецензии), № 9.

РЕДКАЯ ФОТОГРАФИЯ

Быков, В.— К биографии Джека Лондона (85 лет со дня рождения), № 2.

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ, №№ 3—12.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ (Хроника), №№ 1—12.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ, №№ 1—12.

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**

Редакционная коллегия:

И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, В. И. Верховский (отв. секретарь), **Б. Г. Гафуров, С. А. Герасимов, С. А. Дангулов** (зам. главного редактора), **Е. А. Долматовский, Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, М. И. Рудомино, В. П. Терешкин, Е. Ф. Трущенко, М. А. Шолохов.**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41.
Телефон: В 3-51-47.

Художеств. редактор *М. М. Милославский* Технический редактор *В. Л. Шачнев*

А 10437. Сдано в производство 9/X 1961 г. Подписано к печати 29/XI 1961 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.; печ. л. 24,66. Зак. 1770.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

в 1962 году
журнал «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
предполагает
напечатать следующие произведения:

Жак Стефен Алексис «Деревья-музыканты» (Роман)
Жоржи Амаду «Старые моряки» (Роман)
Людвик Ашкенази «Гость из ночи» (Пьеса)
Эрскин Колдуэлл «Женщина по природе» (Роман)
Халлдор Лакснесс Новая пьеса
Мартти Ларни «Уважаемые бедняки» (Сатирический роман)
Франсуа Мориак «Чудовище» (Повесть)
Дитер Нолль «Приключения Вернера Хольта» (Роман)
Джеймс Олдридж Новый роман
Алан Силлитоу «Ключ от двери» (Роман)
Джон Стейнбек «Зима тревоги нашей» (Роман)
Янош Фюлеп «Бетонд» (Повесть)
Леонардо Шаша «День совы» (Повесть)

Кроме того, редакция намерена напечатать новые произведения:

Луи Арагона, Генриха Бёля, Грэхема Грина, Фридриха Дюрренматта, Ярослава Ивашкевича, Альберта Мальца, Альберто Моравиа, Яна Отченашека, Кэндзабуро Оэ, Ивайло Петрова, Зденека Плугаржа, Титуса Поповича, Марина Преда, Ежи Путрамента, Жан-Поля Сартра, Людмила Стоянова, Андре Стиля, Митчела Уилсона, Орхана Ханчерлиоглу, Фрэнка Харди, Оуяна Шаня и других зарубежных писателей.

В 1962 году на страницах журнала будут регулярно публиковаться статьи, посвященные важнейшим проблемам развития зарубежных литератур и творчеству выдающихся современных писателей Запада и Востока. Систематически будут рецензироваться новинки зарубежной литературы.

Читатели смогут познакомиться с высказываниями зарубежных и советских писателей, деятелей культуры, науки и искусства по актуальным вопросам международной жизни, со статьями и обзорами о значительных явлениях театра, кино и изобразительного искусства.

В разделе «Из месяца в месяц» журнал широко информирует читателей о событиях культурной жизни за рубежом.

Журнал выходит с иллюстрациями.

Подписная цена на 1962 год:

на год — 9 руб. 60 коп.
на 6 мес.— 4 руб. 80 коп.
на 3 мес.— 2 руб. 40 коп.

Подписка принимается всеми отделениями «Союзпечати», конторами и отделениями связи, почтальонами и общественными уполномоченными по подписке.